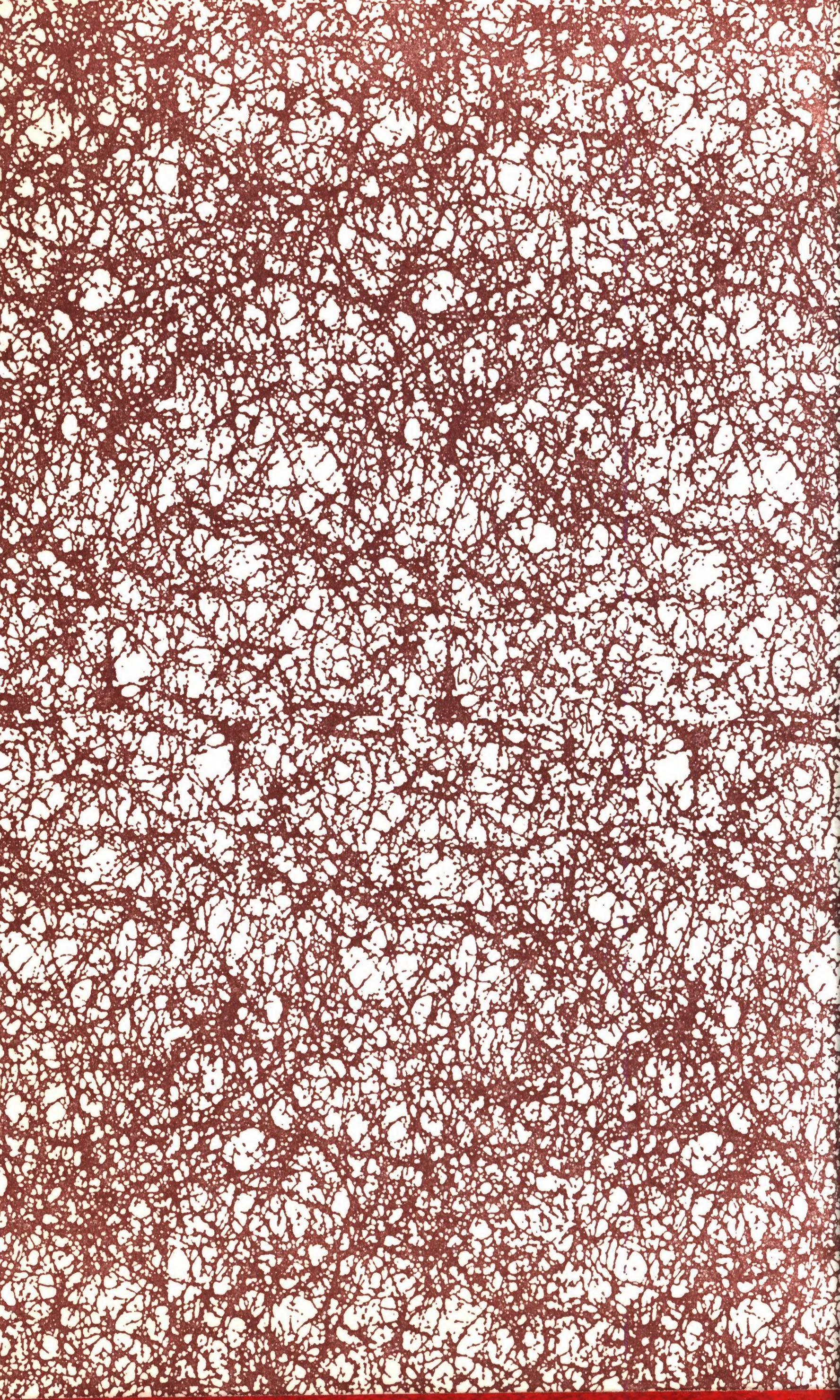
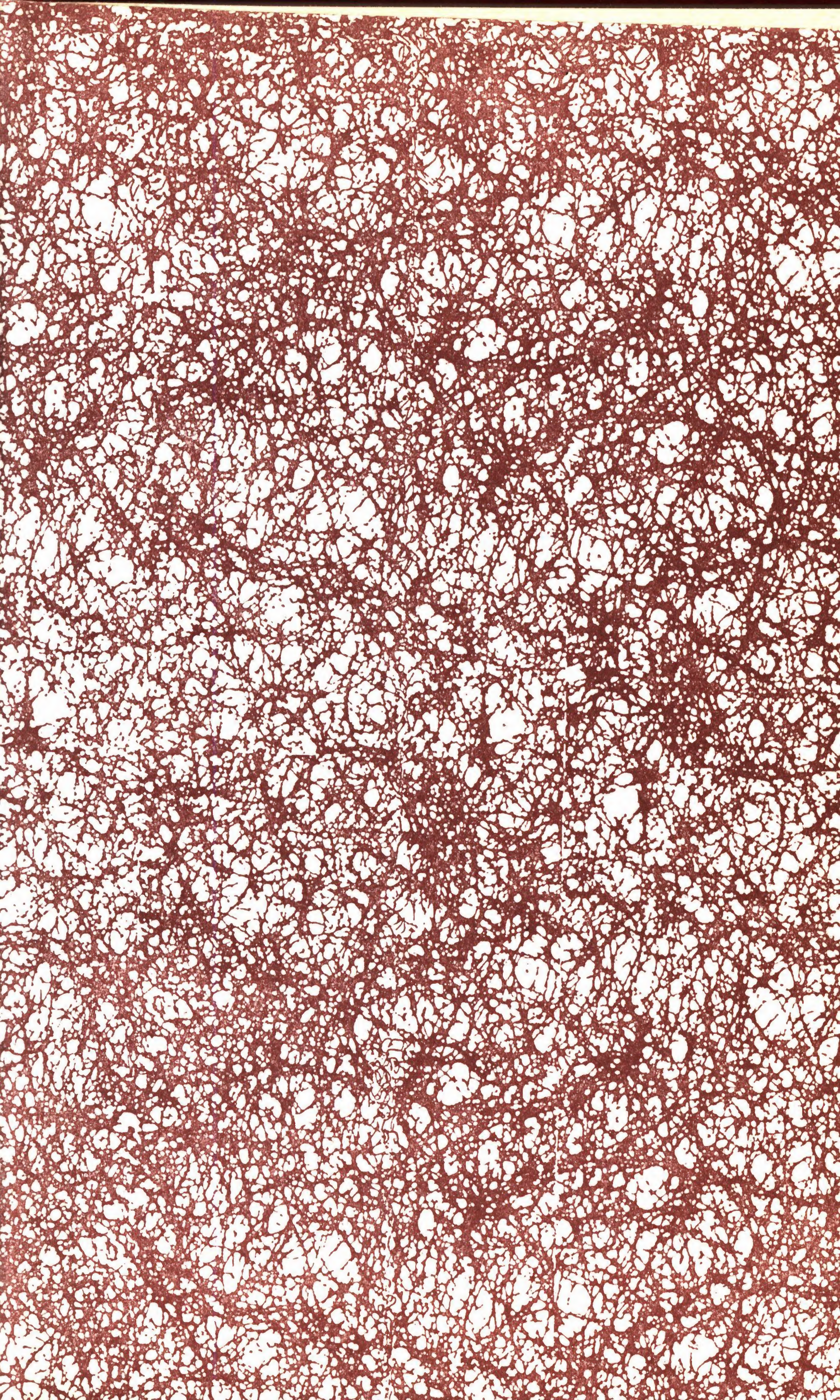
И. Шмелев

ГОД ОГНЕННОЙ ЗМЕИ





БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЦЫДЕН-ЖАП ЖИМБИЕВ

ГОД ОГНЕННОЙ ЗМЕИ

РОМАНЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА • 1980

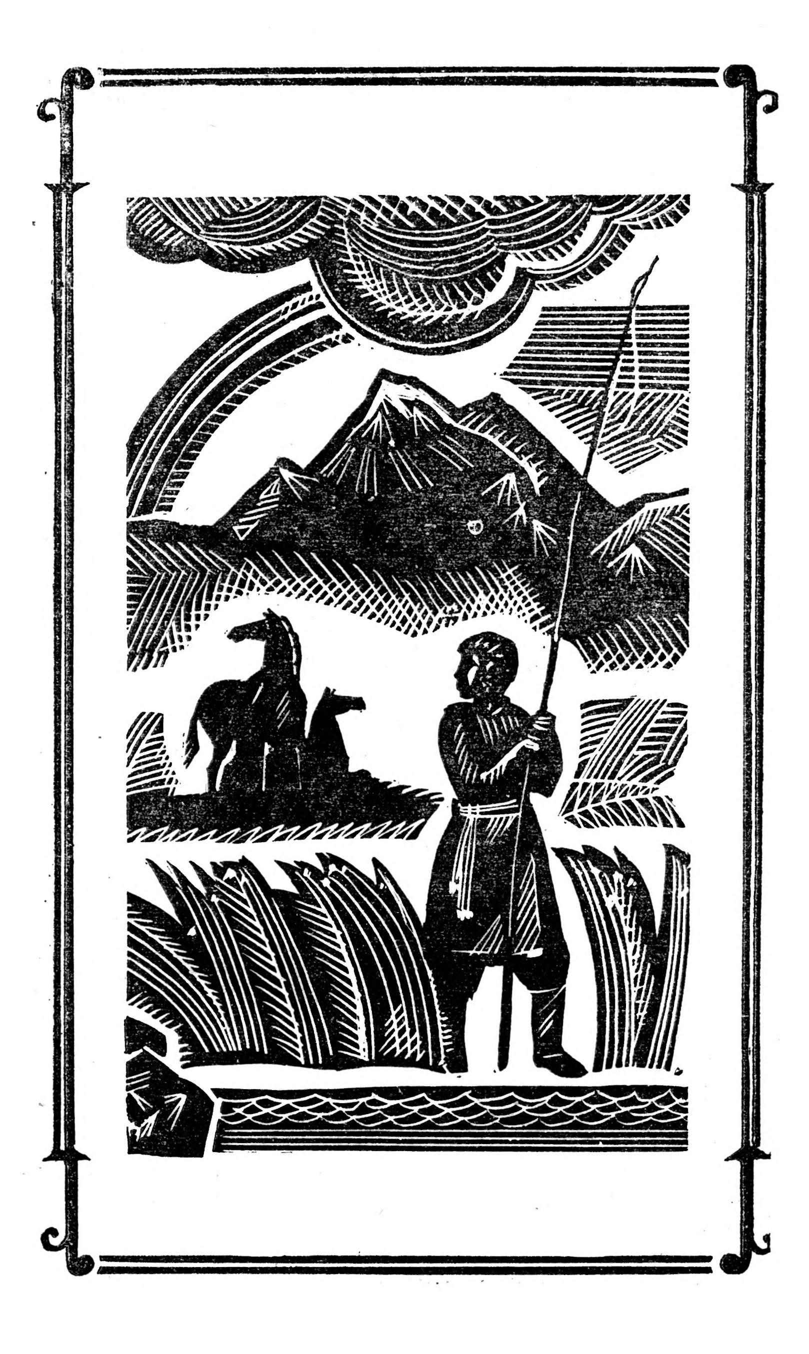
С (Бурят.) 2
Ж 72

Авторизованный перевод с бурятского

Художник Н. АБАКУМОВ

$\frac{70302-035}{074(02)-80}$ 319—80 подписное





ГОД ОГНЕННОЙ ЗМЕИ

I.

ДНЕМ...

Плохие вести крылаты.
— Война!
— Война началась!
С запада через горы и реки, через степи и тайгу прилетела новость в забайкальскую землю.
— Война!
— Война идет!
Из конца в конец зашумело по долине Гангаты.
В нашу семью эту новость принес я.
Бабушка водрузила на свою коротко стриженную белую, словно в инее, голову низкую старинную шапку, взяла костяные четки, отполированные руками ее прабабушек, и уселась на крыльце. Но стала она не молиться, а сердито ворчать: «Допрыгались! С утра до ночи с ружьями бегать! В войну играть! Ничем другим не могли заняться! Так и знала — быть беде. Теперь в войну все досыта наиграемся... Вот оно, вот! Стряслось! Накликали!»
От усердия она даже приподымалась на крыльце, подхватывая подол коричневого летнего тэрлика — халата.
Я помалкивал, потому что бабушка — самая старшая в семье, я — младший, хотя и не самый. Помалкивал, но

знал: нет, не оттого, что мы здесь играли выстроганными из досок ружьями, налетели сегодня немецкие самолеты на далекие от нас города — Киев, Одессу, Львов.

— В год огненной змеи играть с ружьями! И я, однако, хороша — нет, чтоб переломать дурацкие палки!

Я не выдержал, попробовал возразить:

— Разве из-за нас война-то?

— Мол-чи! Мол-чи! Он еще отпирается! Где уж ждать добра, если каждый молокосос тебя перебивает! — Бабушка ткнула костлявым пальцем в мою сторону.— Сюда иди, слышишь? Раскидал аргал по всему двору. Пройти нельзя. Собери сейчас же, пока палку не взяла! Да поживей, однако, поживей!

За стаей лежала большая куча кизяка — аргала. Мы, играя в войну, и в самом деле разбросали его по всему двору. Куда ни глянь, всюду сухой аргал — пройти-то можно, но обязательно споткнешься, особенно ночью.

Делать нечего, придется собрать: достаю корзину. Уж очень неохота таскать аргал. Играло нас много, а собирай я один. Собираю и думаю о бабушке: всерьез считает, что виноваты мы, ребята; из-за нас, мол, началась война. Смешно.

Прежде бурят — или, как тогда называли, «инородцев» — в армию не брали. Отца бабушки в первую мировую войну призвали на тыловые работы. Возвратился он оттуда получеловеком — ходил по стенке, не мог ничего есть, перестал спать ночами и, в конце концов, умер. Муж бабушки, мой дед, был одним из организаторов колхоза; его подстерегли в степи кулаки. Убили, а потом, уже мертвого, истоптали конями. А моего отца, единственного сына бабушки, оклеветали. Несколько лет назад, когда я был совсем еще маленький, к нам приехала милиция и увезла моего отца.

Много жила бабушка и много видела. Может быть, поэтому она всегда ждет беды. А сейчас вот война. Как ей не бояться?

Сидит бабушка на крыльце, трясет головой, раскачивается из стороны в сторону. Наверное, уж и меня не замечает. Какие худые мысли бродят в ее голове? Наша шабганса... Так с почетом называют самых старых и уважаемых в роде. Я хожу по двору и искоса поглядываю на бабушку. Интересно, были ли у нее когда-нибудь черные косы? Сколько я помню, ее голова всегда коротко

острижена и белая-белая... Бурятки к старости стригут волосы — так уж повелось.

Я вижу теперь, что бабушка год от году как бы ссыхается, становится все меньше и меньше. А может, не бабушка уменьшается, а сам я делаюсь больше, крупней?..

Она уже не сидит, а беспокойно бродит по двору, сгибаясь и разгибаясь. Бродит, собирает в подол кизяк, бормочет про себя:

— Нынче год огненной змеи. Когда он проходил легко? Или засуха, или черная болезнь на скот, на людей, а теперь напасть хуже мора. И войны всегда в год огненной змеи...

Раньше чем научиться считать по пальцам дни недели, я уже знал наш, восточный, календарь. Он разделен на двенадцать лет. И каждый год имеет свое название. Год белоротой мыши, год коровы, год полосатого тигра, год железной свиньи.

Спросите любого из наших стариков: когда кто родился? И непременно услышите в ответ: «Такой-то родился в год зайца, а такой-то — в год мыши...» У нас года не безлики — у каждого свое лицо, свой характер. И вот еще что удивительно: человека, родившегося в год тигра, никогда не спутаешь с тем, кто появился на свет, например, в год белоротой мыши. Разные годы — разные люди, по крайней мере, мы так считаем.

Мне не повезло, я родился в год зайца. А моя сестренка Жалма — в год обезьяны. Поэтому-то она так любит во всем подражать старшим. Маленький Дондой появился в год лошади. Уже и теперь он так быстро бегает, что иногда может догнать меня. Хотя и «зайцы» не тихоходы. Мой племянник Барас, сын дяди Урбана, обязательно должен вырасти сильным и смелым — ему достался год тигра.

Бабушка ушла за стаю, из-за перегородки доносится ее сбивчивое бормотание. Я собираю кизяк и думаю о Барасе. Завидую ему. Повезло же родиться в год тигра!

В стороне слышатся голоса. Легки на помине! Жалма, Дондой и тот же Барас. Наконец-то пришла мне подмога!

— Ахай [1],— говорит сестренка бабушкиным ворчливым голосом, бабушкиными словами,— смотри, сколько

[1] Ахай — вежливое обращение к старшему.





аргала набросали! Воевали, воевали, и взаправдашняя война началась.— И вдруг спрашивает недоуменно:— А так разве бывает, ахай?

Моей сестренке уже десять лет, учится в третьем классе. И неплохо учится, но все равно глупа. Зачем спрашивать? Соображать нужно!

— Выдумки,— ворчу я.

— Тогда зачем бабушка тебя ругала, ахай?

Я хотел было сказать Жалме: шабганса верит сказкам от старости, а ты, кривляка, обезьянничаешь, но вовремя прикусил язык. Бабушка вышла из-за стаи, заковыляла к нам.

А Жалма уже забыла, о чем спрашивала, так уж она устроена,— собирает аргал, не отрывает взгляда от земли. Больше одной мысли никогда не помещается в ее голове, но очень трудолюбива, ловка, быстра. Даже сейчас смотреть приятно, как Жалма легко идет по двору.

— Ай! Что я нашла! — вдруг кричит она.

Жалма вертит в руках самодельный наган — мой собственный, сам сделал. Там, в тайнике, спрятаны еще лук со стрелами, рогатка, не простая, а из красной резины, и — самое дорогое! — самопал, который заряжается спичечными головками. У других ребят тоже имеются такие самопалы. Но мой лучше всех — громче всех стреляет и после каждого выстрела вкусно пахнет серой. Я много раз пугал бабушку этим самопалом, много раз она меня ругала за него: «Людей искалечишь. Брось!» Много раз я обещал ей, что брошу. И бросал... в тайник, который сейчас нашла Жалма.

— Так и знала, так и знала! — обрушилась на меня шабганса.— Ружья! В стае для скота! Грех-то какой! Скот от порчи хранить надо, а тут ружья! Еще в ту ерманьскую под Архангельском городом ружья взорвались! Целый дом ружьев. И отцу моему в голову... Ох, многих поубивало, и наших, и русских! А нынче опять ерманьская война? И что это за Ерманья такая?..

Германия... С ней у бабушки старые счеты, но что это за страна — она не знает. Я бы мог объяснить ей — про фашистов, про свастику, которая точь-в-точь похожа на знаки, вышитые на старинных одеждах лам; про главного фашиста Гитлера, однако сейчас не до беседы. Бабушка громит мой оружейный склад, вот-вот доберется до самопала. И все же надеюсь, что отвлечется, отойдет в сторону, забудет. С бабушкой такое часто случается.

В это время появляется «молодая мать» — это моя мама. У нас так принято говорить — «молодая мать», хоть она не так уж и молода. Ей больше сорока лет, а если присмотреться, то можно подумать, что все пятьдесят.

Она выросла без отца, была старшей в семье — кормилицей. Первая вступила в комсомол — первая среди девушек. Среди парней комсомольцы уже были. В их числе и мой отец. Моя мать тогда удивила всех тем, что отрезала косы, сделала короткую прическу. Сыновья тех, кто убил нашего деда, подстерегали мать, хотели ее избить, но побоялись моего отца: у него были товарищи. Да и время богатых уже прошло.

Я помню мать еще молодой. До тех пор, пока жил дома отец, она ходила, высоко подняв голову, и румянец горел на ее щеках. Теперь не то.

Рано утром, когда все еще спят, она идет на ферму, а возвращается ночью. Все равно мы ее зовем молодой матерью, потому что есть бабушка — старая мать. Интересно, слышала ли она о войне или нет? Похоже, что слышала, если пришла так рано.

Мать увидела мои ружья, молча сгребла все в охапку, ничего не сказала, унесла подальше от дома.

Бабушка пришла в себя, сразу же рассердилась:

— Чего стоите? Чего таращитесь? Иль весь аргал собрали?

Под дровами лежали наши карабины. И мои, и всех тех, кто воевал вместе со мной и против меня. На них наткнулся Дондой.

— Смотрите! Еще! Пах!.. Пах!..

— Оставь...— тихонько шепнул я.

Да разве послушается Дондой! Он уже целился в Бараса:

— Пах!.. Пах!.. Падай! Ты убит!

Барас ухватился за ствол ружья, пыхтит, пытается отнять.

Шабганса так и присела от возмущения. Потом, выпрямившись, с размаху шлепнула Дондоя.

— Иёо! — подхватив спадающие штаны, тот кинулся в сторону.

А родившийся в год тигра заревел басом — на всякий случай, чтоб не попало. Вслед за Дондоем досталось и Жалме. Бабушка огрела ее по заду старыми четками.

Не попадайся под горячую руку. Хоть и не больно, но Жалма очень обидчива.

— Я-то тут при чем?..

Она надулась, начала всхлипывать, не как Барас, потихоньку.

Теперь все пропало. Уже ничем не отвлечешь бабушку. Она запустила руку под дрова. И вот в руках у нее моя отличная сабля из шерстобитного прута. Размахивая саблей над головой, бабушка направляется ко мне. Хорошая сабля, и бабушка держит ее как положено — за эфес... Я уже не маленький, мне неудобно удирать, как Дондою. Стою жду.

— Будешь играть в войну?! Будешь играть в год змеи?!

Я стараюсь думать, что я в плену у врагов, что они меня казнят, что я геройски выдерживаю. Вот если б была настоящая, не из шерстобитного прута... Иёо! Подумать страшно... Я уже слишком взрослый, чтоб плакать. Жалма и Дондой притихли. Смотрят на нас остановившимися глазами. И Барас прекратил реветь. До чего больно рубит сабля! Даже не настоящая. Даже в бабушкиной руке.

Наконец бабушка устала, отбросила саблю в сторону, заковыляла к крыльцу. Малыши так и брызнули врассыпную.

Шабганса опустилась на крыльцо, вытащила трубку с длинным чубуком, закурила.

— Когда бог отучит людей от этой напасти? Ружья, ножики...

Малыши на меня дуются, не глядят. На бабушку обижаться бесполезно, а я их подвел. Им и аргал собирать, их и наказали — кругом несправедливость.

— Барасик! Барасик! Что ты? Иди сюда! — Сэрэн-Дулма хээтэй, наша тетя, стоит за изгородью, зовет сына, протягивает к нему руки.

Рожденному в год тигра не попало совсем, но он плакал больше всех. Увидев мать, Барас встал на четвереньки и с ревом полез сквозь изгородь, но большая его голова застряла между жердями.

— Глупенький, что случилось? — Тетя освободила сына, подняла его на руки.

Сэрэн-Дулма — родная сестра нашего отца, мы ее

все зовем «хээтэй». Она закончила восемь классов, уехала в аймачный — районный — центр учиться на курсы механизаторов. Пока она там зимовала, изучала трактор, познакомилась с летчиком, вышла замуж. Муж ее родом с острова Ольхон, что раскинулся посреди озера Байкал. Никто из наших, ни мама, ни мы, дети, ни даже Барас, который родился в прошлом году, еще не видели его. Он обещал к нам приехать в гости,— мы устали ждать. По улусу, нашей деревне, пополз слух, что, видно, вовсе не дождемся, а Сэрэн-Дулма хээтэй так и останется без мужа. Но быть этого не может. Дядя Урбан — так его зовут — военный летчик, красный командир, он врать не будет. А потом он часто пишет тете. Как только подрастет Барас, увезет их. Только вот началась война. Теперь, должно быть, мы не скоро увидим дядю Урбана.

— Батожаб, письма нет сегодня? — обнимая сына, скороговоркой спрашивает меня Дулма.

— Хээтэй, ты не слышала?

— Что, Батожаб?

— Война!

Сэрэн-Дулма в рабочем промасленном комбинезоне. Лицо ее, темное от копоти и пыли, сейчас совсем почернело. Она стоит не двигаясь, крепко прижав к себе Бараса.

Бабушка на крыльце курит длинную трубку и что-то бормочет. Сэрэн-Дулма молчит, на черном лице посверкивают белки глаз.

— Когда? — наконец спрашивает она.

— Сегодня рано утром фашисты перешли нашу границу. И бомбили города. Киев, Львов...— Я говорю как взрослый: кто еще лучше расскажет о войне? Умолкаю, жду вопросов.

Но Сэрэн-Дулма больше ни о чем не спрашивает, прижимает к себе сына.

— Мы их скоро победим, хээтэй.

— Да, да...

— Дядя Урбан, наверно, уже улетел на войну.

— Да, да...

Барасу наплевать на войну, он расстегнул у матери ворот рубахи, вытащил пухлую, голубовато-белую грудь, начал жадно сосать.

Бабушка концом чубука показала на разворошенный тайник.

— Сэрэн-Дулма, когда кончишь кормить, разожги огонь. Сожги эти греховные игрушки...

Хээтэй, глядя куда-то далеко-далеко поверх наших голов, подождала, когда Барас насосется, осторожно спустила его с рук, принялась за оружие. Машинально она ломала наши винтовки, бросала в огонь. Свою винтовку я строгал пять дней; есть еще граната, почти как настоящая, я ее выменял на цветные карандаши... И лук со стрелами — подарок Мунко, моего первого друга... Почему-то я вдруг перестал все это жалеть.

Костер разгорелся; Сэрэн-Дулма взяла на руки Бараса; бабушка подсела поближе к огню. В доме гремела посудой мать. Я легко представлял себе ее лицо, замкнутое, чего-то все ждущее. Она, наверное, сейчас думает об отце.

Ярко горит костер, стреляют дрова, плюются искрами. Это дают прощальный залп мои винтовки, мои игрушки. Горит мое детство.

Бабушка перебирает отполированные четки, бормочет, заклинает войну.

— Батожаб!

Я узнаю голос Мунко. Он мой лучший друг. Но я не шевелюсь. Мунко сейчас далеко от меня. Мунко остался где-то в детстве... Я делаю вид, что не слышу.

— Батожаб, выйди!

— Тебя же зовут,— говорит Сэрэн-Дулма.

Я нехотя встаю.

Мунко, красный, запыхавшийся, нетерпеливо переминается с ноги на ногу.

— Т... т... т...— Он всегда заикается, когда волнуется.

— Ну?

— Т... ты с... слышал?

— Слышал.

— Мы победим! М... мы всех били — и японцев, и белогвардейцев...

Я ничего не отвечаю, тогда Мунко вытаскивает из-за пазухи бумагу:

— Держи.

— Что это?

— С... срочная записка.

— От кого?

— Эрдэни ахай тебе написал. Он п... п... поехал в аймачный центр.

— Зачем?

— Н... не знаю. Тороплюсь.

И Мунко убегает, чтоб поговорить о войне с кем-то другим.

Я разворачиваю тетрадный листок.

«Батожаб! Друг! Очень прошу: на одну ночь подмени меня — сам выгони табун в поле. Я знаю, ты не подведешь. На попутной машине уезжаю в райцентр — хочу уйти добровольцем в армию. Завтра вернусь — все оформлю как положено. А пока — никому ни слова. Надеюсь на тебя. Будущий командир Красной Армии — Эрдэни Гармаев».

Я смотрю на листок с удивлением и невольной завистью. Эрдэни уходит в армию. Ему хорошо. Он взрослый. Конечно, его возьмут. У нас в улусе не много таких сильных и смелых парней, как сын кузнеца. А я должен сидеть с малышами, слушать бабушкины причитания...

Неровные строчки пляшут перед глазами. И вдруг до меня доходит главное — ведь это я сегодня должен гнать табун в ночное! Один, без Эрдэни! И мне он доверил свою тайну. У меня даже скулы свело от волнения и гордости. Со мной только что обошлись как с мальчишкой, а я взрослый. Еще пожалеют, я еще покажу себя!

Стараясь говорить как можно спокойнее, я объявил, что ухожу в ночное. Это сообщение ни у кого не вызвало особого удивления. Все знали, как я любил уходить с Эрдэни пасти табун. С Эрдэни... Им и в голову не могло прийти, что сегодня хозяином колхозного табуна будет не Эрдэни, а я, Батожаб. Только мать посмотрела на меня чуть пристальнее и молча кивнула в знак согласия; опять задумалась о своем.

В два прыжка я мог бы оказаться у амбара, где лежали седло и потник. Но я шел медленно, пытаясь справиться с волнением, которое все больше охватывало меня.

Кода мне было три года, отец впервые подвел меня к коню и сказал: «Сможешь дотянуться до стремени,— значит, ты настоящий мужчина». И я дотянулся. Я помню, как сильные руки отца подняли меня в воздух, и я оказался в седле. С тех пор много воды утекло, а седло, на которое посадил меня впервые отец, осталось для меня самым дорогим подарком. Не одно поколение смелых наездников пережило оно. Его носили и боевые кони. А теперь оно мое. И, конечно, сегодня, когда я впервые один иду ночью в степь, оно будет со мной.

Я достаю седло из амбара и в который раз, замерев, любуюсь работой древнего мастера: стертое серебро старой чеканки, черный кожаный подстременник, высокая березовая лука с красной каймой... Налюбовавшись, не торопясь, до блеска начищаю медные квадратные пряжки, серебряные украшения, проверяю волосяные подпруги, тороку для вьюка. Привожу все в порядок, вдумчиво готовлюсь в дальнюю дорогу. Куда она уведет? Что ждет меня впереди?

Малыши плотно окружили меня — следят, молчат, уважительно посапывают.

— Ахай, правда, что ты теперь ночным конюхом будешь? — оробев, тихо спрашивает Жалма.

— Война...— коротко бросаю я и, закинув за спину снаряжение, выхожу со двора.

II.

НОЧЬЮ...

Стать ночным конюхом не просто, не всякий взрослый возьмется за эту работу. Проводить ночи напролет в седле, отвечать за каждого коня в табуне может только тот, кто любит лошадей, понимает их, умеет разгадать их норов.

От прежней моей горделивой важности не осталось и следа. Чем ближе я подходил к конюшне, тем становилось страшнее. Справлюсь ли? Мне казалось, что я забыл все, чему меня учил Эрдэни. Признают ли меня кони хозяином? Признают ли другом?

Из пятидесяти лошадей я выбираю Гнедого. Он мне кажется ближе всех, родней, надежней. Именно Гнедой спас моего отца от смерти, когда тот напоролся на засаду кулаков. Это было давно. Отец был комсомольцем, а Гнедой — быстроногим гунаном — трехлеткой. Теперь Гнедой уже стар, но так уж повелось: если надо выполнять какие-то работы в колхозе, лучшего помощника, чем Гнедой, нам с матерью не найти.

Гнедой тут же узнал меня, доверчиво потянулся навстречу, тихо, приветственно заржал. Но стоило мне протянуть руку, чтоб надеть узду, как он тут же, вытянув шею, высоко задрал морду. «Попробуй-ка дотянись, если

не маленький!» Всегда он затевал со мной эту игру. Мне стало спокойнее. Гнедой рядом. Все будет в порядке.

Подымаюсь на носки, с трудом дотягиваюсь до его морды, и Гнедой как бы нехотя покоряется, дает запрячь себя. Укоротив стремена, сажусь верхом. Медленно объезжаю табун, как полководец объезжает свое войско перед началом боя. Что и говорить, вид у моего воинства невзрачный: сквозь пыльную шкуру проступают ребра, холки стерты. Только что кончилась посевная, и лошади измотаны. Им не терпится скорее выбраться из загона на волю, где сочная трава и свежий ночной ветер вернут силы. Я разбираю изгородь — проход на свободу. И они рвутся напористо, стремительно, толкаясь, тесня друг друга, и всё молча, лишь слышен топот копыт. Словно река вырвалась из запруды.

Во главе табуна — опытный вожак — Рваный Подколенок. Он тут же понимает, что я хочу от него, и поворачивает табун к горам. Вожак не зря получил свою кличку. Несколько лет назад на него напали волки. Израненный, с прокусанными ногами, он все-таки сумел отбиться. Старики говорили, что под коленом у него порвана какая-то боевая жилка. На шее у вожака висит большое ботало. Сейчас оно звенит, громко, заливисто. Весь табун еще охвачен азартом скачки. Постепенно напряжение первых минут спадает, и ботало впереди начинает звучать размереннее и спокойнее. Кони замедляют свой бег, растягиваются вольной цепочкой.

Все это знакомо мне. Близко. Привычно. Только нет впереди слитой с конем фигуры Эрдэни.

Я знаю табун, как свою семью. Прямо за вожаком идет Соловый Шаргалдай. Это конь особый. О нем даже сложили песню. Он ведет свою родословную от знаменитых местных скакунов и сам много раз привозил в улус первые призы и хрустальные кубки. За ним следят, стараются, чтоб он был в форме даже зимой, в самую тяжелую для колхоза пору. Рядом с Шаргалдаем идет Белоногий. На нем всегда ездит колхозное начальство. Наверное, потому и нрав у этого коня строптивый. Вот и сейчас он что-то не поделил с молодым, резвым скакуном, кличка которого — Высокий Серко. Серка не каждый сможет поймать, не то что оседлать. Впрочем, таких у нас много.

У бурятов есть обычай: если необъезженного скакуна усмиришь и наденешь узду, получает он твое имя. Вот и

ходят в нашем табуне Гнедой Сэрэн-Доржа, Игреневый Гунга, Каурый Сандак, Алешина Рыжуха... Эрдэни Гармаев объездил двух лошадей — им дали клички Буланый Эрдэни и Саврасый Эрдэни. Они всегда пасутся вместе, особняком от табуна. Хорошие кони — выносливые, сильные, дисциплинированные. Не то что Чубарый Цыган. От него в любую минуту можно ждать неприятностей: чуть зазеваешься — ударит задним копытом или драку с жеребцами затеет, перебаламутит весь табун. Однако на работу зол. Как ночь ото дня, отличается от Цыгана Меченый, угрюмый конь, работать не любит, спит на ходу, в поле с ним одна мука.

О любом коне могу рассказывать без конца; я людей еще так хорошо не знаю, как лошадей. Знаю, какой нрав у каждого: можно положиться, нет ли, что любит, как хитрит. У одного характер легкий, ласковый, другого, сколько ни приучай,— диким останется. Позади всех иноходью бежит Светлогнедая кобылица. У нее всегда родятся хорошие жеребята. И сейчас за ней тянется совсем молоденький жеребенок с белой звездочкой во лбу. Бежит, помахивает куцым, тупеньким хвостиком, смело бросается за бабочками, пугливо шарахается от кустов, а то вдруг начинает прыгать, лягать воздух. Когда этот жеребенок подрастет, станет лончаком, то есть двухлеткой, я остригу ему гриву, а там и оседлаю, чтобы объездить. Тогда его назовут моим именем. Звездочка Батожаба. Какой ты мужчина, если в жизни не объездил ни одного коня?

Дон-дон, дин-дин,— зовет ботало вожака. Нестройно пофыркивают лошади, от дружных ударов десятков копыт гулом отдает земля. В такт этому размеренному бегу стучит мое сердце. И где-то внутри меня рождается и рвется наружу еще незнакомая мне песня. Всему свету хочется рассказать, как молод я и силен, и что мне, Батожабу, Эрдэни доверил своих коней, и что от этого на душе у меня радостно и немножко жутко. И еще — что мне хорошо скакать с моим табуном навстречу ночи! Ох как хорошо! Если б меня мог сейчас увидеть мой отец! Как, наверное, он бы обрадовался! И сказал бы свое любимое: «Вот теперь-то ты настоящий мужчина!»

Но нет рядом отца, кругом ни души, только степь и небо, небо и степь, да сумерки, поднимающиеся от земли...

Ночь в наших краях подкрадывается незаметно.

Только что через все небо была пролита желто-красная река, горячая и неистовая. Чуть отвлекся — и словно кто-то задернул полог: все яркие краски приглушены, мир тихо тонет в сиреневых сумерках. С востока понеслись уже легкие облака, предвестники скорой ночи, но вершины ближних гор еще упрямо рдеют в отсветах канувшего солнца. Темные большие деревья-одиночки похожи на сторожевые пики богатырской заставы Бабжа Баас-батора. По преданию, именно здесь, на горах Трех Кобылиц, стояла застава нашего батора. Отсюда пошел он на войну с маньчжурами. Семьдесят дней бился батор и вернулся победителем.

Сейчас опять враг лезет на нашу землю. Теперь уже не с востока, а с запада. И где-то, где-то далеко от нас, поднимется богатырский заслон. Со всех концов большой страны спешат туда воины. Если б ты был жив, Бабжа-батор! А может, бурятская земля родит другого батора и скоро все мы узнаем его громкое имя? Старики говорят: если в каком-нибудь улусе родится герой, то в табуне обязательно появится хулэг — богатырский конь.

Я решил провести свою первую ночевку у гор Трех Кобылиц. В прежние времена на вершинах этих гор устраивались жертвоприношения: резали трех яловых кобылиц. В честь этих кобылиц и названы горы.

Пока я подгонял табун к горам, стемнело. Почуяв свободу, кони разбрелись.

И другой ночной табунщик, собрат мой таинственный, выгнал на небо свой бессчетный звездный табун. Звезды разбрелись по небу, как мои кони по темной степи, звезды тоже пасутся — по отдельности, кучками. И у них есть свои имена. Прямо на севере светится Золотой Кол, чуть в стороне сбились группой Семь Старцев, а Три Марала остановились прямо над вершинами гор. Зло, недобро смотрит на землю Волчий Глаз. И как бы особняком от всех высоко в небе стоит Утренняя звезда. У нее долгий путь к рассвету. Когда она спустится по небосклону совсем низко, придет утро. Но звезда сейчас высоко, а утро далеко, вся ночь впереди.

После дневного зноя, как после изнурительной работы, отдыхает степь. Вместе с ночной прохладой приходит и тишина. Но тишина не безгласна. Монотонную, въедливую песню тянут комары, изредка подает голос филин, где-то вдали слышится нестройная перебранка лягушек...

Нынче, похоже, ночь кукушкиного пения, до рассве-

та должна бы кукушка вести счет годам, которые ты еще не успел прожить. Должна бы. Но молчит кукушка. Без нее ночь глуха.

Все плотнее и плотнее окутывает меня тулуп густого мрака. Я уже почти ничего не различаю — вязкая чернота, настораживающая, пугающая. Кажется, чьи-то незримые глаза следят за тобой. И я начинаю храбро бросаться то в одну, то в другую сторону, натыкаясь на своих лошадей. Постепенно, однако, успокаиваюсь, даже закрываю глаза, совсем, крепко-накрепко. Так лучше, да и мелкая мошка не лезет в них.

С закрытыми глазами все чувствуешь обостреннее: вот что-то скользкое поползло по шее, потом неожиданно в лицо ударила струя теплого воздуха — наверное, совсем рядом пролетела птица... Сижу в седле и думаю о своем. Что, если кто-нибудь угонит моих коней? Или еще хуже — нападут голодные волки? Правда, таких историй давно уже не слышно, но все равно боязно. Говорят, и оборотень может увести лошадей или просто позабавиться с ними — перепутает гривы, стреножит. В прошлом году дед Дундай уверял, что встретил хозяина пади Ямаəты. А ведь падь совсем рядом. Да и до кладбища недалеко. Вот уж где, наверное, собирается вся нечисть! Сразу становится зябко, мурашки бегут по спине, и мне начинает казаться, что именно к кладбищу движется мой табун. Вот что значит родиться в год зайца... Но хватит, хватит! Можно так себя растравить, что каждый куст чертом покажется. Буду думать о богатырях. Наверное, они от рождения не похожи на обыкновенных людей. А может, нужна сила воли и тренировка. Надо читать побольше книг о героях разных народов. Вдруг да это поможет, и я сам стану смелым. Я вспоминаю о Спартаке, о французском революционере Марате, о болгарском коммунисте Димитрове. Кем я стану, когда вырасту? Может быть, летчиком? И, как Чкалов, совершу беспосадочный перелет до Америки. Мне хотелось бы стать похожим на Буденного, командира Первой Конной армии, или на нашего земляка бурята Гармаева, героя финской войны. Его портрет висит над моей кроватью. Эрдэни тоже по фамилии Гармаев. Может, и он скоро станет Героем Советского Союза?

Медленно движется в ночи табун. Утренняя звезда чуть спустилась к горизонту, но стоит еще высоко и льет на землю свой холодный свет. Нечего подгонять время,

все равно до рассвета еще далеко. Вон прокатилась по небу одна звезда, а вон другая, третья... Срываются звезды, прорезают небосклон и гаснут, и от этого становится еще темнее. Меня совсем не радует этот звездный дождь. По преданию, если человек гибнет, закатывается его звезда. А сейчас началась война. Сколько еще сорвется звезд, небо поредеет, станет черным...

Сам того не замечая, я жмусь все ближе и ближе к лошадям, пробираюсь в самую середину табуна. Здесь мне не так одиноко.

Неожиданно, разрывая ночную тишину, раздается ржание, стук копыт, тревожный звон ботала. Кони в страхе шарахаются в стороны, и я вдруг понимаю, что не они меня защищают, а я их. Я старший, я на месте, все в порядке, глупые!

Ночной переполох стих так же неожиданно, как и возник. Кони вновь принимаются мирно щипать траву. А я никак не могу успокоиться. Что напугало их? Медленно объезжаю табун — все в порядке. Голова к голове, не отходя друг от друга, пасутся кони Эрдэни. Смирный Горбунок пристроился за моим Гнедым, идет рядом. Чуть в стороне, по силуэту, узнаю Меченого, он всегда норовит быть один. Плотным кольцом окружили своих жеребят кобылицы. Что все-таки так встревожило моих лошадей?

Недаром мне не нравится это место. Табун уже далеко отошел от гор Трех Кобылиц, и Три Марала, пасущиеся на их вершинах, остались у меня за спиной. Надо поскорее убираться отсюда, но кони еще не отдохнули, им не хочется трогаться с места. Приходится пускать в дело кнут. Неужели они ослушались бы Эрдэни? Сколько еще воды утечет, пока они признают во мне хозяина?

У меня начинает нестерпимо зудеть спина — это следы бабушкиной сабли, потрудилась, однако. Только сейчас понимаю, что я весь потный. Интересно: сижу на коне, ничего не делаю, а рубашка прилипла к телу. Это все — год зайца, мой неудачный год! Наконец кладбище и падь хозяина Яматы остаются позади, а с ними и мой страх. Громко, на всю степь, кричу:

— Эг-гэй! Прибыли! Не расходиться! Слышите? Эй-го-го! Я сердитый!

Пусть кони знают, что я не такой уж трус.

— Эй-го-го! Далеко не уходить! Я с вами! Эй-го-го!

Мне становится весело. Приободрившись, я даже завожу песню. Прямо сказать, певец я никудышный, но





горланю во всю силу, будоражу ночную степь. Никто не слышит! Только кони недоуменно пофыркивают. В песне я рассказываю, что я колхозный конюх, езжу на Гнедом, что сегодня я заменил друга, который ушел на фронт, что зовут моего друга Эрдэни,— ему посвящаю я свою песню.

Неожиданно Гнедой натянул поводья, резко опустил голову.

В чем дело? Ему надоело мое пение? Только тут я вспомнил: как оседлал его с вечера, так ни на минуту не дал бедняге передышки. Глупая моя голова! Я опустил поводья, и Гнедой, благодарно хлестнув меня хвостом по спине, принялся за траву. Он хрустел с таким аппетитом, что и мне захотелось есть. Но я ничего с собой не захватил. Травой люди не питаются... Люди устроены странно. Ночью спят себе спокойно, о еде и не думают. Сейчас та же ночь, а желудок просто сводит. Хоть бы кусок хлеба догадался захватить с собой... Э-э, да что зря ругать себя, этим сыт не будешь. Дома ночь проскакивает быстро. Голову до подушки донесешь, глянешь — утро. А здесь Утренняя звезда едва плетется по небу.

Упала роса — грива коня, моя одежда, поводья — все стало влажным, от земли потянуло прохладой. Значит, ночь все-таки смилостивилась надо мной, перевалила через свою глухую половину.

Смолкли лягушки. Надоедливо и монотонно звенят комары. Глаза мои начинают слипаться. Чего доброго, засну в седле. Что тогда будет с табуном? Голову так и гнет, словно свинцом налита. Пытаюсь перебороть дремоту, надо бы думать о чем-то веселом. Но ни одной мысли. И даже кладбищенская нечисть не страшна.

Сон — невидимый борец. Он одолел меня незаметно. Я крепко заснул прямо в седле, не выпуская из рук поводьев.

Не знаю, долго ли я спал, но, когда открыл глаза, было уже совсем светло. Меня ожгло, как плеткой,— упустил табун?

Но, верно, бабушка молилась в эту ночь за меня, ее древние боги сжалились над ночным конюхом, впервые в жизни оставшимся за хозяина.

В высокой траве тихо спали сытые жеребята, рядом мирно дремали кобылицы. Рваный Подколенок чуть слышно позвякивал боталом. Все спокойно.

И вдруг... Я привстал в седле от неожиданности: в самой середине табуна пасется незнакомый конь, рослый

черногривый. Лошади держатся от него стороной — чужак.

Так вот кто был виновником ночного переполоха!

Черногривый заметно припадал на одну ногу. Приглядевшись, я увидел немного выше лодыжки красный рубец. Кожа на ноге у Черногривого была стерта, а по траве волочился оборванный повод, цеплялся, причинял боль.

Я соскочил с Гнедого и, прячась за лошадь, стал незаметно приближаться к незваному гостю. Я напрасно осторожничал — Черногривый не шелохнулся, подпустил меня, как бы понимая, что хочу ему добра, спокойно дал снять со своей ноги заскорузлый от крови ремень.

Напрасно я искал на небе Утреннюю звезду — она ушла за сопки. Пора возвращаться в улус. Что ж, первая моя ночевка кончилась. Я не только не упустил ни одной лошади, но даже оказался с прибылью. Это добрая примета.

Когда я привел табун, улус еще спал. И только петух Тюриковых — единственных русских в нашем улусе — приветствовал меня.

III.

ДНЕМ...

Я открыл глаза и огляделся. Солнце, падая в квадратное отверстие дымохода, освещало угол. Значит, солнце высоко и на дворе полдень. Я повернулся с боку на бок. Голова тяжелая, не оторвешь от подушки. Но так можно проспать все на свете! Я вскочил.

Зной, духота, обжигающая ноги пыль. Синее небо, земля, деревья — все напоено жаром.

На дворе тихо. Даже малышей не слышно, наверно, забились куда-нибудь в тень. Я несколько раз прошелся по двору. Чем заняться? Очень хочется повидаться с друзьями, не терпится рассказать им о сегодняшней ночи. Да разве найдешь кого-нибудь в такую жару в улусе? Наверняка все на острове. Ребят сейчас из реки трактором не вытащишь!

Хочешь не хочешь, а придется одному плестись на речку. Я медленно, нога за ногу, бреду по пустынной улице. Хоть бы одна живая душа попалась навстречу — никого, улус точно вымер. Все попрятались у себя за за-

борами. На крышах томится козий творог, забытые кучи зерна на брезенте,— просеивать зерно пустое занятие в такой безветренный день. Всюду на изгородях сушится одежда, в основном мужская: хозяйки готовят своих мужей в дальнюю дорогу. В далекую и опасную!

Я заглядываю в дом к Эрдэни. Надо узнать, возвратился он или нет. Но и там пусто.

Загребая босыми ногами горячую пыль, иду, напеваю под нос что-то невнятное даже самому себе. Солнце стоит так высоко, что коновязи уже не отбрасывают тени. Оказывается, нелегко догнать уходящий день.

Вдруг кто-то сердито окликает меня по имени:

— Батожаб! Стой!

Я оглянулся.

На Белоногом несется всадник с черным, изрытым оспинами лицом. Это Ендон, бригадир, отец моего одноклассника Баянды. Мы с его сыном в ссоре, и мне неприятна эта встреча. Ендон, нависая надо мной грузным телом, выпаливает прямо в лицо:

— Своевольничаешь! Голова от вас кругом идет! Один бросает без разрешения табун, другой, от горшка два вершка, самовольно назначает себя ночным конюхом! А я на что?! Но я наведу порядок! — Ендон теснит меня конем, заставляя отступить к изгороди.

— Эрдэни ахай попросил меня всего на одну ночь...— бормочу я.

Бригадир — большой начальник, весь улус под ним.

— «Попросил»! Детский сад прямо! Ты хоть подпругу подтянуть можешь? Из-за конского крупа шапки не видно!

— Я ездил в ночное с Эрдэни ахаем много раз.

— Он ездил! Он знает! Ему с бригадиром зачем говорить? Незачем ему бригадир! Он сам себе голова, однако,— что хочу, то ворочу!..

Белоногий так и ходит под грузным телом бригадира.

— Не пойду больше в ночное! Не буду табунщиком! — запальчиво кричу я и, повернувшись, ухожу быстрым шагом.

Но Ендон, развернувшись, нагоняет, теснит меня конем.

— Ага! Не будешь? Ловкий какой! Нет уж, раз взялся, пеняй на себя. Не погляжу, что мал. За табун теперь ты головой отвечаешь!

Ендон огрел Белоногого плеткой, но, тут же осадив коня, крикнул:

— Сегодня ночью поведешь табун — и не вздумай своевольничать.

Я не знал, радоваться мне или огорчаться. Бригадир все-таки назначил меня ночным конюхом. Я не успел сказать Ендону, что привел сегодня с табуном нового коня.

Незаметно для себя я очутился на берегу Гангаты, маленькой речушки, что течет посреди нашего улуса. Как всегда, на берегу стирали женщины. Только сегодня не было слышно ни смеха, ни веселой перебранки. Вон моя мать нагнулась над тазом. Из нашей семьи никто не уходит в армию. Но стирки хватает — целая гора выстиранного белья. Я остановился за спиной у матери, наблюдаю: до чего ловкие у нее руки! Пена пухлой шапкой стоит над тазом, колюче искрятся на солнце мыльные пузырьки.

— Давай сюда рубашку, ишь потемнела от пота.

Снимаю рубашку, отдаю матери. Минуту-другую мать трудится, трет, разгибается, отводит рукой упавшие на глаза волосы, ласково и устало смотрит на меня.

— Ну, помощник, помогай отжимать. Да полегче, а то вместо рубашки одни лохмотья получишь. Как ночь прошла, не замерз?

— Нет...

— Смотри мне! Ночи летом обманчивы, сынок. Перед рассветом бывает холодно, заболеть недолго. Когда опять пойдешь в ночное, обязательно захвати с собой куртку да и поесть чего-нибудь возьми.

Мать раскладывает на траве выстиранные вещи. Потом садится прямо на землю, достает махорку, ловко скатывает самокрутку, затягивается.

— Эрдэни — опытный табунщик. Учись у него, пригодится.

— Да...— нехотя бормочу я и стараюсь не глядеть на мать.

Я сижу рядом с ней, бросаю в реку камешки, а вокруг цветным хороводом легла одежда. Чего тут только нет! Летний тэрлик нашей шабгансы, пестрые платья сестренки, штанишки Дондоя... Кажется, и одеваем-то мало летом, а вон сколько набралось — не сосчитать. Трудно поверить, что мама одна перестирала эти платья, рубахи, рубашки, рубашонки, штаны разных размеров

Мать не только стирает, она тащит все хозяйство по дому,— бабушка уже стара, Сэрэн-Дулма день и ночь в поле у трактора. Но ведь и мать с раннего утра до самой ночи на ферме. Для меня загадка, когда она успевает все делать. Я исподтишка приглядываюсь к ней: худое, темное лицо, запавшие глаза и усталое выражение глубоко спрятанного горя. Я теперь даже и представить не могу мать веселой.

Мама подозрительно смотрит на меня.

— Что-то ты глаза прячешь? Говори, в чем дело! Не мастак ты у меня скрывать... Как Эрдэни?

— Он... он уехал вчера в аймачный центр и не вернулся. Он хотел добровольцем...

Мать даже перестает курить.

— Ты что — один был с табуном?

— Я даже лишнего коня привел!

— Ты мне зубы не заговаривай! Я тебя спрашиваю — неужели ты один табун на ночь повел?

— Эрдэни попросил.

— Он бы еще Бараса попросил!

— Я же справился, ма. Я еще прибившегося коня привел.

— Сегодня чужого коня привел, завтра своих потеряешь.

— Я вовсе не маленький, ма.

— Маленький! Если с табуном случится беда, отвечать не тебе, а мне. Мало нам беды с отцом. Не пойдешь больше в ночное!

— Ма!..

— Сейчас же иди к бригадиру и откажись!..

Мать закашлялась. Ее давно уже донимает этот сухой, надсадный кашель. Надо лечиться, надо бы куда-то уехать, а она работает и день и ночь.

— Ма, зачем ругаешь?

— Затем... Затем, что ты глуп.

— Война, ма. Эрдэни ушел в армию, другие уйдут, кому табун гонять? Мне гонять табун. Я с Эрдэни много раз гонял. Больше некому, ма.

Мать не ответила, принялась собирать белье. Я стал помогать ей, тоже собирал теплые от солнца, влажные тряпки.

Мать молчала; ее лучше пока не трогать.

На велосипеде подкатила к берегу Хурла, наш почтальон. Она слезла с седла и стала деловито рыться в

туго набитой большой черной сумке. Все женщины побросали стирку, потянулись к Хурле.

— Письма есть?

— Свежие-то газеты уж должны быть,

— Какие новости?

— Да не томи ты! Давай быстрей!..

Хурла протянула мне газету:

— Читай, ты здесь самый грамотный.

На первой странице «Буряад-монголой у нэн» сообщение: «...сегодня утром регулярные войска германской армии вторглись на территорию нашей Родины от Балтийского моря до Черного. Германские войска вступили в схватку с передовыми частями Красной Армии... Немецкие самолеты бомбили города Киев, Житомир, Севастополь, Каунас...»

Мы никогда не видели этих городов, о некоторых даже и не слышали, плохо представляли себе, где они находятся. На далекие города падают бомбы, а это значит — беда пришла к нам, на нашу землю, в наши дома. Старые и молодые бурятки с мокрыми от стирки руками слушают первое известие с фронта. Самое первое! Четыре года изо дня в день им придется слушать эти известия. Изо дня в день — тяжелые и радостные, скупые и торжественные.

Я прочел сообщение от первой до последней строчки один раз, потом второй. В конце газеты говорилось, что в Сибирском военном округе объявлена всеобщая мобилизация. Значит, пора собирать наших парней в дорогу.

Хурла опять начала рыться в сумке.

— Кому? — одновременно выдохнули женщины.

Хурла важно покачала головой.

— Секретно! Меня предупредили — ни одного лишнего слова! А то паника начнется.

Женщины сомкнулись еще тесней:

— Зачем зря говоришь?

— Знать надо, кого собирать в дорогу.

— Моему Бадме есть повестка?

— А моему брату?

— А Гунге?

Хурла достала из сумки серый конверт.

— Смотрите мне, держите язык за зубами! Секретно. Только вам скажу. Семерым парням повестки привезла. Вот слушайте. Банзарову Гунге, Тюрикову Алешке, Гармаеву Эрдэни...

— Когда им ехать?

— Завтра...

Не успел я оглянуться, как мы с матерью остались на берегу одни. Женщин, как сухие листья ветром, сдуло. Только вечно недовольная всем Хурла, охая и вздыхая, возилась со своим велосипедом:

— Сказала я на свою голову! Пойдут болтать!

— Хурла, а от зятя нашего ничего нет? — несмело спросила мать.

— Пихлу! [1] Ну что вы все одно и то же спрашиваете! Нет ничего вашей Сэрэн-Дулме. — Хурла даже, приподняв, стукнула велосипедом о землю. — Ничего!

Моя тетка Сэрэн-Дулма и почтальонша с детства терпеть друг друга не могут. Сердито нажимая на педали, Хурла покатила от опустевшего берега.

— Ма, слышала? Эрдэни взяли в армию!

— Слышала.

— Все равно мне придется быть ночным конюхом, ма.

— Помоги отнести белье!

Я донес ей тяжелую корзину до дому и бегом вернулся обратно к речке. Хотелось на остров — там сейчас все ребята, но уж очень жарко, невмоготу. Решил искупаться прямо в Гангате — рубаху через голову, штаны в сторону и...

Вода теплая. Я погрузился с головой, и течение понесло меня.

Даже в такой маленькой речушке, как Гангата, под водой свой странный мир: тянутся и шевелятся водоросли, пляшет, волнуется перед глазами освещенное солнцем песчаное дно, скользят тени. И сам я здесь совсем другой, странный, — руки перед глазами какие-то туманные, крупные, а ноги... Мои ноги всегда огорчают меня — тонкие и кривые. Не то чтобы уж очень кривые, но все-таки... А сейчас в воде — ну прямо колеса. Видно, я рожден быть только наездником.

Я вынырнул на солнце, на воздух, под синь опрокинутого неба. Собирался нырнуть снова, но услышал смех.

С острова возвращались три парня — Сандак, Гунга и Тюриков Алексей.

— Чей-то поросенок тонет в луже!

— Смотри не заплыви далеко!

---

[1] Возглас удивления.

— Шабганса на остров не пускает. Купайся на мели!

Если стоят над тобой и зубоскалят, какое уж тут удовольствие от купания. Я полез на берег, и парни увидели мою разукрашенную спину:

— Э-э, вон как шабганса его учит.

— А тяжела, видать, еще ручка у бабушки.

— За что она тебя так, Батожаб?

Обижаться нельзя — совсем тогда засмеют, сам переходи в наступление. И я отвечаю:

— Ни за что. Я сам ее просил поколотить меня.

— Эт-то номер! Может, нас попросишь? Мы справимся не хуже бабушки.

— Я силу воли закаляю. Вот смотрите!..

Вырвал рукой пучок крапивы, ударил себя по спине раз, другой, третий. Казалось, кожа на спине стала дыбом, захотелось кричать, плясать от боли, но я жмурился и улыбался:

— А ну попробуйте. Кто сможет?

Парни переминались, поеживались, но смотрели на меня теперь уважительно:

— Ишь ты, расхрабрился!

— И охота тебе!

Победа за мной. Я спокойно поворачиваюсь к ним спиной, не спеша иду к своей одежде — хочется бежать, чесаться, но я степенен, лениво одеваюсь.

Ребята подошли, присели рядом на траву, закурили.

— Слышали, ты вчера один в ночное ходил, это правда?

— Правда.

— И, говорят, с прибылью вернулся?

Я молчу. Не мальчишка, чтобы хвастаться.

— Ты что, каждую ночь собираешься нового коня приводить?

— Только по большим праздникам,— отвечаю я. Зудит от крапивы спина, но настроение у меня отличное. Впервые эти взрослые парни разговаривают со мной как с равным.

— А Эрдэни так и не вернулся из военкомата?

— Нет.

— Видно, тебе придется принимать табун.

Я пожимаю плечами.

Мне нравятся эти ребята. Я всегда с завистью наблюдаю за ними — как они лихо объезжают коней, как легко

и ловко работают, как отплясывают ёхор[1]. Завтра их уже не будет в улусе. Всем троим пришли повестки. Они еще не знают об этом.

Я первый сообщаю им.

Минуту они молча курят, наконец бросают цигарки:

— Что ж, ждали...

— Эх, не успели, как Эрдэни, добровольно.

— Покажем себя не хуже других.

Алешка Тюриков говорит по-русски:

— Иль грудь в крестах, иль голова в кустах.

От реки мы идем вместе. И мне даже кажется, что почтальонша Хурла и мне привезла повестку.

IV.

НОЧЬЮ...

Сегодня я решил пасти коней на самом дальнем урочище. Я веду в ночное не весь табун. Среди моих коней я не вижу Шаргалдая, Белоногого, Высокого Серко. Кто-то из парней взял без разрешения лучших коней и носится сейчас по степи. Если буду ночным конюхом, всех отучу самовольничать. Мыслимое ли дело — гонять усталых коней для забавы! Летняя ночь и так коротка, а утром снова в поле. Только бы мне разыскать виновных. Конечно, жаловаться я к бригадиру не побегу, но второй раз они у меня лошадей не получат.

Я пускаю Гнедого карьером. До Хидама много километров, а кони не торопятся, норовят начать пастись тут же, за улусом. Приходится браться за плетку, орать на бестолковых. Мне трудно держать табун в повиновении, а тут еще мой вчерашний найденыш, со своим строптивым нравом. Он совсем не чувствует себя чужаком, держится скорее хозяином. Того и гляди, возьмет верх над Рваным Подколенком и уведет за собой часть табуна. Чуть прихрамывая, он скачет впереди. Вожак его теснит. Глухо и сердито звенит ботало у него на шее. Надо все время быть начеку — смотреть, чтоб Рваный Подколенок не сцепился с Черногривым. Табун не спокоен. Ему тоже передается возбуждение соперников.

Когда мы добрались до пастбища, я почувствовал,

[1] Ёхор — бурятский национальный танец-хоровод.

что очень устал — с трудом держусь на коне. Сегодня небо надо мной хмурое и неприветливое. Видно, звездный табунщик тоже переменил место пастбища. Тьма такая, что я еле-еле различаю голову Гнедого. И все-таки мне спокойней, чем в первую ночь. Степь уже не кажется мне враждебной, как вчера. Закрыв глаза, я отпускаю поводья и, расслабившись полностью, плыву по ночной степи. Прошлой ночью я ничего не слышал, кроме звона комаров да лягушачьего хора. Теперь степь открывалась мне новыми звуками: вот пискнул в траве мышонок, прошелестела ящерка, вот кобылица хлестнула хвостом своего непослушного малыша, а где-то рядом будоражат тишину совсем немирным разговором два разгорячившихся жеребца.

Неожиданно мое внимание привлекло сердитое урчанье. Оно шло откуда-то снизу, глухое и невнятное. Я насторожился. Урчанье обрывалось, потом слышалось вновь. Почти припав к шее Гнедого, я наконец понял, в чем дело. Виновником непонятных звуков оказался сам Гнедой — наелся травы, переваривает. Я развеселился и с новым азартом принялся разгадывать загадки ночных голосов.

Откуда-то издалека ветер принес песню. Она как эхо — появится и снова исчезнет. Кого в такую глухую пору носит по степи?

Я прислушиваюсь. Постепенно начинаю улавливать обрывки мелодии, потом отдельные слова. Это песня-прощание. Она кружит и кружит на одном месте, поет о близкой разлуке, о том, что в далекой стороне сердце будет страдать от тоски по дому, по родной степи. И еще о любимой, которая останется здесь.

Теперь я различаю не только мужские голоса, но и перестук копыт. Ближе, ближе надвигается он на меня из темноты. Чей-то знакомый голос вдруг окликает:

— Батожаб, э-э-о-о! Где ты там! Принимай коней! Да и гостей в придачу!

Даже на расстоянии ударяет в нос резкий запах конского пота. Совсем замучили лошадей. Тоже мне артисты! Я не спешу откликнуться.

— Где же ты? Тебя что, ночной хозяин проглотил?

— Наконец-то...— говорю я недовольно.— Отпускайте лошадей. Покрасовались, и хватит!

Ночные гости подъезжают почти вплотную. Это все та же неразлучная троица — Гунга, Сандак, Алешка.

— Что плохо гостей встречаешь?

Я молчу.

Кони рвутся, а ребята все медлят отпускать их, будто жаль расставаться.

— Ладно уж, не дуйся,— примирительно говорит Гунга.

Кони, освободившись от удил, словно по команде, опрокидываются навзничь, начинают кататься в сочной траве с боку на бок, стараясь плотнее прижаться к прохладной земле.

— Когда-то нам еще вот так придется поскакать? Кто знает... И проститься кой с кем нужно было.

Я не столько вижу, сколько догадываюсь, что Гунга подмигивает ребятам. Они взрослые, у них, у каждого, девчонки.

— Мы ночь с тобой проведем, ты не против?

Они опускаются на землю, достают табак.

— Может, закуришь за компанию? — говорит мне Алешка.

— Курите сами...

Гнедой недовольно дергает поводом, ему явно не нравится табачный дым.

— Все сердишься за коней. Брось! Завтра мы будем уже тю-тю... далеко. А сегодня ночь наша! Что хотим, то и делаем! И бригадир нам не указ, теперь нам незачем его бояться. У нас, считай, уже другие командиры. И коням мы ничего худого не сделали.

— Держи цигарку,— уговаривает Алешка.— Без табака ночному конюху несподручно — и ночь длиннее, и мысли разные... А табачного дыма всякая тварь боится, мошка и комары от дыма бегут.

Я слезаю с Гнедого, отпускаю его, усаживаюсь рядом с ребятами. Неумело сую в рот самокрутку толщиной с палец и деловито затягиваюсь. Ребята исподтишка наблюдают за мной. Горький дым заполнил легкие, у меня перехватывает дыхание. Как дряхлый старик, я начинаю кашлять, хватать ртом воздух, беспомощно машу руками. Не удержавшись, парни дружно хохочут. Немного отдышавшись, начинаю смеяться и я.

— Помнить нас, однако, будешь теперь.

Разве можно обижаться на ребят сегодня? Мне легко с ними сейчас и грустно, что долго не увижу. Чтобы как-то загладить вину, я предлагаю:

— Завтра на станцию верхом на своих конях хотите? С утра не отдам их в поле.

Ребята оживились, повеселели:

— А что — идет.

— В последний разок перед всеми!

— Знай наших!

Молчаливый Сандак говорит:

— Ты Серко береги, Батожаб.

— И моего Игреневого,— просит Гунга.

— И Рыжуху мою...— Это — Алешка.

Они оставляют здесь своих коней, тех, на которых когда-то своими руками впервые накинули оброть, которых объездили. Кони носят их имена и будут носить всегда, что бы ни случилось.

Я всем обещаю. Я горд — к ночному табунщику, к хозяину степи, пришли гости, мои гости. Вспыхивают огоньки их цигарок, вырывая из темноты лица, еще возбужденные скачкой. Парни начинают вспоминать, подтрунивая друг над другом, не стесняясь меня:

— До самой Кусоты скакали, а лисица ускользнула!

— Кто это хвастал: если девушка дверь не откроет, окно пригодится, а если и окно на запоре, есть дымоход...

— Ничего, после войны ее нагоню.

— После войны новые подрастут.

От ребят попахивает водкой. Я лежу на земле и слушаю. Надо же — ловили на конях девчонок! Неужели и я, когда стану взрослым, тоже буду как угорелый носиться по степи за бабьими юбками? От одной мысли у меня краснеют уши. Хорошо еще, что темно и никто не видит. Я старательно пыхчу папиросой. Хочу наконец научиться курить! Шумно вдыхаю и выдыхаю горький дым. Голова идет кругом, поташнивает, но терплю.

— Скоро рассвет,— говорит Гунга.

— Завтра где-то будем... далеко.

— Да не завтра, а сегодня.

— Вернемся ли?..

— Кто знает...

И ребята надолго замолкают. Мне даже кажется, что они заснули. Нет, лежат, думают, ждут судьбы.

Неужели война продлится долго? Так долго, что девчонки успеют вырасти, стать невестами? А может, парни не доедут до фронта, как — победа, конец войны?.. Хоть, правду сказать, и мне повоевать хочется.

Я кое-как дотянул цигарку, поднялся. Меня немного

знобит. Может быть, от утренней сырости, а может, от волнения. Хорошо, что на мне куртка, которую выстирала мама. Я плотно запахнулся, тихо подозвал Гнедого и, не попрощавшись с парнями, двинулся отыскивать табун.

До чего быстро пролетела эта ночь! Не успел оглянуться, а уж скоро утро. Услышав звук ботала, я понял, что табун недалеко. Первыми увидел коней, которых привели ребята. Они еще не успели насытиться, паслись кучкой. Было слышно, как они шумно вздыхают, пофыркивают, звучно щиплют траву. Я проехал мимо. Ночь еще цеплялась за кустарники, серый дымок висел над впадинами. В этот ранний час предметы казались зыбкими, чуть размытыми. Сонный туман накрывал степь и коней. Сытые, они мирно дремали, ожидая утра.

V.

ДНЕМ...

Ночью — я табунщик, а днем — нянька. Это теперь моя обязанность — смотреть за малышами. Ночью я езжу на Гнедом, а днем малыши ездят на мне. Больше всех мне достается от Бараса. Вот и сейчас он оседлал меня, колотит голыми пятками — весело понукает непослушного коня.

Мы собрались пойти на площадь к конторе — провожать в армию наших односельчан. Барас — сын красного командира и, конечно, должен быть на проводах. Ничего, что он маленький и мало что понимает. Этот день останется в памяти, и мальчик не раз вспомнит его, когда будет взрослым. Барас звонко смеется, упирается острыми коленками мне в бока, воинственно кричит: «Вперед!» — показывает ручонкой на тень, бегущую рядом с нами.

На пятачке перед конторой собралось уже много народа. Оседланные кони стоят у изгороди, нетерпеливо перебирают ногами, отмахиваются хвостами от надоедливых оводов.

Я слово сдержал: ребята поедут на станцию Бады на своих скакунах.

С удивлением замечаю у изгороди и Черногривого. Кого ждет? Неужели нашелся хозяин?

Призывники сидят на бревнах рядом с конторой, ве-

селые, торжественные, будто не на войну, а на праздник. Все разодеты. У кого на груди значок «ГТО», у кого — «Ворошиловский стрелок» или значок «Осоавиахима». Это наши лучшие конники, лучники, стрелки, победители соревнований по национальной борьбе.

Тут же, у всех под ногами, вертится и Бабу-блаженный. Разве может какое-нибудь событие в улусе обойтись без него! И ему на грудь прицепил кто-то значок. Бабу шумит, паясничает, уверяет всех, что тоже собрался на войну. Как всегда, около него стайка ребятишек. Они встречают каждую его проделку воплями.

Людей на площади становится все больше и больше. Кажется, сегодня сюда собрался весь улус. Друзья призывников, их братья, сестры, матери, отцы, бабушки и прабабушки. Стоят пестрыми группками; и в центре каждой — парень, который уезжает на фронт. Его со всех сторон теребят, каждый хочет сказать ему последние слова напутствия, шепнуть самое главное, самое важное, без чего никак нельзя на войне.

Вот из боковой улочки показалась самая старая шабганса нашего улуса — Бошогты. Опираясь на палку, она медленно проходит по площади. Люди расступаются, дают ей дорогу. Но, похоже, она никого не замечает. Морщинистое лицо ее дремотно важно. Она остановилась около парня огромного роста, сняла с шеи ладанку:

— Возьми...

— Ну зачем это, бабушка?

— Это дугэр-гаржама — амулет. Кто носит его, ни пуля, ни сабля не берет. Дугэр-гаржаму носил еще твой дед. Не умер, много, много раз спасался! Береги это, держи всегда при себе. Тут большая, большая сила. Да не вздумай бросать...— Старая накидывает на шею внуку засаленный, потемневший от времени шнурок с серебряной ладанкой.

Внук дергается, как взнузданный конь, старается освободиться из цепких рук своей шабгансы:

— Да не надо мне... Оставь, бабушка... Не те времена...

— Молчи, не бери грех на душу, святой Арья Баала накажет за богохульство!

Вспотевший и красный, внук упрямится:

— Обойдусь как-нибудь без этих штучек, бабуся...

Все с интересом наблюдают за этой сценой.

— Бери, бери, парень, не отказывайся,— вмешивается кто-то из призывников.

Другой предлагает: авось да поможет.

— А то давай спытаем эту святую штучку на том козле, что лежит у изгороди.

Ребята смеются, а старшие с возмущением качают головами; женщины начинают браниться. Но ребят не унять.

Разве осмелились бы они в другое время перечить тем, у кого седой волос?

Бадма ахай, что работает подвозчиком горючего в тракторной бригаде, вытаскивает из-за пазухи бутылку.

— Воздадим сэржэм![1] — говорит он с шутливой серьезностью и брызгает водкой во все стороны.— Это для порядка. О святых в таком деле забывать нельзя. Настоящий солдат должен испить живой воды перед дорогой.

— Возвратимся с победой — тогда напьемся, а сейчас никак нельзя.

— Старость уважать надо. Хоть пригубьте для порядка.

Бутылка идет по кругу. Делая по два-три глотка прямо из горлышка, парни передают ее один другому, пока она не возвращается к хозяину.

Хромой счетовод Намсарай достал из кармана пухлый кошелек.

— Бурятский обычай говорит, что в дороге не должно быть нужды. Получайте по пять рублей на душу.

— Ого! Сроду такого богатства в руках не держал! Что с ним делать? — смеются парни и смущенно прячут деньги.

Дареное возвращать нельзя — обидишь.

Чуть в стороне, прижатый к забору, еще один парень отбивается от своей бабушки. Она принесла на площадь большой, как ящик, чемодан, доверху набитый едой, и требует, чтобы внук непременно взял его с собой в дорогу.

— ...Копченое мясо, жареное мясо, масло в туеске,— деловито перечисляет старушка.— Своя ноша не тяжела. Не для тебя одного припасено. Вон какие баторы собрались, все под метелку подберете, помяни мое слово. Еще спасибо своей бабушке скажешь.

[1] Сэржэм — старинный ритуал перед едой для умилостивления духов.

Смирившийся внук покорно соглашается.

Провожает старшего сына в армию и тетя Варя. Заплаканными глазами смотрит она на своего Алешу и все время, как во сне, твердит одно и то же:

— Алешенька, кровинушка! Ты писать-то не забывай! Пиши! Хоть по две строчки, но каждый день. По две строчки... Что тебе стоит?

Тюриковы давно живут в нашем улусе. Все привыкли к этой семье и любят, считают своими.

— Ладно, буду, ведь обещал тебе... Опять за свое...— Алеша отвечает ей по-бурятски. Он вырос в нашем улусе и бурятский язык знает, как свой родной, русский.

Я перехожу от одной группы к другой, смотрю, слушаю.

— Сын родится, назови Баиром. А дочери уж сама имя подбери...

— Свадьбу сыграем, когда вернусь, только жди...

— Вместо меня сядешь на трактор...

Барас сидит у меня на плечах, радуется, хлопает в ладоши. Ему нравится, что вокруг много народу и все шумят, громко разговаривают. Где ему понять, что сейчас на сердце у этих людей? Наверно, и я не все хорошо понимаю. Одни старики да матери знают настоящую цену этому празднику.

— Барас, скажи ребятам: если встретят твоего отца, военного командира, пусть расскажут ему, какой ты стал большой. Пусть передадут от нас привет.

Барасик просится на руки к незнакомым людям, теребит ребят за чубы, тянется за блестящими значками.

Вдруг площадь затихает. Начинается прощальный митинг. Люди расступились, и на середину круга вышел восьмидесятилетний старик с белой бородой до пояса. Это Найдан-баабай, наш улигершин — сказитель. Его знают не только в улусе, но и во всей округе. Мне кажется, что баабай помнит все бурятские сказания и легенды. Недаром из города приезжали их записывать.

Баабай неторопливо заткнул за пояс подол синего чесучового халата, сел, скрестив ноги, на коврик и взял в руки морин-хур [1]. Все смолкли. Даже мой Барас присмирел. Улигершин в нашем краю очень почтенный человек. Ни один праздник, ни одна свадьба не обходятся без сказителя. Бабушка говорит, что его называли хур-

[1] Морин-хур — смычковый музыкальный инструмент.

чи — «сиротливый певец», но наш Найдан-баабай не сирота: у него столько внуков и правнуков, что со счету собьешься.

Сегодня улигершин начал не с песни. Слова его, как клятва, падали в тишину.

— Сыновья, внуки, правнуки! — начал он торжественно.— Великие испытания принес на нашу землю год огненной змеи. Здесь, у подножия гор Трех Кобылиц, начинаете вы свой нелегкий путь. Отсюда уходил на борьбу с врагами славный Бабжи-батор, отсюда уходили ваши отцы и деды. Теперь настал ваш черед. Мы уже стары и не можем пойти вместе с вами. Вам, юным баторам, вверяем мы свою честь, честь нашей земли. Мужчина мужает в битве. Пройдя сквозь огонь, он становится богатырем. Помните это! Битва будет жестокой, но мы надеемся на вас, верим вам, ждем вас с победой!

Найдан-баабай низко поклонился и умолк. Никто не пошевелился. Не поднимая головы, он тихо сказал:

— Теперь я спою вам старинную боевую песню.

Морин-хур зазвучал в его руках.

По высоким горам,
Дархитуйским горам
Проскакал я на резвом коне!
На девятом десятке врагов поразил —
Это мудрость явилась ко мне.
По высоким горам,
Хохюртинским горам
Проскакал я на славном коне!
В двадцать лет я захватчиков тьму поборол —
Это сила явилась ко мне.
По высоким, по северным, диким горам
Проскакал я на быстром коне!
Я в пятнадцать охотиться стал на зверей —
Это храбрость явилась ко мне.

Мне уже пятнадцать лет, думал я, а что хорошего сделал я в своей жизни? На моем счету нет ни одного медведя, не то что врага. Только вот сейчас я занялся настоящим мужским делом.

Песня, которую пел Найдан-баабай, пришла к нам из глубины веков. Мы не раз слышали эти слова, но сейчас они звучали по-новому. Казалось, ожили наши предки и заговорили с нами языком песни. Мудрость обращалась к молодости, звала на бой.

Какие горы придется перейти нашим ребятам, какие пропасти преодолеть?..

Вторым взял слово кузнец Гарма Булатов, тоже очень уважаемый в нашем колхозе человек. Можно сказать, всю жизнь он простоял у горна. На шее и на руках у него следы шрамов и ожогов. Нелегкая это работа — быть кузнецом. Гарма говорит громко, будто бьет большим молотом по наковальне. Когда он кончил, ему долго аплодировали.

Последним выступил бригадир. Сначала он вытащил из полевой сумки листок, долго вчитывался в него, вздыхал, потом махнул рукой, скомкал бумажку, отшвырнул в сторону и чуть охрипшим голосом начал:

— Сейчас перед вами выступали самые почетные люди нашего улуса, наши старейшины. Они сказали все, как надо. Возвращайтесь скорее с победой, мы будем ждать вас. А я вот еще что хотел сказать вам. Нередко я бранил вас по делу, а может, и без дела, сгоряча. Что сделаешь, такая уж должность. Теперь у вас будут новые строгие начальники, воинские... Выполняйте их приказы беспрекословно...

Обычно во время своих выступлений бригадир кричал, распекал всех, а сегодня даже голос другой, потише.

— Теперь я к вам обращаюсь, товарищи колхозники! Здесь, в тылу, мы должны помогать нашим сыновьям, ушедшим на фронт. Каждому предстоит работать за двоих, за троих. Идет трудная пора. Очень трудная. Скоро сенокос, потом уборка урожая, а там и зима не за горами. Мы в тылу должны во всем быть достойными наших доблестных воинов... А теперь, друзья, баяртай! До свидания! Пора в дорогу...

Громкие рыдания прервали его последние слова. Это тетя Варя заплакала на всю площадь. Старики неодобрительно закачали головами. Разве в далекую дорогу так провожают?.. Буряту не положено плакать, ни одной слезинки нельзя проронить. Плохая примета — дорогу слезами поливать. По бурятскому обычаю, при расставании целуют близкого в одну щеку, а когда он возвращается — в другую. Вот как у нас положено. А еще можно на прощанье руку пожать. Крепко.

Кони запряжены в телеги и ждут своих возниц. Призывники поедут на первой телеге, а за ними — близкие, что собрались проводить их до станции. Мой друг Мунко тоже поедет со своим двоюродным братом.

Барас совсем перестал меня слушаться, залез на те-

легу, устроился среди чемоданов. С большим трудом удается мне вытащить его оттуда.

Наконец все готово, и телеги двинулись одна за другой. Только с последней упряжкой произошла неожиданная заминка — в нее впрягли Черногривого. Когда запрягали, вел себя спокойно, а тут заупрямился — с места не сдвинешь.

— Кнута давно не пробовал! — горячится возница.

Ни кнут, ни крики, ни ругань не помогают. Черногривый хрипит, пятится, надвигает хомут на уши.

— Кто надумал его в упряжку ставить?! — кричит бригадир.

Да разве в этой суете найдешь — кто?

Расталкивая всех, из толпы выскакивает почтальонша Хурла и, не обращая ни на кого внимания, начинает распрягать Черногривого.

— Кто без толку ругается, у того конь спотыкается! Пихлу! Мало вам в табуне коней! Неужели не видите, что этот конь — не чета вашим меринам. В телегу запрягли! Не хочет он везти ребят на войну, поняли? За грехи наши война нам послана. Святые места забросили, обычаи стариков забыли! До чего додумались — святого коня в телегу! — сварливо приговаривает Хурла и тащит Черногривого в сторону. И странно — он идет за ней, не упираясь.

Я с удивлением слушаю Хурлу. Но в суматохе мало кто еще обращает внимание на ее слова.

Наконец впрягли другую лошадь, и она затрусила, нагоняя уходящую колонну. Мы стоим и машем руками, пока телеги не скрываются из виду...

VI.

НОЧЬЮ...

Сегодня я взял с собою в ночное махорку и, хотя курить мне совсем не хочется, с удовольствием ощупываю в кармане кисет.

Ночь пасмурная, небо затянуто тучами. Они висят так низко, что кажется, подбрось шапку чуть повыше — и зачерпнешь этой серой мокрой ваты. Начинает накрапывать дождь. В ровной степи укрыться негде. Я снимаю куртку, делаю из нее что-то вроде балахона и накидываю на голову. Наверно, я похож на страуса: голову

спрятал, а все тело наружу... Хоть дождик моросит несильный, но вскоре на мне не остается и сухой нитки. Сидеть на коне во время дождя — удовольствие небольшое, но другого выхода нет.

Гнедой идет мелкой рысью. Меня подкидывает, как на ухабах, трясет. Но, пожалуй, это даже лучше, не так холодно. Воздух пропитан сыростью. Чтобы развлечься, я пускаю Гнедого в карьер, потом заставляю идти рысью, потом перехожу в галоп. Гнедой сердится, не может понять, к чему все эти фокусы. Но я увлекся и не думаю о нем.

Мне начинает казаться, что подо мной не Гнедой, а настоящий богатырский конь, хулэг, а в руках у меня не урга [1], а боевая пика. Ухватившись за высокую луку седла, я начинаю проделывать акробатические номера: перебрасываю свое тело с правого бока коня на левый. Эх, научиться бы еще на полном скаку подымать с земли шапку! Ночью это, конечно, невозможно, но я даю себе слово с завтрашнего же дня начать тренироваться. Как я не додумался до этого раньше! Ночной табунщик должен быть сильным и ловким, как настоящий джигит. Я видел в кино, что они вытворяют на состязаниях. Надо научиться на всем скаку без промаха бить из винтовки, с одного маха перерубать лозу, метать в цель гранату. Ведь если война затянется так, что девчонки вырастут в невест, то и я пойду на войну. Пусть командиры удивятся, какой умелый боец им достался!

Я так размечтался, что чуть было не забыл о самом главном. Ведь джигиты, распрямившись во весь рост, стоят на спине лошади. Пожалуй, можно попробовать не откладывая. Подтянув подводья, я замедлил бег Гнедого, чтобы удобнее было взобраться на седло. Это оказалось не так-то просто. Стараясь не потерять равновесия, я выпрямился и не успел сообразить, в чем дело, как седло рвануло куда-то вниз, и я очутился на земле. Проехав животом по жесткой траве, я вскочил, но мокрые поводья выскользнули из рук, и Гнедой скрылся в темноте.

— Куда тебя понесло, стой!

Гнедой ушел далеко, он упорно не хотел подпускать меня к себе. Стоило мне приблизиться, как он тут же отбегал в сторону и замирал в ожидании.

---

[1] Урга — шест с волосяной петлей для ловли коней.

— Чего испугался? Ну, чего? Глупая скотина! — пробовал я уговорить его.— Это я, Батожаб.

Длинный повод волочился по земле, и я надеялся дотянуться до него. Но как только нагибался, Гнедой снова оказывался впереди. Похоже, что он просто дразнит меня.

— Погоди, черт! Дай только добраться! — Я начинал не на шутку сердиться.— Ты — конь. Где это видано, чтобы конь не слушался хозяина? Не сяду больше на тебя, слышишь, другого возьму! — кричу я в ночь, злюсь, но Гнедой играет, не дается в руки. Наконец я совсем потерял его из виду.

А дождь моросит все сильней и сильней. От влаги становится трудно дышать. Одежда намокла и стала тяжелой, в ботинках хлюпает вода. Высокая трава перехлестывает ноги, мешает двигаться, и сам я, как стреноженный конь, спотыкаюсь о каждый бугорок.

Ну и ночка! Меня то знобит от холода, то бросает в жар. Я бреду по степи, ругая себя последними словами. Сам упустил коня, теперь ищи-свищи ветра в поле!

В темноте я незаметно забрался в самую середину табуна. Того и гляди, какой-нибудь дикарь так лягнет, что имя свое позабудешь. Если уж Гнедой своего хозяина ослушался, то что с этих возьмешь! Разве должен ночной табунщик пешком под лошадиными хвостами болтаться! Сам во всем виноват... Пехота...

Выбравшись кое-как из табуна, бреду в сторону. Всюду мне слышится ржанье Гнедого. Пройду несколько шагов, остановлюсь, прислушаюсь... Нет, только дождь шумит. Опять плетусь дальше. Наконец и звона ботала не стало слышно. Теперь я влип окончательно. Ни табуна, ни Гнедого... Мне хочется плакать. Совсем не мужское это дело, а слезы не слушаются, текут по щекам, смешиваясь с холодными каплями дождя. Хорошо, что никто не видит моего позора.

Хоть из-под земли, но я должен добыть коня! Видно, придется идти в улус пешком, достать лошадь и до рассвета вернуться к табуну. Лишь бы по дороге никого не встретить. Начнутся расспросы — что случилось, зачем пришел? Что отвечу?.. Я устал, я валюсь с ног, но делать нечего — я шагаю в сторону улуса.

Долго иду, спотыкаясь, волоча себя и свою тяжелую, отсыревшую одежду. Вдруг слышу:

— Батожа-а-аб!

Это еще что? Только нечистая сила может в такую ночь кружить по степи. Отзовись — и она начинает играть с тобой в прятки, аукать, окликать то с одной стороны, то с другой. Сколько я таких историй слышал...

— Батожаб, Батожа-аб! — раздается опять.

Прислушиваюсь. Похоже, нечистая сила окликает меня голосом Мунко, моего лучшего друга. Меня предупреждали, что хозяева степи могут подражать любым голосам. Я упорно молчу. Не так-то просто меня одурачить.

— Да что ты — сквозь землю провалился? — сердито выговаривает нечистая сила голосом моего друга.

«Что, если это и вправду Мунко? Покричит-покричит и уйдет домой, а я так и буду бегать один по степи...»

— Я здесь! — неожиданно для самого себя кричу я в ночь.

Темнота рванулась навстречу конским ржанием, и передо мной вырос Мунко на Высоком Серко.

— Ты что, в-в-воды в рот набрал?

Сразу мне становится легко, исчезает усталость. Мунко, мой Мунко разыскал меня! В такую-то ночь!

— Почему не отвечал?

— А зачем не своим голосом кричал? Напугать меня хотел? Я тебя за беса принял.

— Д-д-да ты что! Я сам еле держусь в седле от страха...

Мунко действительно заикается больше обычного.

— Зачем приехал?

— А к-к-как — зачем! Смотри, как льет. С-с-совсем небо прохудилось. Мать твоя оч-ч-ень волновалась, сама хотела ехать, тебя искать. Д-д-держи плащ!

Ночь теперь казалась мне не такой уж темной и дождь не таким уж сильным.

— Спасибо тебе, Мунко,— говорю я тихо.

— В-в-вот еще! Мне давно хотелось с т-т-тобой пойти. Вот выбрался наконец. А ты ч-ч-чего пешком по степи бегаешь? П-п-пеших табунщиков ни разу не видывал.

— Хорошо, что хоть пешего встретил... Упустил я Гнедого.

— Кк-к-как — упустил?!

— Да так... Хотел потренироваться, как джигит, да и свалился,— честно признался я.

Мунко сначала оторопело смотрит на меня, а потом начинает хохотать, пригибаясь к гриве.

— Д-д-джигит! Ох-хи-хи! Тренировался!.. Пеший табунщик! Ха-ха-ха! Лезь ко мне. Спина у Серко широкая. Т-т-только я без седла.— Мунко подвел Серко вплотную ко мне.— Наступай на мою ногу.

Вдвоем на коне сидеть неудобно. Особенно достается тому, кто сзади, того и гляди, такую мозоль на одном месте набьешь, что месяц ходи раскорякой. Но выбирать не приходится. Хоть к черту на рога попросишься, только бы скорее найти табун.

— Давай быстрей! — упрашиваю я Мунко.

— Б-б-быстрее можно, да куда ехать, в какую сторону, джигит?

— А ботала не слышно? Мне кажется, последний раз я его откуда-то слева слышал...

Мы медленно трогаемся. Серко идет легкой трусцой. Спина у него приятная, теплая, я согреваться начал. Напрягаю слух. Сделав несколько бесцельных кругов по степи, мы останавливаемся. Мунко машет рукой в одну сторону — север, мол, там, а я убежден, что он показывает на восток. Я хочу идти в одном направлении, Мунко — в другом. Мы начинаем громко спорить. В конце концов, кому, как не мне, табунщику, знать, где мои кони! Мунко цокает языком и невозмутимо спрашивает:

— На чьем коне сидишь, табунщик?

Наконец приходим к мудрому решению: пусть Серко сам дорогу к табуну ищет. Мунко отпустил поводья, и конек, которого больше не дергают из стороны в сторону, развернулся кругом — на все сто восемьдесят! — и пошел резвой рысью.

Я вцепился в Мунко, он — в гриву коня. Теперь надо хорошо держаться, чтобы уже вдвоем не очутиться на земле.

Через некоторое время услышали звон ботала. Вот он — мой табун! Мы дружно скатились со спины Серко, стреножили его и отпустили пастись, а сами, завернувшись в плащ, уселись на землю. Мунко стал рассказывать, как он ездил с призывниками на станцию Бады.

— Вот Серко привел к табуну! А мы спорили, чуть не разодрались... Кони — самые умные, умней людей д-даже. А что на станции было, когда лошади поняли — ребята уезжают без них. Как сбесились — в руках не удержать. У Игреневого Гунги на глазах даже слезы,

честное слово! Не веришь? Сам видел! Помнишь, Найдан-баабай рассказывал о коне забайкальского казака...

Я хорошо помнил этот рассказ. Раньше южные границы охраняли казачьи войска. Каждый бурят шел на военную службу со своим снаряжением, оружием и конем. Служба была долгая — не год и не два. Вот окончился у одного казака срок службы на реке Амуре, а конь к тому времени стар стал. Хоть и трудно было с ним расстаться, но решил казак не мучить коня долгой дорогой и оставить его друзьям: пусть спокойно свой век доживает. Нашел он добрых людей и стал домой собираться. А конь будто почуял, что хозяин покинуть его хочет, трется о его плечо головой, ржет тихо, словно уговаривает: не бросай, возьми с собой... Вернулся казак в родной улус к прежней жизни, да нет-нет и взгрустнется ему, как коня вспомнит. Прошел, наверное, год. Возвращается он как-то домой — и слышит знакомое ржанье. Не поверил казак своим ушам! Смотрит — у коновязи стоит его конь. Через столько гор переправился, столько рек переплыл, а пришел все-таки! Трудно поверить, но старики говорят — так было.

Мы сидим с Мунко, тесно прижавшись друг к другу. Дождь барабанит по плащ-палатке, а нам уютно, тепло.

Вдруг Мунко начинает рыться в карманах. Возился-возился, нашел что-то и тычет мне в руку.

— Держи огурец. В колхозном п-п-парнике раздобыл. Угощайся. Хочешь, завтра пойдем туда вдвоем.

Я чувствую на ладони шершавую кожицу молодого огурца. В прошлом году мы не раз делали набеги на колхозные огороды.

— Не буду есть! Теперь забудь про это, понял?

— Ты что?

— Сам не пойду больше в парники и другим не советую туда соваться.

Мунко обиделся и даже полез из-под плащ-палатки наружу, но я не пустил его.

— Давай выкурим Трубку Мира,— вспомнил я про кисет.— Я уже умею курить. Смотри, учись, пока я жив,— заважничал я.— Ночному конюху нельзя без огня. Никак нельзя. Закурю, и всякая мошка мне нипочем. Раз и ты вышел в ночное — кури!

Я протягиваю другу неловко скрученную цигарку. Мунко затягивается и начинает кашлять, точно как я в прошлую ночь.

— Ну ее. Не буду!
— Ничего, привыкнешь...
— Ну ее! Не хочу! — Мунко отталкивает мою руку, и я чувствую, что пальцы у него ледяные.
— Руки у тебя холодные, как у черта!
— А ты что — с чертом здоровался?
— Здоровался...
— В следующий раз пойдешь в гости, меня не забудь.
— Мне что? Мы с ним теперь друзья.— Я вхожу в игру.— Он, может, собирается меня навестить. Рога у него латунные, глазищи кремневые, нос крючком.
Мунко вздрагивает.
— Б-б-брось! Не бо-болтай!..
Все-таки я за эти несколько ночей стал смелее. Первую ночь и меня, как Мунко, трясло.
— Ладно. Шучу. Никаких чертей здесь нет,— говорю я нарочно громко.
— А м-м-меня за кого принял? Н-нет!.. Сам же... когда я тебя окликал...— Мунко дрожит.
— Слушай, давай побегаем, а то окоченеть можно.
— Я не з-з-замерз,— поеживается Мунко,— т-только страшно и... очень спать хочется, глаза сами слипаются. Я немного посплю, а ты посторожи... Во сне не так страшно.
— Нет! На сырой земле спать нельзя. Нет, встанем лучше. Не хочешь бегать, давай поборемся.— Я вскочил, отбросил плащ-палатку и сильно толкнул Мунко в плечо.
— Ч-ч-чего?..
Мунко пошел на меня медведем. Мы с сопением покатились по высокой сырой траве. Мунко ростом меньше меня, но сильный, я не могу с ним сладить. И на этот раз он быстро одолел меня.
— Ну, давай еще! — в азарте я вскакиваю на ноги и, чуть отдышавшись, становлюсь в стойку.— Ну, начал!
Мы не заметили, как пролетел остаток ночи. Оказывается, хорошо в ночном, когда рядом друг. Надо попросить у бригадира помощника. Вдвоем с Мунко мы легко справимся с табуном.
...После дождя кони как умытые, будто кто их долго чистил скребками да гривы расчесал. Многих коней я даже не сразу узнал, такие они нарядные, чистые, отдохнувшие. И мой Гнедой ходит среди них как ни в чем не бывало. По первому зову подошел и бок подставил:

садись, мол. Будто не он заставил меня полночи под дождем бегать.

А ведь запомню этот урок. На всю жизнь.

Вдвоем с Мунко мы быстро собираем табун и под посвистывание сусликов, выбравшихся после дождя из своих нор, двигаемся к дому.

VII.

ДНЕМ...

Дом почтальонши Хурлы стоит на самом краю улуса. Уже несколько дней я собираюсь к ней зайти: а вдруг пришло письмо от нашего зятя? В последнее время Сэрэн-Дулма ходит как в воду опущенная. Она ничего не говорит, но я точно знаю — это оттого, что долго нет писем. Вот было бы здорово: я открываю дверь, а Хурла протягивает мне письмо: «Ну, Батожаб, пляши! Наконец-то ваш хуряахай про вас вспомнил». Такой уж характер у нашей почтальонши: никогда не упустит случая сказать пообидней. Но я не обратил бы внимания, что она ни скажи, схватил бы письмо и пулей бы кинулся обратно, обрадовать тетю. Я все так живо представил себе, что мне показалось, будто письмо у меня в кармане.

— Эй, есть кто дома? — я несмело стучу в дверь.

Она чуть приоткрыта. Дергаю ее сильней, вижу высокую кровать с никелированными спинками, гору подушек, стол, заваленный газетами и журналами.

— Хурла-абгай, вы дома? — я опять стучу, но никто не отвечает.

Я усаживаюсь на крыльце. Рядом со мной кипа газет, журналов, почти такая же, как на столе в комнате. Я листаю газеты и удивляюсь: здесь и вчерашняя, и позавчерашняя почта, и третьего дня... Почему она до сих пор не у подписчиков? Хорошо же работает наш почтальон! Очень может быть, что и наше письмо уже несколько дней лежит у нее на столе, а мы волнуемся...

Из одной газеты выпадает сложенный листок. «Дорогая моя мамочка!» — успеваю я прочесть написанное красивым, ровным почерком.

— Ты почему читаешь чужие письма?

Передо мной стоит совсем незнакомая девчонка.

Я никогда не видел ее в улусе. Я замечаю, что она очень красивая. У нее в черных косах — красные ленты-бабочки, длинные ресницы и еще — очень сердитые глаза.

— Я не хотел читать твое письмо. Просто... просто мне понравился твой почерк! — я растерялся. Еще и вправду подумает, что я люблю читать чужие письма.

— Тебе понравился мой почерк?

— Понравился! — говорю я не очень уверенно.

Девчонка смотрит на меня с недоверием, но я чувствую, что ей польстили мои слова.

— Ну что ты, если бы ты видел, как пишет одна девчонка из нашего класса! Вот у нее действительно красивый почерк.

— А ты в каком классе учишься?

— Перешла в седьмой.

— А где?

— В первой школе, в Улан-Удэ.

— О-о! — я даже присвистнул. Мне еще не доводилось встречаться с городскими жителями.— Ты из Улан-Удэ к нам приехала?

Я никогда не ездил в большой город. А как бы мне хотелось там побывать! Город — моя мечта, город — восторженные рассказы отца, город — далекие сказки моего детства. Не так-то часто в нашем улусе появлялись люди из города, а если и появлялись, то ходили важно с бригадиром, были далеко от меня. А тут — вот она, городская, стоит рядом, готова говорить. И я невольно сорвался в галоп:

— А правда ли, что в городе можно заблудиться среди домов? А сколько этажей в самом высоком доме? А говорят, можно в домах купаться. А правда ли, в каждом доме много-много комнат, больше, чем в нашем улусе домов? И в каждую комнату, говорят, проведена по трубам вода?

— А ты что, никогда не был в городе? — удивляется девочка.

— Никогда,— вздыхаю я.

Девочка протягивает мне фотографии.

— Смотри, это моя мама. Она врач, и ее уже взяли на фронт. А папа работает на мясокомбинате. Так что я теперь до конца войны буду здесь жить, у тети Хурлы. Она — папина родная сестра. А ты в каком классе учишься?

— Перешел в восьмой, но, если до первого сентября

война не окончится, учиться не буду. Придется работать...

— Неужели ты думаешь, что до первого сентября война не кончится? Ты уже работаешь? А где? А кем? — теперь пришла ее очередь удивляться.

— Ночным табунщиком.

— А-а...— Она понимающе кивнула, потом не выдержала: — А что такое ночной табунщик?

— Это очень ответственная работа,— говорю я солидно.— Я ночью пасу колхозный табун.

Девчонка смотрит на меня с уважением.

— Я на городской олимпиаде исполняла танец наездниц, а на лошади никогда не сидела. Ты сможешь научить меня ездить верхом?

— Конечно, смогу! — с радостью обещаю я.

— Вот здорово! Давай наконец познакомимся.— Она протягивает мне руку: — Меня зовут Зина.

Я осторожно пожимаю тонкую, нежную руку:

— Батожаб.

— Ого, не успела приехать — уж ребят приглашаешь ко мне в дом?

Мы так увлеклись разговором, что не заметили, как к дому на велосипеде подъехала хозяйка. Зина покраснела и отдернула руку.

— Я его не приглашала, он сам пришел.

Хурла тяжело слезла с велосипеда, прислонила его к стене, села на крыльцо.

— Ну и жара! Ты хоть очаг разожгла, чай приготовила?

— Нет, не успела. Я думала, вы приедете позже.

— О пихлу! Нет хуже городских детей, все белоручки и лентяи! Тут целый день крутишься как заводная, себя не жалеешь, а она даже чай не могла согреть. Иди быстро в летник, разжигай очаг. Ну что своими глазищами хлопаешь? Да занеси сначала сумку в дом! — Хурла кивает на толстую сумку, висящую на велосипеде.— А тебе что? — Она неодобрительно смотрит на меня.

— Хурла-абгай, я пришел спросить, нет ли письма от нашего хуряахая?

— Как вы мне надоели с вашим хуряахаем! Если бы у вас действительно был хуряахай, то он, может, и написал бы вам. А вот же не пишет!

Насчет ехидства Хурлы я не ошибся, а письма, зна-

чит, все-таки нет. Всегда она злится, если речь заходит о нашей Сэрэн-Дулме. Завидует ей, что ли? А почему?

— Вашей Сэрэн-Дулме нет писем и не было, и вашей матери нет письма, а вот вашей шабгансе — можешь отнести.— Хурла достает из кармана кофты конверт.

— Кто это может писать нашей шабгансе? — удивляюсь я.— Она и читать-то не умеет.— Я верчу письмо со всех сторон, ищу обратный адрес.

— Почитай письмо бабушке, тогда узнаешь,— многозначительно говорит Хурла.— Может, и у самого ума прибавится. Да, вот еще что...— Хурла щурит и без того узкие глаза.— Я хочу тебя предупредить. Ты помнишь, что Черногривый пристал к нашему табуну именно в первый день войны?

— Помню,— говорю я, не понимая, куда она клонит.

— А помнишь, что он не захотел везти телегу, когда провожали призывников?

— Ну?

— Так вот, я узнавала везде про его хозяина — и в соседних колхозах, и на станции, и в лесхозе. Нет хозяина. А знаешь, что это значит?

— Нет,— чистосердечно признаюсь я.

— А это значит, что конь этот — особенный и прислан нам неспроста.

— Кем прислан?

— О-о пихлу, по виду ты мужчина, а по уму — обломок мужчины! — опять сердится она.— «Кем прислан, кем прислан»! Тебе-то что? Слушай меня. Этому коню нужен особый уход. Понял? Не позволяй никому на нем ездить, не давай ему работать, береги его больше других коней! Ну-ка, расстегни пуговицу на кофте!

— Зачем? — спрашиваю я.

Неожиданно раздается: «Мэндэ!» Я поворачиваюсь и вижу, что у калитки стоит кузнец Гарма. Он в рабочей одежде, лицо в копоти. Наверное, только что вышел из своей кузницы.

— Мэндэ-э,— вяло приветствует Хурла. Не рада гостю, но не решается этого показать.— Нет письма. Что за человек ваш Эрдэни! Неужели трудно написать!

— Наверное, еще до места не добрался.— Отец Эрдэни грузно садится на крыльцо, вытирает руки травой.— Что пишут сегодня газеты?

Хурла поспешно схватила кипу газет, лежащую на

крыльце, убежала в дом, через пять минут вынесла свежую.

— Вот «Правда». Только что получила. Ну-ка, Батожаб, зря, что ли, тебя столько учили. Читай!

Я раскрываю газету, старик кузнец достает из кармана кисет, трубку и огниво, и мы начинаем читать. Я не просто читаю, а еще перевожу, объясняю и время от времени спорю с Хурлой. Краем глаза я слежу за Зиной. Она прошла из летника в дом, потом опять вернулась. Как чудно́ она ходит! Осторожно, будто боится наступить на землю. Может, просто она раньше никогда не ходила босиком? Я степенно отвечаю Хурле, отцу Эрдэни, а сам стараюсь не пропустить ни одного движения Зины.

VIII.

НОЧЬЮ...

Заходящее солнце втискивается в щель между темной зубчатой землей и набухшими тяжелыми облаками. Последние лучи окрашивают неуютный, мокрый от нудного дождя мир. У облаков открывается бугристая изнанка, а по степи тянутся длинные тени.

Неожиданно наискось от неба к земле ложится чеканная радуга — твердый до звона, сияющий мост. Одним концом он упирается в Хонгор-курган.

Среди нашего народа есть старинное поверье: если радуга падает на вершину кургана, то по ней на землю спускаются девушки — красавицы неба. И всю ночь напролет они водят хороводы, веселятся, не смущая покоя спящих людей.

Само собой, я не очень-то верю сказкам, хотя люблю их слушать. Однако многие верят; наша шабганса рассказывала, будто бы в молодости своими глазами видела, как неземные девушки танцевали на холме. Всю сегодняшнюю ночь я решил следить за Хонгор-курганом. Сказки сказками, а вдруг да кто покажется? И я беру с собой фонарик, который оставил мне Эрдэни, разумеется, не ради девушек, на всякий случай — посветить в темноте.

Солнце прячется, но успевает поджечь облака; в буйствующем зареве — расплавленное золото и застойная

зелень, прозрачная, как родниковая вода. Горы Трех Кобылиц кажутся сейчас выше, еще грозней.

Хорошо бы взобраться на самую вершину и поглядеть на свой улус. А может быть, оттуда виден и Улан-Удэ — большой город, где живет Зина?

Завтра в колхозе начинается сенокос — пора большой, тяжелой работы, поэтому кони целый день отдыхали. Они лениво щиплют траву. Я внимательно осматриваю табун: позвякивает боталом Рваный Подколенок, около него стоят Белоногий и Высокий Серко, Игреневый Гунга и Алешина Рыжуха — все на месте. Около Хонгор-кургана отпускаю Гнедого, расстилаю на мокрой траве брезентовый плащ и вытягиваюсь на нем.

Сгущаются сумерки. На небе не видно звезд, но скоро они появятся. Дождь перестал, и после него трава и цветы пахнут так сильно, что у меня даже немного кружится голова. Я полной грудью вдыхаю этот чудесный запах и с наслаждением различаю в нем тонкий аромат ая-ганги, богородской травы, растущей на Хонгор-кургане. В наступившей тишине отчетливо слышен каждый звук. Вот закричала испуганная птица, и, как бы в ответ ей, начал жаловаться на что-то чибис. Сова, послушав этот разговор, стала смеяться над ними: «Ох! Ух! Эх! Ха!» Ветерок, потянувший от леса, доносит короткое, глухое подвывание волков. Степь вздыхает, бесновато хохочет — живет.

Крики птиц, треск насекомых, шелестение травы сливаются для меня в единый ровный шум, не нарушающий тишины. Эта звучная тишина обволакивает, убаюкивает меня, мысли мои путаются и лениво перескакивают с одного на другое.

Я вглядываюсь в темноту — вдруг да появятся небесные красавицы, но ничего, кроме далеких огоньков улуса. Интересно, кто это так поздно не спит? Слева от улуса в степи то появляются, то исчезают огоньки. Это пашет ночная смена трактористов. Там трактор и нашей Сэрэн-Дулмы.

Я вовсю таращу глаза в сторону Хонгор-кургана. Если небесные красавицы и в самом деле спустились по радуге, то пора бы им начинать танцы. Самое время! Темнота — густая, влажная. Глаза болят — так упорно вглядываюсь в эту темноту.

Однако, похоже, она шевелится... Да нет, кажется... Шевелится... Нет... А что, если подползти поближе и ос-

ветить фонариком? Небесные девушки — безобидные создания, они никому не делают зла. И я ползу в темноту, вверх по склону, медленно, стараясь не шуметь, часто останавливаюсь, вслушиваюсь... Да, вверху на холме кто-то есть, там кто-то шевелится! Ползу, громко стучит сердце, замираю... Нацеливаю фонарик, затаив дыхание, включаю. Жалкий, жиденький свет подсевшей батарейки вырывает из ночи перепутанный осот и жесткий дудник...

Воздух взрывается грохотом железных крыльев!

Ох, я прилег щекой к холодной, отрезвляющей мокрой траве. Это же степные куропатки! Я их спугнул с ночлега. В тишине показалось, что Хонгор-курган проваливается сквозь землю, а всего-то навсего — пролетели птицы меньше домашних кур.

Я успокаиваюсь и ползу обратно. Впереди в нескольких шагах — что за чудо! — неистовым бесенком выплясывает огонек, маленький, зеленоватый, прохладный. Я уже пережил страх, устыдился его, потому сейчас храбр — лезу навстречу огоньку. Он пляшет, ускользает, издевается надо мной. Совсем рядом, ну, протяни руку! Я вскакиваю, рывком кидаюсь, ловлю! Оглядываюсь и опять вижу на холме какие-то тени. И вновь я опускаюсь на землю и ползу. На этот раз луч фонаря встречает не один, а целое создание спаренных огней. Только секунду они горят мне навстречу — легкая суматоха, огни исчезают. Э-э, да это лисица со своим выводком, должно быть, учила детенышей охотиться, тоже кралась к куропаткам. Однако как полыхали их глаза на жидкий свет моего фонарика!

Ну, хватит! Погонялся за сказкой, пора и кончать. Я шумно, без боязни спугнуть тишину, иду обратно, растягиваюсь на своем плаще, смотрю в небо. Фонарик Эрдэни лежит со мной рядом.

Эрдэни... Он мне подарил не только фонарик, но и свою работу. И еще кое-что из своего уменья. Кое-что только. Мне еще далеко до Эрдэни, хотя и справляюсь с табуном, перестал вот бояться ночей в степи, одиночества...

Сейчас Эрдэни далеко, в какой-то Антипихе. Когда он прислал письмо отцу, я сразу же бросился к карте — искать, где эта самая Антипиха. Я думал, что Эрдэни обязательно должен быть на передовой линии фронта. Но Антипиха оказалась далекой сибирской деревней.

Я даже расстроился... Хотя кому не ясно, что Эрдэни проходит там подготовку перед отправкой на фронт.

В письме была приписка — специально для меня. Эрдэни писал: надо беречь Рваного Подколенка — он первый помощник; летом лучше держаться предгорий Трех Кобылиц, хотя эти выпасы и не богатые, к осени стоит податься на падь...

Советы... Спасибо тебе, Эрдэни. А ведь я и сам сообразил то, что ты советуешь,— сейчас топчусь вокруг Трех Кобылиц, к осени — за падь. Как ты правильно учишь, Эрдэни... А сказки о небесных девушках — ерунда, ерунда... Эрдэни тоже не поверил бы в них... Сказки — ерунда, но их интересно слушать. А смотреть их, наверное, еще интересней... Но что это? Радуга! Ночью?.. Такого еще не бывало! А по радуге — они... Спускаются... Одна за другой. Прозрачные платья шевелятся от ветра, волосы распущены, венки на головах. С радуги из-под ног девушек сыплются цветы...

Первая девушка ступает на холм. Что-то она мне знакома, до тоски, до боли. Она вскидывает прозрачные руки вверх и запевает. Нежный, тягучий голос разносится по степи, кони перестают рвать траву, подымают головы. Нежный голос, наполненный печалью. А за ее спиной остальные девушки начинают кружиться — весело, быстрей, быстрей в бешеном хороводе. В бешеном и безмолвном. Она одна, в стороне, поет на всю степь протяжное и горестное. Кони замерли, они тоже слушают...

Девушки кружатся, а она одна! Как мне жаль ее...

Неожиданно она обрывает песню, двигается ко мне. Идет, осторожно ступая по земле босыми ногами, и на земле вместо следов после каждого ее шага расцветают цветы... Я где-то видел эти маленькие босые ноги, неуверенно попирающие землю. Мне очень знакома эта бережная поступь.

Она протягивает ко мне руки — лицо нежно, глаза печальны.

«Батожаб! — говорит она.— Батожаб!»

И я узнаю — Зи-на!

Хочу вскочить и не могу пошевелиться.

Меня кто-то толкает в плечо.

«Ах, вот ты чем занимаешься!» — громовой голос.

Надо мной стоит Эрдэни. Не мой друг Эрдэни, а ба-

тор Эрдэни в железном панцире. За его спиной, как темная туча, громадный конь — хулэг, конь-богатырь.

«Занимаешься! Занимаешься! Занимаешься...» — гремит, затихая в горах, эхо.

Мягкий и настойчивый толчок в лицо.

Хулэг — баторский конь — склонился надо мной, тычется мордой. И губы у него теплые, мягкие, как у обыкновенной лошади.

Это не хулэг — это просто Гнедой обдает меня теплым дыханием. Надо же, уснул! Гнедой продолжает меня настойчиво толкать.

Степь подозрительно тиха, чего-то в ней не хватает. И вдруг я понимаю — тишине не хватает позвякивания ботала. Я вскакиваю на ноги: табун ушел!..

Сегодня сенокос, сегодня надо пригнать в улус коней раньше. Я проспал табун! Небесные девушки, радуга, песня, протянутые руки... Месяц как работаю, а такого не случалось. И перед самым сенокосом!

Гнедой тычется в меня мордой, приглашает: садись скорей, ночь уходит, надо действовать! И я, подхватив плащ, взлетаю в седло.

Ночь уходит. С вершин Трех Кобылиц медленно стекает густой белый туман. Я тороплюсь, потому что сейчас туман, как белое половодье, накроет всю долину, и тогда я уже ни за что не найду свой табун. А меня уже ждут, ждут в улусе!

А Эрдэни ручался, что из меня выйдет хороший табунщик!

Я мечусь на Гнедом вокруг Хонгор-кургана. Я кричу и сам не верю, что крик мне поможет.

Туман накрывает землю. Он такой густой, что я почти не вижу ушей Гнедого. Теперь я уже скачу просто так, не зная куда, скачу потому, что не могу бездействовать. Кружусь ли я на одном месте, ухожу к пади, в сторону улуса — не знаю. Я слеп. Я беспомощен! Время от времени я останавливаюсь и прислушиваюсь. Хоть бы какой-нибудь звук, хоть бы отдаленный намек на позвякивание ботала! Но кроме тумана, белого, как молоко, который окутывает меня, заползает в рот и в уши и, кажется, пронизывает насквозь,— ничего.

Но... Топот копыт... Едва успев его уловить, толкаю Гнедого. Он послушно несет меня сквозь туман. Скорей! Скорей! Топот ближе...

И я натягиваю поводья. Кто-то скачет мне навстречу...

Тень замаячила впереди. Из молока ко мне вырывается всадник, огромный, свирепый, со вскинутой над головой плеткой. Бригадир!

— Мать твою так перетак!

И плетка опускается, но не на меня — на неповинного Гнедого. Гнедой шарахается.

— Где табун? Забыл, что нынче сенокос! Все собрались, ждут! Молокосос!

Поклеванное оспой, скуластое широкое лицо багрово, плетка то касается самого моего носа, то отдаляется вместе с багровым лицом. Разгоряченный конь не может успокоиться, носит бригадира.

— С меня станут стружку спускать! А я что скажу? Скажу, что, кроме молокососа, поставить некого! Одни бабы да старики! Меня по головке не погладят!.. Где табун?!

Я молчу.

Неожиданно бригадир успокаивается:

— Ушли? Выпас плохо выбрал?

Мне не казалось, что выпас плохо выбран. И Эрдэни, знаю, пас бы тут. Но я ухватился, как тонущий за соломинку!

— А где пасти? Я сам знаю — давно пора переходить на новое место... Я глаз не спускал. А сейчас — вон какой туманище...— Я вру с жаром.

И бригадир верит, ворчит:

— Знаю, знаю... Искать выпасы, а кому?.. Мужиков-то нет... Ладно! Ежели сегодня все обойдется, попробуй завтра погнать на остров. Но смотри: если лошади потравят чужую пшеницу и нас заставят платить штраф, пеняй на себя. Я тебе все припомню. Спрошу по законам военного времени. Не посмотрю, что мал! А теперь — в разные стороны! Ты — туда! Я — здесь!

Я быстро отъезжаю в сторону. Кажется, обошлось.

Туман редеет — где-то взошло солнце, начинает быстро таять. И скоро я натыкаюсь на Светлогнедую кобылу, которая спокойно стоит около своего спящего жеребенка, то ли сама дремлет, то ли любуется им; потом вижу двух Эрдэни. Туман исчезает, степь распахивается под низким солнцем. Я отыскиваю остальных коней, сбиваю в табун.

IX.

ДНЕМ...

Малый полдень. Сенокос уже в разгаре, хотя по моей вине он и начался позже, чем всегда. С прибрежных лугов доносится стрекотание косилок, их не хватает — косят вручную. Пришли на сенокос доярки во главе с моей мамой. Они должны выкосить луг Мойхоты. Я тоже буду помогать им.

После сегодняшней ночи мне неудобно сидеть дома, да и спать совсем не хочется. Видно, хорошо выспался, пока смотрел сказку во сне.

Мама в своем обычном, заношенном, непонятного цвета платье, платок надвинут на глаза, на ногах — стоптанные, из сыромятной кожи, тапочки. Я жалею маму в этом наряде и всегда мечтаю заработать денег, купить много платьев, чтоб даже на работе она была красивой.

Мать принесла с собой две косы, одну — завернутую в чистую тряпку. Сейчас ее разворачивает, любовно проводит по лезвию огрубевшим пальцем:

— Батожаб, ты уже мужчина. Это коса твоего отца.

Коса моего отца, книги моего отца. Не много же вещей осталось после него, но все они для нас святы. Косой этой мать сама никогда не косила, книги отца — несколько томов Маркса, Энгельса, несколько красных томов Ленина да еще стихи Пушкина — спрятаны в сундуке. Даже я, старший из ребят, самый грамотный в семье, не смею их брать без спроса.

Лезвие косы весело переливается на солнце, а у меня к горлу подступают слезы.

— Мама, а где мне косить?

— Не торопись, сначала поучиться нужно!

Мама берет свою косу и показывает, как удобней взять и на каком уровне держать над землей:

— Жми к земле пятку косы, нос отворачивай чуть вверх. Вот так.

И мать сделала шаг, развернулась, и трава легла ей под ноги. А я вдруг увидел, что моя мама стройная, легкая, красивая, даже в своем старом, застиранном платье!

— Вот так! Вот так!

Шаги скупые, скользящие, движения скованные, коса же широко летит над самой землей, бреет траву под корень, луг позади мамы — ровный, чистый, разглаженный. А впереди настороженно топорщится трава, ждет косы,

чтоб лечь под мамины ноги, обутые в сыромятные, стянутые веревками тапочки.

— Вот так! Вот так!

Взмах, взмах, еще взмах — широкий, прямой путь, образованный, как по линейке.

— А ну, попробуй!

Я тысячу раз видел, как косят другие, я даже сам хватался за литовку, и уж конечно я знаю нехитрую науку — прижимай к земле ее пятку.

Сейчас я с трепетом взял косу. Отцовскую косу! Сделал первый робкий взмах. Коса пошла, не врылась носом в землю. И трава срезалась, не вся — часть пригнулась.

— Ничего. Пойдет. Еще!..

Второй взмах уже лучше, третий я провел совсем свободно и широко, однако вспотел, но больше от волнения.

— Пошли. Я — впереди, ты — за мной. И не спеши. Сразу за мной не поспеешь.— И мать улыбнулась виновато и застенчиво: — Меня же отец твой учил, а уж его в улусе никто не обходил.

Мы начали первый заход. Я стараюсь не отставать от матери. Мне кажется, что я работаю так же ловко и красиво, как она, мне весело. Иду скупым скользящим шагом, чувствую себя свободным и сильным.

Я вспоминаю стихи, которые когда-то учил в школе:

Размахнись, рука,
Раззудись, плечо,
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!

Русские стихи, они написаны про меня. Мне жарко, но я совсем еще не устал и, не переставая, взмахиваю косой.

Я куплю себе
Косу новую,
Отобью ее,
Наточу ее.
И прости-прощай,
Село родное...
...В края дальние пойдет молодец!

— Эй, Батожаб, так нельзя, посмотри, какой след оставил!

Я оглядываюсь и не верю своим глазам: неужели этот ужасный прокос — мой?

Косил не я, свободный, легкий и сильный,— «Размахнись, рука, раззудись, плечо!» — косил кто-то слепой и пьяный. Рваный, кривой след, всюду нахальные клочки травы — коса не работала здесь, а разбойничала.

Мать проходится по моему следу еще раз, и мой прокос сразу становится благообразным. Не останавливаясь, на ходу, мать учит меня:

— Держи ноги ровнее, не нагибайся, не торопись, работай в лад. Не рвись вперед без толку!

Мне очень хочется идти за ней след в след, но теперь я уже сдерживаю прыть, стараюсь не торопиться. Прохожу еще один ряд и с опаской оглядываюсь. Конечно, не ахти как похож на настоящий. Я вытираю рукой мокрый лоб и только сейчас чувствую, что устал. Сколько же я прошел? Да всего шагов сто! Но как бы то ни было, а смотреть на скошенную своими руками траву приятно. Я поворачиваюсь и иду, чтоб начать новый заход, иду по своей косовице и отдыхаю. И за этот короткий путь — сто шагов — я немного отдохнул, принимаюсь за следующий ряд, коса идет легче.

А мама делает уже десятый заход. Она по-прежнему легко взмахивает косой, ничуточки не устала. Вот она остановилась, но не отдохнуть, а подправить косу. Я продолжаю косить как заведенный, уже не зная, я это кошу или не я, устал я или не устал. Я превратился в какой-то механизм, делающий движения — туда-сюда, туда-сюда!.. И сам не ведаю, кто кем управляет: я косой или она мной.

— Неси-ка свою косу сюда — подправим.

Поет брусок. Мама затачивает мою косу и вдруг обрывает работу, резко приказывает:

— Покажи руки!

Я разжимаю ладони. Они ярко-красные, вареные, на пальцах — волдыри.

— Говорила же, чтобы надел рукавицы. На, возьми мои!

— Не надо!

— Бери, говорю! Не сможешь работать.

— Как же ты?

— Ничего, у меня руки привычные, таких мозолей не будет. Смотри, мы вдвоем сделали не больше Балмы! — Мама кивает в сторону соседки и забывает обо мне. Снова идет скупыми шагами, ровно укладывая траву.

Я гляжу ей в спину. Спина какая-то напрягшаяся, и

движения матери сейчас не свободные, не размашистые. Но некогда размышлять — надо поспевать за ней.

Когда она наступила, эта счастливая минута, я не заметил. Словно тяжелый, связывающий ватник, с меня свалилась усталость. Я теперь почти не отстаю от матери. Кажется, до самого вечера могу вот так махать косой — вжик! вжик! — слушать, как падает трава. От меня, великана, розбрызгом во все стороны кидаются кузнечики, нехотя срываются с цветов тяжелые шмели. Вжик! Вжик!.. Падает лес, перепутанные джунгли мелкого народишка — муравьев, жучков, кузнечиков. Вжик! Вжик!.. Открывается влажная корневая прель. Вжик! Вжик!.. Через лезвие косы, через держак, сквозь грубые рукавицы чутко ощущаю податливую травяную сочность. И те стихи, как музыка, победно звучат в каждом мускуле моего тела.

Зажужжи, коса...
Засверкай кругом,
Зашуми, трава,
Подкошенная.
Поклонись, цветы,
Головой земле...

Мать точит косу. Она что-то часто стала точить. Должно быть, коса у нее хуже, чем у меня. Я кидаю взгляд на мать и замираю на полувзмахе... Движения ее вялые, лицо темное, и сталь косы под бруском звучит у нее что-то безрадостно.

— Мама!..

Она не отвечает.

— Мама, ты что?

— Устала, сынок, немного.

— Мама, у тебя опять?..

— Пройдет, сынок.

Мама больна, маме надо лечиться. Часто ее бьет сухой, колючий кашель. Еще до того, как началась война, она показывалась доктору. Тот сказал: надо ехать на курорт — аршан. Я забыл название этого курорта. Из нашего улуса никто не ездил на курорты.

— Ты отдохни, мама.

— Нет. Надо работать.

Эти слова она чаще других говорит.

— Теперь я пойду впереди, ма. Ты за мной.

Она медлит и соглашается:

— Хорошо.

Я иду впереди. Вжик! Вжик!..

Поклонись, цветы,
Головой земле...

И цветы кланяются, цветы никнут передо мной.

Вдруг я поднимаю косу и замираю — в траве течет смолистая струя. Она выливается на косовье, и я вижу маленькую сплюснутую головку, бисерный глаз со зловещей искрой — змея! Встреча со змеей приносит несчастье... Год огненной змеи... Я опускаю на землю косу и зажмуриваюсь — неприятно убивать живое, пусть вредное, ядовитое, приносящее несчастье.

Открываю глаза — змеи нет, словно она померещилась. А моя коса странно изменилась — стала какой-то куцей. От нее отлетел кончик. Я быстро поднимаю обломок и пытаюсь приставить его обратно...

Встреча со змеей приносит несчастье!

Мать возле меня:

— Что?

— Да вот, самый кончик...

Мать бережно-бережно берет мою косу, смотрит остановившимися глазами, а лицо тоже остановившееся, каждая складочка на нем словно вырублена. Коса отца... Встреча со змеей приносит...

— Может, Сэрэн-Дулма припаяет?..— говорю я.

Мать молчит, гладит обломанное лезвие. Коса отца. Мать ею сама не косила — берегла... Для меня. Я в первый же свой покос... Встреча со змеей...

Я опускаюсь на землю, лезу в карман, достаю кисет. Мне теперь все равно — пусть мать ругает меня, и за табак тоже.

Но мать даже не замечает, что я закурил.

От полевого стана бежит какая-то женщина, размахивая над головой рукою. И все, мимо кого она пробегает, бросают работу и бегут вместе с ней. Это повариха из стана, толстая Дугарма. Она кричит что-то гнусавой Янжиме, та всплескивает руками, бросает свою косу и тоже бежит. Мать с тревогой поднимается, не выпуская из рук покалеченную косу.

Все бегут прямо на нас, бегут и галдят, ничего не понять. Наконец Дугарма, запыхавшаяся, красная, выпаливает:

— Дэжит, тебе новость, ой какая новость!

Все подхватывают:

— Наконец-то дождались! Помогли святые молитвы!

— Ну, мать с сынком, пляшите!

Толстая Дугарма сама пляшет, пляшет и размахивает какой-то бумагой. И меня обжигает догадка:

— Ма! Письмо! От папы!

Мать стоит с поломанной косой, на бледном лице затравленно горят глаза, а вокруг шум, вокруг радость. Дугарма с приплясом приближается к матери, сует ей в руки мятый бумажный треугольник:

— От него...

И концом фартука вытирает слезу.

Мать дрожащей рукой протягивает письмо мне.

У меня тоже дрожат руки, пока я развертываю письмо. Встреча со змеей... Год огненной змеи...

«Дорогие мои, родные, здравствуйте!

Пишу к вам не в первый раз, но ни разу не получил ответа. Теперь вот пишу с фронта и надеюсь, что это письмо вы обязательно получите. С моим делом — конец, разобрались, доказано: произошла ошибка, вина снята. Расскажу обо всем подробно, когда вернусь. Главное — правда восторжествовала, и я сейчас с оружием в руках защищаю Родину. В нашем батальоне люди самые разные — русские, украинцы, грузины, киргизы, узбеки. Я подружился с одним калмыком, старшим лейтенантом. Зовут его Дорчи...

...Я каждый день и каждую ночь вспоминаю вас всех. Здорова ли наша дорогая шабганса? Удается ли свести концы с концами, Дэжит? Не пришлось ли уйти тебе с фермы? Представляю, как вам трудно там: мужчины, конечно, ушли на фронт. Как Батожаб, как учится Жалма? Я даже не знаю, как вы назвали без меня нашего маленького...

...Держитесь, мои родные! Скоро мы разобьем врага, и я наконец-то всех вас увижу и прижму к своему сердцу. Передайте привет всем нашим соседям, всем расскажите об этом письме. Обнимаю вас крепко, до скорой встречи.

Ваш Гомбо».

Все с той же дрожью в руках я передаю письмо матери. Мать осторожно, негнущимися пальцами снова складывает его в треугольник.

Все молчат минуту, другую.

Толстая Дугарма бросается на шею матери. Женщины утирают слезы:

— Вот радость, так радость!

— Слава богу, надо же!

— Разобрались, видишь ли.

— Правда — она всегда выплывет!

Я поворачиваюсь и, спотыкаясь, иду по косовице, по нескошенной траве, дальше, дальше, в степь. Иду, охваченный тревогой, еще не понимая своего счастья. Иду и несу в груди тяжелый, мешающий дышать ком. Иду, иду на солнце... Наконец падаю...

И тут приходят слезы. Я тихо плачу. Тает в груди тяжелая, мешающая дышать глыба.

Я плачу. Никто не видит моих слез.

X.

НОЧЬЮ...

Я гоню табун на остров, и мне кажется, что кони идут туда гораздо охотнее. Поднимается из-под копыт мелкая бурая пыль; топот, фырканье, тихое ржание лошадей сливаются в один ровный, приятный для меня гул. Мне кажется, что, раз мы идем на новое место, у коней хорошее настроение.

Я подгоняю лошадей, тихонько, для порядка, покрикиваю, щелкаю ургой и сам над собой подсмеиваюсь: выдумал тоже — у коней хорошее настроение. А с другой стороны, почему нет? Теперь я знаю коней — у них бывает хорошее настроение, бывает плохое, они могут сердиться и радоваться, могут дружить друг с другом, могут враждовать — словом, все, как у людей. И как люди, кони бывают красивые и некрасивые, умные и глупые, верные и неверные. Вот мой Гнедой, например, верный. Я и разговариваю с ним как с другом; жалко, конечно, что он не может мне ответить. Но по его глазам я вижу — он меня понимает. И выручил меня прошлой ночью. А вот у красавца Шаргалдая совсем другой характер: дик, не пробуй подступиться — полетишь. Настоящий хулэг. Если моих коней возьмут в армию, Шаргалдая, наверное, выберет какой-нибудь генерал. Только сначала ему придется помучиться. Рваный Подколенок — коллективист. Никогда не уединяется, всегда в самой

гуще — дружелюбен. За это ему и доверено носить ботало. А Белоногий — конь начальника, вечно задирается с другими лошадьми, важничает, как бригадир.

Каждый конь перенимает характер своего хозяина. Но больше всех меня беспокоит Черногривый беглец. Когда я нашел его, был, конечно, очень доволен — в первую же ночь увеличил колхозный табун. А теперь я с удовольствием бы потерял его, столько он мне хлопот доставляет. За ним все время глаз да глаз нужен, задирается, строптив. Хозяин Черногривого беглеца так и не нашелся. Странно.

На острове пасти коней легко. Вода кругом, только вброд на большую землю выйти можно. Так что далеко кони не уйдут.

Я давно уже не был на острове. Раньше мы с ребятами чуть не каждый день бегали сюда купаться. Неплохо искупаться и сейчас, вода вечером теплая. Я отпускаю Гнедого и усаживаюсь на берегу. Гнедой осторожно ступает в воду, доходит до середины реки и начинает шумно пить. Интересно, сколько ему надо сделать глотков, чтобы напиться? Я считаю до восьмидесяти и сбиваюсь.

Сиреневые сумерки сгущаются, и скоро я различаю только темные силуэты своих коней. Из-за реки тоже слышен звук ботала, только другой, резкий. Это пасется табун соседнего колхоза. Оттуда же все время доносится голос их табунщика. Просто неприятна его ругань; я прислушиваюсь к тарахтению трактора, доносящегося с другой стороны. Шумит трактор, и сквозь этот шум пробивается голос — печальная песня. Это поет наша Сэрэн-Дулма.

Неожиданно трактор смолкает, вместе с ним прекращается и песня. Проходит минута, другая, и я начинаю беспокоиться: что там у нее? Я так и не видел сегодня свою тетку. Не успел поговорить с ней о письме отца. Хоть Сэрэн-Дулма и приходится мне теткой, но в душе я ее считаю старшей сестрой.

Зову из воды Гнедого, взбираюсь на него, объезжаю — на всякий случай — табун и бродом по черной, сердитой воде, не замочив ног, перебираюсь на ту сторону.

Средь темной степи горит костер. Я направляю Гнедого на него. Над костром копотный дым — горят масляные тряпки. Трактор вздрагивает в отсветах пламени, как нервный конь в дреме. Возле трактора Сэрэн-Дул-

ма, в брюках, в сапогах, в телогрейке, словом, парнишка, очень молодой, очень симпатичный и очень грязный.

— Эй, братишка,— говорю я,— замолчала твоя музыка?

Сэрэн-Дулма не отвечает, значит, дело серьезно. Я привязываю Гнедого к плугу.

— Помочь?

— Покрути ручку.

Кручу, стараюсь, пробивает пот. Так стараюсь, что трактор даже один раз ожил — чихнул, кашлянул и умолк уже прочно.

— А,— говорит тетка с досадой,— хватит! Придется снимать магнето.— В темноте она стучит ключом, а я старательно свечу ей фонариком.— А ты не упустишь опять табун?

— Нет, сегодня кони на острове. Слышишь звон ботала?

— Я всегда слышу только тарахтенье трактора. Даже когда он молчит.

— А у меня в последнее время в ушах все время звон ботала. Даже когда ложусь спать.

Мы смеемся.

Наконец она спрыгивает с трактора. В руках у нее небольшой, довольно-таки грязный аппарат.

— Так это и есть магнето? — Я очень удивлен. Почему-то я думал, что магнето — это что-то вроде магнита, который мы проходили в школе по физике.

— Свети, пожалуйста, сюда.

Она расстилает старую куртку и начинает возиться с магнето. Одна за дугой на куртку ложатся детали.

— Смотри не толкни под руку, перепутаю... Что же ты молчишь о письме?

Тетка, конечно, видела письмо, но она слушает меня и удивляется, качает головой. Вдруг я спохватываюсь — об отце моем говорим, а Урбан!..

Я вчера опять был у Хурлы. Письма нет. Но ведь сколько времени не было письма и от нашего отца. Я молчу, понимаю, что тут лучше молчать; Сэрэн-Дулма — по лицу видно — думает о том же. Молчим и смотрим на снижающееся пламя костра.

— Да! Совсем позабыл! Хурла-почтальонша передала письмо нашей бабушке.— Я вытаскиваю мятый конверт и распечатываю его.

Сэрэн-Дулма вытирает испачканные мазутом руки и берет письмо.

— Ничего не понимаю! Откуда это? — Она вертит письмо, осматривает его со всех сторон, но так и не находит обратного адреса.

— «Этот лунден[1] спустился с неба...» Вот здорово! Значит, Хурла принимает почту и оттуда? Так. «Этот лунден спустился с неба. Он снизошел вместе с небесным сиянием. Жебзен Дамба Хутагты![2] Идет страшная война. Неизвестно, когда она окончится. В это тягостное время только бог может спасти вас! Только святые молитвы и наши жертвы помогут вашим сыновьям и братьям в трудном испытании... Это письмо надо переписать девять раз...»

Мы озадаченно молчим. Вдруг я представил нашу старую шабгансу с пером в руках, и мне стало смешно.

— Чего смеешься? — Сэрэн-Дулма скомкала письмо и бросила его в костер.— Вот какие письма начала таскать наша почтальонша! У людей горе, близкие на войне... Ох, как мне все это не нравится!

Я сворачиваю самокрутку.

— Интересно, где Хурла взяла это письмо?

— Очень даже интересно! А почему это ты стал курить?

Я небрежно сплевываю сквозь зубы.

— Ты что, забыла? Я же табунщик!

— Ну и что? Разве табунщик обязательно должен курить?

Женщина останется женщиной, даже если она ездит на тракторе и умеет его чинить.

— Я же работаю ночью! — поясняю я снисходительно и снова сплевываю сквозь зубы.

— Я тоже работаю ночью и не курю.

Сэрэн-Дулма вновь склоняется над магнето, а я вдруг слышу, что ботало моего табуна звенит иначе — громко и тревожно.

Я вскакиваю, кидаюсь к Гнедому, отвязываю, взлетаю ему на спину и уже на ходу прощаюсь с теткой.

После костра я попадаю в кромешную тьму. По звуку ботала я чувствую — кто-то гонит табун. Может, тот са-

---

[1] Лунден — священное письмо.

[2] Жебзен Дамба Хутагты — один из святых буддийской религии.

мый табунщик, который ругал своих коней, не хочет, чтобы еще один табун пасся на острове? Я скачу во весь дух, скачу так, что в ушах свистит и глаза слезятся.

Наконец со всего размаха я врезаюсь в свой табун, пытаюсь остановить. Но кони несутся напролом через кусты, ломают ветки, хрустят прибрежною галькой. За ними галопом скачет всадник, кнутом лупит моих коней, кричит:

— Пошла, чертова собака! Кожу сдеру! Голым ходить будешь!

Кони ошалели, теснят друг друга, встают на дыбы, несут нас. Под напором одичавшего табуна мы с Гнедым оказываемся в реке. Я размахиваю ургой, ругаюсь, рву поводья. Наконец выбираюсь на берег, оказываюсь лицом к лицу с чужим табунщиком.

— Сматывайся! — орет он.— Твой табун вчера ночью сделал потраву! Ваш председатель штраф заплатит! Пока не заплатит, не верну табун!

— Мой табун здесь первую ночь! — надрываюсь я.

— Щенок! Болтать еще с тобой!

— Оставь в покое моих коней!

— А этого не хочешь?!

Свист плетки, мой Гнедой взвивается, а я еле удерживаюсь в седле. Снова наши кони в воде. Конь табунщика напирает на Гнедого, свистит плетка, обжигает лицо — самым концом. Я тычу ургой поверх головы чужого коня, урга ударяется о что-то мягкое. В ответ грязное ругательство. И я снова тычу ургой, как пикой. Моя пика застревает, табунщик ухватился за нее, тянет к себе. Он высок, он силен; я мальчишка, вблизи он меня сомнет. Я бью пятками Гнедого, он рвется в сторону. Рывок силен, и я не удерживаюсь — падаю с седла, судорожно держась за ургу. Табунщик тоже летит в воду. Воды всего по колено. Наши кони разбегаются в разные стороны. Табунщик возится, ругается, шарит возле себя. Ага! Он обронил в реку плетку. А урга у меня в руках, и я бью издалека:

— Вот тебе! Вот тебе! Вот!..

Табунщик спотыкается, тяжело валится в воду:

— Башку проломлю!

Но теперь мне легче проломить ему башку — я на ногах, я с ургой. Я не даю подняться:

— Вот тебе! Вот! Не лезь к чужим коням! Со своими не справишься...

Наконец ему удается подняться на ноги, он отплевывается и матерится:

— Подожди, встречу, щенок! Подожди!..

А сам в сторону, в сторону, шлепая по воде, спотыкаясь. Из темноты — ругань и сердитые плевки.

XI.

ДНЕМ...

Вот уже несколько дней мы собираемся пойти в лес. Мы — это я, Зина и наша шабганса, которая, как ни странно, нас и пригласила. И вот наконец идем. Впереди, опираясь на палку, шагает бабушка в неизменной старинной шапке, в коричневом тэрлике, в мягких унтах. Я думаю, ей жарковато в этом наряде, но пар костей не ломит. За бабушкой — Зина. Красные бантики в косах весело подпрыгивают в такт ее движениям; она все время сгибается и разгибается — рвет цветы. На ходу плетет венок.

Мы идем по широкому проселку, по которому жители нашего улуса обычно ездят в лес за дровами. Слева и справа от дороги степь без конца и края, и только далеко впереди голубеет лес.

И воздух и степь оцепенели от зноя. Солнце поджарило землю, степь по цвету напоминает бабушкин тэрлик.

Бабушка останавливается и вытирает лицо подолом тэрлика:

— Давайте отдохнем!

Уже в который раз мы усаживаемся на обочине. Бабушка достает кисет и привычным движением набивает трубку. Мне тоже хочется закурить, не потому, что жить не могу без табака, а чтобы показать Зине — не мальчишка. Но я с опаской поглядываю на шабгансу: неизвестно еще, как она отнесется к моей «взрослости», возьмет да и подымет скандал,— стыда не оберешься.

Туманно-голубой лес темнеет, приближается, мы уже начинаем различать густую зелень хвои и нежную, светлую листву берез. Отчаянные одиночки-деревца выбежали в степь, к нам навстречу. Выбежали и застыли, изнемогают от жары.

Наконец наши лица улавливают ласковую прохладу слабого ветра. Вперед, вперед, не отдыхает даже наша

бабушка, торопливо клюет посошком черствую дорогу.

И вот нас накрывает тень, мы ныряем во влажный сумрак, в запахи хвои и прели. Золотятся на солнце высоко вознесенные стволы сосен, тянутся поперек дороги растрепанные, мягкие рукава лиственниц, скромные, тонкие березки рвутся к свету сквозь хвойный оплот. И голубичные заросли выше колен, осыпанные крупными ягодами, и ярко-зеленые кочки, и всюду рдеющая по кустам россыпь шиповника.

Зина волнуется:

— Батожаб! Сколько ягод! Ой, земляника!.. А это... Да это смородина, Батожаб!

— Смородина... Ты что, никогда ее не видела, что ли?

— Почему не видела! У нас на базаре продают... стаканами... А вот так — подходи и срывай, нет, не видела.

Я снисходительно улыбаюсь, я счастлив блаженным счастьем гостеприимного хозяина: я щедр — бери все, что тебе нравится, что видит твой глаз, к чему тянется твоя рука.

Мы рвем еще не очень спелые ягоды шиповника, собираем истекающую кровью кислицу, у пригорка пробуем мангир — дикий степной лук, подкапываем корень сараны.

— Ах, медведи! Можжевельник топчете! — Бабушка усаживается на корточки и показывает нам на маленькие, кудрявые листочки.— Это особый можжевельник: когда подожжешь, у него хороший аромат. Им пользовались для воскурений. Он помогает от многих болезней.— Бабушка аккуратно укладывает можжевельник в мешочек; мы помогаем ей.

Я замечаю на ветке маленького полосатого зверька. Зина никак не может разглядеть его за листьями деревьев. Мне хочется чем-то удивить ее. Пока она занята кочкой с ягодами, я быстро влезаю на дерево, кричу оттуда басом:

— Зина! Эй, Зина-а!

Зина озирается и никак не может понять, где я. А я притаился — пусть-ка поищет.

— Где ты, Батожаб?

Зина растеряна.

— Ау! — Наконец-то она догадалась посмотреть вверх.— Как ты туда забрался? Не сорвись!

— Вот еще! Смотри! — Я быстро перескакиваю с суч-

ка на сучок, но подводит засохшая ветка — треск, крик Зины — я лечу вниз. Конфузливо встаю, потирая ушибленное колено.— А, черт возьми!

И вижу — одна штанина разорвана снизу доверху.

— Сильно ушибся? — В ее глазах страх и сострадание.

— Да нет... вот брюки...

Она деловито рассматривает штанину:

— Ерунда. По шву. Сейчас можно подвернуть повыше, а дома я тебе зашью. Хорошо?

То, что она мне зашьет,— хорошо, даже очень. А подвернуть штанину — нет! Я постоянно помню, что у меня кривые ноги. Меньше всего я хочу, чтоб Зина это узнала.

Скоро мы выходим к взгорку. Он тоже весь зарос лесом, и когда мы, запыхавшись, взбираемся на него, видим оттуда наши места. Все как на ладони, только маленькое, игрушечное: молочная ферма, овцы, пасущиеся на острове, брошенный посреди поля трактор, стога сена. А под нами лес, лес, лес...

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины...—

это Зина забралась на большой черный пень и декламирует,—

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно, со мной наравне.

А я слушаю и вспоминаю спустившихся по радуге небесных красавиц. Т а тоже стояла со вскинутыми руками, Т а, похожая на Зину.

— Батожаб,— сказала Зина, и я вздрогнул,— Батожаб... знаешь что, давай с тобой дружить!

— Но мы же и так дружим! — удивился я.

— Нет, не так. Давай дружить, как пишут в книгах, как взрослые, понимаешь? Теперь, с этой минуты, ты не должен дружить ни с одной другой девочкой, а я — ни с одним мальчиком. Иначе это будет измена. Понял?

Я не очень-то понял, что должен делать, но все равно был рад, сказал:

— Договорились,— и протянул Зине руку.

Сконфуженные, счастливые и немного подавленные своим счастьем, мы стали спускаться.

Шабганса разворчалась: куда это запропастились, бросили старуху, надо было уйти, оставить без еды, тогда бы знали...

Она уже достала хлеб, испеченный в золе, масло.

Мы усаживаемся вокруг раскинутого платка. Шабганса, прежде чем приняться за еду, воздает сэржэм — бросает на все четыре стороны по кусочку хлеба, по крошке масла,— духи, которые всегда рядом с нами, не забыты, у них нет причин сердиться на нас.

На обратном пути мы набредаем на небольшую лесную сторожку. Обычно в ней ночуют лесорубы или охотники, но этим летом вряд ли кто-нибудь заходил сюда. Почти все мужчины на фронте, а тем, кто остался в улусе, не до охоты. Однако, к моему удивлению, в сторожке было постелено свежее сено, а у порога стояла консервная банка с окурками. Я поднял банку и стал рассматривать яркий, красивый ярлык, на котором была нарисована коровья голова. Под головой надпись: «Улан-Удэнский мясоконсервный комбинат».

— На этом комбинате работает мой отец,— сказала Зина.

— Откуда здесь эти консервы? — спросил я.

Бабушка чем-то обеспокоена, то и дело поглядывает вверх. Наконец она останавливается.

— Вот,— говорит она радостно.— Вот эта подойдет.

Я тоже смотрю вверх и совсем не вижу, что там может ей подойти. Бабушка подходит к тоненькой сосеночке и ласково гладит ее рукой.

— Руби вот эту.

Она говорит так, как будто давно договорилась со мной, что я должен рубить ей сосну, хотя не зря же мы прихватили топор.

— Зачем? — интересуюсь я.

Шабганса закуривает трубку и хитро улыбается:

— Много будешь знать, станешь такой старый, как я.

Нашу шабгансу не переспоришь; я валю сосенку, очищаю ее от сучьев. Бабушка требует, чтоб очищенный ствол я нес домой. Наконец лес кончается, и мы выходим на дорогу. Но тут бабушка опять сворачивает в сторону.

Она ведет нас к ложбине, где растет огромная, с мощным стволом лиственница. Я думаю: если три человека возьмутся за руки, то и тогда не сумеют обхватить ствол. На ветках лиственницы висят разноцветные ленточки, а перед деревом лежит большой квадратный камень, на котором высечены по-тибетски какие-то молитвы. На

камне стоит медная чашечка — сугсо. Это место называется обоон, здесь собирались верующие, молились и приносили жертвы.

Раньше, говорят, собирались тут часто, потом перестали, приходили молиться только старики. Сам я никогда таких сборищ не видел. Как только началась война, люди снова начали наведываться сюда. Я вспомнил письмо, которое мы с Сэрэн-Дулмой сожгли на костре.

Мы с Зиной с интересом рассматриваем камень, чашечку, лоскутки на ветках дерева, бабушка тем временем достает из-за пазухи такой же лоскуток, привязывает его к лиственнице и кладет в чашечку медные деньги. Потом снимает шапку, обнажает седую, коротко остриженную голову, становится на колени и начинает молиться.

Вот зачем она отправилась с нами в лес.

— Благодарю тебя, всевышний,— бормочет шабганса, и прикладывает руки к груди, и кланяется,— за то, что ты освободил моего сына. Сохрани его от меча и пули, дай ему благополучно возвратиться...— Бабушка бормочет, старательно кланяется.

— Зачем только она верит в бога? — огорчается Зина.— Известно же, что его нет!

Я поскорее отвожу Зину в сторону, чтобы бабушка не услышала ее слов. С бабушкой о боге спорить бесполезно. А то еще может выдать такой адис [1], что до вечера будет шуметь голова.

Кончив молитву, бабушка не разговаривает с нами, не замечает нас, но долго не выдерживает, начинает ворчать все громче, все сердитее. Мы идем сзади и слышим, как она нас отчитывает:

— Куда годится эта молодежь? Никуда не годится! Как можно пройти мимо обоона, где молились наши предки?! Не умеете молиться. Ладно! Жалко сделать приношение! Ладно! Но стойте и смотрите, как молятся старшие. Не шепчитесь и не смейтесь... Где был бы сейчас его отец, если бы не мои молитвы? Передать просили лунден. Где он, негодный мальчишка? — Оказывается, бабушка не так проста: уже осведомлена о священном письме.— Куда годится эта молодежь? Никуда не годится...

И снова в том же духе до самого улуса.

[1] Адис — ритуал, когда священнослужитель ударяет молящегося по голове какой-нибудь почитаемой вещью.

XII.

НОЧЬЮ...

Сегодня весь день парит. Свинцовое небо низко нависло над землей, у горизонта оно почти черное, зловещее. Сверкают далекие сполохи. Тихо и тяжко. К вечеру духота еще усиливается. Рубашка прилипла к спине. Я дышу, будто рыба, выброшенная на сушу. Мне, как и всему живому кругом, томительно-тревожно. Кони нервничают, прядают ушами.

Быть грозе, а она очень некстати. Я с досадой поглядываю на небо. Чего стоило бабушкиному богу подождать хотя бы пару деньков! Еще не во всех бригадах успели застоговать сено.

Представляю, какая сейчас горячка на лугах! Рабочих рук не хватает. Сегодня только из первой бригады еще пять человек ушли на фронт. Бригада... Собственно говоря, никакой бригады у нас теперь и нет. Разве можно назвать бригадой старика Бадму, толстую повариху Дугарму и беременную учетчицу Бутидму? Бадма-баабай, конечно, уважаемый человек, он может замечательно отбить косу, но он стар, а стогование — тяжелый труд. Беременная Бутидма вообще не в счет, наверняка целый день плачет-заливается о своем Лубсане: он один из пяти, которых забрали в армию.

Чем больше я об этом думаю, тем тревожнее становится на душе. Надо сходить, помочь. Как-никак я мужчина!

Я загоняю коней на ферму, закрываю их в загоне, а сам отправляюсь в Черемуховую падь.

Около полевого стана — ни живой души. Одиноко стоят прислоненные к большому шалашу косы, они отработали свое. Я вхожу — не могу понять, почему и внутри он выглядит таким заброшенным. Почти со всех нар убраны постели, на полу стоит чемодан, какие-то узлы, свертки, обрывки газет... Посреди этого разгрома у очага, понурившись, сидит Бадма-баабай. У него растерянный и измученный вид. На тулге[1] висит черный, закопченный чугунок, в золе греется медный чайник, в очаге тлеют две головешки.

— Здравствуйте,— говорю я преувеличенно бодро.—

---

[1] Тулга — железный треножник.

Видел ваш зарод, удивился,— уже сметали, осталось закончить!

Я достаю из огня уголек, прикуриваю от него и усаживаюсь с ним рядом.

— «Осталось закончить»! «Уже сметали»! — В усталых глазах Бадмы-баабая досада.— Кто будет кидать наверх? Она? — Он показывает на толстую повариху, моющую посуду.— Или она? — переводит он взгляд на беременную учетчицу.— Две бабы и те еле себя носят, а на такой работе и мужики надорвутся.

— У меня водянка,— подает голос повариха, ковыряясь в очаге,— а Бутидма все плачет. Не сегодня-завтра рожать, и зачем сюда приволоклась?

— Говорят, полезно больше двигаться.— Учетчица краснеет и низко склоняется над очагом.

— Она будет двигаться! — Бадма сердится, но как-то не всерьез, обессиленно.— Я тоже буду двигаться, наверху... А кто нам стог станет метать?

— Я буду метать,— говорю я.

Бадма-баабай смотрит на меня с сомнением.

— А как же кони? — наконец спрашивает он.

— Отвел их на ферму. Ничего, постоят.

Дугарма качает головой: мужчина! Маленький, а все же мужчина!

Мы выходим из шалаша.

Незаконченный зарод в свинцовых сумерках, как дремлющий мамонт посреди степи. Чем ближе я подхожу к нему, тем он становится выше и выше. Чем ближе, тем сильней моя растерянность. Метать сено! На такую высоту! Какие бы длинные вилы я ни взял, все равно не дотянусь до верха. А зарод еще должен подняться. У меня маленький рост. Как часто я страдаю от этого.

В унынии вместе со мной стоят перед стогом трое — старик и две женщины, одна больная водянкой, другая беременная.

За нашей спиной гремит телега; из нее на ходу спрыгивают доярки — одна, другая, третья...

— Эй, труженики! Любуетесь?

— А у них помощник! Мы опоздали, бабоньки.

— Батожаб, ты как тут?

Приехали доярки с Кусотинской фермы, вместе с ними и моя мать. И мне сразу веселее.

Мать стала деловито распоряжаться:

— Янжима, Дугарма, Балма — подгребать сено, коп-

нить. Батожаб, ты на Гнедом будешь волочить копны к стогу. Бадма-ахай, нечего тебе лазить наверх, останешься здесь, будешь подавать мне сено. А наверх полезу я. Не бойся, справлюсь! Быстрей! Быстрей! Вон уже ветер поднимается!

Я собирался метать стог, а мать сразу ставит меня на место — не вырос, твое место возле Гнедого. Старый Бадма подчиняется моей маме, уступает ей то, что должен делать сам — укладывать сено наверх. Это самая важная работа, от нее зависит, сохранится ли сено всю зиму, не погниет ли от дождей. Надо уметь вывести скосы, чтоб вода стекала, а не просачивалась внутрь, чтоб не раскидал ветер, чтоб зарод не завалился. Подчиняется маме Бадма, подчиняются все. Я иду к Гнедому, а Бадма-баабай перекидывает через верх веревку, держит ее, мама с другой стороны ловит, цепляется, по-мужски лезет на зарод.

Тяжкие сумерки давят на степь, мы окружены сполохами, начинает тянуть несильный, но упрямый ветер — предвестник дождя. Быстрей! Быстрей!

Я привязываю к седлу длинную веревку, скачу в степь, где женщины собирают просохшее сено в копны. Мое дело накинуть на копну веревку, прыгнуть в седло и...

— Ну, Гнедой! Ну, полегоньку...

Как ни плавно трогаю я Гнедого, но первые копны у меня сразу же разваливаются. Сползаю с седла, сбиваю развалившуюся копну, и снова:

— Ну, Гнедой! Ну, милый! Полегоньку...

И Гнедой понимает, тянет бережно, я не дышу в седле.

Мало-помалу мы с Гнедым приноравливаемся, волочим копну за копной, я даже начинаю подгонять коня:

— Быстрей, Гнедко! Быстрей!

Густеет темнота. И уже не размазанные сполохи по окраинам неба, а вспыхивают резкие далекие молнии. И крепнет ветер, задирает копны, рвет сено, несет по степи.

Бабы под стогом подбадривают себя:

— Эй-гей! Держи подолы — улетим!

— Страшно без мужиков все-таки.

— О мужиках забудь. Скоро один Бабу-дурачок на весь улус останется.

— Как бы нам, бабы, не передраться из-за него.

Смех и чей-то отрезвляющий голос:

— Не до Бабу нам будет, каждый день придется до смерти уламываться.

Мы с Гнедым мечемся по степи — туда и обратно. Туда — вскачь, обратно — со степенной медлительностью, волоча на веревке готовую улизнуть добычу.

А воздух становится гуще и гуще. Спина в поту, в поту бока Гнедого; налетающий ветер не охлаждает нас. И по закраине степи из конца в конец перекатываются глухие раскаты.

В темноте наверху маячит моя мать; кажется, она движется там лениво, нехотя. Но уже втроем кидают ей сено, и она справляется. Быстрей! Быстрей!

Бабы внизу работают руками, работают языками, злословят о бригадировой жене:

— Дома дикое мясо наращивает. Для нее и война не война — муж под боком.

— А Хурла-почтальонша лучше? Два раза за день на велосипеде прокатит.

— У Хурлы дела поважней.

— Гадания, что ли?

— Голову нам морочит.

— А может, есть что-то...

— Ну да, Хурла же на святую как раз похожа!

— Кто знает, какими святые были...

Готова вспыхнуть бабья перебранка, но все перебивает молния, располосовавшая небо. Степь на мгновение становится голубой, под стогом тоже голубые, окаменевшие бабы. И густая тьма. И несколько секунд тишины. И валится на землю сердитый гром. Гнедой испуганно лезет в сторону.

— Тпр-ру! Батожаб, ты? Не видишь, что ли?

Передо мной прямо из земли вырос всадник. Узнаю: бригадир на Белоногом. Сейчас будет мне — бросил коней, лезу не в свое дело. Но бригадир неожиданно хвалит:

— Помогаешь? Молодец! За план болеешь, значит. Сейчас на повестке дня — сено спасти!

Через минуту его голос уже рокочет под стогом:

— Давай, давай, товарищи женщины! Нынче вы опора нашей державы... А кто это стог кладет? Дэжит, ты?.. Ишь выскочила! С этой стороны вроде не так взяла, скос кривой! Смотри, завалишь мне стог!

— Ендон! — Голос матери сверху.— Возьми вилы у Бадмы, устал старик.

Голос матери жесткий, приказывающий. Это бригадиру-то!

И снова вспыхивает степь, через все небо проносится слепящий ручей. И тьма, и гром, вжимающий в землю, и тишина следом. Тишина, нарушаемая только шелестом сухого сена под ветром.

Голос матери сверху:

— Возьми вилы у старика, Ендон!

Я обмираю: бригадир послушно лезет с Белоногого, бурчит:

— Сам знаю. Не командуй... Баабай, давай вилы.

Он загребает сразу полкопны, без труда поднимает:

— Принимай там!

И снова полкопны плывет в воздухе.

— Принимай! — с сердитым кряканьем.

Я отъезжаю, мне некогда любоваться — надо волочить копны. Быстрей! Быстрей!

Возвращаюсь с очередной копной и слышу, что доярки — самые зубастые бабы в улусе — уже взялись за бригадира:

— Ендон, а ты мужчина ничего.

— Не только руководить умеешь.

— Он накопления нажил — надолго хватит.

— А мы думали, Тамжад из тебя, Ендон, все соки вытянула, ан нет!

Чудно, бригадир не обижается — пыхтит, покрякивает, кидает большие охапки, с неуклюжей игривостью отбивается:

— Меня хватит, бабоньки... не на одну!

— Шефство над всей бригадой возьми — придется, война же, мужиков-то нет.

— А я что... Я вполне.

— Покладист он нынче.

Бригадир кряхтит, пыхтит, работает.

Ветер стелется по степи, бьет в лицо сенной трухой. И новая молния, новый гром. Быстрей! Быстрей! Еще нет дождя, но он будет. Вот-вот ударит. Быстрей! Быстрей!

Я снова мчусь в степь и натыкаюсь на возвращающихся женщин. Они устало бредут, каждая несет на граблях по охапке сена.

— Заворачивай! Все... Последнее прибрали, несем вот.

Мне на переносицу падает первая капля, тяжелая, как ртуть. Я поворачиваю коня.

Разлапистая молния распластывается по небу, освещает плоскую степь. Яркую степь под непроницаемо-черным небом. Посреди степи длинный зарод — могучий стог, на нем моя мама, ветер рвет ее платье. Посреди ослепительной степи, под черным небом, словно на высокой скале...

Картина на мгновение, но она остается у меня на всю жизнь, на долгие, долгие годы.

Обрушивается гром, одевается траурным мраком степь. Земля начинает суетливо и озабоченно говорить под ногами лошади. Это пошел дождь — редкие, тяжелые капли.

Женщины бегают вокруг стога, причесывают бока граблями, убирают лишнее. Очередной сполох освещает лицо бригадира — мокрое, опавшее, с выпирающими скулами. Бригадир тяжело дышит.

— Значит, так...— говорит он в пространство.— План спасли. Каждый человек сейчас должен жить для плана.

А я почему-то вдруг испытываю к нему жалость и любовь. Я люблю степь, поднятый в ней стог, мать, Ендона — весь мир.

Дождь нарастает, земля отвечает небу глухим ропотом. Пусть теперь идет вовсю дождь. Не страшно. Мне ничего не страшно. Я люблю всех.

Мешок, которым я накрылся, промок насквозь. В темноте мы с Гнедым совсем не разбираем дороги, я тороплю его. В грозу хозяин табуна должен быть рядом с конями. Они могут взбунтоваться. Рвется ночь от молний, гром раскалывает и небо и землю. Хозяин неба — Эсегэ малаан Тэнгэри, освети мне путь своей молнией, мне надо спешить. Меня ждут кони!..

XIII.

ДНЕМ...

— Бурхан зайлул! Господи помилуй! Куда же он подевался! Только что держала в руках! Не иначе, как спрятали, негодники! Ну да, кому бы еще! Барас, покажи, что это у тебя в руках? А ты, Дондой, с чем сейчас носился по двору? Жалма, Жалма! Помоги же мне, наконец!

Наша шабганса бродит как потерянная. Лицо в мелких капельках пота, ворот тэрлика расстегнут. Мы со всех ног бросаемся ей на помощь: покоя в доме не будет, пока не найдется ее пропажа...

Но трудно искать то, о чем мы понятия не имеем. Как старший, я решил дознаться у бабушки, что она, в конце концов, потеряла.

— Хии-морин,— говорит бабушка, и морщин на ее лице становится еще больше. Видя, что мы уставились на нее, не понимая, бабушка добавляет: — Белый такой, величиной с ладонь... Флажок из материи, а на нем священный конь.

Кусочек материи! Какой-то таинственный конь... Все перевернем, а найдем!

Но потерю нашла сама бабушка.

— Ох, совсем из ума выживать стала. Сама спрятала и забыла.

Мы с облегчением вздыхаем и плотным кольцом окружаем бабушку. Интересно, что за белый флажок?

— Бабушка, покажи флажок!

— А что это на нем написано?

— Дай подержать!

— Еще что надумали! Вот повесим, тогда и увидите. Все увидите, когда время придет. Зря я, что ли, сосновую жердь из лесу принесла. Длинная, ладная у нас жердь,— приговаривает бабушка, прилаживая флажок к пахнущей лесом палке, которая еще совсем недавно была молодой сосенкой.

— Мы что, белый флаг поднимать будем? — спрашиваю я.

— Флаг не флаг,— бормочет бабушка.— Конь, парящий в воздухе,— вот как этот талисман называется. Он от нашего дома все беды отведет.

Мы не отходим от бабушки ни на шаг. Наша шабганса хоть и старая, смеюсь я про себя, а тоже еще в игрушки играть любит. Но раз речь идет о коне, мне эта затея по вкусу.

— Бабуля, давай раскрасим твоего коня,— предлагает Дондой и, непонятно за что, получает подзатыльник.

— Ну-ка, Батожаб, полезай на крышу,— командует бабушка.

Я с удовольствием выполняю приказ, залезаю на крышу и приколачиваю длинную жердь прямо к матице. Красивый флагшток над нашим домом! Мы стоим внизу, за-

прокинув головы, и любуемся. Вокруг флагштока снуют желтогрудые ласточки — учат птенцов летать. Их семья живет в гнезде у самого дымохода.

— Божьи птицы! — говорит бабушка.— Видишь, и они рады талисману.— Бабушка покрякивает от удовольствия и закуривает свою трубочку.

Малыши в восторге, хлопают в ладоши, смеются, кружатся.

— Что за праздник? — спрашивает мать еще с улицы. Она возвращается с фермы; у нее усталое лицо, у глаз — морщинки.

Малыши с готовностью показывают ей на белый флажок, развевающийся над нашим домом. Неожиданно для нас лицо матери еще более темнеет.

— Опять за старое!..

Бабушка будто костью поперхнулась.

— Когда вы были комсомол-момсомол, всех больших богов из гунгарбы[1] повыкидывали. Кому они мешали, спрашивается? Теперь хватит, не вздумай трогать мой талисман!

— Молитесь себе на здоровье, кто вам не разрешает? Но зачем же на посмешище всему улусу эту палку выставили?

— На посмешище, говоришь? Увидим еще, кто над кем смеяться будет. Не ты мне хии-морин принесла, другие люди позаботились, не тебе и отнимать! — горячилась бабушка.

— Что же это за покровители у нашей семьи нашлись?

— Есть добрые люди! Хурла, например, очень хорошая девушка! — Шабганса с вызовом смотрит на мать.

Мама собирает в подол халата щепки для растопки очага.

— Давно ли почтальонша стала такой заботливой?

— Она родилась, чтобы помогать страждущим! Вспомни о своем муже...

— Уж Хурла поможет страждущим, как же! — В мамином голосе я слышу раздражение. Не припомню, чтобы мама и бабушка еще когда так разговаривали друг с другом.

Шабганса быстро перебирает четки своими кривыми пальцами.

---

[1] Гунгарба — божница.

— Денно и нощно молюсь, чтобы мой сын вернулся здоровым. Но этого мало, все должны молиться, все: господи, охрани наш дом от своего гнева!

— Вы думаете, что, если эта тряпка будет развеваться над крышей, поможет?

Бабушка не выдерживает и кричит:

— Замолчи! Если сама бога забыла, не кощунствуй, не мешай другим молиться!

Всегда уступчивая с бабушкой, мать сейчас ни в чем не хочет уступать:

— Опять старых коней седлать будем? Далеко ли уедем на них? Много хорошего видали вы от ваших богов?

Бабушка демонстративно поворачивается к маме спиной, давая понять, что разговаривать больше не желает.

— И ты хорош! — накидывается мама на меня.— Вот уж чего никак от тебя не ожидала!

Честно говоря, я озадачен. Уж не думал, что все так обернется. Я помогал шабгансе, старался, думал, что еще похвалят. А тут все наоборот!

Выручает меня Сэрэн-Дулма:

— Вся компания в сборе, а про Мухагшан забыли! — Тетя гонит перед собой нашу корову.—Все коровы давно с пастбища пришли, я Мухагшан еле разыскала. Теленка и то не забрали...

Бабушка всплеснула руками:

— Вот они, скандалы-то! Совсем забыли! Не доена!

Сэрэн-Дулма взяла ведро, села под корову.

— Ну вот, вымя пустое, все теленок высосал... Пойдете сегодня спать без молока,— с досадой сказала она и поднялась.— Чем только вы тут заняты!

Бабушка снова вскинулась:

— «Чем заняты, чем заняты»! Разве вам понять, чем я занята... Только что одна меня учила, теперь вот вторая явилась!..

— Ничего не понимаю! Сами на себя не похожи! Что стряслось?

Жалма отчаянно трясла головой, показывая ей на крышу.

— Белый флаг! Какому врагу собираетесь сдаваться? — засмеялась Сэрэн-Дулма.

— Только и знаешь с железом возиться! Пора о душе подумать! О муже! Писем-то нет!..

— Только о нем все время и думаю,— Сэрэн-Дулма потемнела лицом.

Бабушка махнула рукой.

— С вами говорить — слова зря тратить! — и ушла в дом.

Теперь я опять попадаю под обстрел.

— Ты жердь из лесу приволок, кормилец? — грозно спрашивает хээтэй.

— Да почем я знал! Думал, так... забавно же! Флаг с конем. Я сейчас слазаю, сорву флаг и жердь сломаю. Разговору-то сколько.

— Ишь какой прыткий! Повесить близко, снять далеко. Теперь сорвать — старуху насмерть обидеть. Ни тебе, ни нам не простит по гроб. Нет уж...

Над нашими головами плещет на ветру веселый флажок. Он не должен висеть, но нельзя и снять. И виноват не кто иной, как я. Я один!

— А ну вас! — Я расстроен, я обижен, решаю показать, что мне плевать на то, как обо мне все думают: лезу в карман, достаю кисет, не торопясь, демонстративно сворачиваю цигарку — закуриваю.

Во дворе наступает тишина. Сэрэн-Дулма усмехается, мать смотрит пытливо и холодно. Жалма — со взрослым укором, Дондой — с завистью, Барас — зачарованно на тающий дымок из моего рта.

Я ждал, что будут ругать, но никто ни слова,— я не Дондой, мужчина, считай, глава семьи. И курить сразу расхотелось, тушу цигарку, отворачиваюсь, лезу на чердак сарая — там сено, там у меня недочитанная книжка.

— На сене не смей курить! — слышу голос матери.— Нам только пожара не хватало.

Словно я не понимаю. И вообще-то я один не курю, только на людях, чтоб видели — я взрослый. Мать меня за взрослого не считает.

Я открыл книжку и... все забыл: коня, парящего в воздухе, ворчащую бабку, несправедливость матери, забыл ночную грозу, свой табун...

Я на Марсе, вместе с инженером Лосевым. Тонкая, нежная Аэлита с пепельными волосами показывает шарик на узкой ладони. Шарик переливается, искрится, играет, на нем проступают голубые моря и знакомые по школьным картам материки — Европа с плавающей в океане Англией, две Америки, сцепленные друг с другом, Африка...

На Марсе революция, над странными марсианскими городами воздушные бои...

Огромные, печальные, пугающие, не по-земному красивые глаза Аэлиты. В них — тоска по родным полям, по деревьям, по светлым дождям...

Я читаю и тоже тоскую, хотя моя родная земля тут, рядом, за дощатой стеной чердака,— улус, рассеченный вдоль пыльной дорогой...

И война идет не на Марсе, а на Земле.

Разносится по Вселенной таинственный голос:

«Где ты? Где ты, Сын неба?»

Во дворе басом заревел Барас, мягкий голос тетки успокаивает его:

— Ты же хороший мальчик, ложись спать. Проснешься — уже утро, и мама твоя рядом.

Обычная история! Сэрэн-Дулме пора в ночную смену, а Барас плачет, не пускает, цепляется за юбку:

— С тобой хочу-у-у!

— Батожаб! Батожаб! Уйми ребенка! — Голос шабгансы.

Всюду Батожаб, только Батожаб! Он и ночью с конями, он и днем нянчись — обойдутся. В ушах еще звучат слова: «Где ты, Сын неба?»

Жалма берет на себя Бараса, певучим голосом, играя во взрослую, тянет:

— Где твой ахай, Барас, где? Давай искать его, куда он от нас спрятался?

Я лежу. «Где ты, Сын неба?» Пусть там, внизу, суетятся без меня. Слезу, когда нужно будет идти к табуну.

— Ахай! — Жалма подходит к сарайчику, шепчет: — У нашей шабгансы — Эрдэни-баабай. Опять разговаривают про коня в воздухе.

Я молчу. Голос Аэлиты угас, хочешь не хочешь — спускайся с Марса на Землю. Я всегда рад видеть отца Эрдэни, кузнеца Гарму, но сегодня... Отец Эрдэни тоже станет упрекать меня за этот флаг с парящим конем, будь он неладен!

Я подлезаю к окошечку чердака. В него видно — Гарма сидит на почетном месте с северной стороны очага и пьет чай. Бабушка принесла ему свой старый медный чайник. Кузнец качает головой, что-то говорит ей. Хотя ясно что: чайник настолько стар, его надо не паять, а выбросить!

Нехотя я слезаю с чердака.

Отец Эрдэни раздвинул в улыбке складки на лице, положил мне на плечо тяжелую руку, усадил рядом.

— Сайн байн, Батожаб, здравствуй! Мне бригадир говорил, ты ловко со стогом управился. Совсем взрослым становишься. Отец придет — не узнает.

Приятны слова кузнеца, приятно, что меня хвалит бригадир — вот уж не ждал! Но приятней всего, что обмолвились про отца.

Кузнец задумался, молчит. Молчу и я.

Гарма роняет голову, смотрит вниз, на свои большие, раздавленные работой руки.

— Табунщик у соседей — скотина, берегись его. Не раз он моему Эрдэни пробовал напакостить,— говорит он, не поднимая головы.

Я молча киваю: знаю, мол. Не стану же я рассказывать о драке.

— Привык, не боишься один?

— Боялся, теперь перестал, кажется.

— Чего ночью бояться?.. Это у стариков всякие страхи, все им что-то мерещится, все ищут, кто бы их спас...— Отец Эрдэни с натугой подымается: — Говорят, Харьков немцами взят, пока сообщений нет... Ну, благополучной тебе ночи, сынок... собирайся. Пойду я...

Он ушел, а я соображаю: зачем, собственно, приходил отец Эрдэни? Не на бабушкин же старый чайник полюбоваться. И вдруг понимаю: кузнец приходил ко мне! Как взрослый к взрослому, перекинуться парой слов. Точно так, как когда-то он приходил к моему отцу. А к кому еще может пойти сейчас Гарма? В улусе почти нет мужчин.

Отец Эрдэни считает меня мужчиной.

Мне пора собираться в ночное.

XIV.

НОЧЬЮ...

Полнолуние. Большой круглый диск повис над вершинами Трех Кобылиц, заливая землю своим холодным обманчивым светом. Горы стоят торжественные и молчаливые. Вокруг все видно, как днем. Светлеет облачко, зацепившееся за вершину. Отчетливо видны деревья, взбирающиеся вверх по склонам. У подножья они растут гу-

сто, а вверх поднимаются только самые отчаянные. Наверно, про такие ночи говорят, что иголку в стоге сена найти можно.

На лугу блестит роса. Веет мягкий ветерок, разгоняя мошку. Прямо из-под ног коня вылетает птица. Табун пасется спокойно, тихо радуется вместе с природой. Главное, не тормошить его понапрасну.

На душе у меня тоже легко и ясно. Пожалуй, в такие ночи можно читать, сидя в седле. Стоило бы прихватить с собой книгу. Я вдруг вспоминаю, что Эрдэни брал с собой в ночное кожу и выделывал сыромятные ремни. Почему бы мне этим не заняться? Тем более, что я собираюсь скоро начать объезжать диких коней...

Захотелось вдруг курить, да забыл спички.

Вдруг я заметил у подножья горы огонек. Видимо, кто-то заночевал под лиственницей около обоона.

Кому понадобилось разжигать костер? А если это не костер? Я не спеша направил Гнедого на огонек.

Около маленького костерка виднелась неподвижная фигура. Пень не пень, человек не человек. Я объехал вокруг — фигура не шевельнулась. Тихо окликнул. Может, убраться от дурного места подобру-поздорову? Пусть себе сидит этот «пень». Нет... Опять зайцем становлюсь!

Соскочил с коня и, тихо ступая, пошел прямо на огонь. Гнедой заржал, словно уговаривая меня не ходить дальше.

Маленький костерок оказался светильником. Рядом с ним сидела женщина в платке. Скрестив на груди руки, не мигая, смотрела она на огонь и что-то шептала. Слабые блики играли на ее лице, похожем на застывшую маску.

— Ты кто? — спросил я охрипшим голосом.

Женщина не ответила. Столбняк на нее напал, что ли? Я подошел совсем близко и заглянул ей в лицо. Да это же Хурла! От неожиданности я даже вздрогнул. Вот уж никак не ожидал увидеть здесь почтальоншу!

— Тетя Хурла, вы что?..

Зрачки у нее черные, остановившиеся, лицо искажено гримасой. Она в самом деле ничего не слышит и не видит или только прикидывается?

Вдруг она дико вскрикивает, взмахивает руками и как сноп валится на землю. Час от часу не легче!

— Тетя Хурла! Да что с вами? — Я стою над ней, переминаясь с ноги на ногу. Положеньице!..

Хурла долго лежит лицом вниз. Я топчусь над ней. Наконец она с трудом поднимается, садится и озирается бессмысленно.

— Ты кто? — строго спрашивает меня.

Ну и ну! Не узнает.

— Это я,— говорю громко, отчетливо, может, и вправду она не в себе.

— Чей ты сын?

— Я Батожаб, сын Гомбы.

— ...сын Гомбы,— глухо повторяет Хурла.

— Вы... вы не узнаете?

— ...большая вода... большая вода... огонь... кровь... кровь...— бессвязно бормочет Хурла.

— Вы больны! — пугаюсь я не на шутку.

— Да что ты привязался ко мне, окаянный! — вдруг визгливо вскрикивает Хурла.— Я страдаю за весь род человеческий!

— Я помочь вам хотел...

— Убирайся отсюда. Молитву испортил! Видишь, я с духами разговариваю, прошу, чтобы наших земляков сохранили в огне-пламени.— Хурла кивает на мешочек, который стоит на камне со светильником: — Для них принесла...

Я оглядываюсь: кто еще тут есть?

— Священного коня, который к нам в день войны пришел, не потерял?

— Да какой он священный! — возмущаюсь я.— Самый плохой конь в табуне, все смотрит на сторону. Его Черногривым беглецом зовут. Правду говорят: не всякой находке радуйся.

— Умом зелен о таких вещах судить. Конь послан нам свыше, смотри за ним в оба. Уйдет — быть беде.

Чего ей дался Черногривый?..

— Присаживайся,— вдруг миролюбиво говорит Хурла. Будто и не она только что валялась на земле и вопила истошным голосом.

Я поглядываю на нее с опаской: а вдруг опять что-нибудь выкинет?

— Да поближе садись. Табачок есть?

Я протягиваю ей кисет. Сворачиваю самокрутку, наклоняюсь к светильнику, чтобы прикурить, и тут же получаю увесистый подзатыльник.

— Куда? С козьей ножкой к святому огню! Нечисть! — Хурла кидает мне спички.

— Ух! — Я с наслаждением затягиваюсь.— Замучился без курева.

— Гляди-ка, смолит, как большой,— удивляется Хурла.

— Я и есть большой,— отвечаю солидно.

Хурла бросает в мою сторону быстрый, скользкий взгляд.

— А тебе не скучно ночью? Небось девушки проведывают табунщика, а? Да что там, дело житейское.

— Еще чего...— бурчу себе под нос и отворачиваюсь.

— Ишь вспыхнул, красна девица! — Хурла громко смеется. Потом, словно вспомнив о чем-то, дотягивается до мешочка с жертвоприношением, вытаскивает оттуда бутылку, заговорщически подмигивает мне.— Проверим, не прокисло ли?

В чистом ночном воздухе тянет спиртным. Я начинаю потихоньку отодвигаться.

— Я не пью...

— Не скромничай!

— На работе нельзя.

— Тоже мне труженик, на такой работе только и пить.— Сначала она пальцем разбрызгивает несколько капель.— Сэржэм... Ну, смелее! С одного глотка не опьянеешь. Или теперь табунщики бабами стали?

И впрямь еще подумает, что я боюсь! Я беру у нее из рук бутылку и, зажмурившись, делаю несколько больших глотков. Внутри дерет и жжет, задыхаюсь, как рыба, хватаю ртом воздух. Хурла смеется, отбирает бутылку, кося прищуренным глазом, прикладывается к горлышку.

— Живительный напиток! От такого даже щенок мужчиной становится!.. Твоя очередь.

Я отмахиваюсь обеими руками.

— Эх ты, телок розовомордый! — смеется она.

Я тоже начинаю смеяться. Право, мне весело.

— Пей-пей, не бойся, джигит! Не уступай бабе. Стыдно.

Сделал еще несколько глотков и вытер рот рукавом. В голове приятно шумело, а месяц слегка покачивался. Я откинулся, облокотился на руку. Хурла пристроилась тут же, цепким пальцем провела по моим плечам.

— О, силенку нарастил! Интересно, смелый ты парень или только на словах? — Она придвинулась почти вплотную.— Иди сюда, дурачок,— шепчет она мне прямо в лицо, обдавая спиртным.

Мне противно. Я делаю попытку встать, но Хурла не пускает.

— Видимо, выпила я лишку, помоги-ка расстегнуть ворот. Душно...— Неожиданно Хурла валится на спину и увлекает меня за собой.

Я быстро приподнимаюсь на колени, оторопело смотрю на нее. Она раскинула руки и лежит неподвижно. Совсем плохо тетке Хурле. Путаясь в ее одеждах, я отыскиваю пуговицы, непослушными руками расстегиваю их, дую ей в лицо. Почтальонша вдруг обнимает меня руками за шею и целует. Я подскакиваю как ужаленный, тру щеку рукой.

— Вы что?

Отбегаю в сторону.

— Батожаб, Батожаб! Куда ты, недоделанный! Шучу я!

— Как вам не стыдно! — кричу.

— Сопляк! Шуток не понимаешь... Держи язык за зубами, не вздумай сплетни пускать, а то так тебя ославлю, что надолго меня запомнишь. Волчье семя! А сюда, к обоону, больше не приближайся...

Я вскочил в седло и пришпорил Гнедого. Долго еще вслед мне неслись проклятья:

— Чтоб тебя громом поразило! Чтобы духи на твоих коней порчу наслали!

Какая все-таки она! Даже коням худа желает. Думал, что у нее сердце доброе, раз молиться сюда пришла за земляков, которые в «огне-пламени».

Гнедой скачет быстро, я его подгоняю. Несемся по степи, сбоку несется луна, перемахивает с горы на гору. Гнедой на всем скаку врезался в табун, так что кони шарахнулись в сторону. Я едва удержался в седле. Перевел дух, огляделся... Что-то здесь произошло. Светлогнедая кобылица ходит вокруг своего жеребенка и спотыкается на каждом шагу. Рядом с ней Белоногий как-то странно подпрыгивает, словно пляшет. Может, мне это мерещится?.. Я провел рукой по глазам. Нет, все, как прежде. Вот и Черногривый ковыляет, будто стреноженный... Неужели я пьян? А если не пьян, что с моим табуном? Или вправду нечистая сила шутки шутит? Неужели проклятье Хурлы сбылось? Так быстро?

Я слез с Гнедого, на всякий случай стреножил его и осторожно, почти крадучись, направился к Черногривому беглецу.

Я слышал, что, когда кони в табуне начинают неожиданно хромать, надо рассечь невидимые путы деревянным ножом. А где его взять? Ни деревянного, ни железного ножа у меня нет. Черногривый шел, припадая на каждом шагу. Я потянулся к нему:

— Стой! Стой тихо!..— Голос мой ломался.— Да стой же! — Ухватился за ногу, потянулся второй рукой, ребром ладони провел как ножом... И моя ладонь прошла сквозь пустоту — никаких пут! Ноги коня не стреножены!.. Я тяжело сел на землю.

Я сидел на земле и держался за ногу коня. Черногривый больно куснул меня в плечо, и я с удовольствием огрел его плеткой — святой пришелец!

Проклятие-то Хурлы сбылось! Сбылось немедленно! Пока я скакал от старой лиственницы.

Светит яркая, словно начищенная, луна. По степи хоть собирай иголки. По светлой степи ковыляют кони, стреноженные неведомой силой.

Я, кажется, совсем пьян... Да нет. Чуть-чуть, может быть. Луна уже не шатается на небе. Правда, голова моя шумит... Я никак не соображу, что же мне делать? Обратно к Хурле? Покаяться, попросить: сними проклятье! И как воочию увидел ее, раскинувшуюся на земле. Меня передернуло. Не пойду!

Мимо меня, спотыкаясь, проковылял Гнедой. И он... Тут я вспомнил, что только что сам стреножил коня. Стало чуть легче. С трудом заставил себя подняться. Распутал ремни на ногах Гнедко. Все в порядке, ничуть не хромает. Хоть один не заговоренный.

Через минуту я сидел в седле и гнал табун с этого заколдованного луга. Кони ковыляли впереди...

XV.

ДНЕМ...

Не торопясь, солидно шагаю я по центральной улице улуса с ургой в руках. Взрослые здороваются со мной, останавливаются, расспрашивают о делах, разговаривают как с равным. Я чувствую себя нужным, значительным, и мне это приятно.

— Что не здороваешься? Старых друзей не узнаешь?

— Зазнался?

Я размечтался и не заметил, как меня плотно окружили одноклассники, мои недавние школьные товарищи. Размахивали сумками, дружно галдели. Неожиданно я почувствовал себя чужим среди них. Даже грустно стало. В будущем году, как только кончится война, обязательно опять пойду в школу. Так, чего доброго, неучем остаться можно.

Ребята задирались, наскакивали на меня, как молодые петухи.

— Он теперь, как филин, ночью видит, а днем — слеп.

Больше всех кричал и гримасничал мой старый недруг — Баянда, сын бригадира. Прячась за спины, он подзадоривал ребят:

— Давайте накроем... Все разом... взяли! Перестанет нос задирать...

— Что, вас овод всех покусал?..

Неожиданно, расталкивая мальчишек локтями, вперед выскочила Зина.

— Все на одного!.. Трусы! — И она с размаху треснула сумкой Баянду по голове.— Будешь знать, как других подговаривать...

Я не видел Зину почти все лето. Она загорела, вытянулась, коротенькое пальто выше колен. Красные бантики-бабочки так и разлетаются во все стороны, глаза сердитые — вояка! Зина стала еще красивее.

— Заступница нашлась!.. Невеста!

Зина проворно повернулась к сыну бригадира, и снова — щелчок.

Я взрослый, мне неудобно ввязываться в драку. Говорю солидно:

— Оставь их, пусть бесятся...

Шагнул прямо на ребят, они расступились, и я пошел по улице.

— Девичий пастух! Девичий пастух! — неслось мне вслед.

— Батожаб, подожди! — запыхавшись, Зина догнала меня.

— Зина, хочешь научиться ездить верхом? Пойдем к конюшне.

Зина радуется:

— Правда? Как здорово!.. Подожди только, я сбегаю домой, оставлю сумку и быстро поем...

Не дожидаясь ответа, она убегает. Но что, если тетка не отпустит Зину? Вспомнил Хурлу, и настроение у меня

сразу испортилось. Почему Зина приехала именно к Хурле? Сколько людей в улусе, а родственницей Зины оказалась Хурла.

Я боюсь Хурлы. Я до сих пор не пойму, что она сделала с моими конями прошлой ночью? Колдунья. Раньше я думал, что колдуньи все старые.

Долго шатаюсь по улусу, то приближаясь к дому почтальонши, то ухожу подальше. Наконец — и Зина.

— Быстро я?.. Держи, это письмо твоей тете.— Зина протянула мне конверт со штампом полевой почты.

«От хуряахая!» Я даже подпрыгнул от радости.

— Зина! Спасибо!

— Да что ты...

— Спасибо большое! Ты даже не знаешь, что сделала! Давай отвезем прямо на поле. Сэрэн-Дулма ждала, так ждала, что даже спрашивать про письмо перестала.

— А меня тетя Хурла отпускать не хотела,— говорит она тихо.

Я молчу.

— Понимаешь, тетя хочет, чтобы я...— Зина замолчала, отвела взгляд.

— Уж договаривай!

Хотя вокруг никого не было, Зина оглянулась и зашептала мне на ухо:

— Ты только никому не говори, а то она меня заругает. Тетя заставляет меня письма переписывать...

Я подобрался:

— Какие письма?

— Священные... Лундены их называют, слышал? Надоело мне все писать и писать, а тетя кричит, что они святые. А там одни глупости...

Так вот откуда берутся эти письма! И то, для бабушки... Впрочем, я же сам догадывался: Хурла мудрит; не знал только, что Зину заставляет.

— Моя хээтэй говорит, что это вредные письма.

— Я знаю, только тетя...— Зина опустила голову.— А сейчас я удрала, даже поесть не успела.— И Зина рассмеялась, вытащила из кармана сверток, завернутый в газетную бумагу.— Сухим пайком взяла! На двоих хватит!

— Я обедал.

— Отвезем твоей тете письмо, а потом я там останусь.

— Там? Зачем?

— Наш класс сегодня будет за комбайном колосья подбирать.

Мы подошли к конюшне. Я опасался, что лошади все разобраны, не найду ни одной спокойной. Не посадишь же Зину на Черногривого. Но стояла Светлогнедая кобылица со звездным жеребеночком.

— Зина, тебе повезло. У нее настоящая иноходь.

Однако Зину интересовала не кобылица со спокойной иноходью, а ее сын со звездочкой во лбу.

— Какая прелесть! Батожаб, скоро на нем можно будет кататься?

— Скоро. Когда война кончится, а ты наездницей станешь... Иди сюда, садись.

Я подвел к Зине кобылицу. Девочка испуганно отступила.

— Ой, какой огромный конь!

— Это не конь.

— А кто же?

— Кобыла.

— Все равно...

— Ну, не совсем... Заходить нужно с этой стороны...

— А разве не безразлично — с какой?

— Самый худой конь тебя близко не подпустит с другой стороны.

Я взбираюсь в седло и объясняю, как держать поводья, как ставить ногу в стремя, как сидеть, чтоб чувствовать себя свободно.

Узкая юбка мешает моей ученице дотянуться ногой до стремени. Я, конечно, мог бы ей помочь, но — раз напросилась ездить, то уж пусть справляется сама. После нескольких неудачных попыток Зина все же сама взбирается на коня.

Я оглядываюсь через плечо:

— Пошли?

Зина ойкнула, крепко обняла меня за пояс, прижалась к спине. Я почувствовал на своей шее ее теплое дыхание.

Не спеша мы выехали из ограды, двинулись по мягкой от пыли дороге, ведущей в поле; за нами, весело лягаясь, пустился жеребенок. Давно уже мне не приходилось ездить днем. В воздухе летала легкая паутина. Деревья сменили зеленый наряд на желто-красный, а горы, которые я привык видеть лишь в сумерки, были тронуты осенней ржавчиной. Степь тоже потухла, побурела, воз-

дух был напоен запахом трав, горькой полыни, чабреца.

Зина притихла, перестала ойкать и судорожно цепляться.

— Бабье лето,— обернулся я к ней через плечо.— Нравится тебе?

— Красиво... у меня даже немного голова кружится, может, от страха,— призналась Зина.— А наши тополя под балконом, наверно, уже пожелтели...

Зина скучает по дому. Уже осень, а конца войны не видно. Мать Зины на фронте, в полевом госпитале. Часто пишет, присылает ей деньги, которые тетка берет себе — на хранение. А об отце ничего не слышно — пропал. Может, его послали куда? Есть, наверное, места, откуда письма очень долго идут.

Мы едем, а Зина тихо рассказывает мне в затылок:

— Я так часто думаю о папе, что он мне сниться даже стал, словно и не во сне, а по-настоящему вижу... Совсем недавно показалось: сидит у печки и разговаривает с теткой Хурлой тихо так, тихо... Потом встал, и тетя Хурла проводила его до дверей. Я проснулась и уже не могла уснуть. А утром тете рассказала. Та рассердилась. Она всегда сердится. Кричит: не смей никому болтать! А почему? Сон же.

Зина притихла и лишь изредка вздыхала мне в шею. Нелегко ей живется у тетки. Чтоб развеселить ее, я стал рассказывать о своем сне — про небесных красавиц.

— Ты знаешь, та, первая... она чуть-чуть... на тебя была похожа.

Я не признался, что красавица не чуть-чуть, а совсем была похожа на Зину. Зина рассмеялась весело. Наверное, ей понравился мой сон.

— А я «Танец лебедей» в школе танцевала...

— Сейчас мы с тобой станцуем. Держись крепче!

Я перевел кобылу на иноходь. Легко и ровно понеслась она вперед. Зина крепче обхватила меня руками, и я почувствовал прикосновение ее груди. Стало жарко. Лошадь, я, Зина, свист ветра в ушах — все было в едином полете. Светлогнедая шла, как плыла,— воду в чаше не расплещет!..

Я первый пришел в себя: что, если кто-нибудь увидит? В обнимку?..

— Зина, пожалуйста, держись за заднюю луку...

Зина отпрянула, но схватилась за мой пояс.

— Хва-атит! — прокричала она.

Перевожу Светлогнедую на шаг.

— Понимаешь теперь, что такое иноходь?

— З-здо-оро-во! — Зина оглядывается, не отстал ли ее любимец. Похоже, что жеребенок тоже будет иноходцем. Он резво скачет за нами, радуется теплому дню, солнцу, простору.

— Запомни, что иноходцы очень редки. Пожалуй, у нас только Светлогнедая так ходить умеет.

— Здорово. Никогда бы не подумала...

— Всему тебя научу. Только не надо лошадей бояться, они сразу это чувствуют.

В поле я начинаю встречать моих лошадей. Я их знаю на отдыхе, здесь они в тяжком труде. Вон Каурый Сандак спускается к Тасархайской пади с большим возом сена... Горбунок с Майлы тащит длиннющие бревна. Чубарый везет горючее для трактористов.

Впереди на дороге показалась телега, доверху груженная мешками с зерном. В телегу впряжены Игреневый Гунги и Меченый.

— Значит, комбайн недалеко. Скоро доберемся! — говорю я.

— Клячи ленивые! Поупирайтесь, скоты! У Содбохи не поупираетесь! Содбоха выбьет из вас спесь!

Мы поравнялись с телегой, на которой сидит Содбоха, возница из второй полевой. Меченый заупрямился и стал посреди дороги — показывает нрав. Содбоха дергает вожжи, рвет лошадям губы. Но телега не двигается с места.

Тогда он привстает и бьет по очереди Меченого, Игреневого, Игреневого, Меченого по задним ногам, по крестцам, по чему попало. Кони храпят, пятятся.

— Чтоб вы лопнули! Чтоб вас волки загрызли! — Содбоха ругается, путая бурятские слова с русскими.

Я не выдержал, подъехал вплотную к упряжке, соскочил с коня.

— Что ты измываешься? Разве можно так? Подойди и возьми Меченого под уздцы. Игреневый сам пойдет.

— Не твоего ума дело, сопляк! Тебя забыл спросить! Катись своей дорогой!

— Пусть кони отдохнут. Вон Меченый весь в пене. — Я дотронулся до спины коня, и рука сразу стала влажной.

Содбоха замахнулся плетью.

— Ну! Некогда мне с тобой язык чесать! Мало мне

Ендона, еще сопливые суются. Марш! Не путайся под ногами!

— Лошадей калечишь. Это можно? — пробую я урезонить его.

— А с девицами средь бела дня верхом разъезжать можно? Пшел!

Содбоха попал в больное!

— Тебе что за дело?

— Катись со своей кралей! — Содбоха с размаху стегает Игреневого, тот дергается, а Меченый стоит, опустив голову.

Я схватился за кнутовище, он рванул его на себя, потерял равновесие, и оба мы оказались на земле.

Вдруг не смазанные дегтем колеса заскрипели, телега качнулась, пошла медленно, потом быстрее, быстрее, Содбоха вскочил и бросился следом.

Зина тянула Меченого за недоуздок и ласково уговаривала. Меченый шагал за ней. Содбоха подскочил к Зине, выдернул повод, погрозил мне кнутом.

— Встречу — голову проломлю!

Я отряхнул с себя пыль, сконфуженно подошел к Зине:

— Хуже скотины всякой этот Содбоха!

Зина засмеялась:

— Смотри, Светлогнедая кивает тебе, улыбается!..

Засмеялся и я.

Зина подошла к лошади и погладила ее.

— Попробуй сесть в седло и тронуться без меня.

— Бою-усь...

— Смелее!

— А если упаду?

— Не беда.

— Как это — не беда?

— Что за учеба без синяков!

Наконец она в седле. Сидит — не дышит.

— Батожаб, почему она не идет?..

— Скажи, чтоб шла.

— Пошла! Кш-ш-ш-т!

— Ты что, цыплят гоняешь?

Но Светлогнедая понимает и цыплячий язык, трогается.

— Не отпускай поводья, сиди прямее!

Я шагаю рядом, стараюсь не отставать. Красные бан-







тики-бабочки на ее спине выражают счастье и ужас. Вот бы на нас сейчас напали волки или разбойники!

Зина останавливает Светлогнедую.

— Батожаб, сними меня!

— Слезай сама.

Зина сморщилась, судорожно вцепилась в гриву, потом неловко, как по накатанной горке — спиной, ноги вперед,— съехала с бока лошади. Стала на землю, сама не верит своей удаче, делает несколько шажков, будто заново учится ходить, садится на траву.

— Ноги не слушаются! — говорит она и смеется.— Ох как я! Ох как хорошо! Поди сюда, будем обедать.— Она достает из кармана сверток, в нем большой кусок хлеба с маслом, разламывает пополам: — Это тебе, это мне!

— Спасибо, я сыт...

— Тогда и я не буду.— Зина начинает заворачивать хлеб в бумагу.

— Ладно уж! Только мне поменьше.

Светлогнедая ходит рядом и щиплет траву, жеребенок путается у нее под ногами. Зина протягивает на раскрытой ладони хлебные крошки.

— Смотри, перекормишь,— смеюсь я.

Но жеребенок не отказывается и от этого лакомства, осторожно подбирает мягкими губами крошки с ее ладони.

Идем рядом по узкой тропинке, ведем на поводу Светлогнедую. Сзади скачет жеребенок.

Вокруг, насколько хватает глаз, колышется ленивыми волнами спелая пшеница. Земля, похоже, устала от собственной щедрости; пшеница никнет, хлеба перестаиваются. В воздухе натужный рокот расхлябанного тракторного мотора, вдали по полю ползет комбайн, неуклюжий, громоздкий; кажется, вот-вот завалится на первом же толчке. Он рискованно шатается, покачивает своими широкими боками, ползет за трактором.

Этот степной корабль — наша гордость. Его фотография появлялась в республиканской газете. Там он выглядел внушительным и красивым. На его «капитанском» мостике — Бальжима Сантапова. Год назад она заменила брата, ушедшего в армию. Тогда по всей Бурятии не так уж и много было женщин-комбайнеров.

Безмолвие пшеничного моря осталось позади. Здесь поле боя. Грохочет трактор, скрежещет комбайн, над-

садно кричат возницы, подгоняющие коней, пахнет бензиновым перегаром. Кажется, даже солнце задернуто здесь сизой дымкой.

Я оставляю Зину с кобылицей, сам бегу навстречу трактору, машу над головой конвертом. Трактор останавливается, смолкает.

Не слезая с сиденья, Сэрэн-Дулма нагибается ко мне и жадно выхватывает письмо. Я топчусь рядом. Мне не терпится узнать, что пишет наш хуряахай... Заглядываю снизу в лицо тети — оно деревянное. Никакого выражения.

— Хээтэй,— говорю я.— Эй! Что там?

— Уй-ди! — Голос у тети чужой, недобрый.

И я отступаюсь. Вижу, как Сэрэн-Дулма прячет в карман письмо, берется за рычаг. Трактор вздрогнул, рывком прыгнул вперед, пошел... Ожил и комбайн, замахал лопастями, подбирая пшеницу.

Неужели я принес своей хээтэй плохую весть? Лучше б я не брал в руки это письмо. Я гоню от себя дурные мысли. Мало ли что бывает.

Трактор вместе с комбайном дошел до конца прогона... Должен повернуть. Но он не поворачивает, идет прямо по сжатому полю. Лопасти комбайна крутятся вхолостую, беспомощно царапают пустую землю. Что случилось? Трактор сминает копну соломы, останавливается и начинает разворачиваться. Возле трактора мечется помощница комбайнера.

Сзади подошла Зина.

— Что, трактор поломался?

Я ничего не знаю и ни о чем не хочу думать, пока тетя сама мне все не скажет.

Трактор выравнивается, вытаскивает комбайн на прежний путь, и вновь закипает работа.

XVI.

НОЧЬЮ...

Луна застряла в расщелине двух вершин, горит костром, освещает скошенный луг, разбросанные по степи зароды и мой табун. Сегодня пасемся поблизости от улуса. Коням, целый день возившим зерно, таскавшим катки, крутившим барабанные молотилки, не дойти до даль-

него пастбища. Тихо ходит усталый табун. Тихо звенит ботало вожака. Я смотрю на Шаргалдая. Он давно уже не похож на красавца, которого холили только для скачек. И Белоногий слинял, стал не таким спесивым. Даже ему достается: бригадир с утра до ночи носится по полям. Один Черногривый беглец гладок, лоснится,— бездельник, ни к какой работе его не приучишь!

Горит лунный костер над горами Трех Кобылиц...

Говорят, что под Новый год у лесного костра люди видели все двенадцать месяцев разом.

Может быть, сегодня на горах Трех Кобылиц встретились: наш Бабжа-батор, якутский батор Нюрган, киргизский Манас. Сидят, решают, как лучше поставить богатырский заслон на западе.

Луна светит хорошо, да мало греет. Вот уж верно пишут: «холодный лунный свет». Меня пробирает, хотя я и одеваюсь теперь как можно теплее. Осень — днем тепло, а ночами уже прохладно. Пора развести костер, а то совсем окоченею.

Возле реки нашел укромное местечко, собрал сухой тальник. Веселые, уютные огоньки побежали по веткам, заиграли, потрескивая, застреляли углями. Дым пощипывает глаза. Я грею над костром руки, впитываю тепло, безгорестно плачу от дыма. Отогревшись, бережно достаю из-за пазухи конверт и в который раз принимаюсь письмо перечитывать, хотя знаю почти наизусть. Строчки неровные, писанные второпях, но мне дорога каждая буква. Письмо лично мне — Батожабу Гомбоеву от Эрдэни Гармаева. Он пишет: кончает школу командиров, скоро маршевой ротой на передовую. Эрдэни просит, чтобы я написал ему обо всем, обо всем, что делается у нас в улусе. Отец сообщил ему, что я стал хорошим табунщиком, Эрдэни благодарит меня. Я каждый раз удивляюсь: за что?

Очень хочется есть. Лепешку, которая была у нас на ужин, я разделил между малышами, а сам выпил стакан молока. Но живот не обманешь. Я стараюсь думать о другом, не о еде, но не получается. Мне мерещится миска с саламатом [1], залитым янтарным маслом. Беда! Перед тем как подбросить в костер новую охапку тальника, я палочкой поправляю огонь, собираю в кучку рассыпавшиеся угольки. Один круглый уголек откатился совсем

---

[1] Саламат — национальное мучное блюдо.

далеко. Я проткнул его палочкой, он развалился и обнажил нежную белую сердцевину. Картофелина! Откуда подарок? Добрый дух закинул в костер! Обжигаясь, даже не успев как следует разобрать вкуса, проглатываю ее. И только после этого соображаю: добрый дух, добрый дух, а все-таки откуда взялась картошка? Роюсь в костре — еще картофелина, совсем обуглившаяся. Э-э, да я развел костер на окраине картофельного поля. Поле убрано, но, видать, не чисто. Пожалуй, надо поискать. Я начал ворошить сухую ботву, перебирал землю руками. Плохо убирали поле, плохо. Попадались даже нетронутые гнезда. Около костра выросла целая куча картофеля, добрый мешок. Подспорье для семьи!

Я так увлекся, что не заметил, как луна давно ушла от гор. Подозвал Гнедка, направился к табуну. Все спокойно, кони пасутся, но чего-то не хватает. Чего?.. И вдруг понимаю: молчит ботало! Табун здесь, но где вожак? Пропал вожак, это уж совсем странно. Как и куда он мог деться?

Начинаю проверять: может, пропал не один вожак? Нет, все кони здесь. Даже Черногривый беглец стоит спокойно.

Табун без ботала — как улус без человеческих голосов. Я пускаю Гнедого в одну сторону, в другую, совсем бросаю поводья: выручай, дружок! Но Гнедой останавливается.

Мучительно напрягаю слух: может, ветер донесет откуда-то звон ботала, хотя бы смутный отзвук, намек на звук.

Далеко за Майлой воют волки, в роще над Гангатой кричит филин. Потерялся Рваный Подколенок, а табун цел — скажи это кому, не поверят. Нет, неспроста, неужели его кто-то увел с пастбища? А из соседнего колхоза недавно исчез племенной жеребец! У нас с тока унесли несколько мешков зерна. Поговаривают, что в нашей степи завелись плохие люди. Чтобы из табуна крали лошадей, такого давно уже не бывало. Что делать? Скакать в улус? Поднимать людей? Или продолжать искать?

Луна скрылась за облаками, сразу стало темно. До рассвета еще далеко. Но пока-то я доберусь до улуса! Придется гнать и коней, не оставлять же их: того и гляди, всех украдут. Я направил Гнедого прямо к большому солончаку, куда часто забредают отбившиеся от стада овцы. Может, и вожак отправился туда полакомиться.

По дороге на солончак я свернул к обоону, украдкой вырвал из гривы Гнедого длинный волос и привязал к лиственнице. Верить я не верю, бабьи сказки, но вдруг да... Ведь случилось же недавно чудо — кто-то стреножил моих коней, не путами, а заговором... Было! Не отмахнешься!

На минуту выглянула луна. И я заметил под ногами коня что-то белое. Известка! Я слез, нагнулся, пощупал пальцами: не известка, похоже, что это мука, похоже, что сыпалась из распоротого мешка. Жертвоприношение?.. Нет, что-то иное.

Держа за повод Гнедого, я двинулся по мучному следу, еле заметному на траве. След привел к солончаку. На солончаковой тине отпечатки конских копыт. Выбрал след поотчетливей, вынул фонарик, долго вглядывался. Вроде бы это свежий след, а впрочем, кто знает. Плохой я следопыт.

Через несколько минут я наткнулся на конский помет, он был еще теплый, потом подобрал окурок папиросы.

А что, если я сейчас столкнусь с конокрадом лицом к лицу? Раз он увел лошадь, то со мной церемониться не станет, зачем ему лишние свидетели! Он знает, что если его схватят, то не помилуют — время военное.

Я взобрался на Гнедого. На коне я чувствовал себя увереннеи.

Солончак кончился, следы, по всей вероятности, вели в лес. Ветки хлестали меня по лицу, под копытами Гнедого почавкивало болотце. Какие уж тут следы, среди валежника и моховых кочек!

Вдруг Гнедой споткнулся, и я скатился с него. Под моими ногами дышал мох — попали в трясину!

Гнедой тревожно заржал, рванулся и провалился уже всеми четырьмя ногами. Холодная болотная жижа заполнила и мои сапоги. С трудом дотянулся до тонкой березки, ухватился сперва одной рукой, второй, подтянулся, выбрался на твердое место.

Гнедой беспомощно дергался, тянул кверху морду и все глубже завязал в трясине. Я стал лихорадочно сгребать валежник, бросил на трясину, лег на живот и пополз к Гнедому, хворостиной подтянул к себе повод. Гнедой смотрел на меня мерцающими в темноте глазами и не бился, ждал помощи. Я потянул за повод, Гнедой чуть приподнялся, и я успел подсунуть ему под грудь бе-

резку. Уже хорошо, не утонет. Собрав побольше валежника, бросил под передние копыта, Гнедой забил его в трясину. Еще валежник, еще... Я кидал и кидал под ноги коня. И вдруг Гнедой рванулся, с чмоканьем вырвал себя, споткнулся, вскочил и оказался на твердом месте...

Облепленные грязью бока Гнедого тяжело ходили, я прижался к нему и почувствовал, как он дрожит. Мы долго стояли, прислонившись друг к другу, грязные, мокрые и измученные.

XVII.

ДНЕМ...

Утром на поиски вора поднялись все мужчины улуса. За Шилинским хребтом мы напали на его след, но начался ливень, и нам пришлось вернуться ни с чем.

Но наша семья целый день не знала покоя. Мать ездила в отдаленные гурты. Я тоже мотался по соседним улусам. Тетя Сэрэн-Дулма сообщила о случившемся в милицию, которая находилась в поселке МТС...

Даже шабганса приняла участие в поисках. Она отправилась к Хурле, а потом торжественно объявила нам, чтобы не тратили попусту времени, потому что Рваный Подколенок, по словам Хурлы, превратился в Коня с оторванной головой, и ботало его висит на елке и звенит в пустом лесу.

— На какой елке? — приставал я к бабке.

— «Какой, какой»... Что вам Хурла — колхозный счетовод? Или елки в лесу имена имеют? Ясно сказано: пропал твой вожак,— отрезала бабушка.

— Что-то тут уголовщиной попахивает, а не святостью,— вмешалась Сэрэн-Дулма.

Тетя моя очень изменилась, похудела, скулы обострились, одни глаза на лице остались — горят сухим огнем. Только Бараса к себе все прижимает да что-то ему тихо шепчет. Так мы и не знаем, что там было написано, в том письме.

— Сейчас к Хурле люди изо всех улусов за советом идут. Всех она обогреет, всем правду скажет. У нее особый дар открылся,— сердится бабушка.

— Того и гляди, чертополохом все поля затянет. Время не позволяет, а то бы добралась я до вашей ясновидящей...

Я уснул и во сне стал гоняться за своим конем. Грива у него развевается по ветру, а на шее золотое ботало звенит, как колокол. Вот-вот поймаю его, а он не дается, уходит...

Меня трясут за плечо.

— Внучек! Внучек! Что ты мечешься? И кричишь на весь дом...

Бабушка надо мной озабоченно качает стриженой головой.

Я плеснул в лицо холодной водой, вышел на улицу и тут же наткнулся на Бабу-блаженного. Улыбается во весь рот, доволен жизнью... Хоть день теплый, на нем старая шинель, в руках самодельное ружье. Еще недавно мы бегали с такими же по улице, а кажется, что это было в другой жизни.

Бабу протягивает мне смятую бумагу:

— Это тебе, держи...

— Отстань! Не до тебя!

— Нет, почитай бумагу, в ней приказ.

Я вспомнил, что Бабу используют иногда как посыльного,— не хватает в колхозе людей.

— Какой еще приказ?

Оказалось, что это записка от бригадира. Ендон срочно вызывал меня в контору.

Была не была, от разговора с бригадиром не убежишь: чем быстрей, тем лучше.

— Шагом марш! — неожиданно скомандовал Бабу.— Раз, два, три! Ты арестован, иди вперед! — Бабу взял деревянное ружье наперевес.

Только этого не хватает — идти по улице с таким конвоиром.

— Бабу, брось палку, некогда мне сейчас играть с тобой.

— Не брошу! Дурак, я тебе приказал — вперед! Стрелять буду.

Ну что с ним делать, не драться же!

— Ну пойдем...

Мы шагаем по улице — я впереди, Бабу с деревянным ружьем сзади. Все встречные смеются:

— Что, Батожаб, под арест угодил? Уж больно грозный у тебя конвой.

Я стараюсь быстрее добраться до конторы.

— Эй, эй, потише шагай, а то не поспеваю за тобой! — Бабу начинает выводить меня из терпения.

— Шел бы ты своей дорогой!

— Молчать! — веселится Бабу. И вдруг больно ударяет меня сзади своим ружьем.

Окончательно потеряв терпение, я быстро оборачиваюсь, выхватываю ружье и закидываю далеко, в кусты крапивы.

— Зачем отнял мою винтовку? — ревет Бабу и лезет на меня с кулаками.

Вокруг нас мигом собираются ребятишки, рады неожиданному развлечению.

Бабу старше меня, выше, но мне не хочется обижать дурачка. Кое-как я увертываюсь от его ударов и щипков.

— Батожаб боится! Смотрите, ночной табунщик, а трус! Бей его, Бабу, бей!

Пришлось двинуть Бабу, иначе не отцепиться. Повернулся к мальчишкам, они, как воробьи,— в разные стороны! Пока Бабу приходил в себя, я успел уйти.

В конторе было сумрачно, запыленные окна плохо пропускали дневной свет. Стены потрескались и облупились. В самом центре комнаты за большим канцелярским столом — бригадир. У него темное не то от загара, не то от злости лицо. Прямо с порога я слышу сердитый окрик:

— Долго заставляете себя ждать, товарищ Гомбоев!

Еще ни разу в жизни ко мне не обращались на «вы», да так официально. Только разве учитель в школе вызывал к доске по фамилии.

— Ну, нашел табунного вожака?

— Еще не нашел...

Глаза бригадира стали узенькими щелочками:

— Потерял колхозного коня! Чем ты по ночам занимаешься? То весь колхозный табун упустил, теперь вожака потерял. Под суд захотел? Это-то быстро!

Я молчу. Пусть выкричится.

— Теперь за горсть зерна срок дают, а тут коня!

— Воры украли.

— Воры? Эт-то проверить еще надо! Легче всего на воров сваливать!

Да что он в самом деле раскричался! Я школу бросил, а его Баянда учится. Я старался как мог. Не подхожу — пусть снимает!

— Больше ночным конюхом работать не пойду,— сказал я и уставился на стенку, где висел список, кто

сколько трудодней заработал. Против моей фамилии стояла, однако, большая цифра. Июль, август, сентябрь — дней немало набежало.

— Надо было отказываться, когда табун был цел. Коня потерял — и отказываешься? Нет уж, не хитри! Не выйдет!

Мне теперь на все наплевать! Я устал, очень устал. Июль, август, сентябрь — я мало спал в эти месяцы, какой сон днем. Я упрямо повторил:

— Делайте со мной что хотите, а ночным конюхом не буду!

— Я сам тебя отстраню! — Ендон с треском отодвинул стул и встал.— С этой ночи не будем выводить табун в степь. Закроем коней в конюшне, и все тут.— Для убедительности он стукнул пятерней по столу.

У меня сжимается сердце. Как я стану жить без коней, без Гнедого, без ночей в степи?! Разве есть на свете лучшая работа, чем работа табунщика?

— Но прежде придется тебе заплатить стоимость жеребца,— продолжает Ендон.

Я с удивлением уставился на него.

— А Черногривый? Беглец?

Бригадир не дал мне договорить:

— Нашел что вспомнить! Сейчас, брат, война. Никто меня по головке не погладит, если я буду колхозное добро разбазаривать.— Ендон принялся ходить по конторе.— Так-то!

Вдруг он успокоился, подошел ко мне и спросил почти миролюбиво:

— Чем платить-то будешь? Ведь сумма не маленькая.

— И заплачу! — отвечаю я запальчиво.

— Ишь герой какой!

Я по-прежнему не свожу глаз со списка на стене, лихорадочно подсчитываю в уме свои трудодни. Хватит ли этих денег, чтобы рассчитаться с колхозом?

— Сейчас по всем правилам акт составлю,— говорит бригадир.— И милиционер Быков тебя допросит... А ты как думал? — говорит он, заметив мою растерянность.— По законам военного времени и судить...

Бригадир вытаскивает из полевой сумки замусоленный огрызок карандаша, садится за стол и, сморщив лоб, начинает писать.

— Расскажи-ка толком, как, когда и где потерял Рваного Подколенка?

Он отлично все знает, но, раз ему так хочется, повторю все сначала:

— Пропажу я обнаружил позавчера перед рассветом. Начал преследовать вора. Не смог перейти трясину, пришлось возвратиться...

— Преследовал, говоришь?

— Преследовал...

— В болоте, говоришь, завяз? — Бригадир крякает, похоже, что от удовольствия, и опять принимается медленно водить карандашом по бумаге. Потом останавливается, долго почесывает карандашом висок, что-то вспоминает.— Скажи-ка, парень, как будет правильно сказать по-русски — «путрялся»?

— Правильно будет «по-те-рял-ся»,— диктую я по слогам.

Отец Баянды доволен моей помощью.

— Курить хочешь? Бери «Беломор»...— Не глядя, бригадир протягивает мне портсигар.

Мне очень хочется попробовать настоящую папиросу, но я отказываюсь. Бригадир опять углубляется в писанину. Я стою, смотрю в окно. Вижу, как Белоногий у коновязи бьет копытом землю... Лучше б он потерялся вместо вожака... И тут же я ругаю себя: чем Белоногий провинился передо мной?

Ендон закончил, поставил витиеватую подпись и протянул бумагу мне:

— Ну-ка, теперь твоя очередь.

Я взял акт в руки, начал читать... Вот бы никогда не поверил, что у нас такой безграмотный бригадир! Вперемешку с бурятскими были написаны русские слова, и в каждом одна-две ошибки. За такой диктант в школе ему наверняка поставили бы единицу. Я исправил все ошибки, вернул бумагу бригадиру и сказал:

— На таком акте расписываться не буду.

Ендон изменился в лице.

— Не будешь? Это мы еще посмотрим!

— На какой такой бумаге ты заставляешь расписываться моего сына?!

Дверь конторы распахнулась, и в комнату не вошла, а ворвалась моя мать. В первое мгновение я даже не узнал ее. Она распрямилась, стала выше ростом, голова гордо вскинута, глаза цепкие.

— Что еще задумал, бригадир? Мало его отец настрадался! Теперь сына у меня отнять хочешь?! Что ты за человек, не пойму? И хозяин вроде бы неплохой, и за дело болеешь, а все тебя в сторону заносит, как непутевую кобылу!

Бригадир никак не ожидал такого натиска.

— Ну что так разбушевалась?.. Никто у тебя сына не отнимает.

— Постыдился бы с детьми воевать! — не унималась мать.— Твоя Тамжад дома жир нагуливает, а ребята изо всех сил стараются, не хуже взрослых работают.

— Вот-вот,— подхватил Ендон,— как со взрослых и взыскивать с них приходится. Или прикажешь Батожаба на Доску почета повесить и еще благодарность объявить, что у него коня украли?

— Ты бы не бумагу пачкал, а воров искал! Чего четырехногий волк не сделал, двуногий сделает. Какие такие бандиты появились здесь? Почему не ловите? Или тебе под фонарем удобнее искать? — Мать кричит так, что на улице слышно.

— Перестань, мам,— уговариваю я.

— Молчи! Бабу-блаженный умнее тебя! Не хотела, чтобы ночным табунщиком становился. Как в воду глядела, что беды не миновать!

Ендон-бригадир медленно поднимается из-за стола:

— Ты, Дэжит, не скандаль. Хочешь не хочешь — платить за потерянную лошадь придется.

— Не запугивай, заплатим! Вон, смотри, устроит тебя замена?

Мы подошли к окну. У крыльца конторы, беззаботно помахивая хвостиком, стоял широколобый, коренастый бычок.

— Забирайте, как-нибудь перебьемся...

Мама привела единственного нашего бычка, любимца всей семьи. У меня сдавило горло.

— Сразу с этого и начинала бы, а то барабанные перепонки чуть не лопнули от твоего крика.

— Пошли, Батожаб, нечего нам тут больше делать. Пускай поищут другого ночного табунщика.— Мать дернула меня за руку, и я, как бычок, послушно направился за ней. Мутная пелена застилала улицу.

XVIII.

НОЧЬЮ...

Волк возвращается на место охоты трижды. Это мы с Мунко хорошо знали.

Будто чувствуя, что все настоящие охотники ушли на фронт, длиннохвостые совсем осмелели. В табуне наших соседей задрали двух лончаков. А сегодня они средь бела дня из отары Мунко утащили ягненка.

Мы с дружком раздобыли дробовик и, никому не говоря, как только начало смеркаться, отправились на охоту. Я на Гнедом, Мунко — на молодом Мэлзэне. Едем, разговариваем о пропавшем Рваном Подколенке, ни слова о волках, словно самое обычное дело для нас — бить серых.

Добрались до места, стреножили коней и зарылись в большой куче соломы. Лежим, боимся пошевелиться, сторожим пустой солончак. Комары к осени опять становятся злыми, в соломе от них не спасешься, лезут в глаза, нос, уши... Мунко вдруг шепотом вспоминает, как в прошлом году, тоже осенью, в улус забежал бешеный волк, перекусал собак. Ендон-бригадир — надо же! — перешиб ему спину жердью.

Мунко не произносит слова «волк», а называет «длиннохвостый», «серый». Называть волка волком не полагается.

Пошептали, замолчали, лежим. Мунко начал клевать носом. Захотелось спать и мне.

— Давай спать по очереди.

— Давай.

Сняли с Мэлзэна седло — пригодилось под голову вместо подушки, из потника устроили матрас — постель воина получилась! Мунко лег и сразу захрапел. Сам маленький, а храпит как большой. Пожалуй, волк подойти побоится. Время от времени мне приходится толкать друга: «Потише! В засаде сидим!» Он бормочет и опять храпит.

После полуночи — моя очередь. Но мне совсем расхотелось спать. За месяцы работы я разучился спать по ночам. Я вертелся-вертелся с боку на бок и не заметил... как очутился верхом на Гнедом. Опять мы понеслись по степи за вожаком. Потом я упал с седла и провалился в ледяную полынью. Тону, а издалека кто-то кричит:

— Б-б-батожаб!

Я проснулся. От холода зуб на зуб не попадает. А Мунко меня тормошит, куда-то в серую мглу показывает:

— Б-б-батожаб, смотри, смотри!

С меня сон как рукой сняло.

— Где он?

— Т-т-там, впереди виднеется. Видишь?

В жиденькой рассветной мгле трусит по солончаку большая собака. Голова опущена. Идет не спеша, нюхает землю.

— Серый!

— Он.

Я схватил дробовик, прижал приклад к щеке, прицелился и спустил курок. Волк присел, как перед прыжком, потом круто повернулся и пустился наутек.

— Э-эх! Лучше бы я вы-вы-выстрелил!

Я вскочил на ноги.

— На коней! Нагоним!

Пока возились, длиннохвостый успел умахать.

Кони взяли прямо с места — Мэлзэн впереди, Гнедой за ним. А дробовик забыли в соломе. В спешке...

Туман редел с каждой минутой, и серый, отмахивающий тяжелым скоком по черной пашне, был хорошо заметен.

Скакать по пашне трудно, копыта коней вязнут в рыхлой земле. Расстояние между нами и волком не сокращается, а растет. Но шум пашущего за пригорком трактора напугал волка, он повернул обратно. Мы пустили коней ему наперерез.

— Гу! Гу! Вперед! Еще быстрее! Поднажмем! Держись правее!

— Отрезай к лесу!.. Уйдет!..

Гнедой привык к тихой рыси. Такая бешеная скачка ему тяжела. Перед глазами мелькает круп Мэлзэна.

Серый бежит по открытому полю, петляет, старается укрыться за каждой кучей соломы. Гнедко умница. Он словно знает, куда волк кинется, идет ровно, поворачивает сам наперехват.

Под копытами пошла твердая земля, мы почувствовали себя уверенней.

Брызнуло, заиграло на заиндевевшей щетинистой траве солнце. Волк начал сдавать. Пробежит и остановится и смотрит на нас, повернув голову, потом снова вперед.

Мы с Мунко орем осипшими голосами. Я теперь впереди, молодой конь Мунко пугается, норовит взять в сторону.

Но волк совсем сдает. Я вижу, как он волочит хвост, как ходят его бока, как неуклюже тяжел его бег. Я шевелю Гнедого, Гнедой поддает еще...

Вот он, волк, внизу — взъерошен загривок, прижаты уши.

Я приподнимаюсь на стремени, изо всех сил бью волка плетью. Он подпрыгивает, щелкает зубами, наддает крупным скоком. Но Гнедой висит у него на хвосте. Завожу Гнедого сбоку, снова бью. Еще, еще!.. Мунко скачет в стороне, конь его боится волка. Мунко скачет и щелкает плеткой по воздуху.

Неожиданно волк круто поворачивается, садится, оскалившись,— два горящих глаза, рыжеватые подпалины на морде — и тут же кидается под ноги Мэлзэну. Тот в страхе становится на дыбы. А Мунко, съехав, шлепается оземь. Я сам не помню, как очутился рядом с ним, схватил за плечо:

— Мунко!

Тот поднялся, охнул виновато:

— Седло-о... Седло-о... Сбил себе...

— Бери моего Гнедого.

— Н-н-нет. Н-н-не теряй времени, уйдет!

— Нá мое седло! — Я быстро скидываю Мунко свое седло и вскакиваю на спину Гнедого.

Волк, опустив голову, рысит к степной балке. Если он успеет там скрыться, нам его не поймать.

У Гнедого мокрая спина. Пожалуй, так можно и загнать... Но тороплю:

— Давай, Гнедко! Давай!

Мы не успеваем — волк исчезает в балке. Балка узкая, поросшая мелким кустарником. Мы спешились — здесь кони не помощники. Волк прячется в кустах. Сверху его хорошо видно. Мы набираем полные карманы камней и бьем по кустам. Волк ломится прямо через заросли, уходит вперед по балке. И снова прячется в чаще.

Новый град камней обрушивается на него.

Балка сразу переходит в глубокий овраг. Там много поваленных деревьев, крупных валунов. Противоположной стороной овраг выходит прямо к Белому озеру, а вокруг него стеной стоит высокий сухой камыш — преследовать бесполезно.

Сначала мы слышим шуршанье камыша, а потом все стихает. Видно, серый залег неподалеку, дух переводит.

В изнеможении я опускаюсь на землю и подскакиваю как ужаленный. Зад ожгло, штаны прикипели к телу — не отдерешь. Скачка без седла! В таких случаях помогает подорожник. Мы спускаем штаны и слюнявим листочки, оказываем друг другу посильную помощь. Становится как будто легче...

Я свернул самокрутку, чиркнул спичкой и... не закурил. Как я сразу не додумался?

— Мунко, давай подожжем камыш!

— Д-дело! — согласился Мунко. — П-поджарим серого.

— Камыши к воде идут, так что большого огня не будет.

Я аккуратно разделил спички поровну.

— Я с одной стороны, а ты — с другой. Пошли!

Морщась и покрякивая, взобрались на лошадей, разъехались в разные стороны.

Вода в низине замерзла. Под копытами Гнедого лед крошится, хрустит. Я спустился с коня, присел на корточки, чиркаю спичкой. Как назло, огня нет, спички отсырели, видно. Моему другу повезло больше. Ветер с его стороны, и я вижу, как к небу поднимается первый столб дыма. Огонь идет по камышам быстро, с треском, с гулом — победно!

Волк выскочил прямо на меня. Должно быть, он угорел от дыма. Плеть захлестнула заднюю ногу. Я дернул — волк упал на бок. Гнедой сам ринулся на него, ударил копытами... Я несколько раз разворачивал Гнедого и топтал, топтал...

На помощь мне уже спешил Мунко. Его конь не пошел даже на мертвого волка, шарахнулся в сторону.

С гулом и ревом горел камыш, искры и пепел летели над тихой гладью озера.

Я спешился и подошел к измятому волку. Мне вдруг стало жаль его, и не было никакой радости от победы.

XIX.

ДНЕМ...

Наверное, я родился на свет, чтоб стать табунщиком. Всего лишь несколько дней не видел своих лошадок и уже не нахожу себе места. Сегодня ни свет ни заря я у

конюшни. Взобрался на высокую изгородь загона: Белоногий, Игреневый Гунга, Светлогнедая с жеребенком...

Где-то в глубине души теплилась надежда: а вдруг Рваный Подколенок на месте?

Кони зашевелились, заржали, потянулись ко мне — ждут, что открою ворота загона, выпущу на волю! Гнедой первым оказался рядом. Стал боком: седлай, садись, вот я, готов! Я глажу его морду, чуть опаленный бок. Мы оба не заметили, как во время пожара в камышах прихватило огнем. Кони нервничают. Одни роют землю копытами, другие, положив шеи на изгородь, тоскливо всматриваются в степь. Вид у коней помятый, серый. У меня сердце так и разрывается от жалости к ним. Табунщик я или не табунщик — наплевать! Это мой табун! Я его хозяин, мне поручил его Эрдэни.

Я кубарем слетаю с изгороди, хватаю полную охапку сена, одну, другую. До отказа набиваю пустые кормушки. Ношусь взад-вперед до пота.

Сегодня же пойду к бригадиру и выложу: если уж закрыли коней в загон — кормите, следите, чистите!

Я даже удивился, когда увидел бригадира. Стоит. Посматривает на меня. Воинственно повернулся к нему: хватит, не маленький, сумею постоять — коней губят!

Ендон как ни в чем не бывало протягивает мне руку:

— Сайн байн! Весь аул говорит о вас: матерого затравили!.. Увидеть хотел: где же, думаю, искать, как не у коней! Застукал! — Бригадир довольно смеется.— Прямо на месте преступления!

Никак не пойму: хвалить он меня собирается или ругать?

— Правильно делаешь. Убери все, чтоб полный порядок был! Комиссия сейчас ответственная приедет — коней на фронт забирать. Аттестационная! — Он поднял указательный палец.— Я сейчас в бригаду загляну — и мигом вернусь.

Ендон сел на Белоногого и ускакал, а я до смерти рад — все само собой решилось, без скандалов. А коней-то забирают!.. Как хорошо, что я оказался возле загона. А то увезли бы, и не попрощался.

Давно ли простился с ребятами, обещал им следить за их конями — Игреневый Гунга, Алешкина Рыжуха... Их кони теперь уедут следом за ними.

Уедут наши кони,
Пусть им неведом страх.

На запад, на запад
В товарных поездах...

Я принялся чистить, расчесывать им гривы. Начал я, конечно, с Шаргалдая. На таком коне и самому храброму командиру воевать не стыдно! Потом перешел к Чубарому, к Меченому и к своему Гнедко.

Старый друг! Неужели сегодня расстанемся навсегда? К кому-то попадешь ты? В какие руки? Будут ли тебя чистить, расчесывать? Кормить-то будут. По армейской норме. Ведь ты станешь солдатом, Гнедко.

Уедут наши кони,
Пусть им неведом страх,
На запад, на запад...

Куда тебя занесет, Гнедко, добрый, тихий, преданный конь, умеющий ходить в плуге, таскать возы, незаменимый друг под седлом?.. Буряты никогда не плачут при расставании.

Я так увлекся, что не заметил, как к изгороди подъехала телега, запряженная пегой лошадью. В телеге сидело трое — пожилой русский в форме капитана, молоденький лейтенант-бурят и знакомый мне аймачный ветеринар Атутов.

Первым слез с телеги грузный капитан. Разминая затекшие ноги, он медленно подошел ко мне, поздоровался.

— Здравствуй, мальчик. Где можно повидать хозяина табуна?

— Сайн байн! Я — хозяин.

— Нам табунщик нужен...

— Я и есть табунщик!

Все члены комиссии смотрят на меня с недоверием.

— Вероятно, тут какая-то путаница. Спросите его, товарищ лейтенант, еще раз. Почетче.

— Нам колхозный конюх нужен, понимаешь? — Лейтенант повторил вопрос по-бурятски.

— Ну так я и говорю, что я колхозный конюх! — отвечаю я по-русски.

— Час от часу не легче! Пожалуй, с таким конюхом мы еще не встречались! — озадаченно говорит капитан.

— Когда ж ты успел конюхом стать? — спрашивает Атутов.

— С первого дня войны.

Члены комиссии молча переглянулись.

— Как величать тебя, хозяин?

— Батожаб.

Ветеринар накинул на пальто белый халат.

— Ну, уважаемый Батожаб! Раз ты хозяин — принимай гостей. Посмотрим, что у тебя за табун. Только, пожалуйста, распряги сначала нашего коня и дай ему сена... Начнем, товарищи?

— Что-то местного начальства не вижу? Где Ендон, бригадир?

— Скоро подъедет! Он в поле,— солидно объясняю я.

— Ну что ж! Время не ждет.

Я подошел к Пегому. До чего интересный конь! Сроду таких не видел. Наверное, кавалерийский, ученый. Вот бы поездить на таком хулэге! Я расхомутал Пегого, бросил сена — он понюхал, но есть не стал. Закормленный.

Около Атутова белый ящик с синим крестом, разные замысловатые инструменты—щипцы, клещи, молоточки. Тут же на телеге стопкой лежат листы белой бумаги. Члены комиссии собрались в кружок, о чем-то разговаривают. Лейтенант тоже надел белый халат — он военный ветеринар.

Я смело подхожу к ним, рапортую по-военному:

— Задание выполнено!

— Отлично! Теперь слушай, Батожаб. Из твоего табуна надо выбрать пятнадцать голов — задача это нелегкая. Больных лошадей, старых можешь не показывать. Для фронта нужны только здоровые, выносливые кони.

Я киваю головой. Мне льстит, что со мной серьезно разговаривает военный командир. Да еще кавалерист! Правда, меня смущает, что у него нет сабли и ноги совсем не кривые. Но, наверное, и такие кавалеристы бывают.

— Давай, Батожаб! Выводи своих красавцев. По одному. Не спеша,— командует Атутов.

Мне гадать не приходится — первым я вывожу Шаргалдая. Такого коня никому показать не стыдно.

Изгородь вся увешана малышами. Конечно, они первыми узнают все улусные новости, и такое событие, как приезд комиссии, никак не может обойтись без них. Малыши — народ шумный, галдят, обсуждают, будто, кроме них, здесь больше никого нет.

— Смотри, какой у него наган!

— Вот бы разочек стрельнуть!

— Чего захотел!

— А может, он видел наших ахаев?

— Спроси! Боишься?..

— Смотри, Шаргалдая вывели!

— А вдруг на нем сам Ворошилов принимать парад будет!..

Я веду Шаргалдая: он дугой выгнул шею, косит глазом на незнакомых людей. Большие скачки ждут его, только будут эти скачки происходить уже не в нашей степи: «На запад, на запад...»

Аймачный ветеринар Атутов и молодой лейтенант начали осматривать Шаргалдая: один сердце трубкой на шнурочке слушает, второй копыта проверяет; они задирают коню голову, смотрят зубы, заглядывают в глаза. А капитан заполняет на него листок, спрашивает меня, какая кличка, кто родители... Только в одном месте я сбился. «Сколько лет коню?» А я глаза вытаращил, никак не пойму, в шутку или всерьез так говорит. Ведь у нас и малышу ясно, что если жеребенком зовут,— значит, и года не исполнилось. Если лончаком,— значит, двухлетка. На третье лето — гунаном... А если уж говорим «жеребец», «конь», «кобыла»,— значит, взрослым стал, больше пяти лет на свете прожил. Так сказать, все равно что спросить: сколько лет пятилетнему?

Я это растолковал командиру, а он удивляется:

— Надолго запомню тебя, конюх! Совсем образованным от вас уеду! Вырастешь — как пить дать кавалеристом будешь!

— Конь не годен! — До меня не сразу доходит, что сказал Атутов.

— Кто — не годен? Шаргалдай? — Я не верю своим ушам.— Да он же у нас в прошлом году первое место в аймаке занял...

— Знаю, знаю, что большой приз получил. Только у него хворь... Лечить надо. Я тебе после напишу все подробно.

Хоть плачь...

— Проверьте еще раз! — упрашиваю я.

— Не расстраивайся так, брат. И до него очередь дойдет. В другой раз! — успокаивает меня лейтенант.— Веди следующего.

Если уж Шаргалдай не подошел, что говорить о других конях?!

Вывожу Горбунка.

— Масть серая. Восемь лет...— говорю я безразличным тоном.

— Не годен. Следующий!
— На пенсию пора.
— И кость неправильно срослась.

Я как заведенный хожу взад и вперед. Около Шаргалдая уже почти полтабуна. У одного мозоль на спине, у другого зубов не хватает, у третьего — надо же! — порок сердца...

Зрители за забором притихли. Там уже не одни малыши, а многие жители улуса. Подул холодный ветер — осень, несет с севера облака, столбом поднимается навозная труха.

Прискакал на Белоногом бригадир, с удивлением уставился на взъерошенных осмотром лошадей.

— А где отобранные по разнарядке? — спрашивает растерянно.— Здравствуйте!— добавляет, спохватившись.

Капитан скороговоркой объясняет ему. Ендон грузно садится на один из пустых ящиков, сердито смотрит на меня, будто я один во всем виноват.

Я вывожу вперед своего Гнедого.

— Что, он у вас в пожарной команде работает?

Еще недавно я горевал, что мне придется расстаться с моим любимцем. А сейчас, кажется, все бы отдал, лишь бы оказался годен.

— Следующий! — звучат неумолимые слова.

Неожиданно подходит моя тетя в своей промасленной телогрейке, ушанке; лицо усталое, грустное, похудевшее. Она протягивает каждому руку, знакомится. Все-таки смелая у меня хээтэй, совсем не похожа на других женщин. Тетя о чем-то тихо расспрашивает капитана; я знаю: о своем Урбане. Капитан качает головой. Сэрэн-Дулма вытащила из-за пазухи бумагу, протянула. Капитан прочитал и сразу нахмурился, потемнел лицом. Заговорил что-то о партизанских отрядах, я ничего не разобрал.

— Девушка, вы бы и на низшие чины обратили внимание. Или вы только капитанов уважаете?— вмешался в разговор молодой лейтенант.

— Земляков не признаешь?..— подхватил Атутов.

— Отставить разговоры! — резко оборвал капитан.

Сэрэн-Дулма слабо улыбнулась, кивнула всем и быстро пошла к выходу. Дорогу ей преградила Хурла-почтальонша. На ней бархатный жакет, брови подведены, нос напудрен. Что это она так вырядилась? Хурла и тетя остановились друг против друга; у почтальонши

глаза сузились в щелочки, моя хээтэй стала чуть бледнее.

— Вижу, времени зря не теряешь, прямо на железном хулэге прискакала. Любишь военных!

— Дети здесь. Постеснялась бы.

— А что я сказала?.. Только то, что ты до военных лакома.

— Следующий! Ты что, заснул?

Я тороплюсь в загон, тяну новую лошадь.

А разговор у изгороди не кончается.

— В гадалки записалась, святыми письмами промышляешь! Пользуешься людским горем!..

— А хошь, погадаю?

— Не хочу.

— И верно. Тебе-то уж своей судьбы лучше не знать.

— Какая ни судьба, да моя, тебя не касается.

— Нет у тебя мужа! Нет! По чисту полю по кусочкам разбросан!

Сэрэн-Дулма согнулась, ничего не ответила, пошла прочь быстрым шагом.

Мне захотелось бросить все, бежать за тетей, сказать ей, что Хурла врет. А та вихляющей походкой через весь загон двинулась к комиссии. Я тронул коня, потеснил почтальоншу.

— Не мешайте работать!

— Смотри, какой при людях грозный! Не подступись! Забыл, милый, ночку у обоона?

Меня бросило в жар.

— Хурла! Прекрати базар! — взрывается бригадир.— Совсем бабы одичали за войну,— оправдывается он перед комиссией.

Хурла нисколько не смутилась:

— Прав наш руководитель! Одичали, давно мужского духу не нюхали. Хоть глазком одним поглядеть на свеженьких.— Она почти вплотную подошла к капитану.— Может, заглянете всей комиссией на огонек? Баранина жирная для таких дорогих гостей найдется... и еще кое-что...

Капитан холодно говорит:

— Извиняюсь, пройти разрешите. Не стойте на дороге!

Но почтальоншу не смутишь, чуть отошла, но уходить не думает, вертится рядом:

— Здесь все лошади местной породы. Плохие кони! Попусту время тратите! А на этого и смотреть нечего.—

В это время я подвел Черногривого беглеца. Он рвется из рук, встает на дыбы.— Совсем полоумный конь, даже хозяин от него отказался...

Молодой лейтенант обходит вокруг коня, восхищенно треплет его по холке:

— Вот это конь!

И комиссия единодушно решает: годен!

Я с трудом скрываю радость: неужели избавимся от этого «священного гостя»! С удовольствием тащу Черногривого в отдельную стайку.

Все чаще и чаще раздается теперь отрывистое:

— Годен!

В загоне с Черногривым оказываются Высокий Серко, Саврасый Сандак, Меченый, один из неразлучных Эрдэней, Игреневый Гунга...

Теперь вокруг нашей комиссии собрался почти весь колхоз. Все дают советы, спорят между собой. Стало смеркаться. Ветер принес тяжелые, с первым снегом облака. Три месяца назад мы провожали первых парней... Теперь на фронт уходят объезженные и выращенные ими кони...

XX.

НОЧЬЮ...

Около конюшни в темноте на снегу теснится одинокая фигурка.

— Зина, ты?! Что тут делаешь?

— Тебя жду.

А я еще далеко от нее, я еще на станции, еще слышу прощальный стук копыт по настилам, крики солдат, загоняющих наших коней в товарные вагоны, и все еще звучит навязчивый мотив: «На запад, на запад в товарных поездах...»

— От мамы пришло письмо.

— Да ну!

— Она машину с ранеными вывела из окружения. Ей медаль «За отвагу» дадут.

— Здорово!

— Запирай коней, пошли куда-нибудь. Я тебе письмо прочитать хочу.

И я замялся:

— Мне Гнедка подковать надо. Договорился.

— Все равно идем вместе. Не хочу домой. У меня — радость, а тетка сегодня словно сбесилась. Житья от нее нет.

Мы идем вместе по засыпанному снегом темному улусу, за нами беззвучно ступает копытами Гнедко.

— От отца — ничего? — спрашиваю я осторожно.

— Ничего,— тихо роняет Зина.

Идем молча.

— Где он? Что с ним? — В голосе Зины дрожь.

Я молчу: кто может ответить на это?

— Одно-единственное письмо пришло летом. И не мне, а тетке Хурле. Он там писал, что никто две жизни не живет, что пора устраивать свое личное счастье... А как это, Батожаб,— устраивать личное счастье?

— Не знаю.

— Там, может, дальше и объяснялось, да тетя Хурла у меня письмо вырвала.

— Зачем?!

— Кто ее знает. И еще закричала...— Голос Зины стал совсем тихим.— Почему я не могу прочитать письмо папы? И за что меня тетя так не любит?

— А кого она любит?

— Она нехорошая. Я давно хотела сказать, мне кажется, она...— Зина замялась.— Она иногда читает чужие письма!

— Это подлость! — Я взрываюсь: — Надо сказать кому следует!

Зина пугается:

— Батожаб, не говори! Очень тебя прошу!

— Но ведь за это судят, Зина?! Это хуже воровства!

— Не говори никому, Батожаб, подожди!

— Мы — ждать, а она по чужим письмам лазить? Может, она еще прячет эти письма?

— Не... не знаю. Подожди, может, мы с тобой сами что придумаем?

И я соглашаюсь:

— Хорошо. Придумаем.

Как ни медленно мы шли, но вот кузница. Она близко от конюшни.

— Я так и не прочитала тебе мамино письмо.

— Ты подожди меня...

— Поздно. Надо бежать.— Она сует мне в руку свою теплую ладонь. Она не хотела спешить, а спешит. Мо-

жет, я напугал ее, что хочу вывести Хурлу на чистую воду?

Обычно из кузни летит по всему улусу перезвон: динь! — тонко, за ним сильно, тяжко — дон! Динь-дон! Динь-дон! Сейчас тихо. Ушел старый Гарма, не дождался меня? Но двери приоткрыты, горит свет...

Коптит фонарь под потолком, угли в горне играют голубыми, бегучими огоньками, поблескивает вбитая в огромный чурбан наковальня. Во всем темном возле мехов стоит отец Эрдэни, держится за плечо, раскачивается, тихо ругается:

— Обносилась, проклятая! Отработалась! Вовремя завела свое! Вовремя, растуды тебя!

— Уж не поранились ли, баабай? — спрашиваю я.

Он кряхтит, неуклюже поворачивается ко мне:

— Тащи-ка ножовку.

— Зачем?

— Отпилим проклятую руку — ноет и ноет.

Он шутит, стало быть, дело не так уж и плохо.

— Я к вам завтра забегу, баабай.

— Нет уж, раз пришел, давай. Веди своего бракованного.

Старик Гарма складывает в свой ящик молоток, гвозди, роется в железном хламе, ищет подходящие подковы.

— Поредел твой отряд, командир?

— Да,— отвечаю я.— Тридцать голов объезженных. Новых объезжать будем. Еще голов десять.

— Растет народишко: мальчишки — в мужчин, жеребята — в коней.

— И еще Рваный Подколенок... Жив ли, не знаю.

— Конь смирный, сам бы не убежал.

— А кто же его, баабай?

— Ты пока со своим Мунко поосторожней гоняй ночью. В лес не суйтесь. Слух есть: дезертиры в тайге появились.

— Так поймать их надо!

Старик внимательно смотрит на меня, вздыхает:

— На отца своего стал похож. Хороший он у тебя. Уж этот на войне прятаться за других не станет. Письмо будешь писать, привет от меня не забудь приписать.

— Спасибо, баабай. Обязательно напишу.

— Ну, а дезертиры долго не продержатся. Зима идет, морозы из тайги выживут. Бери, идем к коню...

Я принимаю ящик с инструментами, выходим под навес.

Гнедого устанавливаем в станок. Он понимает, слушается, кажется, даже на морде написана серьезность. Два раза в год сюда ставят каждого коня: осенью — когда набивают подковы, весной — когда снимают. Подводим под брюхо широкие ремни, привязываем переднюю ногу волосяной веревкой к стойке.

Кузнец уходит, позвякивает в кузне, наконец выносит в клещах малиновую подкову.

— Посвети!

Снимаю с бочки фонарь, свечу. Отец Эрдэни примеряет подкову к копыту; удушливо пахнет горелым рогом, как паленой шерстью, только сильней. Гвозди кузнец вбивает не спеша, долго примеряясь, но зато уж вгоняет сразу, одним ударом.

Одна подкова, вторая... Меняем ноги; Гнедой покорен, не дергается, не дрожит.

Топот коня в темноте. На свет фонаря появляется спешившийся бригадир:

— Этот вьюн и тут впереди меня оказался. Мне Белоногого подковать, Гарма.

— Жди.

Гнедой готов. Очередь Белоногого. С ним вовсе не просто, он вырывается, лягается, испуганно ржет.

— Конь в хозяина,— с усмешкой напоминает кузнец.

Мы втроем еле справляемся, притягиваем к станку Белоногого.

— Эрдэни-баабай, ты мне, пожалуйста, заводские поставь — полегче,— просит бригадир.

Старый Гарма крякает:

— Может, серебряные?..

Бригадир обидел старого кузнеца, пожелав заводские, а не самодельные подковы; сейчас он понимает это, начинает оправдываться:

— Знаю, ахай, что отличные подковы делаешь, крепкие, но мне бы полегче.

— Ладно, не умасливай, я себе цену знаю — тридцать лет стучу молотком. А заводские были, да все вышли, еще до войны. Так что на моих придется скакать.

— Во всем нужда! — вздыхает бригадир.— Уже и подков нет, скоро гвозди пропадут.

И старый Гарма разгибается, взвешивает на темной руке подкову:

— Сколько, думаешь, весит? А? Грамм двести, даже поболе. На одну лошадь кило железа. В нашем улусе тридцать лошадей, в соседнем — тридцать. В одной области на лошадей тыщи пудов железа уйдет. А железо-то нужно и на машины, на инвентарь... А чем воюем — самолетами, пушками, из чего они, Ендон? Из камыша?..

Старый Гарма любит поговорить в широком масштабе, заведет — не остановишь. Бригадир не рад, что задел кузнеца, оправдывается:

— Понятно, я вовсе не к тому...

— А я к тому, что тебя, бригадир, самого не плохо бы подковать... политически!

И Ендон торопливо достает из нагрудного кармана часы:

— Как поздно! Задержался совсем я. Ты, Батожаб, отведи Белоногого на конюшню. Мне позвонить надо — срочный разговор.

Он прощается и уходит.

Огонь в фонаре колышется от ветра. Мы переставляем фонарь в более тихое место. Наши тени, удлиняясь, падают на снег. Я с удовольствием смотрю, как работает кузнец. Он прилаживает четвертую подкову, вгоняет первый гвоздь и протягивает мне молоток:

— А ну-ка, попробуй! В жизни уметь все надо! Видел, как я делал?

Я держу копыто, старательно примериваюсь, бью изо всех сил... по собственному пальцу. Второй гвоздь сразу же сгибается.

— Ничего, ничего,— подбадривает меня кузнец.— Первый блин всегда комом.

Наконец гвоздь входит ровно. Теперь будет легче. Я весь ухожу в работу и, не отрываясь, смотрю на подкову, на белые ноги коня. И вдруг вспоминаю эти самые белые ноги, стреноженные нечистой силой в ту злосчастную ночь. Я так и не разгадал тогда загадку.

— Что с тобой?

Кузнец удивился, почему я перестал стучать молотком.

— Вспомнил один случай.

— Какой?

Я рассказал, правда, боялся, что старый Гарма будет смеяться надо мной: «Черт те что тебе мерещится по ночам». Я теперь и сам не уверен, что не примерещилось, от себя-то скрывать нечего — был пьян в ту ночь.

— Все кони хромали?

— Да.

— А где это было?

— У подножья Обоотуя.

— А-а-а, тогда все ясно. Там растет трава. Ядовитая не ядовитая, а ноги у коней от нее отнимаются. Мой дед еще таким же образом табун на три дня уложил. Только возле Обоотуя растет.

Вот тебе и предсказательница! Гора с плеч все-таки! Жил во мне страх перед колдовством Хурлы.

Рассказать кузнецу и про обоон и про письмо? Но нет. Зина просила никому не говорить.

— Баяртай! До свидания!

Взяв за поводья Гнедого и Белоногого, я веду их к конюшне. Новые копыта бесшумно ступают по свежему снегу, в воздухе пронзительная, почти спиртовая свежесть. Первая по-настоящему зимняя ночь.

XXI.

ДНЕМ...

Ночью еще выпал снег — обильный, сухой и легкий. Дует ветер. Над сугробами курится снежная пыль.

Гнедой весело ржет — рад, что его запрягли в сани. Он мотает головой, фыркает, бьет копытами, забрасывая нас комьями снега.

Я держу в руках вожжи. За спиной у меня — Мунко, закутанный в козью доху. Мы не впервые едем в лес по дрова: меня отец брал с собой два раза, Мунко ездил с братом. Но сегодня мы едем в лес самостоятельно! Это уже совсем другое дело.

Нам поручили обеспечить дровами сельский клуб — Седьмого ноября там будет праздничный митинг. Приберемся в клубе, натопим потеплее и начнем репетировать концерт.

Верховья Гангаты. Здесь сплошной лед, зеркальный, с наплывами, с синеватым отливом, весь подсвеченный солнечными лучами. Видно, Гнедому здесь тоже нравится; он уверенно шагает по льду, оставляя метки новых подков.

Наконец мы нашли расщелину, здесь Гнедой может напиться. Я слезаю с саней, отвязываю чересседельник и подвожу коня к воде.

— Мунко, отгадай, сколько глотков нужно сделать коню, чтобы напиться?

— Кто его знает... Глотков десять, наверное?

— Десять! Спорим, что нет?

— З-зачем спорить? Давай п-посчитаем.

— Ну, давай.

Гнедой нагнулся и стал шумно пить воду.

— Раз...

— Два...

— Десять...

— Пятнадцать...

Я помню, что уже как-то пытался сосчитать, но что-то меня отвлекло. На этот раз, конечно, получилось также. Мы быстро сбились со счета, стали спорить, кто виноват, а тем временем Гнедко успел напиться.

Ну что ж, теперь можно двигаться дальше. Но вдруг мы обнаруживаем, что не можем сделать ни шагу. Наши унты примерзли ко льду. Вот те на! Беремся за руки и изо всех сил тянем друг друга в разные стороны. Но напрасно. Так можно и без подметок остаться. Пришлось разуться и топором вырубать унты изо льда. Повозились и с Гнедым — ему на ноги примерзло много льда, и мы долго сбивали его с копыт.

По степи идем ровной рысью, а ближе к пригорку переходим на шаг. Плохо, что мы начинаем мерзнуть, не помогает даже теплая доха — одна на двоих. Время от времени слезаем с саней и бежим за ними вприпрыжку, чтоб хоть немного согреться.

Но вот наконец мы в лесу. Здесь сразу стало легче: и ветер стих, и в воздухе теплее. А сугробы похожи на разных зверей. Сугроб-медведь, сугроб-волк, сугробы-щенята!

Теперь мы едем по просеке. По ней всегда возят дрова, и зимой, и летом. Пожалуй, мы сегодня первые начинаем сезон зимней заготовки дров.

Скоро дорога разветвляется: тропки ведут на левую гору Трех Кобылиц, на среднюю и на правую. Мы с Мунко решаем ехать направо; говорят, там больше крупных деревьев, оттуда всегда возят хорошие дрова.

Приехав на место, оглядываемся. Деревья и правда на редкость хороши: высокие, крепкие, то, что нам надо. Привязываем Гнедка к стволу, даем ему сена, вынимаем из саней пилу, топоры, веревку.

— Давай это срубим.— Я подхожу к высокой сухой

сосне и ударяю ее обухом топора. Сверху на нас сыплются сухие ветки, кора, снег.

Одна ветка падает прямо Мунко на голову.

— Ты что, ос-слеп? Н-не видишь, что ч-человек стоит? — возмущается Мунко.

— Я же не нарочно! Давай начнем рубить с той стороны, где наклон?

— По-моему, дерево совершенно п-прямое!

Спорим, есть наклон или нет, с какой стороны рубить, с этого ли дерева начинать или с другого, пока я не затыкаю подол шубы за пояс, как это делал отец, и начинаю рубить.

Не успеваю ударить и десяти раз, Мунко принимается канючить.

— Ну дай мне топор, теперь моя очередь...

Уступаю вроде бы нехотя, на самом деле устал. Мы рубим по очереди. По всему лесу раздается переливчатое эхо, можно подумать, что лес полон дровосеков; сделав подрубы, принимаемся пилить. Но это оказывается еще более трудным делом, я доказываю Мунко, что он неправильно держит пилу, а он мне — что у меня руки кривые. В конце концов, пила у нас прочно застревает — ни туда, ни сюда, никак не вытащить. Совершенно расстроенные, мы принимаемся раскачивать сосну: взад, вперед, в одну сторону, в другую, и раскачиваем ее до тех пор, пока она с треском не рушится на нас. Мы оба успеваем отскочить, застреваем в снегу, но сосна, падая, задевает другое дерево, оно тоже падает и ударяет верхушкой Гнедого.

Барахтаемся в снегу, рвемся к Гнедому; Мунко, взъерошенный, кричит с плачем:

— Это т-ты выдумал т-толкать! Т-ты выбрал! Сказал — х-хорошее дерево!

Гнедой лежит на снегу цел и невредим, только, видно, очень напуган. Он смотрит на меня своими добрыми, осуждающими глазами: «За что вы это меня так?»

Я обнимаю и целую его от радости — все обошлось.

Но теперь мы стали умнее. Работаем в другом месте, подальше. Подрубаем с расчетом, с пилой обращаемся осторожно, не ссоримся и не спорим по пустякам. И скоро на снегу лежат четыре крупных ствола-сушняка — больше нам не увезти. Обрубаем на них сучья, отпиливаем верхушки и грузим в сани. Все. Теперь надо привязать их веревками — и в обратный путь.

Нам жарко, пот льет в три ручья. Мы устали. Рубили мы горелый сушняк, лица перемазаны углем, только блестят зубы да белки глаз. Смотрим друг на друга и смеемся.

Я закурил, а Мунко отвернулся, ему даже табачный дым противен. Никак не научится. Сидим, и тихо-тихо кругом — застыли вершины гор, застыли деревья на склонах, стоят сани с дровами.

Наверное, по этим горам ходили давно наши богатыри — Бабжа, Барас и его младший брат Хондоли-мэрген. Рукой вырывали деревья с корнем и разжигали победные костры. Мы, конечно, не богатыри, а все же больших четыре дерева вырвали, чтобы согреть наш клуб.

— Ну, пора ехать, Хондоли-брат, вставай!

— Пора, пора, Бабжа-батор,— смеется Мунко.

— Слушай, давай прямо с горы спустимся, неохота в обход идти,— говорю я.— Хулэг у нас смелый.

— Н-нет, все-таки та дорога уже знакомая; как приехали, так давай и уедем.

— Но там ведь гораздо дальше!

— Н-ну хорошо, пойдем посмотрим, что за спуск здесь.

Спуск и правда хороший: не крутой и снегу мало. А на снегу следы, следы, каких только следов здесь нет! Одни тянутся аккуратной цепочкой, другие петляют. Вот эти, маленькие, разболтанные, оставил заяц. Тут, видно, прошел кабан, а здесь — волчья стая. Не хотелось бы с ними сейчас повстречаться, вдруг да они на нас зуб имеют? А это что за следы? Величиной с тарелку. Может, медвежьи? Но медведи вроде бы зимой лежат в берлоге... А может, не все? Вдруг на нас нападет какой-нибудь бродячий? А вон на снегу — следы битвы, клочья шерсти, мяса, пятна крови. Что тут произошло, какая трагедия? Страшно. И вдруг мы оба натыкаемся на что-то и одновременно падаем в снег.

Лежим — не дышим, приходим в себя, оглядываемся. В чем дело? Не понять, ничего нет. Хоть бы ветка какая или корень — ничего! Но не могут же два нормальных человека ни с того ни с сего споткнуться на ровном месте. Я шарю руками по снегу и вдруг натыкаюсь на туго натянутую проволоку. Только этого не хватало! Мы снова замираем в напряжении. Неужели эта проволока одним концом привязана к курку ружья? Но нет, и ружья нигде не видно.

Между ветками высоченной елки, правда, блестит какой-то предмет, но это, конечно, не ружье. Мы долго сбиваем его снежками и шишками, а когда это нам удается, я не верю своим глазам. Ботало! Ботало Рваного Подколенка! Только язык почему-то вырван!

— Откуда оно здесь взялось? — удивляется Мунко.

— «Откуда, откуда»! Уж конечно, не конь его на елку повесил!

Рваный Подколенок, бедняга, где-то ты?

Я прячу ботало за пазуху.

А Мунко радуется — рот до ушей! Можно подумать, что мы живого коня нашли, а не холодную железку!

— А п-п-правда здорово, что мы шлепнулись вовремя! Так бы прошли и не заметили ботало на елке.

«Ботало на елке...» Где-то я уже слышал эти слова. Вспомнил! Их говорила бабушка, когда пришла от Хурлы-почтальонши. Опять загадка. Может, она и впрямь ясновидящая? Откуда ей было знать, что я найду ботало именно на елке?

— Странно...

— Что странно? — спрашивает Мунко.

Мы идем, притихшие, к своим саням. Гнедой смотрит на нас настороженно и укоряюще — опять бы чего не натворили.

Спускаться с горы — дело нелегкое: того и гляди, все полетит кувырком под откос — и сани, и дрова, и конь наш, и мы сами. Приходится все время притормаживать.

С грехом пополам добрались до подножия горы, а там уже легче — спуск совсем пологий, сани не напирают. Позади себя мы оставляем широкую борозду, из-под снега видны мерзлая земля, прошлогодняя трава, раздавленные шишки... Гнедой уже еле плетется, мы его перегрузили. Я чуть слышно утешаю конька, уговариваю идти тихо, дышать ровно, почаще отдыхать. Это Мунко считает, что раз дело сделано, то все в порядке, а я-то понимаю, что далеко не все. Еще путь долгий. Вон, например, маленький, но крутой пригорок впереди. Когда сани пустые, и не заметишь его, а сейчас он — гора. Гнедой пытается взять пригорок с разгону, не останавливаясь. Он так напрягся, что кажется, вот-вот сломается дуга, и все-таки не одолел. Встал, голову опустил, хватает мокрыми губами снег.

— Ты его кнутом легонько,— советует Мунко.

— Еще чего не хватало! Как бы тебя «легонько».— Я щелкнул кнутом по воздуху.

От неожиданности Гнедой вздрогнул, как будто я его и в самом деле ударил кнутом, налег на хомут, мы сзади нажали, пыхтим, толкаем — пошло, пошло...

Наконец пригорок позади. У Гнедого даже ноги дрожат от усталости. Мы даем ему отдохнуть, хвалим:

— Силач ты у нас!

— Сроду таких не видели...

— Теперь уже скоро дома будем, Гнедко! Давай не спеша!

От просеки и до дому рукой подать, и путь легче. Только Гнедой идет все медленнее, все чаще останавливается. Посоветовались, решили одну сосну с саней сбросить — заберем ее потом.

На просеке заметно холоднее, чем в лесу, ветер бьет в лицо колючим снегом. Мы с Мунко так окоченели, что даже бежать за санями не можем. То и дело падаем в сугробы, снег забивается в рукава, и от этого становится еще холоднее. Вдруг вижу — на щеке Мунко растет белое пятно.

— Отморозил! Стой!

Я быстро скинул рукавицу, набрал снегу, начал растирать.

— П-перестань, б-б-больно,— мотает головой, вырывается Мунко; от холода он стал заикаться еще сильней.

— Терпи, казак! Щеки целы останутся.

Показался улус. Почуяв дом, Гнедой прибавил ходу. Мы шагаем важно, как два бывалых дровосека,— вон какие бревна тянем! На улочках улуса пусто, даже любоваться нами некому. Редко над какой крышей увидишь дымок.

Около дома Сандака дали отдохнуть Гнедому. В последний раз... Я замечаю, что за сараем, там, где должны лежать дрова, валяются мелкие щепки.

— Одна живет,— говорю я,— сына-то на войне убили, кто дрова привезет?

— Изгородью топит, гляди,— указывает Мунко.

— Давай оставим ей одну сосну.

— Давай.

Мимо дома Сэрэн-Дорджи-баабая тоже проехать не смогли. Старик известный балагур в улусе, его хлебом не корми, только дай кого-нибудь разыграть. Вот и сейчас с крыльца кричит:

— Кто такие? Издали не вижу.

Врет, видит хорошо, кто мы такие. Мы смеемся.

— Бабжа Барас едет и Хондоли-мэрген!

— Заворачивайте ко мне, баторы. Я б вот встречу устроил, да барана зажарить не на чем, вода уже в доме замерзать стала.

И мы, баторы, снова переглядываемся друг с другом. У старика два сына в армии, дома только больная дочка. Опять — кто им дров привезет? Мунко шевелит губами, шепчет:

— Отдадим.

— Баабай, эту сосну специально для вас везли! — кричу я.— Сейчас свалим, а на барана в следующий раз придем!

Одно-единственное оставшееся дерево мы скидываем у дома Дугар-ахая.

— Тпру-у-у! Хозяева, мы вам дрова привезли!

Дугар-ахай на фронте, дома жена и семеро ребятишек — как мимо проехать?

— Эй, малышня, р-разойдись! — солидно покрикивает Мунко.

«Малышня» пищит от удовольствия и тут же усаживается в ряд на бревно:

— Бо-оль-шо-ое!

Тетя Санжама выбежала из дома в наспех накинутом тэрлике. Протянула бережно завернутый в бумагу кусок сахара.

— Спасибо! Больше-то ничего дать не могу.

Сахар в улусе теперь редкость. Не можем же мы, большие, отнять его у детишек. Мунко отдает старшему кусок, говорит строго:

— Поделишь на всех. Смотри у меня!

Мы проезжаем мимо клуба с пустым возом не останавливаясь — прямо в конюшню.

XXII.

НОЧЬЮ...

Распрячь Гнедого, подбросить ему сена — и к бригадиру. Ботало лежит у меня за пазухой, и я ни на минуту не забываю о нем.

К своему удивлению, на конюшне среди других коней я застаю Черногривого беглеца. Просто не верю своим

глазам. Как он мог здесь очутиться? Откуда сбежал? Вот уж действительно беглец! И странно, кто мог впустить его в конюшню?

Гадая обо всех этих чудесах, я незаметно дошел до дома бригадира. Черная лохматая собака с лаем набросилась на меня, и, еле успев увернуться от нее, я с шумом влетел в сени. В темноте натыкаюсь на какую-то бочку, на мешок с зерном. Под ногами грохочет пустое ведро, сверху падает козья шкура, что угодно попадается под руку, но только не ручка двери. Наконец дверь сама открывается, и дородная жена бригадира набрасывается на меня с криком:

— Ты что здесь делаешь, мальчишка? Почему ходишь по чужим сеням, да еще поздно ночью?

— Я никак не могу найти дверь,— оправдываюсь я и захожу в переднюю.

Тамжад-абгай окидывает меня критическим взглядом и вдруг разражается уже настоящей руганью:

— Ах ты, варнак неученый, как ты посмел войти в мой дом с кнутом?! — говорит она, уперев руки в бока и наступая на меня.

Она все наступает на меня, а мне приходится отступать шаг за шагом; так я дохожу до дверей, но, когда она говорит про кнут, я сам выскакиваю за дверь и оставляю его в сенях. И как я мог забыть про эту примету! [1]

— Простите, я совсем забыл... Мне очень нужен бригадир Ендон...

— Ендона нет дома! И что за дела ты выдумал, на ночь глядя? Нет его дома, и неизвестно, когда будет. Ни днем, ни ночью нет покоя от этого проклятого бригадирства! А толку что? — Тамжад-абгай опять уперла руки в бока и начала на меня наступать: — Что толку мне от того, что муж бригадир?

Мне делается смешно, что она на меня так наскакивает. Я с любопытством смотрю на Тамжад-толстуху (так ее называют в улусе), вспоминаю все, что слышал о ней. В колхозе она не работает, ссылается на какую-то болезнь. Хотя по ее виду никак не скажешь, что она больна. Толстая, лицо красное, злое, голос громкий, крикливый. Еще говорят, что нашему бригадиру довольно

---

[1] Зайти в дом с кнутом — показать свои недобрые, враждебные намерения.

трудно бывает с ней сладить и что он ее даже вроде бы побаивается. Вот этому как раз поверить нетрудно.

— Мне очень нужен отец Баянды! Можно, я его здесь подожду?

— Ну, как хочешь, жди, только можешь прождать до утра! — Она недовольно хлопает дверью и уходит в другую комнату.

Я присаживаюсь на стул и оглядываюсь. В углу за занавеской виднеется умывальник. Под окном стоит длинный зеленый ящик — ханза. На нем, один на другом, несколько чемоданов. У стены поблескивает спицами велосипед, предмет моей давнишней зависти. Из всех ребят нашего улуса только у одного Баянды есть велосипед. Когда он выезжает на улицу, все мальчишки бегут следом и просят прокатиться, а он воображает и долго выбирает, кому дать. А когда дает, то на минутку, да предупреждает, как бы не сломали... Мне так и не удалось ни разу на нем прокатиться, наверное, потому, что не умею клянчить как следует. Если бы у меня был велосипед, я бы давал его каждому, кто захочет. И я не ждал бы, чтобы меня просили: я же знаю, что каждый об этом мечтает. Ходил бы по улусу и сам предлагал всем велосипед...

— Пришел все-таки полюбоваться на мою самокатку?

Передо мной стоит бригадирский сынок. Легок на помине.

Я пожимаю плечами.

— Некогда мне сейчас такой ерундой заниматься. Я к твоему отцу пришел, по делу.

— По делу? — Баянда весь в снегу, лицо красное от мороза, а глаза ехидные.— Как колхозного коня потерял, деловой?

Я бы с удовольствием ответил ему, как, но не затевать же драку в его собственном доме! Я сжимаю ботало у себя за пазухой и говорю сквозь зубы:

— Я не терял коня, его украли воры.

— Врешь! Потерял коня, и нечего валить на воров. Мой отец еще покажет тебе!

Он уходит на кухню, и я не успеваю ему ничего ответить.

Через приоткрытую дверь я вижу стол, за который он садится, застекленную полку с посудой на стене. На сто-

ле большой деревянный поднос с мясом. Недавно семья бригадира заколола на зиму яловую кобылу, а мы отдали своего бычка в уплату за потерянного коня и остались без мяса. От вида и запаха мяса у меня начинает сосать в животе, и я вспоминаю, что вообще не ел сегодня с утра. Когда же придет наконец бригадир Ендон?!

— Негодный мальчишка! — Голос Тамжад-толстухи звучит непривычно ласково, это особенно заметно, потому что говорит она те же слова, что я уже слышал от нее сегодня.— Негодный мальчишка! Сколько можно бегать по улице! Мясо, наверное, совсем остыло.

— Не хочу я есть, если бы захотел, сам пришел раньше!

— Может, разогреть его?

— Эту кость погрызу.— Он находит на подносе большую кость, подносит к губам, как лимбу [1], и с шумом тянет в себя костный мозг.

— Батожаб! Хочешь попробовать, тут еще много осталось! — кричит он мне из кухни, но я качаю головой и отворачиваюсь. После того что он мне тут наговорил, я не хочу принимать угощение.

Теперь я сижу лицом к гостиной. Красивая все-таки у них гостиная: на окнах занавески с кружевами, у стены комод со множеством выдвижных ящиков, а вдоль противоположной стены выстроился ряд длинных и коротких сундуков на разноцветных подставках.

Неожиданно дверь из сеней отворилась, и вместе с холодом, пахнувшим оттуда, вместе с паром в доме появилась почтальонша Хурла. Она так быстро пролетела мимо меня в гостиную, что я подумал, уж не стряслось ли чего с бригадиром. Но Хурла остановилась так же внезапно, как и появилась в доме. Она подошла к тому углу комнаты, где висела бы божница, если бы вообще была в доме бригадира. То, что ее не было, не имело, наверное, для Хурлы значения, потому что она сняла платок и начала молиться. Только после этого поздоровалась с бригадиршей.

— Здравствуй, моя дорогая! Совсем забыла ты дорогу в наш дом.— Второй раз за этот вечер я удивился, как может меняться голос Тамжад. Теперь он звучал льсти-

---

[1] Лимба — национальный музыкальный инструмент, похожий на флейту.

во, вкрадчиво.— Сколько я тебя ни ждала — не дождалась, пришлось самой приглашать!

— Да на бригадира не хочется нарваться — наряд сунет на работу или скажет что,— посмеивается Хурла.

— С начальством и правда лучше не связываться,— машет рукой Тамжад.— Он даже меня норовит отправить на работу. Это при моих-то болезнях! Ну, садись, садись сюда вот, рассказывай!

— Что рассказывать! Пока на почту съездишь, пока письма, газеты разнесешь, а на остальное-то, глядишь, времени не остается. А люди-то идут ко мне, идут, каждый помощи просит.— Хурла скромно опускает голову.

— Да уж слышали о тебе, слышали! Я уж по-соседски на тебя очень надеюсь.

— Мне все равно, что сосед, что дальний. Вчера у меня были из Тэрэпхэна, позавчера — из Зукульты, а сегодня приезжали даже из Тугнуя.

— Да что ты! Что ты! Из Тугнуя даже!

— И все просят меня, все хотят узнать о своих — кто о муже, кто о сыне. А многим приходится говорить — убиты... Справлять службу по ним. Ох, сколько горя кругом! Война проклятая!

— Твоя правда, Хурла, твоя правда! Вот так и живу, и покою нет. Откуда спасенья ждать? — плачется хозяйка.

— Ну, давай начинать, а то уже поздно.— Хурла поудобнее усаживается на стуле.

— Все приготовила, что ты просила, все! — Тамжад шарит за сундуком и вытаскивает оттуда бутылку с бумажной пробкой.

— Налей полный стакан.

Хурла пристально смотрит в стакан и вдруг резко отставляет его от себя.

— Что случилось? — пугается Тамжад.

— Пусть кто-нибудь другой гадает тебе по этому вонючему пойлу! Она же мутная, как река после дождя! — Хурла разозлилась и, кажется, собирается уходить.

— Я несколько раз ее перегоняла, знаешь, как она горит,— оправдывается бригадирша.

— Пусть пьет ее твой Ендон, раз горит, а гадать по ней нельзя!

— Погоди,— пугается Тамжад.— Было тут у меня казенное.

Она снова нагибается над сундуком и на этот раз вытаскивает магазинную поллитровку.

— И-эх, Тамжад, хитришь, прячешь, жадуешь! — Хурла сердится все больше.— Какое же это гаданье, если идешь ко мне не с чистой душой!

— Ой, Хурла, рыбонька! Это у меня-то перед тобой нечистая душа? Чистая, как стеклышко! Бутылка-то это не моя! Это он себе принес! Сама понимаешь... Получили письмо, что мой младший брат-то пропал без вести. Скажи, жив ли? Одно словечко всего! Жив или нет? Неужели можешь уйти и ничего не сказать?

Лебезит, заискивает, но в то же время довольно решительно преграждает путь почтальонше; той ничего не остается, как вновь усесться за стол.

Она долго, не отрываясь, смотрит в стакан с уже настоящей водкой и что-то бормочет себе под нос. Наконец поднимает глаза на бригадиршу:

— Вот он, вижу вашего Галдана. Правда, что пропал он без вести... Но где же он сейчас? Смотри, вон около него колючая проволока — и впереди, и сбоку, а он — внутри...

— Господи,— всплескивает руками Тамжад,— значит, жив Галдан, жив! Но колючая-то проволока?.. Не плен ли? А может, сделал что, у нас в беду попал.

— В немецком плену он, и обратный путь будет трудным. Молись всевидящему богу, Тамжад, только он может тебе помочь.

— Господи, помилуй, помоги, господи! — подавленно бормочет Тамжад.— Хурла, драгоценная! Ты к богу-то ближе... Сделай, Хурла, чтоб все обошлось. За нами не пропадет. Приношения какие — так я готова, ничего не пожалею. Единственный брат, младшенький, на руках его носила...

Хурла опять разглядывает что-то в стакане, бормочет, закрывает глаза и, наконец, выносит приговор.

Для спасения младшего брата семья бригадира должна сделать три святых дела: во-первых, всей семьей три раза переписать божье посланье. (Я попытался представить бригадира Ендона за этой работой, и мне стало смешно.) Во-вторых, святого Черногривого коня, который прислан в улус наш свыше, Тамжад должна три дня держать у себя, в тепле, кормить самым лучшим сеном и поить чистой водой. Это должны делать все семьи, у кого есть близкие на фронте.

Интересно! Откуда Хурла знает, что Черногривый очутился в нашем табуне? И вообще хорошо придумано! В улусе около тридцати семей фронтовиков. Тридцать умножить на три получится девяносто. Значит, все холодное время Черногривый проведет в семьях фронтовиков, которым и так туго приходится. И непонятно, почему это Хурла так заботится о приблудном коне? Третьим условием было жертвоприношение: кусок топленого масла, айрахан[1] и деньги, которые надо отнести на обоон.

— Все, все будет сделано, как ты говоришь. И масло, и деньги сколько нужно! — Толстуха Тамжад кланяется и прижимает руки к сердцу.— Только бы помогло Галдану! А теперь, моя дорогая гостья, воздадим сэржэм и выпьем за здоровье моего бедного брата. Пусть бы сбылось все, как надо!

Она быстро накрыла на стол, принесла из кухни жирную конину и разлила водку. И скоро обе женщины, уписывая мясо, прикладываясь к водке, обсуждали последние улусные новости: к учительнице Марии повадился ездить гость из аймака, и неизвестно до сих пор, от кого беременна учетчица Бутидма, жена хромого Дугара ревнует своего мужа к дояркам, вчера ругались — любо-дорого послушать, а доярки-то сами каждому на шею вешаются...

Я решил уходить. Бригадир Ендон может заночевать на дальней ферме, не сидеть же мне здесь всю ночь и слушать, как несут чушь две пьяные бабы. А они кончили улусные новости, заговорили о ворожбе на картах.

В это время стукнула входная дверь, раздались грузные шаги. Пришел бригадир.

В темноте он принял меня за сына:

— Ты что сидишь один, сынок?

— Я не... я Батожаб!

— Батожаб? Что случилось? С лошадьми что-нибудь?

— Мы с Мунко ездили сегодня в лес за дровами и нашли вот это.— Я вытаскиваю из-за пазухи теплое ботало и протягиваю его бригадиру.

— Что такое? — не понимает он.

— Ботало, которое носил Рваный Подколенок.

— Ну-ка, идем на свет, посмотрим.— Бригадир открывает дверь в гостиную и пропускает меня вперед.

[1] Айрахан — сушеный творог.

— А ты еще здесь? — шевелится на стуле Тамжад.— Совсем люди совесть потеряли, не разбирают, где ночь, где день, шатаются по чужим домам круглые сутки! — Стул скрипит под ее грузным телом.

— Дурной валет,— выкинула ей карту Хурла и посмотрела на меня уничтожающе.— Дурной валет, совсем ума нет.

— А мы этого дурного валета — дамочкой умной, дамочкой покроем...

— Действительно, ботало... И наше... верно! — Бригадир недоуменно вертит ботало в руках, осматривает его со всех сторон.— Где нашел?

Хурла бросает карты, встает.

— Ну-ка,— берет ботало из рук бригадира, разглядывает.— Когда ты потерял коня и твоя бабушка пришла ко мне погадать, что я ей ответила? А?..— Она обводит всех торжествующим взглядом.— Я ей ответила, что от коня осталось одно ботало и оно висит на елке. А теперь отвечай...— Хурла подходит ко мне совсем близко и смотрит прямо в глаза.— Отвечай, где висело ботало?

— На елке,— говорю я упавшим голосом. Не хочется, чтоб Хурла торжествовала, но что было, то было — не откажешься. Откуда она могла знать, где висит ботало?

— Господи, помилуй! — Тамжад прижимает руки к груди.— Ясновидица! Ясновидица! Ты настоящая святая, Хурла!

Хурла молитвенно складывает руки:

— Благодарю тебя, господи, что ты открыл мне глаза, сбылось и это мое предсказание.

Тамжад, согнувшись перед Хурлой в полупоклоне, пятится на кухню за новыми угощениями, а я, растерянный, подавленный, смотрю то на подвыпившую ясновидицу, то на недовольного бригадира.

К моему счастью, бригадир, кажется, не верит ни в Браму, ни в Будду, ни в святую лиственницу.

— Слушай, Хурла! — говорит он недовольно.— Давно собираюсь добраться до тебя! Тут стоит ребром наиважнейший вопрос, как план выполнить! Тут ради плана — жизнь положи, а ты — гадания разные...

— А я что могу с собой сделать, бригадир? Если на меня находит просветление...

— «Просветление»... Уж ежели оно на тебя находит, ты, может, нам и воров укажешь, ясновидящая?

— В наших местах нет воров,— твердо отвечает Хурла.

— А кто же тогда угнал колхозную лошадь? Выходит, жеребец сквозь землю провалился?

— Никто не угонял. Его взял к себе Хозяин здешних гор.

— Хозяин здешних гор, говоришь? — Бригадир смотрит на Хурлу тяжелым взглядом.

Хурла поеживается под этим взглядом, но выдерживает, стоит на своем:

— Хозяин гор! В его воле дать, в его воле и отнять. Он прислал нам в первый день войны святого коня черной масти, он и забрал другого коня.

— Святой конь, верно, служит нынче святому делу,— мрачно говорит Ендон.— В армии ему быстро выбьют святость!

— А вот и не выбьют! Он опять у нас! Или не знаешь? — торжествует Хурла.— Этот хулэг не для войны нам прислан — это знак божий!

Бригадир оборачивается ко мне:

— Черногривый, что, опять у нас?

— У нас,— признаюсь я.

Хурла высоко держит голову, презрительно улыбается.

Тяжелый кулак бригадира с грохотом опускается на стол:

— Закрывай, Хурла, свою лавочку! Гадания разные! Этот крутеж вокруг коня!.. Если Черногривый опять убежал, нечего делать из этого святые выводы. Беглец он и есть беглец! Вырвался да ушел, когда выводили. А у нас тут чудеса идут — от коня одно вон ботало осталось, в тайге кто-то прячется! А ты еще со своими дурацкими предсказаниями! Смотри — дорезвишься! Я тебя предупредил, запомни!

И Хурла вскинулась:

— Ах ты, жеребец табунный, развоевался! Воюешь тут с бабами да с ребятишками, все тебя боятся. Думаешь, и я испугалась! Я к тебе в гости не навязывалась. Тамжад твоя распрекрасная в ногах валялась у меня — приди да приди! Чтобы я еще раз переступила этот порог, да провалитесь вы здесь все, пихлу-у, я этот дом за версту обходить буду! И тогда посмотрим, не прибежишь ли сам, бригадир, на поклон, не будешь ли просить у меня: помоги! — Хурла схватила шубу со стула и кину-

лась вон из комнаты, чуть не сбив с ног бригадиршу, которая появилась из кухни с блюдом дымящегося мяса.

Тамжад проводила взглядом ясновидицу, дернулись ее рыхлые плечи, когда хлопнула наружная дверь, повернулась к мужу, долго и недобро глядела на него, сердитого, взъерошенного, потом медленно поставила блюдо на стол. И в следующую секунду степенный, рослый Ендон-бригадир по-мальчишески резво присел — над его головой пролетела пустая бутылка, ударилась в стену.

— Ах ты, мерин заезженный! Ты приглашал ее в дом?!

В Ендона полетел стакан.

— Эй-ей! Опомнись!

— Ты опомнись, кабан старый! Срамить меня перед святым человеком! Вот я блюдом тебя накрою!..

— Эй, Тамжад!

— Что — эй?! Что — эй?! Жизни мне от тебя нету! У меня и всей-то родни — брат единственный, на моих руках вырос. И тот пропал без вести! Человек помочь хочет, так его из дому, из дому!.. Да я тебя самого на мороз выгоню! Просить будешь, ползать будешь — на порог не пущу!..

К моему ужасу, блюдо с мясом летит прямо в бригадира, он шарахается в сторону. Куски конины, брызги сала...

Я хватаю со стола злосчастное ботало, кидаюсь к дверям, и сзади несется истошное:

— Не смей надо мной издеваться! Не смей!..

XXIII.

ДНЕМ...

Теперь мне приходится заново менять свои привычки — учусь работать днем, а спать — ночью, как все люди. Кони стоят в конюшне до весны, а я с утра до вечера возле них — кормлю, пою, чищу стойла. К ночи так намотаюсь, что еле волочу ноги. Даже книжку почитать не успеваю — засыпаю на третьей странице.

Вчера вечером допоздна ходили по домам. К нам в улус из аймачного комитета комсомола пришла бумажка: нужны для фронтовиков теплые вещи. Предупредили

всех, чтобы готовили подарки, сбор будет перед самым праздником торжественный.

А сегодня выходной. Я мог бы поспать, старик Намхай заменил меня в конюшне. Да разве поспишь с моим племянничком? Барас приполз ко мне, стал тыкать мне в рот свою соску: «На! На!» Он уже большой — ходит, говорит, но все еще не расстается с соской. Глядишь, выступает по двору, руки за спину, важный, а во рту соска — ну совсем как Черчилль с сигарой.

Ничего не поделаешь. Приходится со сна принимать угощение. Я делаю вид, что сосу, чмокаю от удовольствия губами.

— Вкусно. Ох как вкусно!

— Дай! — Барасику становится завидно. Он отбирает у меня соску, засовывает себе в рот. Вокруг Бараса валяются игрушки: костяные бабки, войлочный мячик, медные колокольчики. Барасик роется в своем хозяйстве, «дымит» соской, забыл обо мне.

Но мне уже не заснуть. Я лежу с открытыми глазами, смотрю в серый потолок с подтеками от летних дождей. Побелить бы, да руки все никак не доходят. Лениво я перевожу взгляд с одного предмета на другой. В красном углу, который раньше был пуст в нашем доме, висит гунгарба — божница с фигурками бабушкиных богов. Под ней горит лампадка, стоят разные баночки, чашечки, тарелочки с сухариками, творогом, кусочками мяса — продуктовый паек бабушкиным богам. Стену украшают фотографии. На самой большой карточке изображена вся наша небольшая семья: в центре — отец, мать, бабушка и я. У меня губы сжаты, а глаза вытаращены — боялся, что плохо выйду. На снимке рядом стоят во весь рост Сэрэн-Дулма и Урбан-хуряахай. Она в белом длинном платье, а он — в форме военного летчика со множеством значков на груди. Половину стены занимают почетные грамоты, которыми были в разное время награждены члены нашей семьи. Среди этих грамот висит и моя почетная грамота за четвертый класс, с печатью, с подписями, как у всех. Больше я пока грамот не получал.

Дверь распахивается, и входит Дондой, с ног до головы залепленный снегом. Уже успел покататься с горки, а стряхнуть с себя снег, перед тем как войти в дом,— этого мы не умеем. Бросив шубенку на бочку, он ринулся к умывальнику, но вовсе не для того, чтобы умыться.

Умывание не в его привычках. Я, конечно, воспитываю как могу, но пока не получается.

Дондой сердито бормочет над тазом, плюется.

— Дондой! — говорю я строгим родительским голосом.— Ты что там делаешь?

Дондой с сердцем плюет и объявляет:

— Я эту блоху убью!

— Какую блоху?

— Какую, какую? Да Булатку!

Булатка — его лучший друг, целыми днями не расстаются. И я об этом ему по-родительски напоминаю.

— Какой он друг! — негодует Дондой.— Вот!

Он тычет мне в нос ладошку, на ней какой-то кусочек.

— Что это?

— Что?! Да зуб! Блоха выбил!

Зуб молочный, съеденный, давно уже шатался.

— Новый вырастет,— успокаиваю я.

— Дай мне кусочек хлебца,— просит Дондой.— Малю-юсенький.

— Зачем?

— Спрячу зуб в хлеб, дам Янгару, скажу: «Собака, собака! Ешь мой зуб, отдай мне свой острый!»

— И без этого вырастет.

Дондой хнычет:

— Я собачий зуб хочу! Дай хлеба!

— Сначала умойся — раз! Прибери игрушки Бараса — два! Вытри стол — три! Потом уж поговорим о собачьем зубе.

Дондой пыхтит, с тоской посматривает на стол, доверху заваленный игрушками, книгами, пустой посудой. Стол — центр нащего дома — на нем мы готовим уроки, едим всей семьей, играем. Навести порядок здесь не так просто. На помощь приходит Жалма. Она бегала на часок в школу, там они всем классом готовились к двадцать четвертой годовщине Октябрьской революции! Да еще конец четверти.

Я вспоминаю о своих обязанностях, строго требую у Жалмы:

— Покажи табель!

И Жалма чуточку скучнеет, роется в сумке, достает табель, протягивает мне, скороговоркой предупреждает:

— По всем «отлично» и «хор», только по письменному «посредственно».

— Пос-ред-ствен-но! — Я полон негодования.

— А я не виновата нисколечко! Совсем, совсем не на чем писать! Ты попробуй чисто напиши на обоях! — И она начинает всхлипывать.— А теперь и обои кончились. На чем писать буду? Совсем ничего нет, никакой бумаги.

— Ничего, сестренка, я из клуба старые газеты принесу, разрежем их, сколько хочешь тетрадей понаделаем.

— Лучше бы уж на обоях. Они с одной стороны совсем чистые.

— Мало ли что лучше!

Жалма успокаивается:

— Ахай, как есть хочется!

На низкой печке стоят горшок, медный чайник и чугунный котел. В горшке тают куски льда, в чайнике черный как деготь чай, а в котле наша ежедневная пища — заваруха. Я снимаю котел, черчу на застывшей заварухе крест, делю на четыре равные части.

У заварухи горький вкус полыни, но стучат и мелькают деревянные ложки, сопение, чавканье, молчаливая сосредоточенность. Не отстает от других и Барасик, справляется со своей нормой. Правда, часть этой нормы остается у него на носу, на щеках, на подбородке, но это его не смущает. Дондой незаметно подрывается снизу на территорию сестренки и братишки.

— Молока бы еще! — мечтательно говорит он с набитым ртом.

— Ты хоть и беззубый, а ловкий, смотри какой помощничек отыскался,— говорю я.

Дондой на минутку конфузится, но скорости не сбавляет.

Котел пустеет, и Дондой с Барасом затевают спор — кому подчищать?

— По очереди, без драки! — наставляю я.

Котел мыть не надо, и так очистят до блеска.

Каждый день я наблюдаю эту картину, каждый день меня мучает совесть: я оставил семью на зиму без мяса, из-за меня свели со двора бурунчика, будь на моем месте отец — все были бы сыты.

Еле передвигая ноги в своей тяжелой овчинной шубе, входит бабушка. Не снимая шубы, садится у очага, вытаскивает четки, перебирает кривыми пальцами, бормочет:

— Ум-маани-пад-мэй-хум! Все в этом мире бренно.

Рождаются и умирают, снова рождаются. Съели заваруху?.. Уложите Бараса, пусть поспит.

Но Барас уже уснул прямо на полу, среди разбросанных игрушек. Я укрываю его одеялом, подсовываю под голову подушку. Бабушка перебирает четки, качает седой головой:

— Поел — заснул, проснется — поест, а для чего? Чтоб идти к старости. Я прошла свое, много-много прошла... Устала... Очень устала, хочу уснуть. Теперь старым совсем трудно. Старым в такое время незачем жить... Дондой, разбудишь Бараса! Иди играть на улицу! Жалма, пора напоить корову. Смотри, у реки лед, как бы не поскользнулась...

Мы остаемся вдвоем с бабушкой; она шевелит губами, перебирает четки, смотрит в пол. Вдруг говорит:

— Что там святой конь, Батожаб?

Неужели она выпроводила всех из дому, чтоб только поговорить о Черногривом беглеце?

— Не знаю,— отвечаю я хмуро.— Он теперь не в колхозе.

— Слышала, слышала, по домам живет. У Дугаровских жил, у Дамдинских... Три дня в каждой семье! У кого сейчас?

Я понимаю, куда клонит бабушка, молчу.

— Пора священному коню и у нас погостить...

Я молчу.

— Приведи вечером его к нам...

— Сена своей скотине не хватает,— говорю я.

— Для священного коня грех жалеть.

Я упрямо молчу.

— Ты не пойдешь за ним, сама пойду, приведу...

— Он же дикий, бабушка. Вам не справиться, убьет еще.

— От священного коня смерть принять радостно. На-ка лучше, прочти.

— Письмо? От кого?!

— Хурла передала... от мужа Сэрэн-Дулмы.

— Почему она распечатывает чужие письма?

— Зачем ей распечатывать? Если она захочет, может прочесть не распечатывая. Что от других скрыто — она видит! Что случится завтра — она знает. Летом я спрашивала ее о зяте, а она мне сказала: «Зачем спрашивать о том, чего у вас нет?» Я рассердилась тогда...— Бабушка сокрушенно качает головой.— Читай...

У меня сжалось сердце. Я вынимаю письмо, строчки прыгают перед глазами. Урбан-хуряахай! Как долго мы ждали его приезда или хотя бы письма... И вот письмо. Не от него, от его товарища. Товарищ пишет, что Урбан сражался в воздухе с несколькими «мессершмиттами», сбил один, но и сам погиб. Его самолет упал за линию фронта.

Я вспоминаю тот солнечный осенний день, когда трактор нашей тети непослушно пошел прочь от поля. Что было в том письме? Тетя так и не сказала. А потом, когда брали коней, она приходила к капитану с какой-то бумажкой. И Хурла тогда, как черная ворона, каркала.

Упал за линию фронта...

Держа в одной руке халат, в другой какой-то сверток, входит мать.

— Что? — спрашивает срывающимся голосом, едва переступив порог.

— Мама...— Мой голос тоже срывается.— Это письмо... от товарища хуряахая. Нет больше Урбана. Его самолет сбит. И... нет! Погиб!

Бабушка сидит, уставившись в одну точку, четки свисают к полу.

— Мне каждую ночь плохие сны сниться стали,— говорит она.— Отыскала наш дом плохая весть. Господи, смилуйся над нами! Прости грехи наши... Чувствовала, чувствовала, что беда свалится...

Мать садится, берет письмо, долго читает:

— Геворкян... Друг Урбана...

— Они с самого начала войны вместе,— говорю я.

— Геворкян тут пишет, что Урбан часто писал домой, но ни разу не получил ответа... А мы не получали его писем. Странно.

— Странно,— говорю и я.

— Сэрэн-Дулма чем-то согрешила. Хорошие вести шли мимо, дурные сразу нашли,— ворчит бабушка.

Мать вертит письмо в руках:

— Товарищ писал... Это еще не извещение... Геворкян... Он и ошибиться мог. Он же не видел сам, как Урбан умер.

— Видел, как самолет упал...

— Самолет упал, а летчик спастись может. Разве такого не бывает?

Бабушка бормочет:

— Хурла еще летом знала... «Зачем спрашивать о

том, чего нет...» Молодые умирают, а старые живут — конец света...

Мать протягивает мне письмо:

— Спрячем, никому не скажем. И вы, бабушка, тоже молчите. Зачем ей знать? Это еще не извещение. Не получали мы никакого письма. И все.

Я вспоминаю трактор Сэрэн-Дулмы, идущий прочь от поля. Что было в том письме? Я киваю головой. Согласен — надо спрятать!

— Дай мне,— говорит бабушка.— У меня никто не найдет.

— Почему письма Урбана не приходили?.. Почему? — настойчиво повторяет мать.

Во мне зреют тяжелые подозрения, я боюсь о них даже думать.

Бабушка закуривает свою трубку, мать свертывает цигарку. Тишина. Нет у нас больше Урбана.

Спит Барасик, ни о чем не знает. Скоро должна приехать его мать. Сэрэн-Дулма давно уже не была дома, ремонтирует в МТС трактора. Но на праздник-то она появится.

Бабушка сует в карман трубку, с кряхтением встает, волочит ноги по полу, подходит к божнице:

— Тут место есть, однако. Совсем тайное место. Оставим его здесь, около моей гуу-ладанки.

Я знаю эту гуу-ладанку, она из старинного золота; еще дед бабушки купил, отдал за нее вола. Это единственная дорогая вещь в нашей семье. Теперь она хранится у бабушки в кожаной подушке. Кому только теперь нужна старая ладанка? Хорошо бы шабганса отдала ее в помощь фронту! Танк, конечно, на нее не купишь, а пулемет — может быть. Я занят мыслями о гуу-ладанке, мать курит, Барасик спит.

И вдруг мать вздрагивает, вздрагиваю и я: бабушка стоит возле стены, на морщинистом лице недоумение, а в ее руках не одно письмо, а два. Не с неба же упало второе?

— Кто-то положил на мое место... вот это.— Бабушка беспомощно показывает нам конверт.

Серый конверт! Я узнаю его — то самое письмо, которое я с Зиной привез Сэрэн-Дулме.

— Прочти! — придушенным голосом приказывает мне мать.

Я долго выуживаю дрожащей рукой листочек бумаги

из надорванного конверта. Напечатано на машинке: «...ваш муж, старший лейтенант Номолов Урбан... в бою с немецкими захватчиками... смертью храбрых...»

Мы хотели спрятать эту смерть от Сэрэн-Дулмы, она ее прятала от нас.

XXIV.

НОЧЬЮ...

Осенью в нашем клубе был склад зерна, и нам, комсомольцам, надо во что бы то ни стало успеть подготовить его к торжественному вечеру — к встрече двадцать четвертой годовщины Октября. Сегодня мы ждем много гостей. Дел по горло. Только бы успеть. Мы скребем пол, обметаем со стен паутину, моем полы. Плеснешь из ведра — пол покрывается ледяной коркой, хоть на коньки становись. Изо рта идет пар — холодно. А когда растопили печи, дым повалил во все щели, стало нечем дышать, хоть из клуба беги. Но дрова разгорелись, заговорили весело. Ожил наш клуб. Когда огонь разговаривает — это к добру. Будут гости!

Но нам еще надо многое успеть. На стене против входа мы повесили большой плакат — «Родина-мать зовет». Слева и справа от суровой матери, зовущей в бой, рисунки с винтовками в разрезе, с противогазами; плакаты, рассказывающие, как оказать первую помощь раненым при ожогах; при поражении отравляющими веществами — ипритом, люизитом, фосгеном, как должны действовать бойцы отрядов противовоздушной обороны. Все стены картинами и плакатами завесили. А в самом центре — транспарант: «Да здравствует 24 годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!» И другой — поменьше: «Все для фронта, все для победы!» На сцене поставили стол, покрытый скатертью. За ним портреты вождей. Теперь оставалось самое нехитрое — расставить стулья и скамьи, и клуб готов. Чисто, тепло, уютно. Добро пожаловать, дорогие гости!

Раньше всех явились старики и старухи — самый дисциплинированный народ в улусе. Многие в красивых шубах — дэгэлах. Торжественные, молчаливые. Давно они не собирались вместе. Потом показалась первая стайка ребятишек, и сразу в клубе стало шумно. Наконец

потянулись и женщины — их дольше всех домашние дела держат. У людей в руках свертки — подарки для фронта. Я хожу по клубу, ловлю обрывки фраз — все говорят об одном: немец под Москвой, у самых ворот столицы! Когда его остановят?!

На сцену поднимается бригадир Ендон, учительница Мария и незнакомый военный на костылях. Они садятся за стол, о чем-то тихо переговариваются между собой, потом встает бригадир, откашливается и начинает постукивать карандашом по графину:

— Товарищи! Внимание! Прошу тишины! Собрание, посвященное двадцать четвертой годовщине Октября, считаю открытым...

Он коротко говорит о том, что все, от мала до велика, должны понимать, в какой суровой обстановке мы встречаем эту годовщину Октября; о том, что надо отдать все силы, чтоб выполнить и перевыполнить план.

Потом предоставили слово русскому. Незнакомый военный, опираясь на костыли, с трудом подходит к трибуне, отпивает из стакана несколько глотков воды и начинает тихим голосом:

— Германия оккупировала почти всю Европу. Перед нами страшный враг. В спину нам готова ударить Япония, на юге подтянула войска к нашей границе Турция, фронт с немцами растянулся от Белого моря до Черного...

...Тихий голос, тихо в набитом до отказа людьми клубе, слышно только дыхание да скрип старых стульев. Русский говорит о втором фронте, о том, что промышленность, эвакуированная на Урал, начинает наращивать свою мощь, с каждым днем увеличивает выпуск танков и самолетов; о том, что ширится партизанское движение в тылу у врага, и он не сомневается, что наступление фашистов скоро будет остановлено. Лицо у русского бледное. Он часто останавливается, говорит с большими паузами. Скорее, это не доклад, а рассказ о том, что происходит в тылу и на фронте.

Свое выступление он кончает тем, что сейчас зима и нашим бойцам на передовой очень трудно, поэтому каждый дом, каждый улус должен отдать своим отцам и братьям то, что сочтет нужным.

Пока военный медленно шел от трибуны к столу, зал молчал. Когда грузно сел, отставив костыли в сторону, взорвался аплодисментами.

Ендон солидно откашлялся.

— Какие будут вопросы, товарищи?

И со всех сторон послышалось:

— Необработанную кожу можно дарить?

— А пимы чуть поношенные?..

— А деньгами можно?..

Поднял руку и я. Я уже не мальчик, я — табунщик, имею право спросить:

— Могу я подарить бойцам свои трудодни?

Весь зал засмеялся:

— Ловок!

— Нашел что!

— Разживется армия от его трудодней!

— За все лето сложить, что и набежит, может!

В зале галдеж, а на сцене заминка. Русский спорит с бригадиром. Бригадир краснеет и отдувается. Я стараюсь объяснить, кричу:

— У меня же ничего нет, только трудодни!

Русский подымает руку, требует тишины:

— Армия принимает твой подарок, Батожаб!

Даже имя мое узнал. Смех и шум в зале сразу кончились, все зааплодировали. А я краснел и смущался, никогда еще никто мне не аплодировал.

К сцене выстраивается очередь. На стол перед президиумом ложатся шкурки соболей, лисиц, бурятские шубы, русские шапки-ушанки, телогрейки, бурятские ножи с ручками из сандалового дерева, женские браслеты, серьги, кольца, коралловые бусы. Сэрэн-Дулма кладет рукавицы — сама сшила из козьего меха, не простые, а с тремя пальцами. Мать принесла выделанную шкуру волка, убитого мною с Мунко. Говорят, что из волчьей шкуры получаются хорошие сапоги для летчиков.

Я сидел и все время оглядывался на дверь, ждал бабушку. Неужели не принесет гуу-ладанку? Дома я долго уговаривал бабушку отдать ее в помощь воинам. Я ждал, что бабушка тоже выйдет на сцену. Но она даже не пришла на собрание. Все-таки я никак не ожидал, что она пожертвует свою золотую ладанку Хурле, чтоб задобрить богов. Обидно.

Я вышел на сцену и расписался в книге, что дарю фронту все свои заработанные за лето трудодни. В книге расписывались все, кто как умел,— по-русски, по-бурятски, по-старомонгольски, даже просто прикладывая палец в чернилах к бумаге. Много подписей было в книге, а еще больше была гора, выросшая около президиума.

Торжественная часть окончилась. И праздничный концерт начал Найдан-хурчи. Какой праздник без него? Сел на расстеленный ковер, положил свой морин-хур на подол атласного тэрлика, закрыл глаза, тронул струны из волоса Пегой лошади...

> В старое время,
> в царские дни,
> На степи широкой,
> на белом снегу,
> Под высоким небом,
> у быстрой реки...

Полилась старинная песня о Шэлдэе Занги.

> Схвачен врагами,
> в цепи забит
> Храбрый воин,
> молодой батыр!..

Занги Шэлдэй возвращался с дальних пастбищ, и откуда было знать кочевнику, что он пересек границу. Его схватили маньчжуры...

> Нет свободы, Занги Шэлдэй,
> Не увидишь ни мать, ни отца, ни друзей.
> Конь твой быстрый стреножен стоит,
> Меч твой острый сломан лежит...

Маньчжуры знали, что Шэлдэй отважный воин. Перейди к нам — просили они. Шэлдэй не перешел на сторону врагов. Ему отрубили голову...

Старые песни, старые герои. А где-то там сейчас потомки Шэлдэя тоже становятся героями, о них тоже сложат песни. И как знать, может, старый Найдан-хурчи еще успеет пропеть их.

Пионервожатая Дарима пела под гитару, Валя Тюрикова из третьего класса, одетая в цветной сарафан, сплясала «русскую». Потом вышла Зина, красные банты в темных косах. Она встала посреди сцены, оглядела зал и громко сказала:

— Я прочту вам отрывок из произведения великого немецкого поэта Гёте «Фауст».

Я затаил дыхание. Я боялся, как бы кто не подумал: раз поэт немецкий, значит, фашистский. Но было тихо, все приготовились слушать.

Первые несколько строк Зина прочитала по-немецки, затем по-русски. Все слушали, смотрели на Зину. Смотрел из зала военный с костылями.

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!

Зина кончила. С минуту стояла тишина. Первым зааплодировал русский. Захлопали все. Я хлопал так, что стало больно ладоши. Хлопал и повторял про себя:

Лишь тот достоин жизни и свободы...

За жизнь и свободу где-то далеко от нашего улуса шли на бой. Против немцев. Здесь в клубе буряты и русские аплодировали Гёте.

Далеко за полночь разошлись по домам самые старшие, а в клубе осталась молодежь, наша учительница и русский военный. Ребята принялись убирать скамейки и стулья. Разве может быть праздник без ёхора, без огневого бурятского ёхора, на который степь отзывается песней, а горы — эхом!

Быстро опустела середина зала — кто первым выйдет в круг? Я оглядываюсь. В клубе много девушек и почти нет мужчин. По стенкам робко жмутся мои товарищи-одноклассники; сбившись плотной группкой, стоят женщины. Где Сандак, веселый Гунга? Где Даша и Алеша Тюриков? Стена вырастала в центре, не пробиться вперед. Широкие плечи, кольцо сплетенных рук, девичьи атласные тэрлики... Песней отзывалась степь, эхом — горы!

Кто начнет сегодня наш ёхор? Жмутся по стенкам мальчики и девочки, молчат пригорюнившиеся женщины, думают о своем.

Неожиданно посреди круга оказывается моя бабушка. Стоит в своей бараньей шубе, растерянно оглядывается. Что-нибудь случилось дома?

— Вы кого ищете, мать Гомбы?

— Приезжего русского парня.

Кто-то засмеялся.

— Она парня ищет!

— Бабушка, спляшем с нами ёхор?

Бабушка сердито стукнула палкой об пол:

— Грех смеяться над старухой! Кто принимает жертвоприношения?

— Какие жертвоприношения?

— «Какие, какие»! Все давали, а я еще нет.

Я бросился к бабушке, схватил за рукав:

— Вот! Вот!

Русский был уже в шинели, стоял на костылях, собирался уходить.

— Парень,— сказала бабушка,— я не умею толковать по-русски, люди переведут. Хочу подарить вот...

Она протянула золотую ладанку.

— Может, она уж не так дорога, парень, но подороже у меня ничего нет. В молодости еще носила ее. Мой сын Гомбо на войне. Хочу помочь...

На сморщенной ладони старинная узорная вещица тускло поблескивает золотом. Показалось ли мне — в глазах русского я увидел слезы.

— Спасибо,— сказал он негромко.

Все-таки гуу-ладанка не попала Хурле.

Я рванул Зину и Мунко на середину. Сегодня должен быть ёхор! Мы взялись за руки. Несмело, сбиваясь с ритма, прошли первые шаги. Зина слушается каждого моего движения. Один за другим разрывают наши руки ребята. Теперь легче. Нас уже не так мало. Быстрее и стремительнее становится танец. Мунко, мой друг Мунко чистым и сильным голосом заводит песню: «Пусть пол-л-л гудит от ёхора...» Он хоть и заикается, а поет здорово. Так начинался всегда ёхор раньше. Шире и шире становится круг. Мне очень хочется танцевать рядом с Зиной. Но она уже далеко от меня. Я вижу ее раскрасневшееся от счастья лицо, откинутую назад голову. Это ее первый ёхор в жизни. А я вспоминаю тот ёхор, который видел во сне. Только там она была печальной. А здесь ее голосок раздается громче всех. Мелькают перед глазами лица, кружатся стены, рвется вниз потолок.

Один ёхор сменяется другим. Неожиданно, разрывая сомкнутые руки, вперед выходит Сэрэн-Дулма. Черные косы до колен, на голове малахай с красной кисточкой, темно-синий тэрлик расшит узорами. Сэрэн-Дулма стоит в центре, молчаливая и собранная. Нельзя не залюбоваться ею. Кто из девушек, кто из молодых женщин может сравниться с моей тетей? Раньше говорили, что нет настоящего ёхора без Сэрэн-Дулмы.

Хээтэй стоит одинокая и безучастная к общему веселью. Будто она не видит танца, не слышит песни. Потом начинает раскачиваться в такт музыке, медленно баюкая себя. Вот она распрямилась, гордо повела плечами и, раскинув руки, пошла по кругу. Все остановились. В центре плыла только Сэрэн-Дулма, ожесточенно

и напористо. Это был ее ёхор. Летят полы расшитого тэрлика, кружат две черные косы.

Я смотрю на свою тетю, на ее застывшее, словно окаменевшее, лицо, и в сердце моем вместо веселья тоска и боль.

Смотрит на Сэрэн-Дулму учительница Мария, смотрят все. И я знаю: много лет пройдет, а я никогда не забуду этот танец!

XXV.

ДНЕМ...

Я держу в левой руке поводья, а в правой — ургу и, наклоняясь над березовой лукой седла, скачу во весь опор. Впереди Черногривый беглец. Мне не надо понукать Гнедого, но расстояние между нами и Черногривым сокращается медленно. Ничего не скажешь, хороший конь. Тем более стоит изловить его, проучить наконец за все проделки, заставить ездить в упряжке. Он убежал от своего хозяина, убежал от мобилизации, а совсем недавно вырвался и убежал из улуса, где его водили из дома в дом, кормили, поили за чужой счет. Конь-беглец, конь-дезертир, конь-нахлебник. Поймать его во что бы то ни стало! Хватит бездельничать. Я заставлю его признать мою власть. Власть человека над животным!

Я мчусь, припав к гриве коня, сливаясь с Гнедым. Холодный ветер проникает за ворот и прохватывает насквозь. Гнедко, кажется, сегодня в ударе, он поджимает Черногривого беглеца. Еще чуть-чуть, еще совсем немножко... Я готовлю свою ургу.

Черногривый много дней объедал семьи фронтовиков, которые и так еле сводят концы с концами. От «усиленного» питания он разжирел, застоялся и теперь быстро начал уставать. Ну, Гнедко! Ну, миленький! Еще немного! Еще!

Святой конь... Люди верят сказкам Хурлы! Послан Хозяином гор, спасет от гибели тех, кто воюет. Может, и не очень верят, а так... страх за близких делает людей покладистыми.

Кто-то догадался на святого коня повесить ботало, оно суматошно гремит. Какое-то время идем почти рядом, как привязанные, держу наготове ургу. Гнедой жмет, вершок за вершком продвигается к голове беглеца.

Я поднимаю ургу, прицеливаюсь и бросаю — раз! Мимо. Зацепив коня, петля соскользнула вниз. Я второй раз бросаю ургу. Опять неудачно. Гнедой косит недовольным глазом: «Растяпа ты, брат!»

Кидаю третий раз — есть! Черногривый с петлей на шее подымается на дыбы. Я откидываюсь в седле. Гнедой упирается всеми четырьмя ногами. Беглец хрипит, рвется, бьет копытами, снег брызжет из-под них. Стягиваю петлю сильней, сильней: «Прыгай теперь, дружок, прыгай! И на дыбы вставай, быстрей умаешься!» Черногривый смиряется. Я соскальзываю с Гнедого, подхожу к беглецу с морды, накидываю уздечку, разжимаю зубы, втискиваю удила. Черногривый скрежещет зубами, словно хочет перегрызть железо, глаза налиты кровью. Теперь ты мой. Я снимаю с его шеи ботало,— не тебе носить его, строптивый конь,— я веду беглеца в улус. Ноги еще дрожат от напряжения. Но я крепко держу повод.

Мы идем мимо стареньких домиков, занесенных снегом, с уныло повисшими белыми флажками, такими же, какой вывесила наша бабушка,— кони, парящие в воздухе,— мимо холмиков кизяка, покрытых снегом; приближаемся к ферме.

Возле фермы нас встречает Бабу-дурачок. Он в длинном овчинном полушубке, который был когда-то белым, а теперь от грязи совсем почернел. Бабу подпоясан ремнем с медной бляхой, а грудь совершенно голая. И как только ему не холодно?

— Батожаб,— говорит Бабу,— это божий конь, Батожаб?

— Он самый,— говорю я.— Прямо с неба спустился, можешь на него молиться.

Бабу-дурачок шуток не понимает.

— Святой конь, красивый конь,— смотрит он умиленно на Черногривого беглеца.— Когда ты дашь мне святого коня?

Если нормальные люди с ума посходили от Черногривого, то что спрашивать с Бабу-дурачка?

— Он гостил у других, пусть гостит у меня.

— Но у тебя даже сарая нет, Бабу. Куда ты его поставишь?

— А я дома... Я с ним вместе буду спать, заварухой кормить буду...

— Больше он ни у кого гостить не будет. Он работать будет, в упряжке ходить.

— Нет, нет, хочу! Дай! — Бабу подходит к беглецу с неправильной стороны, хватает под уздцы.— Дай мне! Идем в гости.

Черногривый фыркает, дергает головой и косит на Бабу глазом, налившимся кровью.

— Отойди, дурак! — кричу я блаженному.— Он же дикий, он тебя зашибет!

Но Бабу упрямо тащит коня в сторону. Тот всхрапывает и становится на дыбы. Опустит еще копыто на голову Бабу!.. Я толкаю Бабу плечом, тот выпускает из рук уздечку и валится на спину.

— А-а! — кричит он на весь улус.— А-а-а! Батожаб убил! А-а-а!

— Не убил, а спас.

— Уби-ил! Уби-ил! А-а-а!

На крик от фермы бегут ребята: после занятий они помогают на ферме — взяли шефство. Впереди всех Зина в пушистой шапке и в стареньком пальто.

— Батожаб! Ты что? — кричит она.— Разве можно?

— К коню лезет,— говорю я хмуро.— Цепляется за уздцы. А конь дикий, может убить.

— Вставай, Бабу,— поднимает Зина блаженного.— Батожаб не хотел тебя обидеть.

Бабу размазывает слезы по неумытому лицу.

— Я святого коня хочу-у! У себя дома держать... Батожаб коня не дает!..

— Иди домой, иди. Приведем тебе коня. Иди...

И Бабу, всхлипывая, послушно уходит.

— Что ты собираешься делать с беглецом? — косясь на храпящего коня, спрашивает Зина.

— Объездить,— бросаю я небрежно, словно объезжать диких коней для меня самое обычное дело.

Зина и ребята смотрят на меня с плохо скрытым почтением.

Я не торопясь снимаю с Гнедка седло, набрасываю на беглеца, начинаю затягивать подпруги. Конь косит на меня злобным глазом, но терпит. Ребята наблюдают.

— Батожаб,— просит Зина,— может, не надо... Он же дикий, он же убьет тебя.

— Пустяки,— отвечаю я.

Осторожно ставлю ногу в стремя, берусь за переднюю луку седла. Раз! — и я в седле. Не ожидая такого нахальства, Черногривый сначала стоит обмерев, только уши по-волчьи прижимаются к голове, потом всхрапы-

вает, вскидывается на дыбы. Я ургой бью его между ушей. Он начинает крутиться на месте, взбрыкивая задом, прыгая вправо, пытается сбросить меня, гнет шею, стараясь ухватить зубами за колено. Ребята бросаются врассыпную.

— Ты что? Слезай! — слышу я громкий крик.

Кто-то сзади хватает меня за ногу. Черногривый делает поворот, и я вижу перед собой красное, разъяренное лицо Хурлы.

— Смерти ищешь, проклятый? — кричит она визгливо.— На святого коня посмел!..

— Отойди,— говорю я, выдергивая ногу из ее рук.

Но Хурла снова вцепляется мне в ногу.

— Пихлу-у! Этот волчонок свой род убьет, на весь улус беду накличет!

— Отойдите! Потопчет конь! Он дикий!..

— Меня потопчет? Меня? Святой конь? Слезай! Слезай, паршивец!

Выплясывает Черногривый, выплясывает вместе с ним Хурла; одной рукой она вцепилась мне в сапог, другой бьет меня по коленкам:

— Слезай! Слезай со святого коня!

С двумя мне не справиться. Я боюсь: затопчет святой конь святыми копытами ясновидицу! Отвечать-то мне придется.

— Отойди, слезу...

— О небо высокое! Прости дурака!

Улучив момент, я спрыгиваю с Черногривого.

— Бери своего дезертира!

— Святой божий конь — дезертир!.. Сними сейчас же с него седло!

Черногривый разгорячен, старается повернуться ко мне задом, лягнуть, мне с трудом удается расстегнуть подпругу, стянуть со спины седло. Наконец я срываю узду и, не удержавшись, огреваю ею беглеца.

— Небо высокое! Покарай! — вопит Хурла, вздымая руки.— Покарай нечестивца, который посмел ударить святого коня!

— Я еще доберусь до этого святого! Навоз возить на нем буду!

— О небо!..

Черногривый убегает, а Хурла трясет кулаками над головой, клянет меня на весь улус. Я взваливаю на плечо седло, ухожу прочь. Меня догоняет Зина.

— У тебя еще много коней. Зачем тебе этот? — говорит она.

— А зачем улусу нахлебник?

— Не сердись, Батожаб. Я же не виновата.

— Я не на тебя...

— Что толку — на тетю. Не поправишь!

— А я и не на нее... На всех... Кормят, поят, из кожи вон лезут перед нахлебником... А сами? Сами своих коров голодом морят, детишки у них без молока...

Я сердит сейчас на весь улус, развесивший над крышами белые флажки; сердит на человеческую глупость, при которой так хорошо живется Хурле.

Кони, парящие в воздухе...

Не кони, а страх парит над нашим улусом. Всего этого я не могу объяснить Зине. Не найду таких слов. Но кажется, и без моих слов Зина что-то понимает.

— Я сейчас помогаю твоей маме... Пойдем к ней вместе.

— Пойдем,— соглашаюсь я, сбрасываю под стену седло.

На ферме сумрачно, тихо, пахнет остро навозом, парным молоком. Моя мать сидит на корточках в стайке, замазывает пазы в стенах. Здание фермы старое, стены осели. Мать нисколько не удивляется моему появлению, кивает на ведро с раствором:

— Скидывайте рукавицы, замазывайте, а я буду раствор вам делать. Втроем быстренько управимся.

Мать уходит с пустыми ведрами, а мы с Зиной опускаемся перед стеной. Раствор теплый, греет мои озябшие руки... Работаем.

Хорошо работать и молчать, чувствовать рядом плечо Зины.

За дощатой переборкой в соседней стайке возится с больной коровой доярка Мидаг. Вздыхает больная корова, вздыхает и Мидаг.

— Охо-хо! Беда навалилась. Уже третья ты... И как тебя, милая, на ноги поставить? Поешь хоть немного. Ну-ка, ну-ка, сенца мяконького принесла... Что за наказание!..

Мидаг подымается над перегородкой, полная, с уставшим лицом, безнадежно качает головой:

— И эту придется прирезать... Третья у нас.

— Что с ней? — спрашиваю я.

— Кто знает — что? От наших кормов заболеешь.

Молоко пропадает, начнешь доить — кровь одна, вот и вымя распухать стало. Что, милая, смотришь? Тяжело тебе? Верю, верю...

Вздыхая и поохивая, Мидаг уходит. Мы остаемся вдвоем с Зиной. Хорошо быть рядом с ней, хорошо молчать и делать нехитрую, не требующую ни силы, ни сноровки работу.

С улицы рвется крикливый голос Хурлы, ему в ответ — тихий матери. Голоса все ближе. Я слышу, как мать сердится. Что еще Хурле надо от нее? Только что мне покою не давала, теперь за мать взялась...

Зина смотрит на меня тревожными глазами. Я встаю и выхожу на улицу — узнать, в чем дело.

Во дворе фермы три человека: торжествующая Хурла, сердитая, еле сдерживающая себя мать и усталая, прибитая Мидаг. На нас с Зиной никто не обратил внимания.

— Я пятнадцать лет работаю дояркой,— говорит мать,— видела больных коров, помогала лечить, но сглаженных, заговоренных коров не встречала.

— Еще бы! Волк овцу режет, крови не видит! — въедливо отвечает Хурла.

— Не хочешь ли сказать, что я сглазила коров?

— Ты ведь святая, дети у тебя святые, семья безгрешная. Небу на вас сердиться не за что?!

— С каких пор небо тебя в заступницы выбрало?

— Всем моя правда глаза колет! Все цепляются за меня, потому что не ты, не она, не кто другой, а я... я к богу ближе. Ты вот в коровьем навозе увязла. Какой тебе почет? Да никакого! А меня в любом доме с поклоном принимают. К бригадиру приду — за стол посадят. Тебя же дальше порога не пустят. Или вру, скажешь, вру?

— Распустил павлин перья...

— Ты еще узнаешь, кто Хурла! Все твои в огне пропадут, а сынок твой...

— Уходи отсюда, Хурла! — глухо сказала мать и шагнула вперед.

— А-а! А-а! Знаешь, что так будет! Чует твое сердце!

Я думал, что мать сейчас ударит Хурлу, но она поднесла руку ко рту, закашлялась и стала сгибаться. Мать кашляла, и плечи, спина ее вздрагивали, а Хурла приплясывала:

— Вот оно, вот! Сбываются мои слова. Не уйдешь от чахотки!

Я не выдержал и закричал прямо в распаренное лицо Хурлы:

— Во-он! Во-он!! Ты подлая! Ты гнусная! Во-он! Не то!..

— Что — не то? Что — не то?..— пошевелила плечами Хурла.

Надрывно кашляет мать. Я тесню Хурлу к двери. Вдруг она замечает Зину. У Зины широко распахнутые, остановившиеся глаза.

— А, ты тут? Ты возле него?.. Сколько раз говорила — не связывайся с этим щенком! Не жди хорошего от сына Гомбы. Проклятая семья, всем приносит несчастье... Прокаженные...

— Не кричите, тетя! — тихо говорит Зина.

— «Не кричите»! Он уже принес несчастье тебе. Говорить не хотела, теперь скажу. Пока с ним не снюхалась, была у тебя мать. Нету теперь!

Лицо Зины стало белым, она схватилась за стену запачканной раствором рукой.

— Что с мамой?

— Письмо пришло. Убита!

— Вы... вы врете!

— Придешь домой — прочтешь. Из-за него... Беда прилипчива!

— Мам-моч-ка! — Рука Зины, упертая о стену, подламывается, Зина сползает на землю.

Надрывно кашляет мать, я стою ошеломленный.

Зина ушла вместе с Хурлой, испуганная Мидаг спряталась возле больной коровы. Мы остались вдвоем с матерью. У матери измученное лицо, красные пятна на скулах.

— Мама, Хурла врет про то, что у Зины мать убили?.. Врет?..

Мать качает головой:

— Даже Хурла... Даже она, наверно, такого придумать не посмеет... Слишком страшно.

— Мама! Неужели правда? — кричу я.

Мать молчит.

XXVI.

НОЧЬЮ...

Учительница Мария, наш комсорг, обвела всех взглядом.

— Негусто.

Да, негусто. Мы с Мунко и шесть девушек. А когда-то в улусе была большая комсомольская организация, собирались на собрание в клубе.

— Ну что ж. Будем начинать. Прежде всего хочу поздравить вас: Седьмого ноября в Москве, на Красной площади, состоялся парад войск. Как в мирное время. На повестке дня у нас один вопрос. Слово имеет Батожаб Гомбоев. Прошу.

Я встал.

— Что-то надо делать, товарищи. Вы все знаете, что над улусом чуть ли не через дом висят флажки. Конь парящий... Хурла объявила себя ясновидящей, распространяет среди стариков и старух какие-то святые писания, ходит по домам, гадает, чуть ли не силой ее тащат в гости. И еще этот святой конь! Из армии он дезертировал, у нас объедает колхозников, копит жир. Бездельник какой-то, даже под седлом не желает ходить...

Мы собрались на настоящее собрание, чтоб с председателем, с повесткой дня, с протоколом... Но, по правде сказать, совсем настоящего не получилось, никто не просил у председательствующей: «Дай слово!» Говорили все разом, без всякого порядка, перебивая друг друга:

— Давно надо прижать Хурлу!

— Может, сейчас пойдем, с крыши этих коней парящих посбиваем.

— Не дело! Обидятся все!

— Ты, Батожаб, еще об обооне ничего не сказал. Завтра обоон! Жертвоприношения! Вот до чего докатились. Давно такого в наших краях не было.

— Батожаб сам виноват!

— Я виноват?!

— Кто нашел беглеца?

— Он сам мой табун нашел!

— Но привел-то его ты!

— Конь же!.. Прогнать его, что ли?

— А ты пробовал узнать, кто хозяин?.. Молчишь...

— Не пробовал, радовался — конь лишний в колхозе.

Что мне в протокол записывать? Никто не выступает, все только спорят и спорят!

В конце концов мы взялись за ум — собрание есть собрание! — и выработали решение:

1. Дать объявление в газету, что в наш табун прибился чужой конь.

2. Если в ближайшее время не отыщется,— объездить

беглеца (ответственный Батожаб Гомбоев), передать в распоряжение Кусотинской фермы.

3. Вести агитацию против Хурлы.

4. Начать немедленно агитацию против религиозного мероприятия — проведения обоона.

Слово «немедленно» означало — сразу после собрания всем идти по улусу. Обоон устраивается завтра; в нашем распоряжении оставался только один вечер.

Учительница Мария с одной девушкой решили отправиться прямо к Хурле. Две девушки брали на себя северный конец улуса. Я и Мунко — южный.

Ночь была темная. Мунко шел за мной и спотыкался.

— Как ты видишь в такой т-т-темнотище? Что, у тебя глаза, как у кошки? — ворчал Мунко.

— Я же ночной табунщик.

— Нич-чего не вижу, кроме твоей спины.

Первый дом Найдана-хурчи. Он, как обычно, был набит детишками. Старик рассказывал им сказки. Он нисколько не удивился нашему приходу, подумал, что и мы к нему — тоже за сказками.

Агитация — дело тонкое, нельзя же с порога — и сразу агитировать. Мы с Мунко долго мялись, и старик ждал, когда мы попросим его спеть. Наконец он спросил нас: как нам понравилась его последняя песня, которую он исполнял в клубе? И мы разговорились...

Я лучше умею запоминать новые стихи, из книжек, а вот Мунко знает почти всего Абай-Гэсэр Хана, бурятский эпос. Когда-нибудь он тоже станет сказителем. Только вот он заикается...

— Баабай, мы к вам по другому вопросу...

И Найдан-хурчи выслушал нас.

— Хурла — мошенница! — сказал он.— Давно пора вывести ее на чистую воду.

Вот ведь старый, а сознательный. И в бога не верит. Мы ушли ободренные: если так и дальше пойдет, то обоон завтра сорвется.

По дороге мы решили заглянуть в дом кузнеца Гармы. Мы очень рассчитывали на его помощь.

Напялив на нос очки, кузнец сшивал ремни при свете керосиновой лампы.

— Прощаюсь с железом, ребятки, руки болят. За кожу берусь, шорничаю. Весной лошадей запрячь не во что.

. . И Гарма стал объяснять нам: вот мужской узел, вот женский, простая завязка, тоонто...

— Нам один узелок не завязать, а развязать надо,— произнес Мунко.

Ловок Мунко, завидую: умеет разговор повернуть в нужную сторону!

Кузнецу не надо было долго объяснять, в чем дело.

— Этот узел крепко стянут. Боюсь, что не развяжете, рубить придется,— сказал он.— Нужное дело затеяли. Я поговорю со стариками. Боюсь, вам одним не справиться. Тут надо всем умом пораскинуть.

— Куда теперь? — спросил я Мунко, когда мы вышли на улицу.

Мунко вздохнул:

— К нам. Мой старик — узелок еще тот. Это тебе не Найдан-хурчи и не кузнец Гарма.

Хотя Мунко и назвал своего отца стариком, но тому лет сорок, не больше. Из-за своей хромоты он не попал на фронт, работал чабаном. Его отара страдала от волков, но когда мы с Мунко привезли убитого волка, он один не похвалил нас, сказал: «Всякая тварь жить хочет. Не вы эту жизнь дали, не вам и отбирать».

Когда мы вошли, он работал над седлом с латунными стременами. Своего коня у отца Мунко не было, все заказы на седла для колхозных коней проходили через меня. Седло могло готовиться только для Черногривого — святого коня. Узелок...

Что и говорить, агитации у нас не получилось. Мунко попросту поругался с ним.

— Вы желторотые, м-м-молодые еще, не з-з-знаете, что такое настоящий обоон, а беретесь агитировать против него.

Они оба одинаково заикались.

— М-молодые, н-но не отсталые!

— Н-не лезьте в дела старших!

— Пы-пы-плохие дела. Об-обман!

— Н-не в-вам судить! М-мало п-пожили!

— М-много п-пожили, да н-не поумнели!

Смех и грех, а не агитация!

Наконец отец Мунко выгнал нас обоих на улицу.

В ночной темноте лежит печальный наш улус: вдоль изгородей намело огромные сугробы. Тускло светятся замерзшие окна. Не в каждой избе горят керосиновые лампы. Керосин сейчас на вес золота, кое-кто жжет саль-

ные свечи, а кто просто спит. Раньше каждый хозяин радовался гостю, ставил чай, угощал. Какие уж теперь угощения — в любом доме голодно, муки в обрез, нет настоящего кирпичного чая, без которого не может жить бурят. И гости мы не очень желанные, особенно в тех домах, над которыми висят белые флажки — кони, парящие в воздухе.

Подошли к дому Галдана; хозяин погиб на фронте, сын пропал без вести, а старуха недавно умерла. Крыльцо засыпано снегом, на дверях замок. Совсем стало грустно.

Идем по пустынным улочкам. Молчим.

— Смотри-ка,— говорит Мунко.— У знахарки свет. Может, наши еще у нее?

— Пойдем,— говорю я,— в окно заглянем.

К окну подошел я один, подтянулся, заглянул и увидел Зину. Она лежала на длинном ящике, укрытая до подбородка старым одеялом. Голова завязана, лицо опавшее — больна. Хурла рядом, смотрит в стакан, бормочет. Гадает. Зине?

— Н-ну что? — спрашивает Мунко.

— Ничего интересного,— говорю я, отходя от окна.— Наших нет.

Мунко сплевывает на снег. Вот и вся наша агитация. Хурла не пустила учительницу в дом.

— Батожаб,— говорит Мунко,— может, она в самом деле...

— Что, мне теперь тебя агитировать?

— Она сказала, что Заята-ахая возьмут скоро в армию,— взяли! Сказала, что Дондока Пордиева скоро ранят,— через несколько дней пришло письмо из госпиталя. А Сандака Санданова убьет... Откуда она все это могла знать?..

— Если Хурлу уволить с должности почтальона, она сразу перестанет быть всевидящей...

На засыпанной снегом улице послышались голоса. Две темные фигуры — одна большая, другая поменьше — приближались к нам. Кажется, голос Сэрэн-Дулмы. Она работала на току, возвращается домой. Но с кем?

— Разве так можно по-свински? — говорит она.— В такой мороз! Не наткнись я — утром бы мертвым нашли!

— Куда ты? Куда меня ведешь? — мужской пьяный голос.

Бригадир Ендон!

— Домой, куда же еще?

— К себе?

— Еще чего? Вы и трезвый мне на дух не нужны.

— Хочу к тебе!

— Смотрите — брошу! Уснете в сугробе!

— Не хочу идти к себе! Жизни нет! Съела проклятая!

— Кто?

— Пила железная! Сбегу! Тошно!

— Руководитель! С собственной женой не можешь справиться!

— Выходи за меня! Прошу! Нянчить буду! В атласы наряжать! Работать — ни-ни!

— Руки попридержи!

— Мужа-то нет...

— Не ваше дело!

— Сам видел бумагу...

— А я сердцу верю — не бумагам!

— Носить на руках стану! Сына твоего — своим...

— Мой муж жив! Жив! Жив! Сердце говорит! Слышите!..

Короткое молчание, пыхтение Ендона, наконец его пьяный плач:

— Кто ценит Ендона? В аймаке ценят? В улусе ценят? Дома меня ценят?.. Ты ценишь Ендона?! Уйду! Сбегу! На фронт! Пусть убьют меня. Пусть, все одно никто не пожалеет!.. Где моя шапка?

— Ну, вот шапка...

Они долго шарят по снегу, ищут шапку, находят, удаляются.

Мы с Мунко смотрим ему вслед.

— Мунко,— говорю я.— На Урбана пришла похоронная.

— З-знаю-ю. В-весь улус знает.

— Ты слышишь, Сэрэн-Дулма не верит, что Урбан убит...

Мунко молчит.

— Мунко, я недавно стихи прочел... Хочешь послушать?

И я, не дождавшись согласия Мунко, читаю в ночной тишине:

Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло...
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.

— Мунко, знаешь, я хочу добровольцем на фронт.

— А кто ж тебя возьмет?

— Есть на фронте и моложе меня! Мне до призывного возраста осталось полтора года.

— Мать тебя все равно не пустит,— убедительно говорит Мунко.

— Я уже взрослый.

— А как они будут жить без тебя?

— Сэрэн-Дулма и мама, как-нибудь вместе... Надо, чтоб скорее кончилась война, Мунко.

— А если мы в-в-вместе в военкомат?..

— Нет,— возражаю я.— Нельзя же всем сразу на фронт. Я поработал конюхом вместо Эрдэни, а ты останься ночным конюхом вместо меня.

Мунко молчит и соглашается:

— Ладно.

Тихо в улусе. Все спят. Уже не светится ни один огонек. Вдруг из-за горы взметнулась к небу яркая белая полоса. Будто циркулем, провела окружность по небу. Потом появилась другая. Они качаются в небе, то скрещиваясь, то расходясь. Это лучи прожекторов, установленных на станции Бада. Мне кажется, что лучи машут мне огромными светящимися руками, зовут в дальнюю дорогу.

Слышится тихая песня — это возвращается Сэрэн-Дулма.

Степная дорога длинна, длинна,
Ковыль под ногами мнется.
Далеко, далеко идет война,
Верю, что друг вернется...

Будет ли Зина петь обо мне такие песни, когда я уйду на фронт?

XXVII.

ДНЕМ...

Похолодало. Пронзительный ветер несет над степью набегающие волны снега, вьется сухая поземка.

Навстречу ветру всадники — от нашего улуса к горам на обоон.

Раньше обооны были почти во всех урочищах, но потом их забросили. С войной возродились вновь забытые боги, потянулись люди к обоонам.

По зимней переметанной дороге — процессия, кто верхом, кто в санях, закутанные в шубы, прячущие лица от ветра мужчины, женщины, дряхлые старухи, дети.

Впереди едет Хурла. Почтальонша разодета сегодня словно ханша из старинной сказки: островерхий малахай, зеленая атласная шуба, красные унты,— и откуда только взялся этот наряд! За своим конем Хурла тащит на поводу Черногривого беглеца, тот нервно гарцует. В челку, гриву, хвост его вплетены разноцветные шелковые ленты, на спину наброшен коврик, вытканный узорами, высокое седло отделано латунью и серебром, сбруя в бляшках и балаболках-бубенчиках. Следом за Черногривым на незнакомых мне конях едут незнакомые наездницы, гостьи из соседних улусов. Они прибыли на поклон к святой Хурле. За ними на санях — доярки с Кусотинской фермы, среди них нет только моей матери. Еще сани, еще, запряженные конями, волами, в них старухи, старики, дети, укутанные в теплые дохи.

Много дней они готовились к обоону. У каждого кто-нибудь воюет на фронте. За их жизнь, за их возвращение сегодня будут молиться.

Я только что пригнал с водопоя корову, встретил паломников во главе с разнаряженной Хурлой и не утерпел — интересно же, что там сегодня будет? Я нагнал последние сани, пристроился на них.

А вот наконец и могучая лиственница. Вознесенная в серое небо верхушка величаво раскачивается, шевелятся, трутся друг о друга обнаженные ветви, на нижних плещутся, рвутся под ветром цветные ленточки. Их суетливая пестрота кажется неуместной в этот сумрачный зимний день.

Люди, кони, волы окружают святое место — живой заслон от ветра. У всех на лицах — важная сосредоточенность.

На квадратном черном камне стоит пузатый фонарь, в нем зажигают священную свечу — зула. Около фонаря — продолговатая книга в деревянном переплете. Рядом с камнем стоит маленький молитвенный барабан, чуть подальше куча хвороста.

Возле хвороста началась легкая суета. Костер долго не занимался, ветер гасил огонь, но вот вырвалось пламя, затрещало, запахло дымом в морозном воздухе.

— Вокруг костра расстелите матрацы!

— Старики, садитесь повыше!..

— Нынче молодежь даже сидеть как следует не умеет.

Пожилые ворчат, рассаживаются на самом почетном месте — на северной стороне костра. Ниже их пристраиваются женщины, строго по возрасту: кто постарше — поближе к старикам. Ребятишки позади расселись как попало, толкаются, переругиваются вполголоса. Я устроился среди них.

Хурла возле камня на возвышении — толстая в своей атласной шубе, в торчащей островерхой шапке, важная. Она не шевелится, даже не мигнет глазами — зеленая богиня в красных унтах.

И я вспоминаю летнюю ночь, полную луну, висящую сбоку от старой лиственницы; Хурлу, раскинувшуюся передо мной на земле возле святого камня. Каждый раз, когда я вспоминаю это, краснею. Сейчас мне тоже становится не по себе: вдруг да Хурла заметит меня; кто знает, что придет ей в голову,— скажет еще, опозорит меня перед всеми. Я прячусь за спины людей.

Но Хурле не до меня. С каменным лицом, с застывшим, устремленным вдаль взором, резким, каркающим голосом, под треск костра она начинает говорить:

— По велению святого писания, чтобы спасти род людской от воинов Шамбалы, мы перевоплотились в обличие Жезбээн-Дамба Хутогты, Баргузинского отрока и Ханда-маанар!

Для меня эти слова бессмысленны, ничего не понимаю, но люди сразу заволновались.

— Святая... Святая...

— Наша Хурла — святая...

И словно ветер пригнул сидящих вокруг костра — склонились к земле.

Хурла ожила, шагнула вперед, протянула руки — движения медленные, лицо по-прежнему каменное, она

не торопясь налила из большого туеска в чашу араку и начала брызгать — на юг, на север, на восток, на запад.

— Соог!..

— Соог!.. Соог!.. Соог!..— подхватили многие голоса.

Совсем зажмурившись, сложив на груди руки, святая что-то беззвучно зашептала.

Мохнатые шапки и накрученные платки тоже склонились в общей молитве.

Один я не молюсь, прячусь сзади.

Трещит костер, шумит ветер в ветвях лиственницы.

Хурла медленно-медленно опускается, ложится в своей зеленой атласной шубе прямо на землю, лицом вниз. И все, зашевелившись, тоже валятся на снег. Толкаясь, радуясь развлечению, падают в снег ребятишки. Один я торчу над всеми. Чудно! Все лежат, не замечают меня: я как белая ворона — один неверующий. Мне неловко, не по себе, но терплю...

Так ли молились раньше? Я не знаю. Я впервые в жизни вижу большое молебствие. Все люди подчиняются Хурле. Она встала, поднялись все. Хурла взяла за поводья Черногривого, начала совершать над ним обряд — сэтэрлэхэ. Увешанный лентами, в нарядной сбруе, Черногривый нервно подергивается. Все лица обращены к нему, все шепчут молитву... Святой конь... Я так и не успел объездить его!

После молебствия — жертвоприношения.

Первой встает самая старая в улусе шабганса. Она с маленьким, сморщенным черным лицом, ее спина согнута пополам, идет с трудом, опираясь на две короткие палки; полы красного теплого дэгэла подметают снег. Шабганса не только самая старая в улусе, но и самая набожная: не раз пролезала в каменное отверстие священной горы Алханая, когда могла ходить, бродила по степи, молилась одиноким степным деревьям, знает всех лам, которые втихомолку живут в далеких улусах. Старушка, оторвав дрожащую руку от костыля, держит синий шелковый хадак [1], на котором что-то лежит — монета или ладанка, мне не видно.

— Ты лодилась, чтобы плинести щастья людям,— зашепелявила старуха Хурле.— Ты молишь за наших земляков. Пусть все они возвлататся в швой лодной дом!..

---

[1] Хадак — священный платок.





Хурла двумя руками принимает хадак, неторопливо откладывает его, берет книгу в деревянном переплете и ею ударяет по склоненной голове шабгансы — совершает адис. Глядя мимо старухи, Хурла произносит:

— Я молюсь за всех. Кто мне верит, да будет тот счастлив!

Старушка, еще больше согнувшись, подметая полами снег, тащится на свое место.

Вперед выходит Лхама, доярка, которая работает на ферме с моей матерью. Она робко потопталась, вытащила из мешочка бычий пузырь с замороженным топленым маслом, выдохнула с трудом:

— От мужа до сих пор никаких вестей...

Святая поднимает книгу, дает адис:

— Твой муж ранен, скоро выздоровеет...

— Когда выздоровеет, возвратится ли?..— спрашивает доярка с надеждой.

Но святая молчит, святая не тратит лишних слов, и Лхама, не дождавшись ответа, отходит.

Подошла Тамжад. Бригадирша одета в черное, подбитое мехом пальто, лицо красное от мороза, походка тяжелая. Сняла рукавицы, стянула с толстого пальца золотое кольцо, почтительно протянула Хурле:

— О брате, пожалуйста, скажи... У меня и всего-то один брат.

Хурла совершает адис:

— Тебе уже известно: твой брат в плену. Нелегка оттуда дорога домой. Молись, не забывай наших богов...

— Ежели приношения... так мы готовы...

Но Хурла уже отвернулась от бригадирши.

Жалсан-баабай с бородкой, похожей на белую узду, взяв под мышку белый малахай, склоняет перед святой седую голову. Его сын до войны работал председателем сельсовета, был известным в округе человеком. Старик же сейчас протягивает Хурле сверток, подставляет под адис голову:

— О сыне прошу...

— Ваш сын вернется... скоро!

И старик разволновался:

— Радость вещаешь, святая женщина!

Сидящие вокруг костра люди оживились.

— Слышали: Жалсан вернется!..

— Жалсан жив...

— Дождется старик...

Кое-кто даже привстает, оглядывается в заснеженную, неприветливую степь, словно ожидая, что там сейчас появится одинокая фигура Жалсана.

Святая Хурла утратила важность — приходится шевелиться! — налево и направо раздает адис, вещает судьбу. Одни отходят от нее радостные, другие — встревоженные. Молодая Бадмацу спрашивает о муже, уходит в слезах. Старушка из соседнего улуса, услышав предсказание, опустилась на землю и долго не могла подняться. Одноногий инвалид, недавно возвратившийся с фронта,— тоже не из нашего улуса — в сердцах стукнул костылем о землю, ушел, ругаясь вполголоса.

Вокруг черного камня на снегу растет куча вещей, как на базаре: бутылки водки, плитки чая, булки, потроха в брюшине, отрезы ситца и шерстяной ткани, отдельной кучкой драгоценности — золотые, серебряные кольца, серьги, браслеты, и в стороне ворох бумажных денег...

Наконец вылезла и наша бабушка. Она очень замерзла — лицо лиловое, темное, не слушаются руки; долго шарила за пазухой, вытащила узелок, развязала, вынула десятирублевую бумажку:

— Святая Хурла, ты знаешь: два человека у нас на войне. Помоги им...

Святая Хурла глядит в сторону, святая Хурла молчит, и бабушка ждет с протянутой рукой, в руке деньги. Наконец Хурла поворачивается, брезгливо берет червонец, бросает его в огонь.

— У тебя нет истинной веры!..— говорит она резко.— Ты свой гуу отдала в подарок приезжему русскому. А богу суешь эту бумажку! Ваша семья живет в грехах! Конь, парящий в воздухе, над вашей крышей перевернулся вниз головой!

И бабушку словно качнуло от ветра.

— Святая Хурла...

— Я не могу вам помочь. Ваш сын и зять сгинули, их дух витает здесь!..

— Святая Хурла-а!..

Бабушка падает на колени. Я не выдерживаю, расталкиваю людей, продвигаюсь к костру, подхватываю бабушку, подымаю:

— Бабушка, пойдемте!.. Бабушка, не надо!..

И она покорно подымается. Люди, когда мы шагаем на них, поспешно вскакивают, уступают дорогу, словно

шарахаются. Мы теперь прокаженные, на нас проклятие.

Я усаживаю бабушку в сани, накидываю доху, бормочу:

— Бабушка, не верьте! Она врет! Все врет! Папа жив, бабушка! Жив!

А бабушка безучастна, от горя у нее не держится голова, закрываются глаза. Меня охватывает бессильная ненависть к Хурле, этой толстой бабе, вырядившейся сейчас в атласную шубу: на несчастьях наживается, на людской беде спекулирует.

— Папа жив, бабушка! Не верьте!

За нашей спиной начинается праздник. Верующие воздают сэржэм костру, вытаскивают бутылки, чайники, туески с «горячими водами». Пьют за радостные вести, пьют за печальные.

Я обнимаю бабушку и уговариваю ее не верить ни словам святой, ни богам, никому. Бабушка молчит, не возражает, не сердится: она еле жива, на нее нападает старческая дремота.

Костер догорает, сдержанно шумят верующие, кое-кто уже под хмельком.

Святая Хурла встает, и шум смолкает. Скрестив на груди руки, вскинув вверх голову, она обводит всех узкими глазами, и ее взгляд мне видится неприятно-сонным, как у кошки, только что съевшей жирную мышь.

— Молебствие завершается!..— объявляет она громко.— Сейчас — домой! Доверяйте Хозяину, не оборачивайтесь назад!.. Все ваши жертвоприношения останутся здесь! Их заберет Хозяин здешних гор!.. Он принесет счастье вашим близким. Он будет рядом с ними в чужом краю!..

Голос резкий, каркающий, Черногривый прядет от него ушами. Люди послушно подымаются...

Ветер дует в спину, наметает снежные барханы, крутит поземку. Скрипят полозья саней, лежат в санях, тесно прижавшись друг к другу, люди: одни молчат, быть может, дремлют, другие поют тихую, грустную песню:

В степи широкой коня я загнал,
Ой, жаль рысака!
На войне далекой друг мой упал —
Не жить без дружка...

Я еду на последних санях, в ногах бабушки. Я ждал, что Хурла останется возле приношений. Нет, она села на

коня и, рысью обогнав обоз, двинулась в голове. Возле приношений, у погасшего костра, один под свистящим степным ветром остался Черногривый, святой конь. Вместе с подарками для Хозяина гор. Нет, здесь что-то не то. Не могу верить Хурле. Какая-то тайна!..

Вместе со мной в ногах дремлющей бабушки едет доярка Лхама-абгай, которой Хурла сообщила, что ее муж ранен, скоро выздоровеет. Лхама кутается в доху от ветра, тоже дремлет или мечтает о возвращении мужа.

— Лхама-абгай,— шепчу я,— проводите, пожалуйста, бабушку к нам, одна не дойдет до дому. А я тут коней оставил с Мунко...

Лхама кивает мне: ладно. Я выждал, пока она задремала, соскользнул с саней на дорогу. Никто этого не заметил.

Обоз с паломниками исчез; я остался один в заснеженной степи. Холодно и страшно, ветер пробирает насквозь. Почти бегом я бросился обратно к лиственнице.

Над потухшим костром, над разложенными вещами, над свежим навозом, валяющимся под ногами Черногривого беглеца, гуляет снег. Черногривый, почуяв меня, дернулся на поводу и жалобно заржал: разукрашен, наряден святой конь, но как-никак продрог на привязи.

Я озираюсь по сторонам, в голову лезут сумасшедшие мысли: а что, если и в самом деле явится вдруг Хозяин здешних гор? Шумит ветер в ветвях лиственницы — пусто, одиноко, дико; разложенные богатые вещи, нарядно разукрашенный, засыпанный густо снегом конь и я. И не проходит чувство, что кто-то вот-вот должен появиться здесь. Кто-то...

Я, кажется, не успел даже сильно промерзнуть, как от седой стены леса отделилась фигура. Сначала я подумал — померещилось! Но нет, за поземкой среди снега маячит человек, он шагает так медленно, что, кажется, стоит на месте...

Я замер, я жду, бьет копытом снег Черногривый беглец. Ближе, ближе странный путник. Уже вижу, как он спотыкается на ходу, вязнет в наметенном снегу. Один раз он упал, поднялся. Я начинаю различать за его спиной ствол ружья, длинную шинель, шапку со спущенными ушами...

Сначала мне почудилось, что у человека под шапкой нет лица, но в следующую секунду догадался — оброс бородой.

Наконец и он заметил меня, остановился, словно споткнулся, никак не ожидал встречи. Постоял, не спеша направился ко мне. Приблизился вплотную — запавшие глаза между бородой и шапкой, чем-то эти глаза мне знакомы. Не помню — где я их видел?

Глаза знакомы, а лицо чужое. Нет, никогда не видел этого человека.

Он улыбнулся желтыми зубами, охрипшим голосом спросил:

— Кого ждешь?

Надо было отвечать, и я ответил:

— Хозяина гор.

— Я и есть хозяин.

— Нет, не похож.

— Тогда кто я, по-твоему?

— Наверное, охотник.

— Угадал. Я из воинской части, нас четверо отправилось на охоту, да вот я отбился от остальных... Заблудился...

Он стоит и ощупывает меня глазами, потом переводит взгляд на припорошенные снегом жертвоприношения, дергается в усмешке:

— Богатство. Тут есть чем подкрепиться.

Шагнул к камню, присел, схватил туесок, открыл крышку, отставил, увидел бутылку водки, отбил о приклад сургуч, вышиб пробку, приложился к горлышку, взял смерзшееся мясо, стал грызть, зло поглядывая на меня. Где-то я видел эти глаза...

У него военная шинель, военная шапка, за спиной — нет, не охотничье ружье — винтовка. Он то и дело кладет руку на приклад и поглядывает на меня. Какой он охотник!..

И я понимаю, что наконец-то вижу того вора, который украл у меня табунного вожака. Дезертир, сбежавший из армии... Это о нем ходят по улусу глухие слухи.

Как будто отгадав мои мысли, пришелец подымается, снимает с плеча винтовку, говорит:

— Ну, хватит, помогай!..

— Что — помогать?

Он показывает стволом на большую переметную суму, которую я только сейчас заметил среди вещей:

— Все, что тут есть из еды, сложи в нее. Да побыстрей!

Я послушно берусь за суму, начинаю ее набивать ту-

есками, бычьими смерзшимися пузырями с маслом и мясом, бутылками, буханками хлеба.

Я хорошо понимаю, кому попался в лапы, вряд ли он отпустит меня живым, но странно — почему-то я не испытываю большого страха. Быть может, потому, что ждал такой встречи, пережил страх раньше. Я набивал суму и соображал: как быть? Удрать по снегу я не смогу — в голой степи вор меня пристрелит. Стоит конь, но он привязан; пока я отвяжу его — тоже пристрелит. Да и этот святой конь не объезжен, наверняка не послушается меня, постарается скинуть... Попался!..

А дезертир, придерживая на колене винтовку, собрал в один платок золотые и серебряные приношения.

Я набил суму, разогнулся:

— Что делать с другими вещами?

— Пусть останутся здесь,— ответил он, пряча узелок с драгоценностями за пазуху, настороженно и недобро глядя на меня.

Где-то я видел его глаза...

— А как вы это потащите? — указал я на суму.— Мне даже не поднять.

— А конь на что?

— Он не объезженный.

— А я на нем ехать и не собираюсь. Веди его сюда, перекинешь суму...

Я пошел к коню. Спиной чувствую недобрый взгляд, непослушными пальцами отвязываю наборную уздечку. Отвязал, повернул Черногривого к себе нужной стороной, и конь оказался между мной и бандитом. Если я сейчас не воспользуюсь, бандит убьет меня. Не может же он отпустить меня живым. Святой конь... Только он может спасти меня! Но не объезжен... Скинет. Была не была!

И я взлетаю в высокое, украшенное латунью и серебром седло. Черногривый присел...

— Эй, ты! — выкрик, подхваченный ветром.

Я огрел Черногривого. И тот взбесился, шарахнулся в сторону, поднялся на дыбы, крутанулся... Мельком вижу бородатое, темное, ощеренное лицо — оно рядом. Бандит увернулся от коня, успел ударить по крупу прикладом винтовки. Черногривый делает новый скачок, уносит меня в сторону, кружится на месте. Я рву удила, хлещу его, пытаюсь сорвать в намет.

— Слезай! Убью!





Теперь я, если б и захотел слезть, не смог бы, могу только слететь на землю через голову Черногривого.

— Ну!.. Ну, пошел!..

— За-ас-стр-рел-лю!

Вижу ходящий ствол винтовки, направленный в мою сторону. Но Черногривый делает прыжок, и бандит снова шарахается от него. Где-то за спиной лязг затвора, страшный лязг... Черногривый вертится волчком; ствол лиственницы, запорошенный снегом черный камень, далекий мутный лес, бандит со вскинутой к плечу винтовкой — все перемешалось, весь мир колесом. Черногривый гнет к земле голову, пытается сбросить меня с седла.

Выстрел за моей спиной, пуля со стоном уходит в сумеречный простор гаснущего зимнего дня. Мне не удается как следует натянуть поводья — Черногривый пригибает вниз голову. Вот как мне приходится объезжать святого коня — под пулями. Новый выстрел, пуля взвизгнула где-то рядом, и Черногривый поддал задом, чудом я удержался в седле.

Но он вскинул морду, и я успеваю подобрать поводья, натягиваю, задираю выше голову Черногривого. Святой конь, топча головешки потухшего костра, раскиданные и растоптанные приношения, делает круг и замирает на долю секунды...

Выстрел, въедливый визг. Мимо!

Чуть-чуть подпускаю поводья, и Черногривый рвет с места.

Я хватаюсь обеими руками за гриву и почти ложусь на шею коня. С трудом дышится, в ушах свист, а глаза наполняются слезами. Эти слезы текут по моим щекам и превращаются в крупинки льда...

XXVIII.

НОЧЬЮ...

— Семьсот шестьдесят... Семьсот шестьдесят один... Семьсот шестьдесят два... Семьсот шестьдесят три...— Я кручу ручную мельницу и считаю.

Прошло всего чуть больше суток, когда Черногривый, весь в мыле, пронес меня через улус к конторе.

— На обооне прячется бандит! — кричал я на скаку.— Бандит на обооне!.. Бан-дит!..

Я ввалился в контору и упал к ногам Ендона-бригадира:

— На обооне дезертир... Он стрелял в меня... Быстрей! Уйдет!..

Бригадир кинулся к телефону, стал крутить ручку...

Его поймали утром: он не успел уйти далеко, нашли по следам в лесу, в охотничьей избушке.

Где-то в полдень его привезли в наш улус. Со связанными за спиной руками, измятый, грязный, он стоял у крыльца конторы и глядел в землю. Со всех сторон сбегались поглазеть на него люди...

— Восемьсот шесть, восемьсот семь... восемьсот восемь...— Я считаю повороты, и ручка мельницы становится горячей.

Он стоял, связанный, у крыльца, глядел в землю, а вокруг него теснились люди. Я в это время сидел в конторе. Пожилой милиционер, пристроившийся за столом бригадира, расспрашивал меня: как, когда увидел дезертира?.. И неторопливо записывал мои ответы на бумагу.

— Молодец, геройский ты парень! — сказал он.

И только это сказал, как за окном раздалось звонкое и отчаянное:

— Пап-па!!

Скрипит, хрустит, гремит ручная мельница, я кручу ручку и считаю:

— Восемьсот сорок семь... Восемьсот сорок восемь... Восемьсот сорок девять...

У крыльца конторы произошло вот что: Зина, вместе с другими школьниками прибежавшая поглядеть на связанного дезертира, узнала в нем своего отца.

— Восемьсот пятьдесят два, восемьсот пятьдесят три... восемьсот пятьдесят четыре...

Мне были знакомы его глаза. Знакомые глаза на незнакомом, чужом лице. У Зины отцовские глаза!

Вместе с Зининым отцом увезли и Хурлу. Бригадир Ендон жал мне руку, заглядывал в глаза, хвалил:

— Ты герой!

А мне хотелось плакать...

Я долго стучался в дверь почтальонши Хурлы. Но никто мне не ответил. А Зина была там! Я знаю — там!..

— Девятьсот один... девятьсот два... девятьсот три...— Скрипит ручка, скрежещут изношенные жернова.

И дома у нас плохо, беспокойно. Бабушка слегла и не говорит, не шевелится, только дремлет. И мать мечется, не находит себе места,— после обоона весь улус говорит о том, что мой отец убит...

Я не верил! Я не хотел в это верить! Не мог! Не мог!

— Девятьсот пятнадцать... девятьсот шестнадцать... девятьсот семнадцать...— Я перемалываю зерно. Семье нужно есть. Надо запастись мукой впрок. Надо...

Два часа назад, уже в темноте, робко стукнули к нам в дверь. Вошла она... Лицо ее казалось прозрачным, острые скулы, сухие глаза с нехорошим блеском.

— Зина...— сказал я.— Хорошо, что ты пришла, Зина.

Сэрэн-Дулма загнала в кровать малышей, а сама ушла, чтобы мы могли поговорить.

— Зина, ты не виновата...

— У меня нет отца! — резко оборвала она меня.

— Он родной брат Хурлы, Зина.

— Он предал всех, он предал маму... Они вместе с Хурлой!.. Я разобрала письма, которые остались... Я нашла много маминых писем. Батожаб, моя мама жива, она сейчас даже не на фронте, работает в тыловом госпитале... в Пачалме. Где эта Пачалма?

— Зина! Хурла и про моего отца тоже...

Тут Зина опустила лицо...

— Девятьсот пятьдесят... девятьсот пятьдесят один... девятьсот пятьдесят два...— На минуту перестаю крутить старую мукомолку, заячьей лапкой бережно сметаю в ведро накопившуюся кучку муки и продолжаю:— Девятьсот пятьдесят четыре... девятьсот пятьдесят пять...

Зина долго ничего не говорила мне, а слезы текли по ее щекам. Наконец она протянула мне конверт. Серый конверт без марки, со штампом.

Лист бумаги. Напечатано на машинке: «... В боях с немецко-фашистскими оккупантами... смертью храбрых...» Хурла не наврала! Подлая Хурла!..

— Девятьсот семьдесят пять... девятьсот семьдесят шесть... девятьсот семьдесят семь...

Мой отец!..

Поймут же меня в военкомате. Там же сидят люди! Я должен отомстить за отца! За отца и за мужа Сэрэн-Дулмы, за то, что вот кручу старую мельницу, чтоб детишкам была заваруха. За всех убитых, за голод, за страх перед судьбой, который заставляет верить Хурле,

за горе, захлестывающее наш улус, всю нашу большую страну!

Что из того, что мне еще не исполнилось шестнадцати лет? Я уже был ночным табунщиком, справлялся со взрослой работой. Ендон-бригадир даст мне справку. Он теперь не откажет, он, по-моему, даже начинает побаиваться меня... Я справлялся со взрослой работой, справлюсь и с работой солдата. И меня уже раз обстреляли... Решено! Мама не остановит!

— Девятьсот девяносто восемь... девятьсот девяносто девять... тысяча! Все! — Я перестал крутить.

Теперь хватит еды для детишек. Мне еще надо заготовить дров на зиму, надо раздобыть воза два сена, чтоб продержать до весны корову, починить ворота сарая... Семья до конца войны остается без мужчины. Сэрэн-Дулма и мама как-нибудь прокормят детишек...

Стук в дверь, лай Янгара. Собака никогда не лает на своих. Кто-то незнакомый, не из нашего улуса. Янгар так и заходится от лая. Я открыл дверь.

Гость рослый, меховая шапка под потолок, кожаное поношенное пальто, большие унты. У гостя очень густые брови, широкое лицо и добрая, застенчивая улыбка. Он протягивает мне крупную ладонь молча, с улыбкой.

Я приглашаю его:

— Садитесь, пожалуйста.

Гость тяжело опускается на стул, обводит взглядом комнату, молчит. Мне кажется — он пьян.

Блуждающий взгляд останавливается на мне; я весь белый от муки — руки, лицо, даже волосы. Я извиняюсь:

— Мельничал сегодня...

Гость молчит, озирается. Может, он не знает по-бурятски, так пусть говорит по-русски — поймем.

— Вам кого? — спрашиваю я его по-русски.

Он не отвечает. Вдруг встает, берет лампу, шагает к стене, где висят наши фотографии, глядит на меня, тычет пальцем на фотокарточку, потом на себя. И я обмираю.

— Хуряахай! — кричу я.— Урбан-хуряахай! Вы живы?! Почему вы молчите?!

Он внимательно всматривается в мое лицо, начинает расстегивать кожаное пальто, блеснула полоса медалей и орденов. Он вытаскивает бумагу и протягивает мне.

Бумага дрожит в моей руке, долго не могу разобрать ни слова. Справка из госпиталя о ранении: «...Старший лейтенант Помолов Урбан тяжело ранен... контузия...

временная потеря слуха и речи... После трехмесячного лечения в госпитале отправлен на амбулаторное лечение по месту жительства...»

А Урбан-хуряахай уже вытащил блокнот и авторучку, вырвал листочек, написал: «Где Сэрэн-Дулма?»

Я не могу опомниться.

Как все перепутала война: живые умирают, мертвые воскресают, почтальонши становятся святыми... Может, жив и мой отец?..

Я начинаю смеяться. Смеюсь и кричу:

— Сэрэн-Дулма придет! Хээтэй скоро будет! Сейчас! Сейчас!

Он мне виновато улыбается в ответ. Он видит меня и мою радость, но ничего не слышит.

XXIX.

ДНЕМ...

Мать сохнет. Она говорит, что с Урбаном случилось чудо. А чудеса если и бывают, то очень редко. Два чуда подряд в одной семье — невозможно. В доме лежит извещение о смерти отца, и мать ему все больше и больше верит. Верит и сохнет, надрывается в кашле по вечерам, надрывается на работе днем.

Раз нечего надеяться на чудо, то я должен исполнить, что задумал.

Мать и Сэрэн-Дулма еще затемно ушли на работу, Урбан-хуряахай вчера уехал в аймак, бабушка лежит, бабушку я трогать не стану. Я собрал свои вещи — смену белья, мыло, ложку, кружку; перед тем как переступить порог, склонился над малышами, поцеловал их. По бурятскому обычаю, при расставании целуют в одну щеку, чтобы, возвратясь, поцеловать в другую. И никогда, никогда не плачут...

Я решил завернуть к конюшне, на прощание накормить лошадей. Кони почуяли меня и заржали. Выбрав самое хорошее сено, я забрасываю его в ясли, кони тычутся мне в руки, шумно фыркают. В этот тусклый час вялого зимнего рассвета все они кажутся одной масти. В конюшне холодно, лошади заиндевели, под инеем не видны на их спинах мозоли. Их гривы стали редкими, и ребра выпирают обручами. Работяги военного времени,

их ждет трудная зимовка. Ешьте, мои родные, ешьте хоть сегодня досыта, постарайтесь дотянуть до весны. А там, глядишь, кончится война, полегчает сразу и людям, и лошадям. Жадно зарывается в сено Светлогнедая, ее жеребенок вытянулся, тощий, тоненький. На военных харчах сил не наберешь. Гнедой Бадмы что-то хромает, а я-то думал, что у него под копытами налип комок снега. Нет, вероятно, дело посерьезнее... Буланый Эрдэни после разлуки с Саврасым чувствует себя сиротливо, даже ест с ленцой. Белоногий — бригадирский хулэг — выглядит по-прежнему хорошо, да что с ним случится, если ходит только под седлом? А Шаргалдай, наш славный скакун, превратился в обыкновенного колхозного работягу. Черногривый беглец, святой конь... Его уже не приглашают погостить, не водят из дома в дом. Я сбил с него святость, а вместе со святостью и упрямство. После меня кузнец Гарма запряг его в сани и целый день возил уголь для кузницы, доказал: конь, как все другие. Я ласково погладил Черногривого — он спас мне жизнь. В ответ на ласку Черногривый диковато покосился. Ничего, приручим и тебя...

Гнедко... Мой друг, верный друг. Хотя я на нем ездил ночью и днем, он не сдал. Я ездил, но я и ухаживал, подкидывал лишнего. Ешь, Гнедой, ешь, товарищ! Хорошо было в старину: казаки уходили на службу со своим конем, жаль, что ныне нет такого порядка. Гнедой трогает мою щеку своими мокрыми губами — поцелуй при расставании. Баяртай! Вот явился Мунко, в руке недоуздок, лицо озабочено — настоящий конюх. Мы вчера договорились с ним — он заменит меня.

— Батожаб, это ты?

— Накормил коней досыта. Но ты придерживайся нормы... К весне сена не хватит,— наставляю я в последний раз.— А где ботало, которое мы с тобой нашли?

— Здесь.

— Пусть его носит Гнедой. Лучшего вожака для табуна не найдешь.

— Хорошо, Батожаб.

— Гнедой Бадмы что-то хромает, покажи старикам...

— Покажу.

Я киваю на Звездочку.

— Будет лончаком, попробуй-ка его стреножить, вдруг да иноходцем станет.

— Хорошо...

Я медлю, не хочу уходить.

— Я хо-хо-хочу попросить...— заикается от волнения Мунко.— Черногривому беглецу дам твое имя... Ладно? Т-ты об-объездил его.

— Не слишком ли много кличек у него: Черногривый, беглец, святой конь...

— И... и... еще... Черногривый Батожаб. Это останется.

Я свертываю самокрутку, закуриваю:

— Мунко, эту самокрутку раскурим пополам, чтобы друг друга долго помнить...

Мунко соглашается, послушно затягивается и долго кашляет.

— Не-не могу... Давай без этого, в-все равно тебя буду помнить!..

— Баяртай! — говорю я.

— Ба-ба-баяртай!

Рассвело. Над крышами столбятся дымы. Над длинным школьным зданием — три высоких столба дыма. Там сейчас сестренка, там Зина. Прощайте. Прощай, школа, где я впервые узнал букву «А» и цифру «один». Прощайте, учителя, ребята, друзья...

А Зине я напишу... Из армии. Напишу, что помню клятву, которую дали летом в лесу. Хорошо, если б Зина переехала жить к нам. Я попрошу об этом маму в письме.

Дорога проходила мимо фермы; нет, я не могу завернуть и проститься с тем, с кем больше всего хотелось бы,— с матерью. Если заверну, то, скорей всего, на этом моя дорога и кончится, мать не отпустит меня.

Под ярким утренним солнцем ослепительно сияет широкая степь. Дымки родного улуса за моей спиной. Морозно. Вокруг солнца круги. Наверное, будет еще холоднее. Дорога пролегает через степь. Не так ли уходили наши богатыри в большой мир, на подвиги. Не стану ли и я батором, о котором будут петь песни? Батожаб-батор — звучит. Хоть я и рожден в год зайца, но я доказал, что не трус.

— Батожаб! Ты куда это?

Вот те раз — мама! Стоит у дороги, горбится, ветхая шубеика, узкое серое лицо, запавшие глаза. Родная моя!

— Ты куда, Батожаб?

Я подошел к ней вплотную, заглянул в родное и усталое лицо.

— Мама...— говорю, задохнувшись.— Мама... Я не хо-

тел тебе говорить... Я ухожу, мама, на фронт, добровольцем.

Она глядит мне в лицо запавшими глазами пристально, грустно. Сейчас она начнет меня хватать за руки, сейчас заплачет, будет упрашивать, говорить о моем возрасте, о том, что я мальчишка, что бросаю ее одну... Я был готов ко всему. Она должна понять: я обязан отомстить за смерть отца.

И мать слабо-слабо улыбнулась, сказала:

— Иди, сынок...

— Спасибо, мама. Я думал, что ты станешь держать меня...

— Зачем? Тебе хочется поиграть. Быть может, последний раз в жизни. Иди, поиграй. Только хорошо бы, чтоб ты вернулся к обеду.

— Мама!

— Ты еще ребенок!

— Мама! Я серьезно!

— Верю.

— Я добровольцем!..

— Ну да, ясно.

— Я вернусь после войны.

— Тебя вернут... Тебе пятнадцать лет; шесть месяцев назад, в день начала войны, ты еще играл в деревянные ружья. Помнишь ли?

— Но я попрошусь! Я расскажу об отце!..

Мать не хватала меня за руки, не плакала, не просила, она повернулась и пошла... А я остался. Мне всего пятнадцать лет, ради меня никто не станет нарушать закон. Неужели я только играл?..

Все-таки я родился в год зайца.

В год огненной змеи мне было пятнадцать лет. Всего пятнадцать! И мне очень хотелось отомстить за смерть отца.

Но война нагнала меня. Я успел подрасти и стать солдатом. Я прошел через Польшу и Германию, я брал Берлин. На одной из колонн рейхстага среди других надписей есть и моя: «ЗДЕСЬ БЫЛ БАТОЖАБ ГОМБОЕВ ИЗ БУРЯТИИ».

Авторизованный перевод
Н. Асмоловой и В. Тендрякова.



СТЕПНЫЕ ДОРОГИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На Золотой нашей земле редко где найдешь места, столь богатые солнцем, как Забайкалье. Чуть не круглый год над степями безоблачное небо, ясное. И солнце-то здесь светит по-особому, веселее, добрее, что ли.

Именно в этой залитой солнцем степи лет тридцать с лишним назад объединились буряты, жители трех речных долин, в общее хозяйство. Объединений поначалу было несколько, и назывались они в разное время по-разному — ТОЗы, коммуны, артели... Разные носили имена — Уртюбаева, Ербанова, Разумова. Много раз то укрупнялись, то разукрупнялись. В конце концов превратились они в известный теперь всем колхоз «Улан-Малчин», что в переводе на русский язык означает «Красный животновод». Колхоз этот передовой в аймаке, и занимается он именно животноводством, потому что буряты с давних пор разводили скот пяти видов — овец и коз, коров, коней и верблюдов. Что касается верлюдов, то к ним с годами почему-то интерес поубавился, зато с недавних пор в «Улан-Малчине» появились свиньи и птица. Как полагается, колхоз имеет несколько сот гектаров пашни, луга, огороды. Богат он и техникой.

Ну, а теперь давайте познакомимся с центральной усадьбой колхоза. Главная улица поселка застроена домами на заливных каменных фундаментах, с широкими окнами и шиферными крышами. Некоторые здания на этой улице всем своим видом подчеркивают, что это не просто дома, а учреждения. Солидно выглядит, например, Хангильский сомонный Совет. Прямо-таки светится новая колхозная контора, обшитая тесом. Густой паутиной проводов опутана почта. Штабеля пустых ящиков позволяют безошибочно отыскать дорогу к магазину и столовой, разместившимся под одной крышей. Двухэтажный колхозный Дворец культуры не уступит иному городскому. В нем, кроме зрительного зала человек на четыреста, большой сцены и просторного фойе, много комнат для разных кружков. На фасаде Дворца — от земли до крыши — художник изобразил молодого чабана, а рядом с ним, понятно, овец. Тут же, перед входом, стенная газета «Хангильские новости», на стенде — диаграммы, показывающие перспективы развития и роста артели, и Доска почета с портретами лучших людей. Несмотря на яркий солнечный день, перед Дворцом пылает несколько десятков электрических лампочек.

Впрочем, сегодня все общественные здания села выглядят торжественно и нарядно. На них алые транспаранты и лозунги. Это, конечно, неспроста. И лампочки горят среди бела дня совсем не потому, что монтер забыл их выключить. Их как раз специально зажгли. Белые буквы на кумачовых полотнищах призывают хангильцев достойно отметить сагалган — праздник Белого Месяца, праздник животноводов.

Сагалган — древний бурятский праздник. Но проходить он будет по-новому. Начнется, как полагается, митингом. Не останутся забытыми и кое-какие старые обычаи. Скажем, самому уважаемому и почтенному человеку поднесут тоолэй — баранью голову, поставят на столы вдоволь белой пищи — той, что делается из молока. Само собой, прольются капли араки. Тут уж ничего не поделаешь: хмельная арака — тоже молочный продукт!

Потом будут игры. Самые ловкие и сильные покажут себя в борьбе. Самый удачливый (если такой обнаружится) перерубит ребром ладони сээр — крепкую бычью кость пальца в три толщиной. Не дай бог, если кость останется целой! — позор всему селу.

На победителей в соревнованиях, играх, борьбе наденут шелковые ленты-хадаки с надписью, сделанной золотой краской, вручат им Почетные грамоты, ценные подарки...

Еще накануне на центральную усадьбу съехались чабаны со всех, даже самых дальних стоянок. На улицах — толпы, в каждом доме — гости. Со дна сундуков извлечены островерхие шапки с кисточками, овчинные шубы-дэгэлы с длинными рукавами, узорчатой вышивкой, сапоги-гутулы с загнутыми носками. На женщинах звенят золотые и серебряные украшения — еще от бабушек и прабабушек достались. Мужчины надели ордена, медали, значки, повесили на пояса ножи и кремневые огнива. В общем, каждому хочется и на людей поглядеть и себя показать.

Скотоводы — люди самой древней профессии на этой земле. Опытом, отвагой, остроумием они превосходят прославленных ковбоев, бурятские скотоводы. Это уж точно. С покрасневшими, облупившимися от солнца и ветров лицами чабаны, круглый год проводящие в степи, и в селе не изменяют привычкам. Расселись на широкой улице в круг, угощают друг друга табачком, ведут неторопливый разговор.

Многолюднее становится возле Дворца культуры. Давно не видавшие друг друга при встрече снимают шапки, протягивают обе руки, церемонно здороваются:

— С сагалганом, амар мэндэ!

— С Белым Месяцем, амар мэндэ!

— Всем людям, амар мэндэ!

— Всем людям, амар мэндэ!

По старому обычаю справляются о скоте:

— Здоровы ли ваши кони, овцы?

— Здоровы ли ваши машины-тракторы? — подхватывают шутники.

— Машины-тракторы, мэндэ!

Не те чабаны теперь, что прежде. Это только с виду они такие же. У них, как и раньше, конь под седлом да урга — шест с петлей, овец ловить. Зато каких только машин не увидишь в чабанской бригаде. И бригада сама называется механизированной, и чабан — чабаном-механизатором.

Одна из таких бригад сегодня именинница. Все свои обязательства она выполнила, и ей будет присвоено звание бригады коммунистического труда. А старшая чабан-

ка Оюна Соктоева должна произнести речь на митинге и принять Красное знамя.

Оюна — внучка старейшего колхозного чабана — еще школьницей помогала деду ходить за отарой. В позапрошлом году, получив аттестат зрелости, она вместе со всем своим классом осталась работать в колхозе. Старательная, трудолюбивая, Оюна меньше чем через год стала старшей чабанкой. Нынче хорошо обеспечила зимовку, заняла в соревновании первое место.

Бригадир Цынгуев поручил ей выступить на сагалгане и даже написал на листке из блокнота слова, которые она произнесет.

Вот она стоит в сторонке, держит в руке листок и в который уже раз читает то, что ей написал Цынгуев, пытаясь запомнить наизусть:

«Дорогие товарищи! Благодаря Советской власти наш колхоз «Улан-Малчин» растет и крепнет...»

У девушки большие, словно испуганные, круглые глаза. Лицо ее серьезно. На ней шубка, плотно облегающая стройную, гибкую фигуру. Оюне не нравится текст. Сухие, казенные слова. А выступать надо... Упрямо тряхнув головой, отчего кисточка на шапке перелетела с одной стороны на другую, она снова глядит на листок из блокнота.

«Дорогие товарищи!..»

— Оюна! Не видела моего муженька?

Держа за повод коня, перед нею останавливается Балмацу. В больших валенках. Голова повязана пестрым платком. Обветренное почерневшее лицо ее хмуро. Вид у нее совсем не праздничный. Балмацу родом из Хойто-Аги. Несколько лет назад вышла она замуж за хангильца Дондока Бабуева. Неудачно вышла. Не получилась у них семейная жизнь. Из-за Дондока, конечно. Могла бы Балмацу к себе в Хойто-Агу вернуться, чем так жить — не жена, не вдова, а она осталась в степи.

Оюна сочувственно смотрит на молодую женщину, неуверенно отвечает:

— Кажется, где-то тут был...

— Так я и знала, что он здесь гуляет.— Балмацу вздыхает.— Намучилась я с ним. Вроде окончательно разошлись. Вот приехала помощника просить.

— Бригадира видела? Что он говорит?

— Говорит, потом, после... Праздник, говорит, сейчас. Не хочет слушать. А я совсем одна...

— Что же делать? — Оюна мнет листок.

— Тпру! — дергает Балмацу за повод коня.— Овцы плохие стали. Вчера одна ярка пала. Я свою заместо нее отдала.

— Как же так?

— Вот так... Ты передай председателю. Я овец пока оставила Бадме-ахаю. Надо скорей назад ехать.— Она взобралась в седло.

— Балмацу! Постой, погоди. Подумаем вместе.

Чабанка пустила рысью высокого Серко.

— Повеселись, Оюна! Тебе можно веселиться на празднике. Баяртай!

— Баяртай, Балмацу...— Оюна пригорюнилась.

«Пойду в правление,— решила она.— Какой тут праздник, если такие дела. Неудобно даже».

Только повернулась — навстречу Дугаржаб Беликтуев, чабан-механизатор. Оюна вместе с ним училась, но Дугаржаб после седьмого класса бросил школу, стал родителям помогать. В позапрошлом году его в армию взяли, на границу. Дугаржаб служил в Средней Азии. В стычке с нарушителями был тяжело ранен, вернулся домой на протезе. И снова — с овцами. Высокий, в солдатской шинели, серой шапке-ушанке и блестящих шевровых сапогах широко шагает, чуть прихрамывая.

— Ою-уна! Сайн байна!.. Я тебя поздравляю.

— Не надо, Дугаржаб.

— Что случилось? Или ты почетного звания боишься? А может, у тебя речь не получается? Давай, я за тебя скажу. Вот увидишь, будут продолжительные, долго не смолкающие аплодисменты,— смеется парень.

Оюна хмурит брови.

— Тебе бы только шутить! С тобой совсем нельзя серьезно разговаривать... Я только что Балмацу видела. У нее в отаре плохо.

— Так и должно быть. На их овец никто и внимания не обращает. С Дондока какой спрос? А для Цынгуева существует в бригаде только твоя отара.

— Что ты говоришь? Неужели...— Оюна густо краснеет.

— Ты извини... Я не хотел,— бормочет Дугаржаб.

— Спасибо, что прямо сказал.— Оюна круто поворачивается и попадает в объятия Розы Кузнецовой, шофера передвижной технической мастерской. Роза такая нарядная — глазам больно. На ней ярко-красный берет,





новое зеленое пальто с лисьим воротником, высокие серые ботинки. Ясные голубые глаза Розы так и светятся радостью.

— Оюна, дорогая, я тебя поздравляю, я за тебя так рада! — восторженно выпаливает Роза.

— Зато я не рада.

— Это почему же?

— Вы в отаре Бабуева в этом месяце были?

— Нет, не были. Булат же все к тебе рвется...

— Так я и думала!

— А что случилось?

— Потом объясню. Балмацу надо помочь. Я хочу к ней поехать. Прямо сейчас.

Оюна так взволнована, что Роза пытается успокоить подругу.

— Ты обо всем посоветуйся с моим начальником. Увидишь, Булат придумает, как лучше сделать.

— Не знаю, как мне быть...— в голосе Оюны сомнение.

— Как быть? С Булатом посоветоваться, я же говорю,— повторяет Роза.— Ты его как будто боишься. Да и он тоже... Ох, что-то тут не так! Я его сейчас видела у обелиска. Давай, иди к Булату. Ну, кому сказала? Иди! — Она шутливо подталкивает Оюну, и той ничего не остается, как подчиниться.

Она его сразу нашла. Задумчивый, строгий, в короткой кожаной куртке на молнии, Булат стоял возле обелиска. Он окончил техникум механизации сельского хозяйства и заведует мастерской-летучкой, той самой, на которой Роза — шофер. Комсорг. Боевой парень.

Каждый праздник Булат приходит к обелиску в центре села. На нем золотыми буквами высечено больше ста фамилий хангильцев, погибших на войне, и среди них — фамилия его отца. Сыден Очиров убит в Германии, в городе Биркенау.

Оюна остановилась за спиной Булата. Ее отец тоже не вернулся с фронта. Перед самой победой пропал без вести. На обелиске хотели поставить и его имя, но дедушка, старый Сокто, не позволил: он не хотел верить в смерть сына и до сих пор ждал его возвращения.

Должно быть, почувствовав, что он не один, Булат обернулся. Его коричневое от зимнего загара лицо посветлело.

— Оюна... Ты здесь... Я тебя поздравляю.

— Не надо... Я не хочу быть игрушкой! И выступать я не буду.

Девушка едва сдерживает свое негодование.

Булат растерян. Никогда Оюна не разговаривала с ним так.

— Ты пойми... Ты же передовая чабанка. Понимаешь: передовая! Для всех должна стать примером. На тебя вся молодежь будет равняться! Выпускники всех школ аймака! Представляешь? Следуя почину Оюны Соктоевой... Сколько ребят в животноводство придет! Райком комсомола...

Оюна перебивает его:

— Ну, хватит! Об этом ты достаточно говорил и на собраниях, и когда к нам приезжал...

— А что? — улыбаясь, спрашивает Булат.— Не надо было приезжать, да?

— Не надо!

— Это почему же?

— Вы в какое дурацкое положение меня ставите?

Лицо у Булата вытягивается.

— Я же по работе...

— Не о том я!.. И по работе больше не приезжай. Как-нибудь сами справимся. А относиться надо ко всем чабанам одинаково. Понял? Даже не знаешь, где что делается... В отаре Бабуева падеж начался, а вы тут — праздник, речи...

— Как же так?

— Вот и я о том спрашиваю,— обиженно поджимает губы Оюна.— Как же так?.. Балмацу только что приезжала. Ее так называемый муж опять загулял. Она одна осталась. А какая из Балмацу чабанка? За ней самой надо смотреть.

Булат разводит руками:

— Вот это новость!

— И не буду я сегодня красивые слова говорить. Понял?

От резкого движения Оюна роняет на снег рукавичку. Булат быстро нагибается, но девушка опережает его и поднимает сама.

— Но ведь...— вконец растерявшись, лепечет он,— не я же один принимал решение, чтобы вашей бригаде...

— А мне до других дела нет! Как ты мог?..

Булат робко пытается взять Оюну за руку. Она даже дотронуться не позволяет ему и отступает на шаг.

— Механизированные чабанские бригады тоже, скажешь, без твоего участия создавали? И наша бригада механизированной называется. Одно название! Что ты, механик, на это скажешь?

Ну, тут-то Булату всегда есть что сказать!

— Я понимаю,— с жаром начинает он,— во всем сельском хозяйстве овцеводство меньше всего механизировано. Мы стараемся... Но ты же знаешь — не все сразу удается...

— Вот-вот! Именно: не все сразу. Зато легче всего сделать вид, что все в порядке, все прекрасно... И громкие речи, и высокие звания!..

— Подожди...

— Нет уж, послушай меня. В передовой механизированной чабанской бригаде падеж. И вы хотите заставить меня выступить на митинге? Не выйдет! — Она резко поворачивается и уходит.

— Оюна, постой! — спешит за нею Булат.— Ты просто не хочешь меня понять. Пойдем вместе в правление. Разберемся. Пойми: такое звание...

У Оюны в глазах блестят слезы.

— В том-то и дело, что такое звание!

— А как же твое выступление? — тянет ее за рукав Булат.

— Сам выступай, если тебе так хочется прославиться. А от меня отстань. Мне некогда. Я в степь поехала. К Балмацу... Не ходи за мной. Слышишь?

Булат останавливается. У него пылают щеки, словно Оюна больно хлестала по ним.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кабинет председателя колхоза сплошь обит фанерой. С потолка свисает покрытый пылью красный шелковый абажур. В одном углу — большой сноп кукурузы, в другом — Красное знамя. На стенах — дипломы Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, полученные до войны, и Выставки достижений народного хозяйства за последние годы. В застекленной раме — благодарность Верховного Главнокомандующего за крупный взнос хангильцев в фонд обороны. Рядом пестрая карта земель и угодий артели. Еще дальше — список колхозников.

Напротив входа — большой письменный стол, на ко-

тором установлен громоздкий письменный прибор из уральского камня. Тут же пузатый графин без воды, телефон, старая полевая сумка, поверх которой лежат журнал «Животноводство» и толстый блокнот.

Обращает на себя внимание старинное, с подлокотниками и резными ножками кресло. Много людей занимало его. Теперь им и счет потерян.

В 1955 году, после решения Пленума ЦК, приехал в село тридцатитысячник. Низенький, худощавый, с большими рабочими руками и резкими чертами лица. Был он до того на хорошей должности в аймачном центре.

Зима уже завернула, старый клуб, по обыкновению не топленный, промерз насквозь, и колхозники, пришедшие на встречу с очередным кандидатом в председатели, отнеслись к нему тоже с холодком.

Некоторые рассуждали так: мы начальство всякое повидали, хоть кого ставьте — нам все равно. Другие были убеждены, что будь у нового председателя хоть золотая голова, ничего он не сделает. Однако и те, и те сходились в одном: лучше бы, считали они, возвращался приезжий, пока не поздно.

А кандидат заявил:

— Я приехал в родные края насовсем и никуда отсюда не собираюсь, что бы тут ни случилось. Я не прошу, чтобы вы меня обязательно председателем выбирали. Даже должности бригадира не прошу. Примите рядовым членом артели. Увидите: буду работать не хуже других.

Эти его слова понравились. Откровенно говорил человек. Проголосовали за него.

После-то он, наверно, сам не раз пожалел об этом, но никто от него и слова не слышал, что трудно ему или что надоела такая канитель.

В зерновых хозяйствах весной да осенью страда, а у животноводов — круглый год. Одна кампания кончилась — другая уже подпирает. А полевые работы сами собой: и сев, и сенокос, и уборка. И кроме того — искусственное осеменение, подготовка к зимовке, прием приплода, стрижка овец... Их же больше пятидесяти тысяч — овец! О другом-то скоте что говорить — его, как всюду.

Намучился новый председатель попервости, хлебнул досыта. Но не сбежал.

Вот он — в обшитом фанерой кабинете, в старинном кресле с подлокотниками и резными ножками. По виду не скажешь, что этот человек в помятом сером картузе, синей телогрейке, черных суконных галифе и желтых бурках — председатель. Точно, он — тридцатитысячник, Цырен Догдомович Догдомэ. Только голова поседела.

В правлении он с самого утра. Собрался было поехать по бригадам, да застрял — люди идут, весело рассказывают о вчерашнем празднике, о сагалгане, и ему интересно послушать их. Доволен Догдомэ. Хорошо прошел праздник. Обошлось без молебнов, как раньше случалось. Одна только старуха Содномова, шабганса-кликуша, раскрыла свои иконы-бурханы, да на нее и внимания никто не обратил. И пьянки не было. Бабуев Дондок и еще три-четыре молодца, конечно, набрались. А что с них возьмешь? Они всегда напиваются. Случаев хулиганства тоже не отмечено. Правда, приезжие, калымщики, подрались между собой, так это — чужие люди!..

Вообще-то председатель к сагалгану, да и к любому празднику относится не то чтобы отрицательно — с некоторым сомнением. Любое веселье, по его мнению, если оно не в меру, мешает работе. Но вчера как будто все более или менее было в норме.

Зазвонил телефон. Он надрывается целый день, потому что на одной линии несколько абонентов: один звонок — Судунтуй, два — Будалан, три звонка — Кункур вызывают. И разговаривать по сельскому телефону не такое уж простое дело. В трубке что-то пищит, трещит, кто-то кричит, ругается. Потом все смолкает, и в конце концов раздается звонкий голос телефонистки Цыпелмы с коммутатора:

— Говорите! Чего же вы?

На этот раз телефон звонит четыре раза. Значит, требуют Хангил.

Словно боясь, как бы сказанное секретарем райкома Цыреновым слово не пролетело мимо уха, Догдомэ плотно прижал трубку широкой ладонью и сдвинул брови.

А Цыренов между тем требует представить объяснение, как это могло случиться, что старшая чабанка Соктоева отказалась выступать, принимать знамя, сорвала митинг...

Суток еще не прошло, а он уже знает! Ну, теперь начнется! На всех заседаниях-совещаниях будут склонять.

Сколько раз доставалось Догдомэ: почему у вас нет «примерного звена», «высокоудойной фермы», «передовой отары». Но это все неконкретный разговор — у других тоже не все бывало. А уж с Оюной — факт из фактов! Надолго хватит его жевать.

Догдомэ морщится. Цыренов у себя давно уже трубку положил, а он все еще слушает, как потрескивает в проводах, как звучат чьи-то голоса...

Постучали в дверь.

«Кто бы это? — думает Цырен Догдомович.— У нас не принято стучать. В любой дом без стука входят. Должно быть, не здешний».

— Войдите!

Вон кто, оказывается,— Санджи Бумбеев, практикант-зоотехник, калмык, высокий белолицый парень. Родился он в Сибири. К себе на родину попал, когда после тяжких лет восторжествовала справедливость. Сам-то Санджи еще маленьким был, когда из Сибири уезжал с родителями. Степняку, ему не надо было выбирать дорогу — пошел учиться на зоотехника. И снова угадал в Сибирь — приехал в «Улан-Малчин» на практику. Одетый франтовато — в коротком пальто и узких брюках, Санджи снимает шапку-кубанку, вежливо здоровается с председателем:

— Сайн, Цырен-ахай!

— Мэндэ-э!

Практикант садится на стул напротив Догдомэ.

— Я к вам по делу...

— Сначала новости расскажи. Как привыкаешь к нашим степям? По-бурятски научился уже говорить?

Санджи смеется:

— Я на всех языках понемножку говорю. Смешиваю калмыцкий, бурятский, монгольский, русский. Меня понимают, и я разбираюсь. Сагалган мне понравился. Правильно — сагалган?

— Правильно. А у вас такой праздник бывает?

— Может, в старину был — не знаю. Сейчас другие праздники отмечают... Я у вас ничего не пропустил — ни одной игры. И ёхор, и шагай наадан. Очень хорошо! Даже сээр пробовал бить, не удержался,— Санджи гордо показывает забинтованную руку.— На две части разломал! Не руку — кость!..

— Это хорошо, что разбил.

Санджи мнется, кашляет, осмелев, спрашивает:

— Правда, что вы Калмыкию в войну освобождали? Я слышал...

Цырен Догдомович набивает табаком серебряную трубку, запаливает ее, окутывается дымом.

— Было. Воевал в ваших краях. В сорок втором году. О-ох, что там было! Пожарища. Вся земля обгорела. Ни одного дома целого. Если ад есть,— там хуже было. Думал, никогда в этих местах люди жить не смогут — ничего же не осталось...

— Ну, сейчас вы там ничего не узнаете!

Догдомэ нравится этот парень. Когда он приехал — стеснительный, неловкий какой-то, одет не по-зимнему, не по-сибирски, Цырен Догдомович засомневался: каков ты, братец, на работе окажешься? А Санджи и мороз не мороз, из степи не выманишь. Всем пришелся по душе практикант. И председателю, уважающему трудолюбивых, тоже.

И хотя ждут дела, хотя Санджи с каким-то вопросом пришел, Догдомэ хочется просто поговорить с парнем.

— Какая у вас главная отрасль в хозяйстве? — спрашивает он.

— Скотоводство, как и у вас,— охотно рассказывает Санджи.— Наши степи видели? Их называют черные земли. Каждую осень стада перегоняем. Тысячи тысяч голов скота! Красиво! Конца-краю нет, когда отары идут. Со всей Калмыкии, из Краснодарского края, с Северного Кавказа — всем места хватает. А вообще удивительно: как столько скота помещается?

— Значит, скотоводство. Понятно, что это такое.— Цырен Догдомович шумно посасывает трубку.— А как у вас ведут скотоводство?

Практикант говорит о колхозе, расположенном за несколько тысяч километров отсюда. Догдомэ все интересно: сколько мяса получают, сколько шерсти, сколько молока дают государству, какой доход имеют. То и дело перебивает парня: «А у нас,— говорит,— вот так» — и свои показатели. Любопытно, оказывается, сравнить.

Но вот как будто все выспросил, все выяснил.

— Ну, Санджи, как твоя практика идет?

— Если сам себе отметку буду ставить,— пятерка! — смеется Санджи.

— Очень хорошо. Ты давно на южных стоянках был?

— Как раз оттуда. Затем и к вам пришел. Слабых овец почти нет. В одной отаре только плохо. У Бубеева

или, как его, у Бабуева Дондока. Хотел с вами посоветоваться...

— У Дондока, говоришь?

Догдомэ досадливо морщится: не успел съездить к Бабуеву. Бригадиру поверил, что все в порядке там.

— А самого Дондока видел?

— Нету его,— сердится Санджи.— Это неисправимый бродяга, ваш Дондок. Удрал куда-то. Жена его одна осталась. Ей помочь надо.

— Помочь, говоришь? Трудно помощника найти. Я когда председателем стал, совсем людей мало было. Каждый год сколько семей перекочевывает к нам, и все равно не хватает, чабанов нет. Думаешь, вот так вот взяли да поставили Дондока на отару, хуже никого не нашли. Некого, понимаешь. Некого послать... Ладно, подумаем, что делать. Хорошо, что ты зашел. Спасибо, Санджи.

Калмык смотрит на часы, поднимается.

— О-о! Опаздываю. В кино хочу пойти. Индийская картина идет. «Ганга» называется. Вы не пойдете?

— Некогда... Подожди-ка, друг.— Догдомэ вспоминает телефонный звонок из райкома.— Ты Оюну знаешь? Соктоеву. Старшую чабанку. Знаешь?

— Конечно, знаю.

— А что ты думаешь — почему она от звания отказалась?

— Я думаю, она совершенно правильно поступила.

Председатель снова остается один. Совсем, казалось, благополучно зимовка идет... Может, права Оюна? Догдомэ придвигает к себе настольный календарь, чтобы сделать заметку на память, но в это время с шумом распахивается дверь и входит бригадир Шойдок Цынгуев. Легок на помине!

Шойдок со дня организации колхоза всегда занимал руководящие должности. Был и председателем, и заместителем — кем только не был. Сейчас — бригадир чабанской бригады. Считается требовательным человеком. Очень был рад Цынгуев, когда первое почетное звание решили присвоить его бригаде. И очень возмутился, когда Оюна отказалась от этого звания. Так возмутился, что с праздника ушел и вот когда — через день! — объявился в правлении. Низенький, толстый, в черной папахе, валенках, с немного припухшим лицом и красными глазами, Шойдок цедит сквозь зубы:

— Мэндэ, Цырен!

— Мэндэ, Шойдок. Ну, как здоровье?

Цынгуев садится рядом с председателем.

— Грудь немного болит. Признак старости, что ли... Не знаю.

— Наверно, слишком усердно отметил сагалган,— усмехается Цырен Догдомович.

— Не говори... Люди погуляли на радостях, а я от обиды и горя выпил. В такое положение попал... Просто не выдержать. Я ведь тоже человек...

— Лида ругала?

— Как не ругала! Иметь жену-парторга — самое последнее дело. Все время нравоучения читает... Стараешься, стараешься, а в конце концов теряешь свое лицо. Ты меня знаешь: никогда такого со мной не было. Люди критикуют. Посмешищем стал. Тьфу!

— Ну, Шойдок, брось ты!

— Что значит — брось? Еще эти сопляки будут издеваться!

Цырен Догдомович осуждающе качает головой:

— Зачем ты так?

Бригадир упрямо продолжает свое:

— Надо найти управу на них. Я тебе, как хозяину колхоза, говорю опи-сально! — последнее слово он для пущей убедительности произносит по-русски.

Догдомэ протягивает ему табак.

— На-ка, закури. Нечего так выходить из себя. Немного, конечно, покритиковали. На пользу пойдет. Дисциплина лучше будет, работа еще лучше будет...

Руки у Шойдока трясутся, и он просыпает табак.

— В моей бригаде и так все хорошо идет.

Председатель долго смотрит на него, потом спрашивает:

— Верно ли говоришь? — и даже голос у Догдомэ переменился.

— Будто сам не знаешь. Мы все планы, все обязательства перевыполнили.

— А почему не говоришь, что у Дондока овцы в плохом состоянии?

Как же, смутишь этим бригадира!

— Вы сами мне его сунули. Сколько я им помогал? И не ждите, что Дондок станет передовым чабаном, скорее черная ворона в белую превратится.

— Зачем ждать? Надо найти возможность, чтобы его отара не хуже других перезимовала.

Шойдок швыряет недокуренную самокрутку к печке и тут же свертывает новую.

— Нет. Хватит. Забирайте обратно такого чабана!

— И ты тоже хорошего чабана просишь?

— Да, тоже. Отличного чабана, отличных овец, отличные пастбища, отличные постройки — все должны дать передовой бригаде,— горячится Цынгуев.

Догдомэ не сразу находит, что и возразить.

— Та-ак,— тянет он.— Значит, все лучшее — твоей бригаде? Она же передовая! А я и забыл... Это ты хорошо придумал. Очень хорошо. Чабаны отличные, овцы отличные... А на остальных наплевать? Да? Остальным бригадам — что останется?

Цынгуев пропускает слова председателя мимо ушей.

— Я не первый год работаю бригадиром. Меня всегда ставили на самую ответственную работу. Когда начиналась какая-нибудь новая кампания, кому поручали возглавить ее? Мне. И механизированную бригаду тоже мне доверили. Разве не так?

— Так-то так, да только до механизации еще в твоей бригаде далеко... Я вчера с Булатом Сыденовым говорил. Ему, видать, здорово досталось от твоей старшей чабанки, от Оюны... Надо, однако, нам с тобой к молодежи прислушиваться.

— К этой девчонке? — пренебрежительно отзывается Шойдок, откинувшись на спинку стула.

— Зря ты так говоришь. Нам, действительно, есть о чем подумать. А со званием твоей бригаде мы, пожалуй, поторопились. Надо подождать...

— Чего подождать? — взрывается Цынгуев.— Чье было решение? Мое?

— Мы решили, мы и отменим наше решение. Ты же сам нас ввел в заблуждение.

Слово за слово — поругались и ни до чего не дотолковались.

Выскочил Шойдок из кабинета и дверью хлопнул.

Догдомэ опять настольный календарь придвинул. Нашел на листке свободный уголок, написал: «Овцы Дондока Бабуева». Жирно подчеркнул. Перечитал все пометки на завтрашний день. Много пометок. Отправить машину в Могойтуй за кормозапарниками, позвонить в Читу, в «Сельхозтехнику», насчет запчастей. При-

везти стекло для теплицы. Послать стипендию сыну Гонгорова. Заказать на инкубаторной станции три тысячи цыплят... Еще запись: что-то арендовать. Забыл, что арендовать. Много надо успеть за день. А за месяц сколько? А за год?!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Вот и сагалган прошел... Каждый на год старше стал. А мне уже пятьдесят стукнуло...»

Дансаран Ванганович Гурдармаев, председатель Хангильского сомонного Совета, лежит на диване, размышляет о прожитом и пережитом.

Род у него с давних времен известный, многолюдный, почитаемый земляками. Где только родни нет! — в дальних и близких краях, в городе, в аймачном центре, в соседних колхозах, большие и малые посты занимают. Сам Дансаран Ванганович собою доволен. Смолоду замечен. Был заведующим сельхозотделом Агинского аймачного исполкома. Там случилась с ним большая беда: по злому навету сняли его с работы, из партии исключили, под суд отдали. Удалось ему смыть с себя черное пятно, восстановить свое доброе имя. Много лет уже руководит Гурдармаев Хангильским Советом и, как глубоко убежден сам, старается держать местную власть на должном уровне.

Дом Дансарана Вангановича один из самых больших в селе. И добра в нем немало.

Комната, в которой расположился хозяин, самая просторная. В ней три окна с тюлевыми занавесками, сквозь которые видны разложенные на подоконниках бумажные цветы. У стены высокий, покрашенный в желтый цвет комод, а на нем раскрытый патефон в красном футляре. К печи-голландке придвинут старый диван с зеркалом в спинке. Тут же два глубоких кожаных кресла, изрядно потертых. По всей комнате беспорядочно расставлены стулья. На столе остатки вчерашней гулянки — темно-зеленые бутылки из-под шампанского, красноватые — из-под портвейна, белые — из-под «Столичной». В некоторых бутылках еще что-то плещется. Посуда — разнокалиберная. Тарелки — и фарфоровые, и пластмассовые, и фаянсовые. В блюдах груды полуобглоданных костей, куски жирного мяса, остывшие бо-

зы — большие круглые пельмени, сваренные на пару, и прочая снедь. По всему видно, что здесь был шумный и богатый пир.

«Не пойду сегодня на работу. Отдохну»,— решает Дансаран Ванганович. Он, кряхтя, поднимается, наугад берет наполненную чем-то рюмку, опрокидывает ее, морщится, прислушивается — не легче ли стало голове — и снова бережно укладывает свое грузное тело на диван. Только, однако, выбирает он удобное положение, как надо вставать: кто-то пришел. Дансаран Ванганович обдергивает полосатую пижаму, приглаживает основательно поредевшие волосы.

— Кто там? Ну, проходите сюда. Какие чудные люди. Пришли и не проходят. Здесь места всем хватит — стульев много. Присаживайтесь. Мы тут вчера сагалган немножко отмечали... Чем же вас угостить? Папиросами, что ли? Пожалуйста, вот.

Гости — работники дальних ферм, местные старики и старухи — неторопливо рассаживаются, закуривают. Густой дым стелется по комнате.

— Не знали, что у вас сегодня выходной,— начинают оправдываться.

— Ждали, ждали у сельсовета, домой к вам пошли...

Каждый объясняет причину своего появления:

— Мне печать поставить надо.

— Как с моей пенсией?

— Дочка у нас родила. Здоровый пацан! Хотим внука на себя записать. Можно?

— На свадьбу собираюсь, Дансаран-ахай, в Улан-Удэ. Не-ет, самому жениться поздно! Сын дяди женится. Справку бы получить...

Ничего не скажешь — у всех важные дела. Гурдармаев сдвигает с одного края стола тарелки, вилки, рюмки, нацепляет очки, принимается подписывать бумаги, шлепать печать. Тут же успевает отвечать на вопросы.

Кажется, все. Но гости не расходятся. Разговорились, новости последние обсуждают. Больше всего толкуют об Оюне. Каждый высказывает свое мнение: правильно это или нет — от такого звания отказаться. Во всем, говорят, молодежь виновата, совсем перестали старших слушаться. Кто виноват, что молодежь плохо воспитана? Родители — отец с матерью, или учителя, преподававшие разные науки, или бригадиры, которые руководят молодыми? Что вы — это уже прямо к Дансарану Ванганови-

чу — люди, держащие в своих руках вожжи, думаете об этом?

Гурдармаев никого не перебил, всем дал выговориться. Теперь и ему промолчать нельзя.

— Вожжи должны держать не только в сомонном Совете, не только в правлении колхоза или в партбюро,— поучает он.— Все должны. Сообща можно и горы свернуть. Только тогда все будут трудиться...

— Как сказать...— пытается кто-то возразить, но не находит убедительных слов.

Не очень понятно выразился Дансаран Ванганович, но с ним все же соглашаются.

— Мы еще потом поговорим об этом,— подводит черту хозяин.— Когда надо — заходите. Баяртай!

Он тяжело поднимается из-за стола, пожимает всем руки.

Ушли...

Гурдармаев выпил что-то, не разобрав, из подвернувшейся под руку рюмки, потянулся, громко хрустнул пальцами. Обычно он это делал, когда был не в духе. Нет, неожиданное посещение колхозников не испортило ему настроения. А вот разговор, казалось бы, обычный, получился не совсем приятный. Ох уж эта Оюна! Надо же случиться такому. Пойдут теперь всякие собрания-совещания. Начнут выяснять, кто виноват. А раз так, с председателя сомонного Совета, находящегося к тому же много лет на руководящей работе, обязательно спросят: а где ты был, почему не вступился за честь колхоза, не разъяснил молодой чабанке, что она поступает аполитично? Цынгуев вчера вечером за этим столом всех подряд ругал. Как ругал!..

В окно Дансаран Ванганович увидел направляющегося к его дому Булата и мысленно похвалил себя за то, что догадался позвать комсорга.

Парень, должно быть, очень спешил — запыхался. И комбинезон не снял, прямо из мастерских прибежал. Лицо встревоженное.

— Сайн, Дансаран Ванганович!

— Сайн!

— Вы меня вызывали?

— Ну-у! Зачем вызывал! Зайти просил. Садись, Булат,— он подвинул стул и долго, словно любуясь, разглядывал комсорга.

— Что-нибудь случилось? — смущенно спросил тот.

— Ты стал настоящим мужчиной,— уклонился от прямого ответа Гурдармаев.— Посмотреть на тебя — вылитый Сыден. Как ты похож на отца! Мы с ним были верными друзьями. Вместе в комсомол вступили. Не жалея себя боролись с кулаками, ламами, всякими невеждами. В те годы мы дома не сидели. Днем и ночью — по всей округе. Утром в Улан-Булаке, вечером — в Кункуре, ночью здесь, в Хангиле, проводим собрание. Сколько раз сыновья богачей грозились накормить нас горячим пэлдэном — подстрелить, иначе говоря. Вместе мы колхоз организовали, вместе работали по-ударному. А на праздниках твой отец всегда первым был — ни разу его спина не касалась земли... Когда война началась, нас в один день призвали в армию. Меня по броне оставили, а Сыден ушел. И не вернулся...— Дансаран Ванганович наклонил лысеющую голову.

Булат смутно помнит отца. Когда отец уходил на фронт, ему было всего ничего. Запомнилось только, что громко ревел, а отец с осунувшимся, печальным лицом крепко прижимал его к себе... Знает Булат об отце только по рассказам и старается походить на него, быть во всем таким же, как он, поэтому особенно внимательно слушает и боится пропустить хоть слово.

— Я ведь знаю, как вы с матерью жили, как ты рос,— продолжает Гурдармаев.— Старался помогать, сколько было сил и возможности. Добился вам помощи от государства... Теперь пришла тебе пора за все это отплатить. Ты имени отца никогда не опозоришь, я в этом уверен. Ты стал передовым механизатором, комсоргом — руководишь всей молодежью села. Еще я добился, чтобы тебя выбрали депутатом сомонного Совета. Ты хоть понимаешь, что такое депутат? Депутат! — Он хлопнул Булата по плечу.

Должно быть, слишком уж неожиданно перешел Дансаран Ванганович от воспоминаний к каким-то непонятным намекам, и Булат, подняв глаза, недоуменно смотрит на него, соображая, что за этим последует. Однако надо что-то ответить, и Булат мямлит:

— Начинаю понимать свои права и обязанности...

— Плохо еще понимаешь,— повышает голос Гурдармаев.— Чуть что, допускаешь политические ошибки. Вот мы впервые подняли вопрос, чтобы у нас, в Хангиле, была бригада коммунистического труда. А наш депутат, к тому же комсорг колхоза, провалил этот важный по-

чин... Девчонка наделала шума и удрала в степь, а ты никаких мер не принял.

— Но у нее были веские причины отказаться,— возражает Булат.

— Как это так — отказаться! Ты понимаешь, что значит — отказаться? Если все станут отказываться, как мы построим новое общество? — нанизывает сердитые вопросы один на другой Гурдармаев.

— А если в бригаде обнаружились недостатки?

— А где их нет, недостатков? В других колхозах тоже имеются недостатки, а бригады с высоким званием есть. Есть? Есть! Теперь ты мне скажи: читал ты какую-нибудь инструкцию, как присваивать эти звания?

— Нет, не читал, но...

Дансаран Ванганович не дает ему договорить.

— Нет пока таких инструкций. Здесь надо руководствоваться интересами нашего общего дела. Просто необходимо, чтобы в нашем Хангиле была по крайней мере одна бригада коммунистического труда. Хоть одна! Разве мы хуже других?

— Но если она недостойна? Это же будет настоящее очковтирательство!

— Вот заладил! Если есть какие-нибудь недостатки, их надо устранять на ходу. Понимаешь? А ударная бригада должна быть!

— Я уверен, что будет. И не одна. Только не сейчас.

Гурдармаев чувствует, что не уговорить ему этого парня, и меняет тон:

— Смотри! — и шутливо грозит пальцем, окидывая при этом многозначительным взглядом неубранный стол. Тут же он вспоминает, что перед ним не гость, а человек, пришедший по делу, и протягивает Булату пачку «Казбека».

— Не куришь? Еще не научился? Это хорошо!.. У меня еще один вопросик к тебе — личного характера. «Газик» у меня что-то не в порядке. Муфта, что ли, какая-то сломалась... Помоги...

— Это можно. Только время...

— Найдешь как-нибудь. Договорились?

— Договорились.

Взяв шапку, Булат уходит.

Дансаран Ванганович тяжело дышит. Трогает ладонью лоб: что-то опять голова разболелась. С чего бы? Он оглядывает стол, размышляя, не глотнуть ли... По-

лечить голову ему, однако, не удается: опять кто-то пожаловал! На этот раз — новый заведующий магазином. Вот уж кого не ждал!

Его зовут Сельпо Даши, и он охотно отзывается на это прозвище. Торговля — его призвание. Это непревзойденный мастер всяческих комбинаций, ловкач и делец. Во многих местах, где ему приходилось работать, даже ребятишки знали, как он нечист на руку, но нигде и ни разу он ни на чем не попался, должно быть оттого, что точно знает, когда надо сменить торговую точку. В доме Гурдармаева он впервые и, по-видимому, чувствует некоторую неловкость, а может, только вид делает. Сельпо Даши долго шоркает подошвами дорогих ботинок о тряпку у входа, наконец появляется в комнате и низко наклоняет лысеющую голову, почтительно, но с достоинством.

— Сайн байна! С сагалганом...

— Здравствуй, здравствуй! И тебя с праздником, министр торговли...— хозяин радушно поднимается ему навстречу.

— Спасибо,— лучится улыбкой от ласкового приема Сельпо Даши.

— Садись,— приглашает Дансаран Ванганович.— Надо бы чайком угостить, да хозяйка куда-то ушла... К соседям, наверно... По нашему обычаю нельзя гостя, впервые переступившего порог, без горяченького отпускать... Ну, мы сейчас что-нибудь сообразим...

Он извлекает откуда-то непочатую бутылку, откупоривает ее, наполняет рюмки.

— С праздником!

Сельпо Даши, слегка прищурившись, выпивает. Когда же хозяин вновь берется за бутылку, он решительно прикрывает рюмку рукой.

— Больше не могу — работа... Товар, весы, деньги...

Гурдармаев повторяет один и закуривает.

— Правильно. Работа есть работа. Ну, как твой магазин в эти праздничные дни выполнял план?

— Сами понимаете...— пожимает плечами Сельпо Даши.— На винно-водочные спрос...

— В праздники, конечно, можно план и бутылками выполнять. Но в будни — смотри! Сокращать надо. А на посевную совсем прекратить.

— Конечно, конечно. Но ведь план...

— Ну-у, не мне тебя учить! Ты опытный торгаш,

найдешь выход. Надо будет практиковать выездную торговлю, чаще бывать у животноводов, в степи.

— Обязательно! Только уж вы, Дансаран Ванганович, насчет автолавки похлопочите.

— Я думаю, мы найдем общий язык.

Согретый приемом и водкой, Сельпо Даши нашел момент удобным, чтоб сказать о цели своего прихода:

— Извините, что побеспокоил вас в такой день... Дело такое... Жаловаться я пришел на одного гражданина... Что за человек! Вы даже не представляете...

— На кого жаловаться? — нахмурился Гурдармаев.

— На Бабуева Дондока...

Дансаран Ванганович громко расхохотался.

— Ну, насмешил! Ты что, Дондока не знаешь? Самая яркая личность в Хангиле. Хочешь, расскажу? Когда-то у нас в селе росли сразу семь Дондоков, семь тезок. Все выросли. Одни на фронте погибли, другие поразъехались. Остался только один, самый последний из Дондоков. В полном смысле последний из последних. В школе учился кое-как, по нескольку лет в каждом классе сидел, даже семилетку не кончил. Все старался устроиться, чтобы работать поменьше, а жить полегче. И в армию, как-то так случилось, не попал. Одним словом, наказание, а не Дондок. Попивать стал. Думали, женится — остепенится. Ничего подобного! Дом бросил, жену, куда-то уезжал, снова возвращался... Решили перевоспитать его, заставить работать. Отару поручили. Из этого тоже ничего не вышло. Перед самым сагалганом бросил овец, снова загулял... Так что он такое натворил?

— Ну, к покупателям приставал, деньги у всех просил. После витрину разбил... Ругал последними словами жену...

— Надо было Шоенова позвать, милиционера.

— А он говорит, плевать я хотел на Шоенова. Фиги показывал.— Сельпо Даши понизил голос: — Он и вас, Дансаран Ванганович, поносил...

— Что такое? — сузил глаза-щелочки Гурдармаев.

Сельпо Даши перешел почти на шепот:

— Мне, говорит, все нипочем. И Гурдармаев тоже. У него, говорит, у самого грешки водятся. Он, говорит, из колхозной отары жирных баранов берет...

Дансаран Ванганович, успокоенный, лениво машет рукой.

— Ерунда... Мало ли что пьяный болтает. От дерева — сажа, от плохого — плохое... Но ты, как заведующий магазином, должен пресекать клевету на руководящих товарищей. И правильно сделал, что информировал меня об этом инциденте. Мы таких тунеядцев быстро выпроводим отсюда!

— Будет сделано!

— Вот еще что,— добавляет Гурдармаев.— У нас в Хангиле магазин всегда работал хорошо. Недостач и так далее никогда не было. Я надеюсь...

Сельпо Даши понял с полуслова.

— О чем разговор! Насчет этого будьте спокойны. Вы вполне можете на меня положиться, Дансаран Ванганович... Если вам что-нибудь дефицитное потребуется...— завмаг поперхнулся, поняв, что сболтнул лишнее.— Извините, мне пора за прилавок.

— Ступай,— разрешил Гурдармаев.— Если будут какие вопросы,— заходи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На маленьком столике резко зазвенел будильник.

— Семь часов. Пора вставать. Слышишь, Бабжа?

Тот, кому это говорят, плотнее заворачивается в одеяльце и тянет из-под него плаксиво:

— Не-ет...

— Ты же обещал встать, как только прозвенит будильник. Слышишь, как весело звенит. Красиво?

— Некраси-иво.

— Сыночек! Проснись. Пора уже.

— Еще немножко...

Женщина берет на руки заспанного мальчишку.

— Ну, сыночек, хороший мой...

Мальчик трет глаза, всхлипывает:

— Не пойду в ясли!

Так начинается каждое утро хозяйки дома — Лидии Васильевны Демидовой, учительницы, парторга колхоза.

Самая младшая в многодетной семье, родом из Боханского аймака Иркутской области, она приехала в Агинские степи, окончив педучилище. Учительствовала, работала библиотекарем, снова вернулась в школу, вышла замуж за хангильца Шойдока Цынгуева. Привыкла к здешним местам, будто всегда тут жила. У нее трое детей. Старшие учатся в школе.

В прошлом году выбрали Лидию Васильевну секретарем колхозной парторганизации. Нелегкое это дело — быть парторгом такой крупной артели. Чем только не приходится заниматься. Самой Лидии Васильевне кажется, что важнее всего из сделанного ею — ясли. Обыкновенные детские ясли. Отчасти она считает так потому, что и у нее дети. Пусть всего трое, а маленький — только Бабжа. Но в колхозе чуть не в каждой семье куча ребятишек. У Сансараевых, например, десять молодцов, мал мала меньше. А таких, у кого по три-четыре ребенка,— не сосчитать.

Прежде, во время посевной, стрижки овец, сенокоса и прочих кампаний, в Хангиле открывали сезонные ясли. Но какой от них прок, если они просуществуют неделю-другую? Неохотно отдавали туда детей колхозники. И правильно. Какой смысл мотать малышей?

Загорелась Лидия Васильевна. Отвоевала большой дом, собрала женщин, вместе с ними вычистила, выскоблила, побелила все комнаты. Мужики новую ограду из штакетника сделали, площадку для игр, маленькие кроватки, столики, стульчики смастерили. Догдомэ расщедрился — денег дал на коврики, на разные игрушки. Накупили кукол, мячиков, книжек, кубиков, диафильмов. Дансаран Вангапович штат выхлопотал: воспитательница, медсестра, повар, полсторожихи. Повесили вывеску:

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ
колхоза «Улан-Малчин»

Когда по-серьезному что-нибудь делается, все видят. Повели ребятишек в ясли, и упрашивать никого не пришлось. Больше трех десятков малышей уже ходят!

Теперь Лидия Васильевна добивается, чтобы ясли были круглосуточными. Тогда и с дальних стоянок будут возить. А сколько рабочих рук высвободится! Потому и считает парторг это дело первой своей победой. Потому так радостно собирает каждое утро своего Бабжу.

И сегодня, как обычно, поднялась чуть свет. Успела уже завтрак приготовить до того, как будильник затвенел. Раскраснелась в домашних хлопотах. В желтом ситцевом платье, мягких тапочках, с полотенцем на плече держит в руках таз с водой, зовет сына:

— Бабжа-а! Иди умываться скорей!

Толстенький, с жесткими черными волосами, Бабжа никак не может натянуть майку.

— Я чистый.

— А посмотри-ка на себя в зеркало.

Вздохнув, малыш наклоняется над тазом.

— Ну, мойся,— мать льет ему на шею воду из ковша.

— Холодная! — взвизгивает Бабжа.

— Ничего-о, закаляйся. Ты же мужчина! — смеется Лидия Васильевна и намыливает ему лицо, уши.

— Ой, в глаза! Щиплет! — вопит мальчишка, трясет головой, разбрызгивая пену.

С грехом пополам Бабжа умыт, одет и накормлен.

— Ну вот, можешь отправляться. Нравится тебе в яслях?

— Сначала нравилось, а теперь нет.

— Почему?

— Плохо там.

— Вот так так!..

Полгода потратила Лидия Васильевна, чтобы сделать доброе дело, и вдруг собственный сын такое говорит!

— Почему же плохо?

— Да-а! Руки мыть заставляют. Кашу каждый день дают. И еще днем спать велят...

Успокоенная, Лидия Васильевна смеется:

— А ты как бы хотел? Порядки соблюдать надо.

Бабжа заглядывает в спальню.

— Папа еще спит?! Я его сейчас разбужу.

Еле удается остановить его:

— Он поздно с работы пришел. Пусть отдохнет. А ты иди. Посмотри-ка в окно: Балма и Дугарма уже пошли.

— И я с ними! — Бабжа срывается с места.

Лидия Васильевна глядит ему вслед. Из спальни слышится голос мужа...

Без малого два десятка лет прожили они с Шойдоком. Хорошо прожили, ничего не скажешь. И в колхозе Шойдока ценили. А когда бригадиром стал, словно подменили его. Работает, как бы это получше сказать, неважно, а хочет, чтобы его бригада считалась передовой. Всякими правдами и неправдами добивается этого. Дома теперь у них постоянные стычки и на людях

тоже. К Лидии Васильевне придирается: «Хоть ты и парторг, а ничего не понимаешь. Раз ты мне жена, почему не поддерживаешь? Правду говорят: у бабы волос длинный, а ум короткий...»

Это бы все ничего. Попивать стал Шойдок. Крепко. И домой поздно возвращается. Вчера почти под утро заявился. На ногах не стоял. Начал всякую чепуху городить. Прямо одетый на диван свалился, уснул.

— Лида! Нет чего-нибудь... опохмелиться?

— Нет ничего. Спи!

«Надо с ним как следует поговорить»,— думает Лидия Васильевна. Время еще позволяет, и она принимается за уборку. Быстро подтерла пол, смахнула пыль, вытряхнула из большой раковины-пепельницы окурки, поправила кружевную скатерть на столе, привела в порядок книги на этажерке.

К некоторым людям, занимающим большие должности, домой ходить не любят. Сюда же приходят запросто. Вот и сейчас, несмотря на ранний час, возле дома остановилась машина, простучали шаги на крыльце, отворилась дверь.

— Мэндэ амар, Лидия Васильевна!

— Оюна? Мэндэ-э! Давно я тебя не видела.

— Бригадир дома?

— Дома... Что-то захворал он. Лежит...— Лидии Васильевне стыдно говорить правду, и она опускает глаза.

— Что с ним?

— Температура... В общем, сам виноват... Выздоровеет,— сердито говорит парторг.

— Во-от как...

— Ну, чего ты стоишь? Раздевайся.

— Некогда, тетя Лида.

Почти насильно хозяйка снимает с нее шубу, любуется ее зеленым платьем.

— Сама шила?

— Ага. Кто же еще...

— Конечно. Чего я спрашиваю,— смеется Лидия Васильевна и вертит перед собою девушку.— Очень тебе идет... И модное. Ты посиди. Я сейчас.

Она скрывается на кухню, несет оттуда на подносе чайник, чашки, оладьи, сушеные пенки — урму, варенье.

— Что вы, что вы! Мне правда некогда.

— Сиди!.. Что ты говоришь? Нельзя от чая отказываться.

Чтобы не обидеть хозяйку, Оюна берет чашку.

— Варенье клади. Смородиновое. Сама варила. Вкусно?

— Ага.

Маленькими торопливыми глотками Оюна отхлебывает чай и косится на дверь, за которой временами слышится кряхтенье бригадира. Девушка смущена. Ей неловко оттого, что она пришла сюда. Правда, Лидия Васильевна так сердечно встретила ее, за стол усадила, а в душе-то, наверное, все равно простить ей не может, как и Цынгуев... Не поднимая глаз, Оюна говорит:

— Я очень переживаю... Подвела вас всех. Вы меня извините, тетя Лида. Но я не могла...

— Конечно, мне неприятно,— лицо Лидии Васильевны серьезно,— что я раньше не разобралась... Ты, девочка, правильно поступила, молодец.

— Правда, тетя Лида?

— Конечно. Поспешили мы. Тут и моя вина...

— Мы все равно добьемся! — глаза Оюны заблестели.

— Верю, верю. И не сомневайся — поможем. Я с Булатом говорила насчет шефства.

На щеках Оюны загорается румянец.

— Шефство, конечно, хорошее дело. Но мы в своей отаре сами справимся...

Она так горячо протестует, что Лидия Васильевна без труда догадывается о причине возражений и спешит переменить тему:

— Что нового у вас в степи?

— Нового?.. Я с Шойдоком Цынгуевичем посоветоваться хотела. Раз он болеет, вам скажу. Посмотрела я на овец Дондока, прямо жалко их — худые, еле ходят. Балмацу с ними замучилась. Может, взять мне ее отару?

— Ой, хорошо ты придумала! Вот так и надо помогать друг другу.

— Боюсь я... У меня самой опыта мало. Как, справлюсь?

— Справишься! Сокто-ахай тебя одну не оставит.

— Дедушка говорит, нельзя хороших и плохих овец в одной отаре держать.

Лидия Васильевна задумывается.

— Сердится на меня дедушка. Я думала, вместе бу-

дем ходить за овцами, а он не хочет. Я на него не обижаюсь. Он старенький... И у него, кроме меня, никого нет.

Оюна очень любит деда. Из-за него и в институт не поступила, осталась в деревне. Конечно, и от класса неудобно было отрываться — раз все решили. Лидия Васильевна поняла, что Оюна пыталась уже столковаться с Сокто-ахаем, да не смогла, потому и явилась.

— Уговорим твоего деда. Бригадира попросим. Или к Цырену Догдомовичу обратимся. Еще чаю?

— Спасибо. Где-то Дугаржаб пропал... Кладовщика, что ли, не застал? Я хочу соль отвезти. Можно, я пока ваши книги посмотрю?

— Конечно. На нижней полке интересные. Я их по подписке получила. Там же Циолковский. Нашла? Сейчас все стали читать про́ космос, про звезды.

— И я тоже.

— Найди-ка «Три печальных холма». Это пьеса монгольского писателя Нацагдоржа. В ней песни хорошие. Разучили бы их да спели на смотре. Как?

— Я возьму с собой?

— Бери.

— Ой, новый номер «Байкала»!

— Вчера принесли. В нем про наш Агинский округ есть.

— Надо на почту забежать — я тоже выписываю.

На улице послышался гудок автомобиля.

— Вот и Дугаржаб подъехал,— Оюна направилась к вешалке.

— Эй, кто там пришел? — подал голос Шойдок.

— Все свои,— отозвалась Лидия Васильевна.

— Что я, не слышу, что ли? Ударница явилась?

— Молчи!

— Оюна, иди сюда,— позвал бригадир.— Стыдно, небось? Опозорила ты меня... А я старался, тебя поднимал... Эх ты...

Заскрипели пружины дивана.

Оюна торопливо надевала шубу и никак не могла попасть в рукава.

— Не бойся, Оюна,— успокоила девушку Лидия Васильевна и прикрикнула: — Шойдок, кому говорю, спи!

В соседней комнате стихло.

— До свидания, тетя Лида,— Оюна выскочила за дверь.

— Будешь в деревне — заходи.

Пора на работу. Лидия Васильевна сняла халат, подошла к шкафу, поглядела на себя в зеркало. Располнела немного, а так ничего еще... Складочка на подбородке появилась. Икры потолстели. Сама себе погрозила пальцем. Надела дошку, вязаную шапочку с помпоном. Замкнула дверь. По дороге не утерпела, завернула в ясли. Бабжа играл с ребятишками и на нее даже внимания не обратил.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Этот довольно старый приземистый домик стоит на самом краю улуса. С виду он невелик, а зайдешь в него — и совсем маленький. Давно не беленые грязновато-серые стены кажутся заиндевелыми. На окнах, в которые вставлены слепленные замазкой осколки стекла, намерзло на палец льда. Входная дверь изнутри обита серым войлоком, а ручка на ней — из конской подковы. Посреди избушки печка, такая маленькая, что можно сосчитать кирпичи, из которых она сложена.

Небогато и убранство: широкая кровать, ящик-ларец на трех ножках, квадратный стол и несколько табуреток, сундучки, небольшая божница-гунгарба... В углу — теленок на привязи, а по соседству с ним бодается пара мохнатых козлят. Тут же, в ящике, три или четыре курицы.

По всему видно: нет в доме хозяина. А старая Бальжима-абгай мало что успевает, хотя весь день на ногах. Это ведь только считается, что домашние хлопоты — не работа. А на самом деле? Чуть свет затопить печь, подоить коров, процедить молоко, прибрать хоть немного, обед и ужин приготовить, что-то постирать, что-то пошить... Оглянуться не успеешь — ночь на дворе. И таким порядком и завтра, и послезавтра день за днем, день за днем. Сделано, вроде, много, а глазу не видно. Если бы еще помогал кто, или ноги помоложе... Сколько лет уже с топором ли, с пилой или молотком не хуже мужика управлялась, ни дома, ни хозяйства не развалила. Когда муж с войны не вернулся, когда нет опоры, все приходится делать самой. А годы берут свое. Уставать стала быстро. Никогда никаких болезней не знала — прихварывать начала. Ох, правду говорят: старость — не радость.

Ходит по избушке Бальжима-абгай чуть сгорбившись, словно тяжело ей даже одежду носить — старый коричневый тэрлик-халат, пестрый клетчатый платок, разношенные кожаные унты. Темное лицо ее будто высохло, руки стали маленькие, худые, тело костлявое. Присела передохнуть, а все равно заделье нашла — длинными щипцами шевелит угли в печке.

Старший сын — Булат — только что пришел с работы. Скинул замасленный, пропахший бензином комбинезон, плещется у рукомойника. Оттер руки, лицо, шею, накинулся на еду, точно не ел неделю. Хватает, что под руку попадется,— ломоть хлеба, печеную картошку, сметану из банки. И все на ходу!

Возвращается Булат обычно поздно, зато уж больше из дому никуда. Наестся досыта — и за стол. И сейчас, не дожевав еще, схватился за письма — контрольные задания из института. Туговато у него идет. Давно уже пора курсовые работы по сопромату отправлять, а он еще не начинал.

Булат придвигает учебники, но сначала берется за газеты. Быстро пробежав их, набрасывает на плечи телогрейку, погружается в занятия. Широко расставил локти, низко наклонил над книгой голову, так что длинные прямые волосы, падая, едва не закрывают глаза.

На другом конце стола примостился младший братишка Ким. Его Бальжима-абгай взяла из детского дома. Ким с утра до вечера пропадает на улице. Приходит, когда мать позовет, когда проголодается или захочет спать. У него пока еще забот никаких — играет. Последние два или три дня в его руках не увидишь ни красивых картинок, вырезанных из журналов, ни стеклянных пробирок, ни даже бабок. И маленький реактивный самолетик, с которым не расставался, забросил, и рогатку. Булат принес ему старые часы-ходики, и мальчишка, разобрав их, мастерит из зубчатых колесиков какую-то машину. Лицо у Кима обветренное, руки потрескались, волосы подстрижены неровно, лесенкой — это Бальжима его стригла. Увлекся он своей машиной, возится с нею. Его и не слыхать.

Только в такой поздний час собирается вместе вся семья. Соскучившаяся в одиночестве за день Бальжима-абгай заводит разговор. Хочется ей поделиться новостями, сыновей послушать. Хоть и не выходила она со двора, а в курсе всех событий. Все знает! Что в мага-

зин новые товары привезли, что на почту деньги для пенсионеров поступили, что у Сансарая Батоева снова сын родился, а Бато-Болот Жамсаранов женил сына, что к Базаровым гость приехал из Монголии, а Бадме Цыремпиловой навозили бревен для новой избы. Не спеша рассказывает старуха, нимало не заботясь — слушают ее или нет. Добравшись, однако, до бревен, Бальжима повышает голос и начинает ворчать. Дескать, кто может, тот делает, а кто не хочет — у того и нет ничего. У кого в селе дом хуже всех? Скоро совсем развалится. Пора бы подумать, как поправить хозяйство. Ей это уже не под силу... Дальше, как водится, начинает Бальжима-абгай перечислять всех ровесников Булата, которые обзавелись семьями...

Теперь ее не остановишь. И слова поперек не скажи. Булат знает это и лишний раз в спор с матерью не ввязывается. Но когда, как ему кажется, его обвиняют несправедливо, он не выдерживает, оправдывается. Перечисляет, что за день сделал, куда и зачем ездил на «летучке», где буксовал... «Мы,— объясняет матери,— стараемся в первую очередь поднять общеколхозное хозяйство. Если будем хорошо вести общее дело, вся наша жизнь изменится. Будет у нас и новый дом, и все другое». Четко так говорит, будто из толстой книги цитату читает.

Бальжима только рукой машет.

Вступает в разговор и Ким. Ему хочется чем-нибудь удивить старших, но какие у него новости? Опять рассказывать, что с ребятами подрался? Его же и наругают. Ким не раз уже попадал впросак. Как-то признался, что за морковкой в погреб лазил,— попало. Обмолвился, что видел, как Булат Оюну провожал,— снова досталось. Вообще-то лучше помалкивать. Этих старших не поймешь, чего им нравится, а чего нет. Хотя бы про Булата с Оюной. Ким их, как разведчик, выследил!.. А поговорить ему хочется. И он объясняет, что за чудо-машина у него получится. Но его не слушают.

Бальжима палит на огне говяжьи ножки и, в который раз, поучает сыновей:

— Доо! Ваш отец Сыден какой был... Коммуну в наших местах кто создавал? Сыден. Все бедняки вместе собрались. Работали вместе. Из одного котла ели. Ваш отец,— она всегда говорит «ваш отец», хотя Ким никогда не видел его,— сколько старался, чтобы новую

жизнь построить. Кто людей уговаривал, чтобы в колхоз вступали? Сыден. Ваш отец. Туда, сюда ездил, на собраниях выступал. Ему нойоны и баины грозились, убить хотели. Доо! Ночи не спала, боялась... Много Сыден сделал. Ферму он строил. Кошары. Дома еще до сих пор стоят. Война началась — первым заявление подал, добровольцем уехал... Ты, Булат, совсем маленьким был. Ох, тяжко без него стало. Мы работали, себя не жалели. Скот дохнет, кормить нечем. Сами голодные. Как только выжили?.. Не дай бог! Все ждала — вернется ваш отец...

Тихо в избушке.

Скребется мышь под сундуком.

Шипят в печи сырые дрова.

— Вот какой ваш отец. Совсем дома не бывал. Все на работе, на работе,— вздыхает Бальжима и не то с гордостью, не то с осуждением произносит: — И ты таким же растешь, Булат, только о делах думаешь. И Ким целыми днями на улице пропадает...

Булат оторвался от книги, повернулся к матери.

— Работы много, мама...

— Я понимаю,— добреет Бальжима,— когда ты делом занят. А при чем тут это ваше шефство?

— Мы должны помогать чабанам. Хотя... некоторые чабаны не хотят, чтобы я... чтобы мы...

Булат вспоминает о размолвке с Оюной. Надо же так рассердиться! И говорить не захотела, и приезжать запретила.

— Я слышала, внучка Сокто-ахая от хорошего отказалась. Не знаю, правда, нет ли. Худых овец на себя повесила. Дондокову отару взяла. Зачем ей это? — Бальжима вздыхает. Ей нравится Оюна. Вот такую бы невестку...

— Дондокову? — спрашивает Булат.— Это новость!

— Все об этом говорят,— подтверждает мать.— Я уж на тебя подумала: не ты ли в этом деле советчик? Сбили хорошую девушку с дороги...

Булат еле слышно произносит:

— Чуть-чуть не сбили...

— Чего ты бормочешь, не пойму? — спрашивает Бальжима.

— Это я так... Все будет, как надо, мама.

«Такой же упрямый, как отец»,— радуется в душе Бальжима, а сама допытывается:

— Доо! Почему ты встреваешь во все?

— Если каждый будет думать — пусть подальше от меня, поближе к солнцу,— чего мы сможем сделать?

— А хорошо, когда твое имя у людей на языке?

— Пусть бездельники языки чешут!

«Не переспоришь его! Был бы жив Сыден, обязательно бы за Булата заступился, да еще рассердился бы»,— думает мать.

— Почему ты никого не слушаешь?

— Я слушаю...

Трещит на углях паленая шкура, пахнет жженой шерстью. Бальжима скоблит ножки, говорит будто самой себе:

— Только и знает машины да железо. Что за сын! Совсем от дома отбился.

Булат откладывает учебник в сторону.

— Ты же знаешь, что мы ремонтируем технику. Ездим по бригадам.

— Я вырасту большим и тоже буду механиком,— вступается за брата Ким.

Мать сердито грозит ему пальцем.

— Сейчас каждый должен знать технику,— Булат отбрасывает волосы на затылок.— Даже чабаны теперь механизаторы.

— И на всех машинах будут красные флажки! — выпаливает Ким.

Бальжима ворчит:

— На машине ездит, а для себя никогда не пользуется. Другие все, что надо, привезут...

— Колхозный транспорт нельзя использовать в личных целях,— будто цитатой отвечает Булат.— Ты не беспокойся, я что-нибудь придумаю...

— Брат все может,— неймется Киму.

— Ложись спать, пока не отшлепала! — строжится мать.

— Рано встанешь — возьму с собой в гараж,— подмигивает Булат.

— Правда, возьмешь?

— Спи! Уже двенадцать скоро.

— Еще пол-одиннадцатого!

— Ложись!

Наступает тишина. Бальжима разгребает угли в печи, бурчит под нос:

— В одной семье все по-разному рассуждают. Уже друг друга понимать перестали...

Булат успокаивает:

— Вы не волнуйтесь, мама. Все будет хорошо. И дом новый будет.

— Ты только говоришь...

— А что мне еще сказать?

— Конечно, только бы отвязаться.

— Вы отдыхайте, мама.

Бальжима стелет постель и совсем тихо бормочет:

— Доо... Мучаешься всю жизнь... Роди их, на ноги поставь, старайся, чтобы выросли не хуже других. Все для них, все для них... Ни дня отдыха не знала. Говорят, на шестом десятке счастье приходит. Где оно, счастье? И краешка даже не видела. Хорошо будет... Хорошо! Жду, когда будет, да не дождусь. Здоровья совсем не стало. Сны плохие снятся. Не мне за вами, а вам за мной присматривать надо. Пора уже. Мне бы чаек попить, невесткой сваренный. Счастливые-то давно внуков нянчат...

Керосиновая лампа, отбрасывая желтый круг на потолок, слабо светится далеко за полночь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Насколько хватит глаз лежит ничем не прикрытая и в зной и в холод степь. Летом — жгучая, не здешняя жара, зимой — стужа, как в северных краях. Каких только причуд не преподносит природа! Бывают тут и наводнения, и ветры с пыльными бурями, и лютые пурги, и все испепеляющие засухи.

Сходит снежное покрывало, появляются проталины, степь становится пестрой. Изменяются дни, веет теплом, близится весна.

Чего только не повидала за долгие века эта степь! Знала она и голод, и засухи, и гололеды, и пожары. Войны тоже не обходили ее стороной. Звенели по ней копыта скакунов лихих баторов. В давние времена осели здесь и зажили мирной жизнью восемь родов агинских бурят. Словно напоминая о тех днях, там и сям виднеются, как встарь, войлочные юрты. Но живут в них люди современные — колхозные чабаны. И степь переменилась. Богаче стала она, гордой, счастливой.

На ее просторах — несчетные отары овец. Не тех бурятских овец, длинношеих, диковатых, с поджарым те-

лом и большим курдюком, и не привозных — большеголовых, мохнатых, коротконогих, толстых и неповоротливых мериносов. Овцы новой породы — тонкорунные — лучше и тех и других. И шерсть у них самая лучшая, и мясо — пальчики оближешь, и характер степной, забайкальский. Их не удержишь в загонах. Выносливые, они почти круглый год — холодно ли, жарко — пасутся в степном раздолье.

Отара, что медленно бредет к новому пастбищу, непохожа на другие. Среди молодых овец-тулгушек много ослабевших. Они еле волочат ноги, уткнув морды в землю.

Хозяйка этой отары Балмацу ездила недавно в правление, выпросила две машины комбикормов, но их надолго не растянешь. А до первой травы еще далеко... Совсем было отчаялась чабанка. Но тут пришла на помощь ее младшая подруга Оюна Соктоева.

— Тадь, тадь, тадь! — изредка покрикивает Балмацу на овец.— Негодные, не слушаются совсем. Так брести будете, когда дойдем?

Погоняй — не погоняй овец, быстрее они не пойдут, отощали.

— Санджи-и! Иди сюда! — зовет Балмацу.

Будущий зоотехник, студент-практикант Санджи Бумбеев сразу после того, как побывал у председателя колхоза, вернулся в эту отару. Вот он в надетой набекрень кубанке спешит на зов.

— Что случилось?

— Да ничего. Просто надоело идти одной. Скучно. Поболтаем о чем-нибудь.

— Давайте. А о чем?

— Все равно.

— Балмацу, я у вас...

— Санджи, не зови меня на «вы». Меня сроду никто так не называл. Да и не люблю я.

Парень удивлен.

— Но вы же старше меня! Я вас должен уважать. Можно, я буду вас Балмацу-абгай звать?

Выросшую сиротой Балмацу никто «тетей» не называл. Она смеется.

— Ладно. Зови, как хочешь.

— Абгай, я хотел, чтобы вы о себе...

Покосилась на него чабанка, глазами сверкнула: шутит он или серьезно?

— Что мне про себя рассказывать? Родилась в Хойто-Аге. Кончила пять классов. Сейчас мне тридцать лет. Вот такая я... Как говорят, сколько плохое мясо ни кипяти, навара не будет. Некоторые люди до старости доживут, ума не наберутся. Так и я. Нашла себе муженька и осталась ни при чем. Ну, да теперь чего о нем говорить — разошлись...

— Может, еще сойдетесь.

— Нет, хватит. Давай-ка бросим этот разговор. Даже слышать о нем не хочу.

— Но одной ведь плохо.

— И не скажи! Еще как плохо. У моих ровесниц по четыре-пять детей, а у меня — никого... На воспитание кто мне даст? Мог быть ребенок у меня — раньше времени родила. Теперь, наверно, и не будет. На базаре в Чите мне цыганка сворожила, что я никогда не рожу...— Балмацу густо дымит толсто скрученной самокруткой.

— Цыганка наврала. Вы ей не верьте! Вы же молодая...

Балмацу обрывает его:

— Давай о другом.

— О чем?

— Ты по сравнению со мной много чего перевидел. В разных городах бывал. Расскажи.

— Шумно в городе. Я пятый год в институте. Надоело уже. В степи лучше.

— А вот я один раз только и была в Чите.

— Правда?

— А то? Не было случая куда-нибудь поехать. Дондок один туда-сюда разъезжал.

Санджи от души жаль чабанку, и он начинает рассказывать о городах, в которых бывал, о дворцах, вмещающих тысячи людей, об улицах, по которым снуют бесчисленные машины, о больших площадях, скверах, фонтанах...

— Вот вы станете, Балмацу-абгай, передовой чабанкой, и вас пошлют в Москву, на выставку.

— В Москву, говоришь? Мне такое и не снилось. Доброе у тебя слово,— радуется Балмацу.

— Я верно сказал.

Глаза у женщины словно шире стали, лучатся радостью. Оглянулась, увидела отставшую овцу.

— Что с ней такое?

— Вы гоните отару. Я принесу,— пустился бегом назад Санджи.

— Тадь! — резкая в движениях, широко шагает Балмацу.

...Отстала овца по кличке Борбондой, та, которую чабанка из своих, взамен павшей, отдала. Санджи узнал ее, своевольную, не привыкшую к отаре, осмотрел — ухо давно подморожено, рот в зеленоватой слюне. С виду как будто здорова, но живот почему-то вздут. Может, переела? Как узнаешь, что с ней? Овца не скажет, что у неё болит. Блеет жалобно... Санджи взял ее на руки, понес. От Борбондой несет тяжелым запахом полыни, навоза, пота. Она успокоилась, затихла, устало и часто дышит. Сначала казалось, легкая овца, но с каждым шагом вес у нее будто прибавляется. Санджи уже запыхался, вспотел, но не выпускает ношу. Борбондой положила ему морду на плечо и затихла. Парень даже забеспокоился — не сдохла бы? Вот будет история, если прямо на руках зоотехника, хотя еще и без диплома, студента-практиканта, подохнет животное. Стыда не оберешься! Он опустил овцу на землю. Борбондой, громко пыхтя, поджав под себя ноги, улеглась. Санджи сел рядом, достал «Справочник зоотехника», начал листать.

Балмацу остановила отару за бугром, окликнула:

— Что стряслось?

Услышав голос хозяйки, Борбондой подняла голову, заблеяла, встала на ноги и, как ни в чем не бывало, потрусила к отаре. Санджи удивленно поглядел ей вслед.

— Ничего не понимаю!

— Тебя решила разыграть! — подняла его на смех Балмацу.

Санджи спрятал справочник за пазуху и не спеша зашагал. Не прошел он, однако, и сотни метров, как увидел, что прямо на него с лаем мчится огромная, ростом с теленка чабанская собака. Он кинул кусок хлеба — всегда носил в кармане на такой случай, пес и внимания не обратил на хлеб. Санджи попятился — разорвет!

— Хоройшо, сэг! — послышался голос.

Пес перестал лаять, но рычал довольно грозно.

Навстречу трусил на серой лошадке какой-то старик с длинной ургой-укрюком в руке.

«Наверно, Сокто-ахай»,— подумал Санджи.

Он не ошибся. Это был действительно старый чабан Сокто, дед Оюны, хозяин степей. Так его, правда, никто

не называет, но вполне могли бы, и это было бы вполне справедливо. Сокто-ахай из рода хуасаев, давних жителей Агинских степей. И тонто его — место, где он появился на свет,— в этих краях, и жизнь свою всю провел здесь. Знает каждый бугор, каждый холмик, каждую муравьиную кучу, каждую норку суслика. Сколько помнит себя, всегда шагал за отарами. Мальчишкой пас несколько своих овец. Женился — стал пасти отары Сандана-нойона. Овцы подыхали от бескормицы, их резали волки — отвечал Сокто, оставаясь вечным должником нойона. Появился в Хангиле колхоз — Сокто чабаном поставили. Много раз ударником был. Он и сейчас лучший чабан.

Рано овдовевший, Сокто-ахай сам воспитывал единственного сына, вырастил его, женил. Жил — радовался. Невестка от родов померла... Осталась у двух мужчин на руках Оюна. В сорок третьем ушел сын на фронт и пропал без вести. Не верит старик, что погиб сын, ждет, надеется — может, вернется?

...Вот он подъехал совсем близко к Санджи, старый чабан в привычной бурятской шапке, просторной шубе, в которой, однако, не отыщешь ни щелочки для ветра и холода, в видавших виды сапогах-гутулах. Редкие усы посеребрил нетающий иней семидесяти осеней, лицо покрылось морщинами, глаза ослабли. Руками, сплошь в взбугрившихся жилках, он натягивает повод коня.

— Мэндэ, парень!

— Мэндэ, Сокто-ахай! — Санджи приподнимает кубанку.

Старик неторопливо слезает с коня.

— Что-то перестал я людей узнавать... Ты чей будешь?

— Бумбеев я. Санджи. Очень дальний. Приехал из Калмыкии.

Не очень-то поняв, Сокто-ахай погружается в раздумье. Санджи почтительно стоит рядом, переминается с ноги на ногу.

— Я дальше телячьей тропы не выходил,— говорит наконец старик,— серые холмы не переваливал, дальние земли не видел. Только из легенд знаю о потомках Джангара-батора.

Сокто-ахай присел на корточки, достал из-за пазухи кисет из бараньей мошонки, по старинному обычаю протянул гостю.

Санджи не курит, но отказаться — обидеть старого человека. Он берет щепотку табаку, неумело сворачивает цигарку.

— Ханлсн!

— Что ты сказал?

— Ханлсн. По-нашему, спасибо.

— А-а, башыба, как русские говорят. Ты, парень, не удивляйся. Я, словно какое животное, табак жую.— С этими словами дед отправляет за щеку добрую щепоть табаку, мнет его редкими зубами.

— Интересно вы курите! — удивляется Санджи.

Помолчав, Сокто-ахай обращается с вопросом, который задает каждому приезжему:

— В сорок третьем мой единственный сын ушел на фронт... Может, ты встречал его где-нибудь? Зоригто Соктоев его зовут.

Санджи медленно качает головой.

— Нет. Не встречал. Да я в таких местах жил, что и встретить не мог...

Видно, что ответ его огорчил старика.

— Иные возвращаются. Пора бы и моему сыну приехать. Или случается такое, что люди забывают свои родные края?

— В каких бы дальних краях ни жил человек — свою землю, свой народ, семью, родной язык никогда не забудет! — взволнованно говорит Санджи. Ему самому довелось это испытать.

— В судьбе человека всякое случается,— вздыхает старик.— Ну, как тебе нравятся наши степи?

— Очень нравятся! — восторженно отвечает Санджи.— Как родные. Каждый пригорок, каждая долина. Просто замечательно здесь у вас!

— О-е, да ты настоящий степняк. Верно говоришь: лучше наших мест вряд ли где еще есть... Я тебе сейчас вот что расскажу. Видишь,— согнутым пальцем Сокто-ахай показывает на вершину пологого холма,— каменная баба там? Шуулун-абгай ее зовут. Хозяйка степи!..

— Вижу. Я даже ходил туда, поближе посмотреть. Думал, памятник кому.

— Вот слушай. Давно это было. Трудные времена для степей настали: зимой — шурган-пурга, летом — засуха-зуд, пожары... А хуже всего набеги врагов. Оттуда, из-за гор,— показывает старик на юго-восток,— приходили они. Злые, безжалостные. Убивали наших воинов,

угоняли табуны, ни старых, ни малых не щадили... Куда ни откочевывали наши земляки, как ни скрывались — всюду настигали их злые люди. Одна пастушка все пять видов скота своего улуса спасла. Ушла в степь — потерялась. Знала она, где ее никто не найдет. Всю зиму в степи скрывалась. От голодных волков отбивалась. Хитрых лазутчиков, которые по степи шныряли, обманывала — уводила от них большое свое стадо. Сама до весны продержалась, скот весь сохранила и приплод сберегла. Стали коровы и овцы, козы, верблюды и кони на зеленую траву... А сил-то у нее нету больше. Чувствует — смерть ее подходит. Так не хотелось ей умирать... Все трудное позади. Поднялась она туда, посмотрела в последний раз на степь, да так и застыла... Камнем сделалась.

— Какая чудесная сказка! — воскликнул Санджи.

— Не сказка это,— нахмурился Сокто.— Я про степь много знаю. Если кому интересно слушать — рассказываю. Нет никого — овцам своим рассказываю... Ну, теперь про себя скажи. Что ты у нас делаешь? В каких местах бываешь?

— Вот, с помощью ваших земляков хочу стать зоотехником.

— Это хорошо. Для меня нет лучшей работы, чем чабанская. Я думаю, это самая нужная работа.— Сокто сплевывает табачную жвачку.

Вспомнив, как он оконфузился с Борбондой, Санджи решается кое о чем порасспросить старого чабана.

— Буряты очень опытные в животноводстве,— начинает он издалека.— В каких трудных условиях разводят такое множество скота! Когда болезнь какая-нибудь раньше у овец случалась, как лечили?

— Своим способом,— кратко отвечает Сокто.

— Расскажите,— просит Санджи.

— Травами целебными лечили...

— А еще?

— Кровь дурную выпускали. Как-то мой конь занемог, я сам ему кровь пустил. Видишь шрам?

Санджи вынул блокнот и ручку.

Увидев, что парень собирается что-то записывать, старик забеспокоился.

— Сейчас так лечить опасно. А я не то, что старину вспомнить, про теперешнее забывать стал. Так что не слушай ты болтовню стариков.

— Это же интересно!

— А ты заезжай ко мне. Поговорим,— Сокто поднялся, давая понять, что разговор окончен.

— Мы как раз к вам и идем! — обрадованно выпалил Санджи.

— Кто это — мы?

— Балмацу и я. Она за тем бугром с отарой. Гоним овец Бабуева к вам.

На лбу Сокто все морщины сбежались в глубокую складку.

«Сколько ни говорил, берет все-таки внучка отару. Да еще на исходе месяца, не в тот день недели...»

— Дондоковым овцам почти всем подкормка нужна. Худые вовсе. Наверно, еще заразные! — и плюнул с досады.

— Одна только больная овца. Остальные здоровые,— растерянно забормотал Санджи. Он не ожидал, что старик так вспылит.— Истощенных, правда, много.

Сокто легко вскочил на смирного, словно задремавшего коня.

— Эти девки все по своей воле хотят... Пока не поздно, надо с бригадиром поговорить. Шойдок, как будто, в пади Манти... Ну, парень, баяртай!

— До свидания.

Опустив голову, Санджи поплелся к Балмацу.

Сонный с виду, конек Сокто-ахая с места взял рысью. Старик хотел было еще поторопить его, но заметил почти над головой орла и натянул поводья. Орел кружил на одном месте, что-то высматривая внизу, стрелой понесся к земле, снова взмыл.

— Н-но!

Конь рванул.

Проскакав совсем немного, чабан увидел, что объягнившаяся карнаухая овца преспокойно бросила только что родившихся близнецов и пошла себе...

— Ммм-а! Ммм-а! — блеяли ягнята, возвещая о своем приходе в этот мир.

Старик спешился. Подошел ближе. Махонькие! Не больше рукавицы. Сквозь тоненькие ребрышки, если посмотреть, солнце можно увидеть. Желтенькие копытца, толстые суставы на длинных ножках. Словно пьяные, тычутся мордочками в землю, пытаются сесть. Кое-как встали на четыре ноги, шатаются. Янтарно-желтыми глазками уставились в степь — куда это мы попали?

— Эх, бедняги! Чуть в когти орла не угадали. И не знаете, что мать вас бросила. Еще замерзнете... Вот чабаны! Не заметили даже, что овца объягнилась! — Сокто-ахай гладит еще мокрых ягнят.

Посидел рядом с ними, взял их под мышки, зашагал. Конь двинулся за ним.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Дороги...

На все четыре стороны бескрайней равниной легли степи. Из конца в конец проборothдили их тропы, выбитые скотом, колеи от телег, широкие дороги для машин. Пересекаются, переплетаются, разбегаются, сходятся вместе эти пути-дороги, петляют вдоль рек и речушек, огибают холмы, ныряют в нечастые перелески, теряются в жесткой траве.

Вот старушка, посадив позади себя девочку с сумкой на боку, трясется в седле, погоняя коня. Вот, бросив вожжи, кто-то дремлет на телеге с бидонами, которую лениво тянет упряжка быков. Вот лихо крутит педали, склонившись над рулем велосипеда, парнишка. Куда-то мчатся на красном мотоцикле с коляской три милиционера. Оставляя за собой шлейф пыли, несутся почитаемые на селе «ГАЗ-69» и быстрые, изящные «Волги». Обгоняют друг друга груженный ящиками «ЗИЛ», минский самосвал, чешский цементовоз, цистерна с молоком, фургон автолавки — все спешат. Натужно гудит лесовоз, тащит длинные бревна, обвязанные цепями. Подвывая сиреной, обходит всех пожарная машина.

В этом нескончаемом потоке и внимания не обратишь на отслужившую не один срок трехосную машину с высокой будкой-кузовом. Через много рук прошла она. Ездили на ней люди с правами и без прав, умелые и разгильдяи, трезвые и пьяные. Одно время все местные шоферы учились на ней. В общем, досталось ей. Пришла пора, когда и ремонтировать ее отказались, хотели списать да в утиль сдать. Но год назад снова ожила она. Собрали ее из ничего — один номер от нее оставался, и превратили в передвижную техническую мастерскую — автолетучку. Очень понадобилась колхозу такая мастерская.

К ветровому стеклу «летучки» пристроен «бортжур-

нал». Ведется он аккуратно, в нем записано, что, где и когда делал экипаж мастерской.

1 марта. Сделали обкатку мотора после капитального ремонта. Завтра отправляемся в рейс.
2 марта. Поставили радиатор на «Беларусь» в строительной бригаде.
3 марта. Ремонтировали кормозапарник на ферме Харганаш.
7 марта. Сменили лемехи на тракторных плугах во второй чабанской бригаде в Зун-Убжиё.
9 марта. Чинили передний мост «ГАЗ-69» (ЧИ № 75-66).
11 марта. Сменили динамо на электродвигателе культбазы.
12 марта. Ремонтировали сепаратор на ферме Куйтун.

Сегодня — семнадцатое. Записи в журнале еще нет. «Летучка» направляется на южные стоянки — проверить, как готовят технику к посевной в бригаде Шойдока Цынгуева.

Дорога мягкой лентой стелется под колеса. Прохладный ветерок лезет в щели кабины. На обочинах изредка поблескивают брошенные пустые бутылки. Там и сям виднеются снежные заплатки. Чутко дремлют в ожидании тепла и весны красноватые кусты ерника.

За рулем — Роза Кузнецова. Чуть подавшись вперед, она ловко крутит баранку, смотрит, не отрываясь, синими своими глазами на быстро набегающую дорогу, лишь изредка бросая взгляд в боковое зеркальце. Зеркальце прилажено так, что идущие сзади машины в нем не отражаются, зато можно увидеть, на месте ли веснушки и родинка над верхней губой, в порядке ли короткая прическа, сделанная в подражание какой-то известной киноактрисе.

Рядом с нею Булат, старательно исполняющий многотрудные обязанности механика. В своем неизменном комбинезоне он крепко спит, не замечая ни тряски, ни толчков, ни крутых поворотов. Накануне Булат чуть не до утра просидел над книгами, и сон сморил его, едва выехали из Хангила.

Розе скучно, и она включает приемник, вмонтированный в приборный щиток. На всех волнах сплошной треск. Сквозь него пробивается разноязыкий говор. И вдруг чистый девичий голос доносит песню:

По берегу широкого Онона
Скакуна бы пустить хорошо!

Булат открывает глаза, но они тут же снова смыкаются. Роза звонко подпевает приемнику:

С другом своим любимым
Свидеться бы хорошо-о-о!

Одолев сон, Булат во все горло подхватывает последнее слово:

— Хорошо-оо!

Оба смеются.

Приемник выключен. Вместе они поют, подражая известному монгольскому певцу Жаргалсайхану, «Песню охотников», потом — русскую песню про ивушку зеленую, над рекой склоненную...

— Выспался, наконец! — укоряет Роза.

— Ну, прости.

— Не будешь больше?

— Нет.— Булат смотрит на часы.— Как раз! Начнем урок?

— Давай.

Булат долго шарит по эфиру, пока не находит передачу на английском языке. Хорошая практика для заочника! И Роза понемногу начинает разбираться.

— О чем это? — спрашивает она.

Слышится какой-то шум, свист, оглушительные аплодисменты, рев многих тысяч голосов, скороговорка диктора. Булат переводит:

— Репортаж о футбольном матче. Ирландцы с кем-то играют... Не разберу. Счет 1 : 2. До конца второго тайма осталось две минуты... Гол!.. Все,— огорчается он.— Поздно включили.

Долго не удается ничего поймать. Отчетливо звучит: «...ревизионисты» с характерным акцентом.

— Надоело! Одно и то же болтают.— Булат резко крутанул рычажок настройки, прислушался.— Вот, по-английски...

Слышно плохо, поэтому он почти прижимает ухо к приемнику.

— Знаешь о чем? Про Вьетнам. Хвастаются, что бомбят города... Эх, зла на них не хватает! Разрешили бы добровольцем — сразу бы поехал.

— И я тоже.

Бежит дорога, бежит время, мчится «летучка». Вдали показалось стадо.

— Вы вступаете на территорию подшефной бригады! — торжественно произносит Булат.

Роза чуть сбрасывает газ.

— У них много машин?

— Сейчас посмотрим. ДТ-54, «Беларусь» и грузовая. Ну, конечно, всякие там плуги, сеялки, бороны, культиваторы... И с ними, конечно, хуже всего. Сколько их на полях побросали!.. Давай-ка проедем вдоль того поля, посмотрим.

Так и есть. В одном месте брошенный с прошлого года пятилемешный плуг. Рядом ощетинилась зубьями борона. Чуть поодаль — кольчатый каток.

— Что за люди! — возмущается Роза.

Булат увидел что-то еще, нахмурился.

— Ну-ка, газани. Сюда, левее!

Девушка переключает скорость, жмет на акселератор.

...Возле сеялки стоит запряженная в телегу лошадь. Трое незнакомых мужчин ходят вокруг.

Подъехав вплотную, Роза останавливает машину, тихо говорит Булату:

— Это калымщики.

Булат выпрыгивает из кабины.

— Эй, парень, помоги-ка,— зовет его один из мужчин.

У всех троих обросшие щетиной лица. От них разит водкой. В руках ломик, молоток, разводные ключи.

— Что вам здесь надо? Что вы делаете?

— Колеса временно берем. Добрый прицеп получится.

— Оставьте сеялку!

— А нам бригадир разрешил.

— Чего вы зрете! — возмущается Роза, вслед за Булатом вышедшая из кабины.

— Ты, красавица, зачем щеки надула? — один из калымщиков пытается обнять девушку.

Роза размахивается.

Нахал держится за скулу. Двое других хохочут.

— Здорово влепила!

— Дай ему еще раза! От такой, как ты, и схлопотать — удовольствие.

Подбадриваемый приятелями, тот, которому досталось по физиономии, снова пытается облапить Розу. Булат становится перед ним.

— Хватит!

Дружки, от греха, оттаскивают его в сторону.

— Вы с ним не связывайтесь, он у нас психованый... Поезжайте-ка лучше своей дорогой.

Роза шепчет:

— Давай быстрей в бригаду. Оттуда людей привезем.

— Нельзя. Пока мы ездим, они все растащат и скроются. Мы возьмем сейчас сеялку на буксир. Ты подгони машину, а я прицеплю.

Он направился к передней раме сеялки, но его тут же схватили за комбинезон, сунули волосатый кулак под нос.

— Понюхай!

Булат спокойно отвел руку, нагнулся над сеялкой, но тут же был сбит с ног.

— А-а, вы так! — Булат вскочил и коротким прямым ударом — в челюсть «психу». Тот покатился по земле. Второй попытался поддать головой, но Булат увернулся, и он брякнулся лбом о колесо сеялки.

— Едрена палка! — кинулся сзади третий.

Булат и его отшвырнул от себя.

Тогда навалились все трое. Кто-то из них ударил тяжелым по затылку. Булат упал.

— Айда! — калымщики кинулись к телеге и понужнули лошадь.

— Жулики! — кричала им вслед Роза.— Мы на вас найдем управу!

Она подбежала к лежащему без движения Булату, села возле него, положила его голову себе на колени, тихо погладила. Парень тут же открыл глаза, а она залилась краской. Булат снова сомкнул веки.

— Ты настоящий костоправ, Роза. Твои руки мгновенно исцеляют. Я сразу ожил.

— Слава богу! Ну, как ты? Сильно болит?

Булат приподнялся, пощупал затылок, покрутил шеей — ныло здорово, однако он улыбнулся.

— Вроде цел... А эти удрали, да? Давай возьмемся за сеялку.

Минут через десять «летучка» с сеялкой на прицепе тронулась к бригаде. Ехали медленно — стрелка спидометра не переваливала через отметку «20».

Их легко обогнал «газик», притормозил, остановился впереди. Из него вышел Сергей Петрович Кузнецов, отец Розы.

Потомственный металлист, Кузнецов родился в Нер-

чинске. В начале тридцатых годов очутился он в Агинских степях. Прикатил на маленьком — чуть больше десяти лошадиных сил — тракторе. Когда неведомая машина, тарахтя и чадя, показалась в Хангиле, от нее с ревом разбегался скот, перепугались и люди. На следующий день Кузнецов начал пахать поле в Байса. Старики поднялись: грех, дескать! Сергея Петровича это не остановило. Все, конечно, обошлось. Привыкли в селе и к трактору, и к Кузнецову. Полюбили Сергея Петровича. За простоту, за трудолюбие, за то, что не умел он ни на кого сердиться, обижаться, хотя добреньким никогда не был.

Первый хангильский механизатор объездил много железных скакунов. С «фордзона-путиловца» пересел на ХТЗ, работал на челябинском тракторе, укротил НАТИ, заставил работать капризный Т2Г — газогенераторную машину. Все трактора и не упомнишь! А пропаханные им борозды не раз обернулись вокруг земли. Любая техника, присланная в село, оказывалась в умелых руках Кузнецова.

Как своего, провожали Сергея Петровича на фронт. Командир тяжелого танка, он дошел до Берлина. Вернулся в Хангил на прежнюю работу, механизатором.

Ему пришлось строить машинно-тракторные мастерские, ему же пришлось и заведовать ими, когда построил.

Сегодня Сергей Петрович ездил в аймачный центр, выколачивал в «Сельхозтехнике» запасные части. Добыл, по-видимому, немало, и настроение у него хорошее. Подошел к «летучке», поддразнивает:

— Эх вы, горе-механики! Как это еще прицеп свой не потеряли?

Булат выскочил, обежал фургон. Одно колесо сеялки — которое пытались снять калымщики — держалось на честном слове.

— Мы, батя, не виноваты,— затараторила Роза.— Мы эту сеялку еле-еле отбили. Ее раскулачить хотели. Знаешь, какая драка была! У Булата синяков не сосчитать!..

— С кем же вы сражались?

Булат потрогал затылок — там набухла и глухо ныла порядочная шишка.

— Калымщики колеса снять хотели.

— Ничего,— похлопал его по плечу Кузнецов.— До свадьбы заживет.

— Будем надеяться,— отшутился Булат.

— Давайте закрепим колесо. Батя, помоги.

Сергей Петрович послушно направился к сеялке.

— Беззаботный у нас народ! Свое никто не бросит. А на это,— он шатает колесо,— и хозяина не найдешь.

— Таких людей надо к ответственности привлекать.

— Какая ты быстрая! Наказать легче всего. Воспитывать надо. Ну-ка, Булат, отворяй свой механический цех.

Он забрался в фургон, зажег лампочку.

— Ну и порядочек у вас... Черт ногу сломит! Механик, разве так можно? А ты куда смотришь, Роза?

— Мы торопились,— оправдывается Булат.

— Знаешь, как во время поездки бывает... И пыли полно. Домой вернемся — наведем полный блеск! — бодро заявляет Роза, но ей стыдно и за себя, и за своего начальника Булата. Как же они недоглядели? Конечно, непорядок в мастерской, грязно, раскидано все. Ну, уж теперь она Булату спуску не даст!

С помощью Сергея Петровича злополучное колесо быстро и прочно прилажено.

— Вот так-то, горе-механики... Что же вы теперь всюду за собой собираетесь свой трофей таскать? Оставили бы где-нибудь поблизости, чтоб под присмотром ваша сеялка была.

— Конечно,— подхватывает Роза.— Мы, наверно, завернем к кошарам Оюны...— и ждет, что скажет на это Булат.

— Лучше, по-моему, в дармаевскую отару,— мямлит тот. Ему и хочется побывать у Оюны, и боязно: а ну как снова рассердится? Не велела же...

Кузнецов решительно поддерживает дочь:

— Какой может быть разговор! Конечно, к Соктоевой. Ей сейчас особенно ваша помощь нужна.

— Ты у меня, батя, молодец! — веселится Роза.

— Ну, ладно,— не очень охотно соглашается Булат.

— Вы на меня, ребята, не обижайтесь. Я вас сейчас критиковать буду. И воспитывать тоже. Вы у нас, можно сказать, на переднем крае механизации. Нет, нет, не потому, что «летучка». «Скорую помощь» вы оказываете исправно. Я же в ваш «бортжурнал» заглядываю. Всюду успеваете, всем все чините-ладите... Не в этом дело. «Чиним-паяем, ножи точим, бритвы правим!..» — вот что может из «летучки» получиться. Станете вы

механизированными шабашниками. А задача у вас совсем другая... Как бы это сказать. Ну, во-первых, больше всего вам надо не ремонтом заниматься, а профилактикой. Предупреждать поломки, а не устранять их. Что это значит? Учить надо механизаторов, как с техникой обращаться. Хорошо бы по бригадам курсы организовать, знакомить людей с техникой. Вот назвали мы чабанские бригады механизированными, а что толку? Сядет какой-нибудь чабан вместо коня на мотоцикл и уже считает себя механизатором. Ерунда это! Думать, думать надо, как нам облегчить труд животноводов и особенно — чабанов...

— Да разве мы...— не вытерпел Булат.

— Я же сказал: не обижайтесь,— мягко остановил его Сергей Петрович.— Поломайте голову, глядишь — что-нибудь да новое сообразите. Ну, мне пора, друзья. Надо соседям помочь мостовой кран в мастерских установить.

«Газик» Кузнецова утонул в пыли и исчез.

«Летучка» тоже рванула в степь. Заспорили, расфантазировались механик и водитель. Начали, вроде бы, о деле, а договорились до того, что будут когда-нибудь роботы вместо пастухов, и вообще все сможет обходиться без людей. Есть же птицефабрики — одна автоматика. Миллионы яиц, сотни тысяч цыплят-бройлеров, а людей, которые фабрику обслуживают,— раз, два и обчелся... Дальше — больше: до космоса добрались. Это уж Роза Булата поддела, язычок у нее ого-го! Быть, говорит, тебе, Булат, начальником космической мастерской! Будешь с планеты на планету летать!.. Может, и меня возьмешь? — спрашивает.— Водителем. Я бы согласилась...

Машина толкает перед собою сноп огня. Яркие лучи пронзают весеннюю темень, и кажется, что «летучка» движется по нескончаемому тоннелю. Вскоре впереди показались огоньки чабанской стоянки.

Роза обрадована: здесь ее ждет отдых, встреча с лучшей подружкой. А Булат примолк, насупился, тревожно у него на душе.

— Как хочешь,— заявляет Роза, когда они подъезжают к кошарам,— а будем тут ночевать.

— Пусть будет по-твоему... Иди, отдыхай. Я поставлю машину.

— Еще чего! Я сама.

Спорить с ней бесполезно. Даже своему непосредст-

венному начальнику не доверяет Роза машину. Вылезла из кабины, осмотрела «летучку», в мотор заглянула, спустила воду из радиатора.

— Пошли.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На Золотой земле, если верить сказкам, каких только дворцов нет! И все — сказочные. Жить в таких дворцах, должно быть, неудобно. Особенно кочевникам.

В степях дороже любого сказочного дворца обыкновенная войлочная юрта.

Много поколений бурят рождалось, жило и умирало в юртах. И дошли эти незатейливые жилища через столетия до двадцатого века в первозданном виде. Долго ли при смене пастбища или стоянки разобрать юрту, сложить на телегу, перевезти на другое место и справить очередное новоселье?

Крыша круглая, дверь непременно на южную сторону, внутри — ничего лишнего, только самые необходимые, нужные в хозяйстве вещи. Имущество кочевника от моды не зависит. Отцами, дедами, прадедами проверено и отобрано то, без чего нельзя обойтись.

И эта юрта — не лучше, не хуже других. Ее совсем недавно установили. Скарб, увязанный в тюки, еще не разобран. Даже гунгарба-божница не поставлена на почетном месте напротив входа, а с нее начинают устраивать жилье на новом месте. На старинный окованный сундук сложены грудой матрацы на манер олбоков-подстилок. Низенькая деревянная кровать покрыта овчинным одеялом, на которое брошена кожаная подушка с медными бляхами.

Лежит, ворочается на этой постели Сокто-ахай. Худо ему лежать без дела в юрте. Можно бы и еще поспать, да опять тот же сон лезет — словно кочует он в незнакомых местах. Куда уж дальше кочевать?..

Утром запряг Сокто лошадку, погрузил юрту, направился подальше от кошар. Как ни упрашивала внучка остаться, плакала даже,— настоял на своем.

Поднялся, кряхтя, старик, унты надел, шапку островерхую нахлобучил, потер озябшие руки, принялся ладить очаг.

Очаг...

Огонь всегда был священным, даже когда в юрте горел обычный костер. Печи у бурят-кочевников появились сравнительно недавно. Все равно к ним — особое, почтительное отношение. У Сокто-ахая старенькая железная печка величиною с небольшое ведро. Надо бы сменить ее, да где найдешь такую? И труба у нее потрескалась, и вьюшки с заслонками прогорели, проржавели. Печка дымит, чадит, кизяк-аргал в ней горит плохо, много золы остается. Нехорошая это примета, когда очаг не в порядке.

Кое-как старику удается собрать это старье, разжечь огонь.

Из фанерного ящика высунули мордочки два ягненка, словно спрашивают, не забыли ли про них. Никто не хватился близнецов, и они нашли пристанище в юрте старого чабана. Вымазанные сажей от чугунков, ягнята таращат глазенки. Из-за этих глупых несмышленышей и решился старый Сокто откочевать. Если Балмацу с практикантом ухитрились потерять их, как они с отарой управятся?

— Эх, бедняги,— присаживается перед ними старик.— С вами мне не так одиноко. Я тоже, выходит, пасу овец... Вы не бойтесь, с вами ничего не случится... Я вас коровьим молоком буду поить.

Загудела печка, наполняя юрту теплом. Потихоньку, чтобы хозяин не заметил, вползла с улицы собака, улеглась поближе к огню, положила огромную лохматую морду на лапы, легонько постукивает длинным хвостом. Ей, вообще-то, сюда вход воспрещен. Старик делает вид, что не замечает пса, но не с ягнятами же ему разговаривать.

— Ты когда успел забраться, Хоро́йшо?

— Гав! — отзывается пес.

— Никому мы с тобой оба не нужны...

Хоройшо моргает, будто соглашается с хозяином. Уши у него вдруг поднимаются. Пес вскакивает, глухо рычит.

— Ты чего? Лежи!

В юрту просовывается голова Бальжимы-абгай.

— Сайн, Сокто-ахай!

— Сайн. Кто это? Вроде, Бальжима?

— Я это.

— Проходи, садись.

Старуха, одетая в темно-синий тэрлик, обходит печ-

ку. В руках у нее небольшой сверток. Она садится на корточки, кладет сверток рядом с собой.

— Доо! Меня Булат с собой взял. Намучилась... Угораю я в этих машинах. Проведать приехала, да сразу-то вас и не нашла. Сменили стоянку?

— Да, сменил,— не очень охотно отвечает старик.

Бальжима развязывает узелок, протягивает Сокто-ахаю что-то завернутое в газету.

— Я вам гостинец привезла. В кладовой мясо взяла. Хорошая говядина...

— Спасибо. Соскучился я по мясу. Весна...— Он с поклоном принимает подарок.— Не слыхать, никто из фронтовиков не возвращался?

— Нет, не слыхала. Вы все про сына?.. Поводья у мужчин, говорят, длинные. Вдруг да вернется...

— Я все думаю: открыл бы сын дверь моей юрты, пока я жив.

Желая утешить старика, Бальжима говорит:

— У вас уже внучка большая. Настоящей чабанкой становится.

Сокто-ахай сует в рот табак и мотает головой.

— Я тоже так думал. Ничего из нее не выйдет. Самых слабых овец к себе в отару забрала. Я ей говорю: «Нельзя таких истощенных держать»,— не слушает. И просил, и грозил, и ругал. Велел, чтобы обратно отогнала. Ей хоть бы что!

— Доо!

— Си-ильные чабаны... Приплод в степи растеряли! Подобрал вот сироток, выхаживаю...— Он гладит корявой ладонью мордочки ягнят.

На лице Бальжимы удивление.

— Как же они думают разводить овец?

Сокто перестает жевать табак.

— Болтать они только мастера.

— И правда,— подхватывает Бальжима.— Нынешняя молодежь совсем старших не слушает. Я сколько своему Булату говорила, чтобы знал свои машины и не лез куда не надо. А он заладил: мы — шефы, мы помогаем! Все сюда рвется.

«Вот оно что! — хмурится старик.— Недаром Сыденкин сын часто ездил. Это он, значит, девке голову мутит».

— Я так и думал. Был бы Сыден жив, ничего такого не было бы. Из-за этого парня и у нас, значит, с внучкой

вышел разлад.— Старику только сейчас это в голову пришло, но он убежден, что знал об этом раньше.

— Что вы говорите?! — Бальжима поражена. Никак не ожидала она услышать такое. Был бы жив ее Сыден, давно бы обменялся с Сокто-ахаем кушаками — высватал его внучку, и все бы ладом пошло. А что она, беспоясная, сделать может? Не полагается ей, женщине, невесту сыну выговаривать. Хотя нынче и равноправные все, а обычаи есть обычаи... И все-таки в какой-то тайной надежде Бальжима наведывается к старику, гостинцы ему приносит, сама без подарков не уходит. Все ждет: может, какой случай породниться представится. Дождалась, кажется, получила подарочек! Где уж тут родниться, когда старик про ее сына такое говорит!..

И тут — ни раньше, ни позже! — входит Оюна. Остановилась у входа, теребит концы шали.

— Сайн...

— Сайн! — приветствует ее Бальжима.

Она всегда рада видеть девушку. Такую бы ей невестку!

— Хорошо ли, плохо, а живем...— Сокто-ахай будто продолжает разговор.

А это уже для внучки:

— Мы, старики, беседуем вот, что наши дети не слушаются нас. Стали теперь грамотные, ученые. По своей воле хотят...

— Да нет же! Мы хотим...

Старик машет рукой.

— Хватит! Ты меня досыта накормила своими речами. Знаю я, чего вы хотите.

— Отец,— почти шепчет девушка,— я на телеге приехала. Мы все просим, чтобы вы обратно перекочевали.

«Умница какая! — восхищается про себя Бальжима.— Отцом дедушку зовет. Конечно, надо бы ему вернуться, одной семьей жить».

— В молодости какие ошибки не сделаешь,— решает она поддержать Оюну.— Доо... Не оставляйте Сокто-ахая. За ним присматривать надо, старенький он уже. Добром ему за все отплатить...

Старику не нравится это заступничество.

— Как-нибудь сам за собой присмотрю. Если что,— земляки позаботятся, не бросят... На этих что надеяться? Они бы за овцами получше ходили.

— Те, которых пригнали, уже лучше стали. Вот поедем, сами увидите. Ладно?

— Ишь вы какие быстрые! Уже на ноги овец поставили,— ехидно замечает Сокто-ахай и закладывает за щеку новую порцию табаку.

Очень хочется Бальжиме помирить старика с внучкой, и она опять вступает в разговор:

— Лишь бы весну продержаться, а там все наладится...

Поняв, что ей не удастся уломать деда, Оюна начинает наводить порядок в юрте. Сокто-ахай будто и не замечает.

— Продержаться-то, может, и продержатся... А не знают, какой их год ждет. Самый суровый из всех двенадцати годов будет — год змеи. Пестрый год. С жалом. Я зря говорить не стану — всю жизнь в степи прожил. За небом привык следить. Кое-что научился понимать. Теперешняя природа, может, конечно, и не такая, всякие там атомы взрываются, а все равно, по приметам, будет большая засуха... Без дождей какой травостой? Где сена взять? Зуд-бескормица с лета начинается...

Бальжима — что поделать: лучше Сокто-ахая никто примет не знает — принимает сторону деда:

— Дедушка зря не скажет. Не-ет. В двадцатые годы, помню, засуха была. Начисто все степи выгорели. Не дай бог, такое повторится... Я слышала, старики говорили: дацанских лам надо позвать, молебен отслужить, освятить наше обо [1].

Оюна едва сдержала смех.

— А при чем здесь обо?

— Ты старших не перебивай.

— Откуда им знать? — вздыхает Бальжима.

— Мы в ваши дела не вмешиваемся, и вы к старикам не лезьте,— ворчит Сокто-ахай.

Почти не надеясь на успех, Оюна делает еще одну попытку уговорить старика:

— Отец, возвращайтесь в бригаду. Не хотите чабаном быть — луговодом будете. Вы давно хотели...

Приятно слышать Сокто-ахаю, что он еще нужен людям, но сдаваться не собирается.

— Я к вам ни на какую должность не пойду!

Расставив по местам нехитрые пожитки деда, вымыв

---

[1] Обо — священная гора, жертвенник.

посуду, Оюна натаскала аргала-кизяка, собралась уходить.

— Что ж,— говорит она на прощанье,— воля ваша. Я поехала. Вам ничего не нужно?

— Да нет, ничего...

— Обожди, Оюна, я с тобой. От бригады на попутной уеду,— поднимается Бальжима.

— Я коня приведу.

Оюна вышла из юрты.

— Ну, живите благополучно,— раскланялась Бальжима.

Провожал их только пес Хоройшо. Дед Сокто даже не выглянул из юрты.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Засуха — зуд наваливается на степи не чаще одного-двух раз в сто лет, но, если уж случится, долго помнят о ней. Не только Бальжима-абгай, многие старики сохранили в памяти страшное бедствие. Несколько месяцев тогда, в двадцатых годах, не выпадало ни капли дождя. Пересохли реки, ручьи и озера. Потрескалась земля. Куда ни глянь — всюду бело, пусто, голо. Даже никому не нужная горькая полынь не устояла перед жарой. Зато небывало размножились кузнечики и саранча. Этой тварью, жужжащей и стрекочущей, наполнившей своим зудящим гудом всю степь, кишела каждая ложбинка. То ли обманутый зеленым их цветом, то ли с голодухи, одуревший от зноя скот с хрустом пожирал эту гадость.

Выпадали и после не раз засушливые годы, но не такие страшные. С начала весны чуть не каждый год долго приходилось ждать первых дождей, однако к июню, глядишь, все налаживалось — и земля влажная, и всходы дружные, и трава легла сплошным зеленым ковром.

А нынешняя весна, похоже, должна была подтвердить худшие предположения Сокто-ахая. Гидрометслужба ничем не обнадеживала — циклоны и антициклоны бушевали где-то за тысячи миль от Агинских степей и не намеревались пригнать сюда хороший табун сытых от воды туч. Щедрая природа почему-то поскупилась на забайкальские степи, установив им жесткий лимит осадков в несколько миллиметров на год, и ученые-географы на

этом основании отнесли солидную часть Забайкалья к зоне пустынь и полупустынь. Изменить тут ничего нельзя, и приходится как-то подлаживаться, приспосабливаться к капризам природы.

С невеселыми мыслями о несовершенстве природы шагал весенней степью Цырен Догдомович Догдомэ, председатель колхоза «Улан-Малчин». Бескрайний простор колыхался перед ним в зыбком мареве. Солнце палило, как в июле, прожигая насквозь последние сугробы в самых глубоких оврагах. Расплавленный снег журчал сотнями ручейков, сливался на дне оврагов в пенистые потоки. Шел Догдомэ берегом одной из таких стремительных рек, смотрел на убегающую воду и приходил в тихую ярость от собственного бессилия.

Он остановился на краю оврага, расстегнул телогрейку. Подождал отставшего Дугаржаба — тот, слегка прихрамывая, спешил к нему от «газика», на котором вместе приехали.

— Что же это происходит, Цырен Догдомович? — перевел дух Дугаржаб.

Председатель уселся на пригорок, набил табаком трубку.

— Какое добро пропадает... Не могу спокойно смотреть! А виноваты сами. Снегозадержание не проводим. Талые воды тоже не умеем задерживать. Представляешь,— ткнул Догдомэ трубкой в сторону потока,— сколько убежит. Через несколько дней все пересохнет...

Дугаржаб наклонился над обрывом. Чуть левее овраг мельчал. Еще на полметра поднялся бы уровень воды, и река без труда перехлестнула бы через него в едва заметную, давным-давно заросшую травой канаву.

— Что же делать?

— Пока не поздно, надо направить половодье на луга Майлы, Харганаши, Кункура,— Цырен Догдомович кивнул на дальние луга.

— Надо!.. А как? Разве вода потечет по нашему желанию?

— Раньше текла. Раньше наши земляки строили настоящие оросительные системы, перекрывали реки, рыли канавы, а на высоких местах даже котлованы копали... Как ты думаешь, на чем я сижу?

— Как на чем? На земле.

— На системе! — усмехнулся Догдомэ.— Отсюда во

все стороны были прокопаны канавы. Никто их не ремонтировал — заросли, осыпались.

Дугаржаб присел у канавы, ухватил горсть влажного суглинка.

— Восстановить бы все это...

— Затем и привез тебя. Хочу тебе поручить. Попробуй. Техника у нас есть. Я думаю, даже один раз плугом пройтись, и то дело будет.

— А кто мне машину даст? — недоверчиво поглядел на председателя Дугаржаб.— Цынгуев говорит, ни за что инвалида к технике не подпущу.

— Он же тебя бережет, о тебе заботится,— заступился за бригадира Догдомэ.

— Зачем меня оберегать? Летчик Маресьев... Чем я хуже?! У меня одна нога здоровая. Вторая хоть на протезе, все равно как живая. Смотрите! — Дугаржаб несколько раз подпрыгивает.

Догдомэ изумленно смотрит на него. Даже о трубке забыл.

— Хватит! Я тебе верю. Такой, как ты, все может сделать. Ты на любой машине сможешь ездить. Сейчас трактор с канавокопателем придет — попробуешь.

— Правда? А кто его пригонит?

— Булат. Он бригадира ждет.— Председатель посмотрел на часы.— Что-то задержался...

Дугаржаб — весь нетерпение. Неужели наконец-то сбудется? Должность у него чабана-механизатора, а на машины только облизывается. Что ни говори, а Догдомэ все понимает! Не то, что Шойдок-бригадир. Ну, теперь Дугаржаб покажет, на что он годится!

— Не видать Булата...

— Ничего, ничего. Приедет. Немного подождем.

Цырен Догдомович сует трубку в карман и направляется к «газику». Возвращается он с лопатой.

— Попробуем пока первобытной техникой, чтобы зря не сидеть.

Словно всю жизнь Догдомэ тем и занимался, что землю копал. Лопата легко входит в грунт, из канавы летят один за одним комья земли.

— Я на войне сапером был,— объясняет он.— Чего-чего, а покопать пришлось... В сорок первом досталось. Отступали... Шагаем, шагаем, с ног валимся. Доберемся до намеченного рубежа, тут бы и передохнуть, хоть самую малость, а надо оборону занимать. Значит, ко-

пай, копай, сапер!.. Траншеи, ходы сообщения... Да если бы такая земля, как здесь. А то — камень один. И вся техника — лопата... Руки в кровь. Что делать? Надо было. Без того в боях народу сколько теряли. А наши окопы да траншеи не одну жизнь спасли. И сам живой остался — успел в окоп свалиться. Ранило, правда, тяжело. Сестра на себе вытащила. Век ее не забуду...

— Вас много раз ранило?

— Пять...— Догдомэ продолжает орудовать лопатой.— Живучий я оказался. Никак меня убить не могли.

— Да-а... Досталось вам...

— Тебе не меньше, хотя и в мирное время. Вообще, войны бы не было — вместо окопов да траншей сколько канав оросительных накопали бы, а? Теперь машины всякие изобрели...

Догдомэ, не прерывая работы, принимается рассуждать о земле:

— Земледелие мы худо-бедно вести научились. И луга сенокосные у нас неплохо ухожены. А вот о пастбищах плохо заботимся. Это же основная часть наших земель. Их все время улучшать надо, от сорняков очищать... И травы плохо знаем. Ну, там, дикий лук-мангир, саранка, щавель, еще кое-какие съедобные — в этом каждый разбирается с малолетства. А остальные? Зеленая — значит, трава. Старики говорят, в наших степях больше ста разных трав растет. А как они называются? Не по-латыни, не по-русски — по-нашему, по-бурятски. Хоть кого спроси — не скажет. А какие в какой траве витамины? Какие травы овцы любят, какие коням нужны, коровам полезны? Какие травы от каких болезней? Как применять? Какие ядовитые? Знали же прежде! Знали да забыли... Кто-то из стариков и сейчас помнит. А мы не спрашиваем у них. Так и уйдет с ними. Животноводы должны по виду, по вкусу, по запаху определять травы...

Догдомэ выпрямился, любовно оглядел степь.

— Ты, Дугаржаб, подумай вместе с друзьями, как улучшить наши пастбища.

— Конечно подумаем,— охотно отзывается Дугаржаб.

— Где же, однако, Булат? Съезжу-ка я за ним.

Цырен Догдомович кидает лопату и направляется к машине.

— Я быстро.

Теперь за лопату берется Дугаржаб. Хотя нога на

протезе у него и «как живая», а толку от нее мало. Приходится налегать на черенок всем телом. Приспособился. Кидает не спеша. Слышно только тяжелое дыхание, да как выброшенная из канавы земля влажно шлепается, шуршит комьями... Устал с непривычки — пот по щекам течет, спина взмокла.

Не заметил, откуда Булат взялся. Весь красный, комбинезон в пыли. На плече — лопата.

— Где же твоя техника?

— Там, где и была,— Булат со злостью швырнул лопату.— Все есть — и трактор, и навесной копатель, и плуг. Только бригадир не дает... Что за человек этот Цынгуев! И еще ругается...

— А мы тебя ждали, ждали... Догдомэ за тобой поехал. Ну, теперь Шойдок без слов даст!

— Пока от него дождешься, мы эту канаву с тобой руками распашем.

— Ну-у!

— Не веришь?

Дугаржаб снова принимается копать. Булат кидает землю с другой стороны канавы.

— А где ваша «летучка»?

— У Майлы оставили. Сюда не проехать — грязь.

— Значит, наш бригадир шефов не признает?

— Мы как с Цынгуевым встретимся, так ссоримся.

— Он и нас хуже классовых врагов считает.

— Ничего, мы с ним как-нибудь поговорим.

— Правильно. Пора втолковать ему.

У Булата еще не перекипела злость, и он с силой втыкает лопату в ставший почему-то неподатливым грунт, далеко отшвыривает землю, неразумно растрачивая энергию. Запальчивости его хватает ненадолго, но сдаваться Булат не собирается, да и перед другом неловко.

— Пока Догдомэ вернется, мы с тобой этот бугорок сровняем,— тяжело дыша, объявляет он.

— Это, пожалуй, сделаем,— соглашается Дугаржаб.— Вообще тут без ручной работы не обойтись.

— Ты не устал?

— Нет. С чего...

Нога у Дугаржаба побаливает, но признаться в этом он не хочет.

Будто соревнуясь, парни сравнивают холмик, перекрывший канаву. На вид он совсем небольшой, а почти не убывает, как ни стараются они. Оба взмокли, почер-

нели от пыли, смешанной с потом. Не глядят друг на друга, не разговаривают. Булат про себя считает, сколько лопат земли выкинул. На сто двадцатой сбился.

— Перекур!

Дугаржаб валится на землю.

— Я сейчас. До «летучки» добегу,— говорит Булат.

Нога у Дугаржаба разболелась не на шутку. Он потихоньку ковыляет к оврагу, снимает протез и окунает покрасневшую культю в холодный поток. Боль утихает.

— Ой-ооо! — слышится испуганно-удивленный возглас.

Чумазый Ким, братишка Булата, широко раскрытыми глазами уставился на лежащий рядом с Дугаржабом протез. В голове мальчишки это никак не укладывается.

— А почему... нога?

— Ты за ней присматривай,— подмигивает Дугаржаб.— Вдруг убежит.

— Сама? — Ким недоверчиво переводит взгляд на Дугаржаба, осторожно обходит вокруг протеза...— В ней пружинки есть? А для чего ремни?

— Чтобы не убежала, я же сказал. Она очень непоседливая. Сейчас я ее привяжу...

— А вы где ее нашли?

Дугаржаб пристегивает протез, поднимается.

— Ранен я был. Понимаешь? Оторвало мне ногу. А потом сделали эту — искусственную...— Он берет лопату.— Хорошо бы тебе век про такое не знать.

Вернулся Булат. Тоже принялся за работу.

— Аха-брат, можно я копать буду? — попросил Ким.

— Давай, помогай.

Лопата длиннее мальчишки, но это его не смущает. Он, как взрослый, поплевал на ладони, ткнул лопату в землю.

— У-уу, она твердая! Здесь, что ли, попробовать? И тут такая же.

— Ты, друг, не ищи, где полегче. Смотри, как я делаю. Видишь? Ногой помогать надо. Понял? — учит братишку Булат.— Теперь поднимай и выбрасывай.

Ким, пыхтя, еле поднимает ком земли.

— Вот!

С грехом пополам он еще пару раз втыкает лопату.

— Ты, Ким, молодец! — хвалит его Дугаржаб.

— А можно вон там нору раскопать? Может, в ней суслик есть.

Булат строго глядит на него.

— У нас нет времени охотиться на сусликов.

— Мо-ожно? — тянет Ким.

— Я тебя больше на машину не возьму,— сердится старший брат.

— Тогда я к тете Розе пойду. Буду ей помогать,— вздыхает Ким, швыряет лопату и бежит к «летучке».

А бугорку тем временем пришел конец.

Парни переглянулись и расхохотались; тарахтит, приближаясь, трактор, а на нем собственной персоной катит бригадир Цынгуев.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ни синоптики, ни старики не ошиблись: тяжкое дыхание засухи опалило Агинские степи. Зной изжелтил хлеба и травы. Выгорели пастбища, потрескалась земля.

И в другом Сокто-ахай оказался прав: как ни старалась Оюна, а отара Балмацу осталась самой плохой в бригаде. Хурда — называют таких овец. Не успели они откормиться молодой травой, не окрепли до засухи. Сбились на солнцепеке — смотреть на них жалко: тощие, шерсть в пыли. Жуют чахлые стебельки, роняя желтую пену. Жара доняла их, и они, отыскав небольшой холмик, сгрудились на нем, стоят как вкопанные, низко опустив головы, тесно сжавшись в кучу.

Жарко и Оюне. Она сбросила платье, осталась в лифчике и плавках. Все равно жарко. И на небе ни облачка. Потянул легкий ветерок, и девушка вприпрыжку побежала ему навстречу, раскинув руки. Тяжелые длинные косы оттянули ее голову. Тонкая, стройная, длинноногая, большеглазая, озаренная солнцем Хозяйка Степи...

Подумать только — ей уже девятнадцать лет! Как это много. Девчонкой она считала, что быть чабаном — ничего сложного. Лишь бы не смешать своих овец с чужой отарой, не подпускать их к посевам, следить, чтобы шерсть в тальниках не теряли, поить, когда надо, кормить, когда надо, пасти вволю. Чего тут хитрого? Кажется, совсем недавно так и думала. Смешно! Что она понимала? Вот теперь, когда ей уже девятнадцать, Оюна знает, как тяжел ее труд, какая на ней ответственность. За один год многое узнала и поняла. Особенно после того, как приняла отару Балмацу. Наверно, так и

не выправятся овцы, не окрепнут. Прав был дедушка, когда предупреждал ее... Но разве виновата она, что ничего в степи не растет, все выжгло. Не случись засухи, было бы совсем не так.

Оюна медленно возвращается к отаре. Босые ступни жжет раскаленная земля. Нет, не потому, что нажгло ноги, вдруг припускает она бегом, совсем как девчонка. Как это раньше не пришло ей в голову? Подхватив одежду, она мчится к овцам. Ей удается расшевелить их, погнать по степи. Вперед, вперед! Ей весело. Ей всего девятнадцать лет!

Видно, и овцы что-то почуяли — идут все быстрее.

Там, где весною бушевали в оврагах талые воды, там, где успели повернуть пенный поток на поля, вдоль неширокой канавы — высокие сочные травы. Будто впервые увидела Оюна многоцветье степи, на которую упала с неба и рассыпалась, раскололась радуга. Бледно-голубые ургуи-подснежники, густо-синие колокольчики, оранжевые саранки с завитыми в кудри лепестками, ярко-желтые одуванчики — великое множество цветов. Оюна, забыв об овцах, рвала и рвала цветы, пока не набралась целая охапка. Рвала бы, наверное, еще, да увидела приближающуюся машину и поспешила набросить платье.

А «летучка» тем временем сворачивает к отаре, останавливается неподалеку, из нее выскакивает Роза и бежит навстречу Оюне. Сзади нерешительно плетется Булат.

— Мэндэ, Оюна! — бросается на шею подруге Роза.

Булат останавливается поодаль. После ссоры на сагалгане виделись они несколько раз накоротке, но все встречи были холодными, официальными. Булат перехватывает, как ему кажется, равнодушный взгляд Оюны, однако делает вид, будто не заметил, и, широко улыбаясь, здоровается:

— Мэндэ!

— Мэндэ,— кивает в ответ Оюна.

Роза делает попытку примирить враждующие стороны:

— Какими ты нас с Булатом красивыми цветами встречаешь!

— Не вас, а тебя,— поправляет ее Оюна и протягивает Розе букет.

Булат пропускает эти слова мимо ушей и направля-

ется к канаве, которую они с Дугаржабом копали весной.

Налюбовавшись цветами, Роза несет их в кабину.

— Спасибо, Оюна. Дома в воду поставлю. А можно,— подмигивает она,— ему немножко дать?

— Не смей! — сердится подруга.

— Как хочешь...— вздыхает Роза.— Что нового?

— Новостей много... Потом поговорим. Давай сначала овцу подоим,— предлагает Оюна.

— Давай!

Взявшись за руки, девушки бегут к отаре.

Овечье молоко в деревнях — лучшая косметика. Куда до него всяким пудрам, кремам, помадам, лосьонам! Обходясь без рижских, польских, французских и прочих модных снадобий, бурятские девушки никому не уступают красотой.

— Что вы там делаете? — окликнул подруг Булат.

Роза, массируя лицо, кричит:

— Не подходи! Тебе сюда нельзя!

— Ты пока транзистор почини,— просит Оюна.— Возле седла возьми.

Куда денешься — пришлось приняться за транзистор. Булат уселся на седло, повернул регулятор громкости «Спидолы» — ничего не слыхать. Выкрутил до отказа — все равно еле-еле бормочет. Снял крышку, стал копаться. Настоящий механик, убежден Булат, должен уметь все. И — пожалуйста! — через несколько минут зазвучала, да как еще зазвучала музыка. Едва заслышав ее, девушки прибежали к Булату, разрумяненные, с лукаво поблескивающими глазами, и все еще продолжали перешептываться — мало ли у них секретов!

Булат хотел переключить программу. Роза остановила:

— Подожди! Модный танец! Недавно в клубе Санджи, зоотехник, танцевал. Вот так.

Четкий стремительный ритм, в котором не сразу угадаешь и мелодию. Хриплые голоса ревут что-то по-английски, но ни слова не разобрать. Булат морщится, но ему нравится, как ловко, в такт музыке, взмахивает руками Роза, как, словно на шарнирах, быстро движутся ее ноги.

— Смешно!

— Что ты понимаешь! — фыркает Оюна и, подражая подруге, тоже пускается в пляс. Поначалу движения ее

неловки, но она быстро улавливает ритм и задорно, даже, пожалуй, несколько вызывающе танцует. Булат не сводит с нее восхищенных глаз.

Роза на секунду остановилась, перевела дух.

— А в заграничных фильмах не так. Я видела...

— Тьфу! — Булат возмущен.— Срам какой!

— Иди, научим тебя,— хохочет Роза.— Вставай! Вот увидишь, понравится.

— Да он вальс не умеет. Куда ему!

Булат защищается:

— Вальс — другое дело. А это разве танец? Ну вас! Вы еще овец распугаете.

И выключает приемник.

Девушки обессиленно плюхаются на траву.

— Спасибо за ремонт, Булат!

Обрадованный, что Оюна, кажется, сменила гнев на милость, Булат лезет в карман комбинезона.

— Мы тебе, Оюна, почту привезли. Держи «Огонек»... В «Комсомолке» поэма о любви. Обязательно прочитай. А еще... Синий конверт, красивая марка... Не-ет, не дам. Исполни что-нибудь.

— Хорошо. Сейчас шейк станцую.

— А что это такое?

— А Роза танцевала... из заграничного кино.

— Лучше не надо. Так возьми.

— Это из военкомата,— еще не взяв конверта, говорит Оюна.— Ты же знаешь... Опять дед просил запрос послать... Уже который раз. А отвечают одно и то же...

— Сокто-ахай не собирается вернуться в бригаду?

— Вроде бы нет.

— Он на тебя обиделся. А если мы его вместе попросим? — загорелась Роза.

— Бесполезно. Я его знаю. Если дедушка упрется, не скоро уступит.

— Это точно,— подтвердил Булат, тряхнув волосами.— Мама недавно была у него. Видно, здорово он нас ругал. Мне досталось.

— С некоторых пор,— усмехнулась Оюна,— нам от всех достается. Особенно от бригадира.

— А как Балмацу? — вспомнила Роза.

— Работает. Она только с виду такая суровая, а человек хороший.

— Так, значит, и разошлись они с Дондоком?

— Говорит, с ним жить — хуже всякого наказания.

— Неправильно говорит! — сердится Булат.— Их любым путем помирить надо. Лидия Васильевна все время напоминает, что нельзя только о машинах думать, надо о людях заботиться.

Девушки, уже готовые возражать Булату, сдаются: авторитет парторга убеждает их. И все трое с жаром принимаются обсуждать, как соединить Балмацу с мужем. Договорились до того, что исправить Дондока — сущий пустяк, что из него вполне можно сделать образцового чабана и примерного семьянина.

— Нам пора,— спохватывается Роза.

Пока она усаживается в кабину «летучки» и заводит двигатель, Булат, отводя глаза, тихо говорит:

— Оюна, я хочу с тобой встретиться.

Оюна заливается краской.

— Мы же встретились... Иди, тебя Роза ждет.

— Завтра. У того родника. Хорошо? Скажи «да», а то не уеду.

— Да...

— Баяртай! Буду ждать! — Булат бежит к машине. Роза машет рукой. «Летучка» разворачивается, набирает скорость, скрывается из глаз.

Снова оставшись в одиночестве, Оюна пригорюнилась. Хоть и привыкла она день за днем проводить с отарой в степи, но после встречи с друзьями, которые, если и не доберутся к ночи до Хангила, непременно будут с людьми и среди людей, как-то особенно тоскливо, неприютно. И время, кажется, тянется долго-долго, будто остановилось. И цветы не радуют... А вот Булата увидела — это хорошо. И к роднику пойти согласилась. Хватит уже дуться...

Она погнала отару к ближнему кургану, куда ее почему-то всегда тянуло, чуть только становилось грустно. Вот и теперь пришла к этому холму, на вершине которого с незапамятных времен стоит настоящая Хозяйка Степи — Шулуун-абгай... Одетый мхом, как шубой, камень похож на человека. Почему-то люди побаиваются ходить к этому камню. Оюна ничего не боится. Оставив овец у подножия кургана, она полезла на его вершину, скользя по камням, обжигаясь крапивой. Добралась до самой каменной бабы, уселась в тени ее, задумалась, задремала...

И вдруг ей пригрезилось, что камень ожил. Она услышала глухой, тихий голос:

— Много веков стою я над этой степью. Сколько овец прошло мимо меня... Твои предки ходили за ними и предки твоих предков... А что ты здесь делаешь? Ты же совсем молодая...

Оюна ничуть этому не удивилась. Она ведь давно ждала вопроса от каменного истукана.

— Я тоже пасу овец. Разве ты не видишь?

Так и разговорились...

Шулуун-абгай. Зачем же ты, девушка, выбрала самую тяжелую из тяжелых работ?

Оюна. Думаешь, нарочно выбирала, где труднее? Просто хотела дедушке помочь. Он уже старый. А потом привыкла. И овец полюбила, и работу, и степь...

Шулуун-абгай. Чего ж тут любить? И при мне точно так же гоняли овец по степи.

Оюна. Ничего подобного! Мы работаем по-новому. У нас механизированная бригада.

Шулуун-абгай. Вот-вот, правильно. Теперь-то мне понятно, из-за чего от тебя дедушка ушел! По-новому, значит?

Оюна. Дедушка совсем не потому ушел. Он немного отдохнет и обратно вернется. Вот увидите. Обязательно вернется!

Шулуун-абгай. Ты мне все-таки скажи, зачем себе самых худых овец взяла?

Оюна. Неужели непонятно? Чтобы поставить их на ноги, выходить, выкормить. Что же им, пропадать теперь? Не я бы, так другие взяли.

Шулуун-абгай. Загубишь ты, девушка, свою молодость в этой степи. Уж я-то знаю...

«До чего твердолобая!» — возмутилась Оюна... и проснулась. Рядом с нею стояла карнаухая овца. Девушка приласкала ее, почесала ей лоб, сорвала пучок травы, скормила из рук. Солнце уже клонилось к закату. Оюна вскочила на ноги. Ни грусти, ни усталости! Она запела, и к ее голосу прислушались цветы и травы. Замолкли птицы, слушая песню. Небо стало прозрачнее. А каменный истукан закутался в свою шубу из мха и съежился, сник...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Вдоль просеки, по разъезженной, в колдобинах, дороге, несчетные колеи которой сплошь заросли высокой травой, еле бредет, понурив голову, волоча ноги, словно

через силу отмахиваясь хвостом от мух и слепней, вороная лошадка. На телеге, что едва тянет она,— несколько человек, разморенных до одури жарою.

— Так будем тащиться — и завтра до аршана не доберемся,— лениво, будто сквозь дремоту произносит один из них.

— Кнутом разок огреть!

— Что ты! Еще взбеленится...

Лошаденку не то что кнутом — торбой овса не расшевелишь. Плетется она и, кажется, только переставляя копыта, удерживается на земле, а остановится — никакая сила не сдвинет ее с места: ляжет, и будь что будет... Скрипит телега, переваливаясь из выбоины в выбоину. Кряхтят, бормочут старики, рассевшиеся в ходке.

Рядом со старушкой, на коленях которой играет сосновыми шишками внучонок, сидит и сосредоточенно жует табак Сокто-ахай, а по соседству с ним — глаза бы его не смотрели! — покуривая толстую самокрутку, Балмацу.

Чабанка погружена в мысли о своем непутевом муже. Как исчез он перед сагалганом, так и не появлялся больше. Слух был: видели его на Хильгиндинском аршане. Балмацу и внимания не обратила — махнула рукой, да Оюна с Булатом стали уговаривать съездить на аршан, попытаться вернуть Дондока. И Санджи Бумбеев, практикант, который до того ругательски ругал Дондока, тоже посоветовал ехать. Вот она и едет...

Думала — ищи ветра в поле. Разве усидит Дондок на одном месте? А он — легок на помине! — навстречу попался. Шагает по дороге чуть не в чем мать родила, только стыд прикрыт. Он и на аршане-то задержался, потому что пестрых скакунов в бега пускал — в карты играл. Поначалу везло ему, а потом и выигрыш до последней копейки спустил, и одежду всю просадил. Ко всем своим кличкам-прозвищам новое добавил: Нюсэгэн Дондок — Голый Дондок. И надо же! Убегая куда глаза глядят, прямо на земляков наткнулся, на собственную свою жену! Конечно, он и не подумал рассказывать о своих похождениях, о своем позоре. Мечтая лишь о том, чтобы урвать у Сокто-ахая или Балмацу деньжонок да отыграться, Дондок, блестя металлическими зубами, вдохновенно врал, как хорошо ему живется-отдыхается, как пошел он пройтись-прогуляться, разделся специ-

ально, чтоб подзагореть, как рад неожиданной встрече...

— Далеко до аршана-то? — спросила, тяжко вздыхая и утираясь большим пестрым платком, старушка.

— Да вот он, рядом совсем!

...Хильгиндинский аршан, конечно, не чета прославленным минеральным источникам Тунки, Горячинска, Дарасуна, Ямаровки или Бэлэры. Вода в Хильгинде не горячая и не кислая, и сероводорода в ней нет, и радоном она не богата. По вкусу ее от простой речной не отличишь. Зато холодная — зубы ломит. Местные жители, однако, равняют ее со сказочной живой водой, способной не то что исцелить человека от любых недугов — оживить его, вернуть ему молодость. Кто бы чем ни болел — желудок ли не в порядке, печень ли пошаливает, глаза ли хуже видеть стали — едут на аршан, в Хильгинду, попить целебной водички. Пьют, дорвавшись, вволю, нимало не задумываясь — на пользу или во вред. И обливаются с головы до ног, и ванны принимают, днями напролет не вылазя из воды. Случается, что везут наиболее упорных в жажде исцелиться за счет источника прямо с аршана в больницу.

Исследовали эту воду ученые, но никто пока толком не знает, что они обнаружили в аршане. Года два назад в аймачной газете напечатали статейку: хорошо бы, дескать, открыть в Хильгинде дом отдыха, или санаторий, или курорт. Тем и кончилось. Ни единой постройки не появилось возле источника. Как стояли, так и стоят крытые корою шалаши, кое-как сляпанные из щепы и дранок балаганы, дырявые юрты — где попало, как попало... Рядом с ними, как в цыганском таборе, телеги, мотоциклы, даже автомашины. Над неглубокими ямками-очагами висят на таганках закопченные манерки, кастрюли, чайники, горшки...

А места вокруг Хильгиндинского аршана — поискать такую красоту! До самой земли свешивают мохнатые ветви исполинские лиственницы, топорщатся большими зелеными шишками высоченные сосны, трясут блестящими маслянистыми листьями осины, сверкают ослепительной белизной бересты прямоствольные березы, алеют, словно огнем охваченные, кусты багульника. Когда раскаленное солнце пронизывает лучами своими густо сплетенные ветви и полными пригоршнями швыряет щедрый свет, листья и хвоя кажутся густо-синими, а из

самой сердцевины стволов проступают слезинками светлые пахучие капли смолы.

Среди этого лесного буйства выделяется высокое толстое старое дерево, в которое когда-то, давным-давно, ударила в вершину молния, обуглив и заострив ее. С незапамятных времен почитают буряты это дерево — творят возле него молитвенные обряды, кладут приношения богам. У корней его — всякая всячина. Тут и монеты, и топленое масло в чашечках, специально на этот самый случай сделанных, и ломти хлеба на проржавевших железных тарелках, и конфеты. Каждая веточка увешана клочьями ткани, веревочками, лоскуточками, цветными нитками, опутана конским волосом.

Из-под священного дерева, между синими замшелыми валунами, рвется прозрачный, холодный целебный аршан.

Здесь и остановили свою вороную лошадку хангильцы. Слезли с телеги, размяли затекшие ноги, окружили источник. Журчит, плещется холодными брызгами аршан. Он и зимой не замерзает, и даже засушливое лето ему нипочем — течет, не иссякая, бросая звонкие струи в зеленый от мха деревянный желоб. Сокто-ахай окунул руку в поток, зачерпнул пригоршню, осторожно, чтобы не пролить ни капли, поднес ко рту, медленно выпил.

Дондок не отходит от земляков, сгружающих скарб с телеги, но помочь кому-нибудь, даже Балмацу, ему и в голову не приходит. Стоит рядом с подводой, хлопает себя по плечам, по голому животу, по босым ногам, сгоняя паутов, ворчит незлобиво:

— Охо-хо! Кусаются проклятые!

Потихоньку то у одного, то у другого клянчит деньги:

— Бог видит — в такое положение попал, хоть в петлю лезь...

Да разве разжалобишь, проведешь земляков?

— У тебя долгов больше, чем волос.

— Тебе деньги дать — все равно что выбросить.

— Ох, кусаются! — будто и не слышит Дондок.— Я вашу помощь век не забуду. Могу расписку дать.

Балмацу уже пожалела, что приехала. Знала же, что никакого чуда не случится. Стыдно ей. Молчала, молчала — не вытерпела:

— Ну кто тебе поверит, если я, твоя жена, не верю. Сколько я твоих долгов платила...

— Бр-рось! — не то от нее, не то от паутов отмахи-

вается Дондок.— Неужели, думаешь, всегда я буду бедствовать? Вот увидишь, скоро с кучей червонцев буду.

С минуту еще он стоит рядом с телегой в тщетной надежде разжиться. Поняв, что тут ему не отломится, скрывается за деревьями.

Людно нынче на аршане. Стали сюда приезжать не только ради целительного источника. Просто отдохнуть едут. Степнякам особенно по душе этот нетронутый уголок тайги.

Всех гостей Хильгиндинского аршана можно поделить на три группы.

Старики и старухи, больные люди искренне убеждены, что ходят по земле исключительно благодаря аршану. Эти люди строго соблюдают бог весть кем и когда установленные правила: в какой день недели и в какой час можно делать то и нельзя делать другого. Они поднимаются всегда в одно и то же время, чуть свет, и натощак пьют воду аршана. Ни о чем другом не думают — только о целебной силе источника. Изредка собираясь вместе, они и говорят об одном и том же: у кого что болит, где колет, куда отдает, как надо лечить такую-то болезнь, а как другую. В общем, не разговор — настоящий консилиум.

Не успели появиться хангильцы, как их тут же окружили знатоки и бесплатно дают ценные указания:

— Этот аршан надо пить умеючи. Если правила не соблюдать, он может пересилить организм. Вы от чего лечиться приехали?

Научные консультанты долго еще будут теперь просвещать и Сокто-ахая, и старушку с золотушным внучонком.

Дондок не обошел вниманием и этих почтенных посетителей аршана. Вывернувшись из-за деревьев, пристал к пожилым людям, канючит:

— Отцы-матери! Меня обокрали... Попал в трудное положение... Дайте взаймы, кто сколько может...

Вместо денег Дондок получает щедрую порцию нравоучений, от которых старается быстрее улизнуть.

Другие приезжие тоже утверждают, что им надо лечиться. И действительно, пьют они исправно и много, и не только воду аршана. У них хватает времени, чтобы повеселиться, и аппетита на сочные бозы, жирные беляши, вкусную лапшу, свежий саламат... Любят они затевать веселые игры, среди которых не последнее ме-

сто занимает флирт. Успевают позагорать, погулять по лесу. Эти одеты по моде — в широкополых шляпах, темных очках, с пестрыми шелковыми зонтиками. Вот и сейчас, среди бела дня, расселись в тени, под деревьями, уставились в разложенные на траве картонки с цифрами, играют в лото:

— Дед — девяносто лет! Тройка! Барабанные палочки!

— Квартира!

— Сверстники-ровесники! — И сюда сунулся Дондок. — У кого большой выигрыш? Поделитесь со мной. Отыграюсь — сразу же верну.

Тут его знают и встречают шумными восклицаниями:

— Ого, какой молодец!

— Нет денег — не играй!

Дондок морщится:

— Ладно, не очень-то...

Только что выигравший бренчит монетами и снисходительно советует:

— Ты набери шишек. Они у тебя вместо денег будут.

Партнеры оглушительно хохочут.

— Черные собаки! Я вам покажу! — вскипает Дондок, но предусмотрительно ретируется и отсюда.

И наконец, завсегдатаи аршана. Эти всегда держатся в сторонке, никому на глаза не лезут. Для них аршан имеет особую притягательную силу. Кое-кто из них не в ладах с законом, с той частью его, которая имеет в виду мошенничество. Эти твердо знают и умеют только одно — держать и срывать банк, метать карты, тасовать колоды и считать очки, а также выигрыши и проигрыши. Здесь, на аршане, собираются картежники первой руки, мастера своего дела, которые, впрочем, не гнушаются компанией скромных любителей «погонять пестрых лошадок», даже рады им — есть кого пощипать.

С какой бы страстью, однако, ни предавались они своему излюбленному занятию, никто из них не забывает, где находится. Время от времени картежников можно увидеть чинно принимающими ванны. То там, то тут торчат из бочек, заменяющих на аршане ванны, головы игроков. Их ни с кем не спутаешь: опухшие лица, покрасневшие от бессонных ночей глаза. Отмокнут, освежатся, разотрут холодной водичкой онемевшие руки и спины, начинают шутить:

— Ну, вылезу сейчас,— держитесь! До тех пор играть буду, пока не стану таким, как Дондок. Как чувствуешь себя, Дондок?

— Плохо,— бурчит очутившийся по соседству незадачливый хангилец.

— Смотри, не задери нос с такой большой удачи! — подзуживает его один из самых знаменитых на аршане игроков, Балдан Ононский, груда мяса, еле втиснувшаяся в бочку.— Ты у нас высокую славу заслужил, почетный титул Нюсэгэна!

— Я в одной сказке читал про голого короля,— высовывает тощее тело другой корифей, Дугар Читинский.— Наш дорогой Нюсэгэн Дондок вроде того короля!

Дондок зло поводит глазами.

— Не выпендривайтесь,— в бессильной ярости кричит он и в этот момент замечает в чаще кустов осиное гнездо.— Я еще вам покажу!

— Хуба-парень! — окликает его из бочки Костя Кударинский, еще один заядлый игрок, весь в шрамах от чирьев.— Тебя только в кино показывать. Видел картину? Все в коротких штанах щеголяют. Чем человек культурнее, тем больше заголяться должен. Ты, Дондок, молодец, от самых передовых людей не отстаешь.

— Бросьте смеяться над ним,— басит кто-то.— Ему без вас тошно.

— Ничего-о! — гогочет Костя.— Злее будет!

— Вы так, да? — Дондок лезет в чащу.— Я вас самих сейчас догола раздену!

— Ха! Клыков не хватит!

— Посмотрим...

— Братцы! Он сейчас наше барахло хапнет!

— Стану я мараться! — Дондок добрался до осиного гнезда, сорвал его с дерева, вылез, не обращая внимания на укусы, из чащи и с силой запустил между бочек. Гнездо, словно бомба, лопнуло с глухим звуком, разорвалось на тысячи осколков — ос, накинувшихся на повыскакивавших из бочек картежников. Ка-артина!

Кто лезет обратно в бочку, опрокидывая ее. Кто кувыркается по траве, отбиваясь от лютых насекомых и еще пуще разъяряя их. Кто схватился за одежду и путается в ней. Кто машет сорванной веткой. Кто ползет в кусты. Тщетно! Осы осатанели!

Визжа и ругаясь на чем свет стоит, картежники,

будто взбесившиеся, исполняли немыслимо дикий танец, пока не смекнули пуститься с поляны наутек.

— Пускай побегают,— удовлетворенно произнес Дондок и направился разыскивать Балмацу.

Нашел он ее там же, где и оставил, возле телеги. Она будто его только и ждала. Перестала на минуту жевать серу, махнула веткой в сторону телеги:

— Садись.

— Скорей уедем отсюда! — Дондок хлестнул лошадь.

Балмацу отобрала у него вожжи, съехидничала:

— Большое дело сделал?

— Я еще...

— Молчи уж. Хватит, побродяжничал. Пора возвращаться в Хангил. Я за тобой приехала.

— Не говори чепуху! — Дондок отвернулся.

— Какая же чепуха? В Хангиле дом, хозяйство. И я еще пока твоя жена...

Дондок почесал голое плечо, искусанное осами.

— Надоело! Поучения ваши слушать надоело. Вы между собой проводите агитацию, а ко мне не привязывайтесь. Понятно?

— Вот-вот. И меня агитировали. Поезжай, говорят, отыщи Дондока. Пусть возвращается. Раз вы, говорят, считаетесь мужем и женой, то должны обратно сойтись.

— Бр-рось! Ты же видишь, мне не до тебя. Как-нибудь приеду.

— Ты о себе только и думаешь. Бродяжничаешь, беспутничаешь. Хочешь ехать домой — поехали. А нет, так давай решим в другую сторону.

— Ого! Как заговорила! Кто-то моей бабе вскружил голову... Ты, оказывается, не такая простушка, как я считал. Вообще-то мне говорили, что у тебя какие-то шашни с парнем-калмыком. Но я на него управу найду!

— Говори, да не заговаривайся! При чем тут калмык? Он свое дело знает.

— Зна-ает! Подожди, вернусь с добычей, буду не хуже, чем твой зоотехник с высшим образованием. Может, я тебя в какой-нибудь город увезу.

Балмацу кивает головой:

— Глупости одни у тебя на уме. Ох, трудно с тобой всю жизнь в подкидного дурака играть... Лучше одной быть.

— Что? Разлюбила, да?

— А за что тебя любить?

Дондок поднял правую руку. Выше локтя — наколка. Змея с высунутым жалом, червонный туз, голая женщина...

— Я тебя по-прежнему люблю. Читай, что написано: «Дондок плюс Валя». А тебя по-русски как раз Валей и зовут. Валя... Балмацу...

— Не болтай.

— Как же тебе еще доказать? — Дондок обнял ее.

— Убери руки!

— Ну, перестань... Мы же все-таки муж и жена... Подвинься ко мне.

— Чего ты вдруг заобнимался?

— Не дури!

— Будешь приставать — закричу!

— А кто услышит?

— Нно! — Балмацу хлестнула коня.

Дондок перехватил вожжи.

— Трррр!..

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кроме прославленных аршанов, много в бурятской стороне обыкновенных ключей-родников. У большинства из них красивые названия — Золотой ключ, Солнечный ключ, Полуденный ключ... Есть и совсем скромные, безымянные ключи. Но каждый, даже самый захудалый родничок почитают здесь. Они, родники, требуют уважительного к себе отношения — поверье такое существует. Если люди будут обходиться с ними без должного почтения, эти ключи-родники возьмут да место переменят, а то разведется в них всякая нечисть или вообще могут пересохнуть. Но если даже отбросить всяческие поверья, то и это не убавит любви к источникам. Вода в них синяя-синяя. А посмотрите на них вечером, в закатный час! Ключи-озерки кажутся золотыми зеркалами, созданными специально для того, «чтобы в них наглядеться не могли небеса».

Какой-нибудь ключик пробивается из-под земли далеко-далеко от людских поселений, струится себе в полном одиночестве. И все равно тянутся к нему со всех сторон дорожки и тропки, а то просто следы копыт. Опять-таки вода есть вода. И маленький суслик, и тарбаган, и лисица без нее не обойдутся, и стада приходят к родникам.

Знают, однако, родники и другую славу...

У всех влюбленных имеются самые памятные, самые дорогие сердцу места. Для юных степняков нет ничего милее и дороже безвестных ключиков-родничков. Испокон веку были они, да, наверное, и останутся навсегда лучшим местом встреч-свиданий молодых людей. Сколько нежных слов и клятв слышали тихо журчащие струи! Сколько судеб переплелось по соседству с ними!..

Хотя до вечера было еще далеко, Булат уже явился к роднику. Его бы воля, он мог и раньше пожаловать. А ждать пришлось долго. Так долго, что бедный парень приуныл. Однажды они с Оюной встречались здесь. Один-единственный раз. Оба, конечно, смущались и волновались. Пришли почти одновременно и растерялись, очутившись вдвоем. Не знали даже, с чего начать разговор. Выручило обоих спасительное «а помнишь?» И хотя меж ними была, пусть не очень большая, разница в возрасте, вспоминали, конечно, о школе, об учителях и пионервожатых, всякие забавные случаи... Оба оживились и стали снова самими собою, какими всегда были до этой встречи, и перебивали друг друга, и хохотали по любому пустяку.

Ну разве не смешно, что Булат — уже здоровый парень! — дергал Оюну за косички, а она, глупая, плакала. А когда Лида-багши спросила ее, чего она плачет, так Оюна не призналась. Упала, мол...

А то еще всей школой выезжали в тайгу заготавливать дрова, заблудились, вернулись ободранные, голодные, с растертыми в кровь ногами. И Булат — Оюна до сих пор это помнит — ни одной девчонке не помогал, только ей одной, и всю дорогу домой поддерживал ее, хотя мальчишки смеялись и дразнились...

Как-то в летние каникулы возили на лошадях копны пахучего сена и долго понапрасну ждали, чтобы пошел дождь и можно было отдохнуть. Оюна тогда восьмой кончила, а Булат уже учился в техникуме и был на практике. И они почему-то стыдились друг друга.

А в общем, все тогда было проще и легче. Оба стали взрослее, оба — чего уж скрывать! — нравятся друг другу, но отношения между ними какие-то неопределенные. Виноват, конечно, Булат. Он старше. Ему давно пора объясниться с Оюной. А он все чего-то тянул, тянул, пока не поссорились. Вот и думай теперь: придет она или не придет?

Булат то и дело обдергивал на себе новый костюм, который еще не успел сесть по фигуре, и жалел, что надел его понапрасну. Глупый, он зря переживает, ведь времени, если разобраться, прошло не так уж много.

Булат увидел Оюну издали. Но, странное дело, она совершенно не торопилась! Вид у нее был такой, будто она просто-напросто гуляет по степи. Вот сейчас, не дойдя каких-нибудь трехсот метров, остановится, а может, даже повернется и направится обратно... «Ну иди же, иди!» — хотелось кричать Булату. И она словно услышала его зов, потому что зашагала немного быстрее. Уже совсем близко... В синем шелковом халате, в высоких сапожках из красной кожи, на плечи накинут платочек с крупными яркими цветами. Такая нарядная!.. Такая красивая!..

Шла Оюна, и тысячи сомнений сдерживали ее. Еще не остыла обида на Булата: зачем, за что он так подвел ее? Ну, допустим, относится он к ней по-хорошему, даже лучше... Но ведь дружба должна быть чистой, честной. Не поступи она по-своему, и стали бы люди всякое говорить... Встретиться с ним, конечно, надо. Просто, чтобы выяснить все до конца. Только зачем она согласилась идти к роднику? Можно было и в другом месте потолковать. Все-таки никакого у нее характера нет — только Булат ее пальцем поманил и, пожалуйста, отправилась, побежала! Может, все же вернуться? Совсем не от закатного солнца залило румянцем ее лицо, а кончики ушей порозовели. Стыдно почему-то... Ну да теперь поздно передумывать — явилась.

Из-под опущенных вздрагивающих ресниц смотрит на Булата, не в силах слова вымолвить. И Булат тоже смущен. Медленно идет навстречу, протягивает руки.

— Здравствуй, Оюна! Я так тебя ждал... Боялся, что возьмешь и не придешь.

Подала ему руку. Тоненькие пальцы скрылись в его больших ладонях.

— Я же дала слово...

— Спасибо.

А ее как будто и не радует это «спасибо». С деланным равнодушием спрашивает:

— Ну, зачем ты меня звал сюда?

Вот так да! Ошарашенный ее вопросом, Булат не нашелся что сказать и брякнул:

— Да... так просто...

Ресницы у Оюны распахнулись, глаза глядят на него в упор, прожигая насквозь. Во взоре ее недоумение, досада, насмешка... Она отступает на шаг, будто собираясь уходить.

— Что значит «так просто»? Тебе, должно быть, чужого времени не жалко. Знала бы...

— Нет,— пытается исправить оплошность Булат, но выходит у него опять неуклюже: — Я очень хотел видеть тебя.

Оюна непонимающе улыбается:

— Разве ты меня до этого не видел?

— Да... конечно...

Вид у Булата растерянный. Никогда он таким не был. Оюне становится жаль его, но она и виду не показывает. Больше того, строго так говорит ему:

— По делам мы можем в бригаде встретиться или в конторе. Совсем не обязательно к роднику ходить. А если ваша помощь потребуется, так я сообщу. Только вряд ли нам нужно будет помогать. Хоть у нас и плохие овцы, как-нибудь сами управимся.

— Оюна! — голос Булата дрожит.— Я сюда не об овцах говорить пришел!..

— А мне кажется, с этого как раз и надо начинать. Смешно... Ну, я, однако, пойду...

Она медленно поворачивается, и Булат с ужасом думает, что сейчас, сию минуту все-все кончится. Ведь уйдет, совсем. Как же быть? Как задержать ее? Как сказать ей, чтобы она поняла? А-а, решается он, была не была!

— Оюна, постой! Я давно хотел сказать тебе... о любви...

Девушка на миг растерялась, но тут же окинула Булата удивленным взглядом и пожала плечами.

— О любви? Да разве она существует?

— То есть как?..

— Любовь... Хэ! Может, когда-то ее и знали, любовь. Во времена рыцарей, баторов. Ромео и Джульетта, Тахир и Зухра, Аламжи-Мэргэн и Арюун-Гохон... Когда это было?!

— И сейчас может быть такая любовь. Даже еще сильнее. Каждый может испытать... Вот увидишь!

— Что — увидишь?

— Ну... я не так сказал.

— Брось, Булат. Все это только в книгах да в кино.





— Что ты! Будто сама не знаешь, что в литературе и искусстве отражается то, что бывает в жизни.

— Любовь... Хэ! Не понимаю я тебя.

— Поймешь!

Булату стоит только чуть-чуть, совсем немножко «завестись», и куда его робость девается! То все по-книжному изъясняется, а тут и слова совсем другие откуда-то берутся. Заядлый спорщик, он пустился с жаром доказывать, что нельзя так рассуждать, как Оюна. Любви, видите ли, не существует! Подумать только! Он прямо-таки кипел, утверждая, как ему бывает противно слушать парней, хвастающих своими похождениями. Чаще всего врут парни, цену себе набивают. Да если у кого и было что-то, об этом помалкивать надо.

А в Оюну будто бес вселился. Во всем перечит. Возражает Булату, смеется над ним. Не выдержал он в конце концов.

— Скажи, что шутишь? Ты же умная. Ты говоришь не то, что думаешь. Правда?

И смешно Оюне, и друга жаль.

— Нарочно я... Просто захотелось тебя подразнить. Извини...

— Понятно, понятно,— обиделся Булат.— Ты думаешь, я ничего в любви не смыслю!

— Что ты! Как раз наоборот. Раз ты так меня учишь, у тебя, должно быть, богатый опыт?

Опять дразнится! И не рассердишься на нее — так лукаво, так мило улыбается.

— Любить, конечно, мне еще не приходилось... Но в настоящую, большую любовь я верю. И надеюсь...

— Мне тоже не приходилось,— после некоторого раздумья признается Оюна.

И оба примолкли, словно и впрямь испугались откровенных слов, которые готовы были уже произнести.

...С певучим шорохом осторожно плескалась о берег маленького озерца вода, вытекающая из родника. Будь сейчас посветлее, лица Оюны и Булата алели бы ярче весенней степной сараны-улалзая, но вокруг легла уже тихая, мягкая мгла, и никто не видел, никто не считал, сколько раз обошли они молча ключ-озеро, забыв и о ссоре и о недавних спорах, в которых самое главное осталось недосказанным.

Булату хотелось взять Оюну под руку — так ходят влюбленные в городе, или хотя бы держать ее за кон-

чики пальцев и вести, вести по степи далеко-далеко... Но можно ли? А вдруг ей не понравится? Возьмет и уйдет. И никогда они больше не встретятся вот так. И прощай, мечты. Пусть уж лучше молча, рядом, близко друг к другу, шагать хоть до утра.

Он наклонился к воде, сорвал первый попавшийся стебелек камыша, бессмысленно мял его в руках, наматывал на ладонь.

И Оюне вдруг стало не до шуток. Когда Булат нагнулся, она вздрогнула, отошла на шаг, а потом опять подвинулась ближе к нему. Ни о чем не хотелось думать. Она без конца теребила кисточки платка, словно пересчитывала их.

Немного погодя вечернюю тишину нарушила тихая задумчивая песня. Сколько их слышала, песен, древняя степь! Буряты всегда были дружны с песней о родном крае, о конях-аргамаках, о любви. Они рождаются в народе, с быстротой ветра облетают улусы, и вот уже их знают и поют все. Старинные песни все тягучие, длинные, как бесконечная степная дорога, горькие, как доля бедняка. В наше время — другие песни: веселые, радостные. Но прекрасны и те, и эти.

В душе Булата и Оюны звучала своя песня. Они еще не знали ее слов — разве сразу их сложишь! Но их подсказывала им эта ночь, этот чистый, прозрачный родник, неумолчно журчащий в тишине.

— Ты еще придешь сюда, когда я тебя позову? — спросил Булат.

Оюна ничего не ответила, но молчанием своим сказала больше.

Вода в роднике потемнела, как деготь. Лишь в глубине мерцают золотые и жемчужные горошины. Это далекие звезды заглядывают потихоньку, чтобы не помешать влюбленным, и завидуют им.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Чабаны на одном месте с отарами подолгу не задерживаются. Нельзя долго пасти овец на одном месте. Говорят, буса-стоянка застареет — пастбища затопчутся, навоз накопится, грязь разведется, микробы всякие. Это еще в давние времена знали. Всегда скотоводы вели кочевую жизнь, по нескольку раз в год меняя стоянки. Ничего не изменилось и в наши дни — так же, как и пре-

жде, кочуют стада-отары по степям, переходя с места на место.

Как обычно, перебрались и хангильские бригады на летники-зусаланы. Перегнали овец, поставили легкие постройки из березовых жердей и дранок — на теплую пору других не надо.

На пологом холме расположился Кункурский стригальный пункт. Издалека видно белую крышу. Рядом с домиком бешено крутится маленький движок, от которого тянется резиновый кабель к громоздкому электропрессу, идет ток к точилу и электростригальным ножницам.

Загон полон овец Оюны Соктоевой. Те самые тулгушки. Выглядят они вполне прилично, поднабрали силы, откормились и мечутся по загону, будто сердятся: «За что вы нас оставили без вкусной травы, пригнали с пастбища, заперли голодными? Вообще тут дело не ладно. Пока еще живы, надо удирать...» Вот и шарахаются из стороны в сторону, сбиваются, толкаются, суетятся. Им жарко под полуденным солнцем, а тени нет. Блеют тулгушки, жалуются.

В первой чабанской бригаде этим летом порядки строгие. Цынгуев никому спуску не дает, а с Оюны вдвойне требует — никак не простит ей. Прежде, бывало, чабаны друг другу на помощь приходили — один это умеет, другой другое.

— Какие вы чабаны-механизаторы! Все должны делать сами.

Бригадира не ослушаешься. Должны — значит, должны. В эти дни, превратившись в овечьих парикмахеров, чабаны стригут овец. Многим впервые попали в руки электрические ножницы, и стрижка идет хуже некуда. Зато приказ Цынгуева выполняется.

Вдвоем Оюне с Балмацу хватило бы половины лета, чтобы управиться со всеми овцами. Шойдок Цынгуевич раздобрился — прислал учеников шестого и седьмого классов. Они, конечно, тоже ничего не умеют, зато сказать нечего — народу больше чем достаточно. И на ребят не пожалуешься. Стараются они, хотят работать. Дети чабанов, они понимают, какое дело им доверили. Каждый трудится, не поднимая упавшей шапки, или, как говорят по-русски, засучив рукава, а что получается не очень хорошо, так разве они в этом виноваты?

Балмацу самая старшая из всех, но стрижет она ни-

сколько не лучше ребятишек. Кем ей только за свою жизнь не приходилось быть. И прицепщицей на тракторе, и сено косила, и лес возила... С любой мужской работой справлялась. А вот скроить что-нибудь, сшить — тут у нее плохо выходило. Иголка, казалось, не по ее крупным рукам. И всякое новое дело давалось ей с трудом. Мучилась Балмацу от того, что какой-нибудь пустяк для всех и каждого — не получается у нее, хоть ты умри! И на себя злилась, и на людей.

И сейчас выходила из себя, потому что не слушались эти проклятые электрические ножницы, вырывались из рук овцы — они же живые! Рядом с нею чуть не час простояла Оюна, показывала, объясняла, сама принималась стричь, держала руку Балмацу с ножницами — никакого толку! Посоветовала ей бросить. Без нее, сказала, обойдутся. А Балмацу уперлась, как всегда. Раз, говорит, поставили ее чабаном-механизатором, значит, должна она уметь все, что и другие умеют. И стричь научится. Завязала косу на затылке, накинула для верности платок на голову, чтобы волосы не мешали, подоткнула полы халата за пояс, стиснула зубы... Стрижет и ругается. Чуть не плачет, а стрижет.

...Они появились незаметно. И не то, чтобы застали врасплох. Подошли не спеша, и точно тут и были — Шойдок Цынгуев, бригадир, и Сокто-ахай.

Хоть и насолила Шойдоку молодежь, все его честолюбивые планы порушила, а дело есть дело, и не в правилах Цынгуева было от кого угодно отставать. В эти дни бригадир покой потерял — стрижка овец началась. Тут уж про обиды свои забудь! А на Кункурском стригальном пункте, куда отару Оюны и Балмацу пригнали, сначала стригалей не хватало — пришлось добавлять, теперь опять что-то разладилось.

Деду Сокто давно хотелось посмотреть своих овец. Выдерживал старик характер перед внучкой, сердился на нее, а сердце болит и тяжело в одиночестве. Съездил на аршан безо всякой нужды — время убить. Вернулся — не сидится в юрте. Прикинул, что время к стрижке овец подошло, и совсем затосковал. На счастье, завернул к нему Цынгуев, с собой позвал. Сокто-ахай не стал ждать вторичного приглашения. Долго ли ему собраться? Старый синий тэрлик носит он и в будни, и в праздники, шапку тоже не снимает ни зимой, ни летом.

— Поехали,— сказал.

Посидели, конечно, недолго в затишке, покурили. Сокто, как обычно, щепоть табаку в рот положил. У него своя причина была, по которой он жевал, а не курил табак. Овцы не любят табачного дыма, и старик его не очень жаловал. К тому же, считал Сокто, курящий человек с огнем неряшлив, неаккуратен. Ненароком обронит огонь в хотоне и — пожалуйста, пожар. Когда табак жуешь, никому беды не будет.

Заправившись табачком, Сокто-ахай обратился с вопросом, который давно хотел задать бригадиру:

— Ты — человек многознающий. Зачем ты этих молодцов пустил по их воле? Зачем моей Оюнке самых слабых тулгушек дал?

Шойдок чуть дымом не поперхнулся.

— Кто их заставляет?! Без моего ведома все сделали. Я как раз эту Дондокову отару сплавить из своей бригады хотел.

— Во-от как... А я все понять не могу: зачем хороших овец с плохими смешали? Догдомэ говорит — так надо. Лида-багши говорит — правильно сделали, внучку еще хвалит. Не по мне это. Все! Не буду больше чабанить...

— Я председателю опи-сально заявлял! — горячится Шойдок.— Предупреждал его: нельзя молодежь распускать. Кто был прав? Лучшие чабаны из бригады уходят.

— Не слушают они меня,— кряхтит Сокто-ахай.

— С ними разговаривать бесполезно,— машет рукой бригадир.— Никого не слушают. Вы зайдите, Сокто-ахай, к председателю и все ему расскажите.

— Получится, что я жалуюсь,— нерешительно произносит старик.

— Что вы! Надо ставить в известность. А случится с овцами что — кому отвечать? С кого спросят?

— Не дай бог, перед законом стоять! Может, обойдется?

— Ну, пока... вроде бы ничего. В целости овцы. Да вот сами сейчас увидите, как с ними хозяева управляются. Стрижка плохо у них идет.

С тем и поехали.

Старик сразу направился к загону, где метались злополучные тулгушки из отары Балмацу. В душе порадовался, что худшие его опасения не подтвердились. Овцы как овцы. Хотя, конечно, могли быть и лучше. У него бы

они были упитанней. Минуты, однако, не прошло, как нахмурился Сокто-ахай, начал возмущаться. Эти горе-чабаны приступили к стрижке, не дождавшись, пока на шерсти овец появится жиропот. Кто так делает? Кто их учил? Ну, а о самой стрижке и говорить нечего. Словно кто грыз овец тупыми зубами. Шерстяные платья-костюмы все носить любят, а стричь так безобразно даже не стыдятся! Сокто подбирает слипшиеся грязные клочья шерсти, прячет за пазуху.

Улучил момент, когда рядом Цынгуев очутился, давай вытаскивать горсть за горстью грязную шерсть.

— Да-а...— поскреб бригадир бороду.— Что же делать?

Старик насупился, молчит.

— Самим, однако, придется?

— Придется... Только станут ли нас слушать?

Оба направились под навес.

Цынгуев, чуть впереди старого чабана, шагал мимо стригалей, здоровался с ними кивком головы, растопыренной пятерней делая знаки — дескать, работайте, не отвлекайтесь. Не говоря ни слова, не ругая, не хваля, стоя недолго возле каждого, передвигал, чтобы удобней было брать, банки с водой и порошком, которым присыпали порезы от ножниц, предупреждал:

— Не забывайте чаще менять ножи.

Сокто-ахай двигался медленней. Он осторожно обходил со всех сторон стригалей, глядел на их неумелую работу, качал головой и недовольно бурчал. Заметив, как Балмацу приволокла за задние ноги и бросила на помост овцу, взорвался:

— Что ты за девка! Потише не можешь? Все внутренности овечке отобьешь!

— Ничего с ней не случится,— Балмацу цепко держит животное, связывает овце ноги, чтобы не брыкалась.

— Она не железная! — чуть не стонет старик.

— Подохнет, что ли, если ее свяжешь? — усмехается Балмацу и начинает стричь с боков. Стрижет как попало, неровно, рывками. Шерсть рвется, запутывается. Овца напоминает пуделя.

Лицо Сокто-ахая хмурится, он готов закричать, но сдерживается и вроде бы советует:

— Вообще тебе бы лучше стричь ручными ножницами.

— Много ими наработаешь! А электричество для чего?

— Не для тебя... Какой толк от твоего электричества, от этих машин-ташин, если ты стричь не умеешь?

— А я научусь.

— Э-ээ! — старик машет рукой. — Пока ты научишься...

Балмацу на самом деле хочет, чтобы было как можно лучше. Конечно, грубоватая она. Сама знает, да ничего поделать с собой не может — такая уж есть. Но ведь старается! Тем более, когда сам Сокто-ахай рядом стоит. Для нее это вроде экзамена. Но все ее старания идут насмарку. Почему-то дрожат, как от паралича, руки. Машинка не слушается, выходит из повиновения, извивается толстой, пестрой, длинной змеей. Ее хищная челюсть с десятками зубьев вгрызается куда захочет. А кожа у овец тонкая, нежная. Одно неловкое движение, и под ножницами проступает кровь.

Дед Сокто морщится как от боли, будто его самого ранят.

— Ну что ты за человек! Зачем мучаешь так?

— Это у нее болячки на животе были...

— Какие болячки!

— Да вы посмотрите...

— Брось. Отпусти овцу!

— Подождите, достригу.

— Отпусти, пока она еще живая! — рассерженный старик развязывает ноги овце.

Волоча за собою недостриженную шерсть, насмерть перепуганная овечка мчится, тычется сослепу, шарахается, пугается еще пуще. Того гляди, и правда помрет от разрыва сердца. Ее было прижали в угол — вырвалась, прошмыгнула между ног Санджи и, словно узнав старого чабана, сунулась прямо ему в руки.

— Стой, хулай!.. Правильно, что убегаешь от них. Как тебя ужасно обстригли! Последним сортом такую шерсть примут. Стой!.. А оставили сколько — на голове, на шее, на боках... Если на каждой овце постольку оставлять, какой убыток колхозу будет. Хулай! Зачем вы мучаете бессловесную скотину? Ты же, Балмацу, у нее живьем кожу сдираешь. Самое меньшее десять порезов сделала. На эти ранки мухи садиться будут, черви заведутся... Настоящий грех берешь на себя...— Сокто-ахай добыл где-то ручные ножницы, осторожно обстригает

клочья шерсти, присыпает ранки дустом, продолжая брюзжать.

— Ну-ка все сюда! — слышится громкий голос Цынгуева.— Поближе! Это наша ошибка... Я виноват — не научил. Смотрите, как надо.

Закатав рукава, бригадир хватает первую подвернувшуюся овцу, опрокидывает ее на спину и, не связывая, начинает стричь. Машинка с ровным жужжанием послушно ныряет в густую шерсть, и руно, словно покрывало, целиком отделившись от овцы, ложится на помост.

— Ого! За пять минут! — восторженно и удивленно замечает Санджи, практикант.— И ни одного пореза!

Шойдок стрижет вторую овцу, третью... Столпились вокруг стригали, перешептываются, подталкивают друг друга. С восхищением смотрит на бригадира Оюна, с завистью — Балмацу. А Санджи на часы поглядывает:

— Четыре минуты!.. Три с половиной!..— И не выдерживает: — Можно, я попробую?

«Молодец, Шойдок. Сноровистый. Ловко у него... Ай да бригадир! — дед Сокто успокоенно садится на помост, поджав под себя ноги.— Шойдок их научит...»

— Я еще побуду здесь, погляжу,— отвечает он, когда Цынгуев предлагает ему возвращаться домой.

Блеянье овец в загоне, жужжание электростригальных агрегатов, стрекот саранчи, всплески смеха молодежи — все это сливается в непривычный для тихой в эту пору, изнывающей от жары степи гул и звучит, как музыка.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

...Широко, неоглядно расстилается степь. Кто только не хозяйничал в ней. Находилась она в ведении Агинской степной думы, владели ею ламы дацана, богачи и кулаки, пока не отобрали ее, не передали на вечное пользование колхозникам.

Не очень разумно распорядились поначалу своим богатством новые хозяева степи — травы косили раньше времени, не давали им обсемениться. Год за годом, год за годом, и все так. Казалось, чего тут о сроках думать, вон ее кругом сколько, травы,— знай коси. И вроде бы незаметно начала земля скудеть, а когда спохватились, поздно уже было. Пришлось хангильцам искать сенокосы на стороне, ездить в долину Хилка, а то и еще дальше.

Скорей всего Шойдоку это председатель подсказал,

а может, и сам он додумался взяться за старые сенокосы, запущенные, захламленные. Когда Догдомэ вспомнил весной про старую оросительную систему и надоумил расчистить несколько канав, Цынгуев чуть не месяц держал бригаду на поле, вплотную к которому подошла вода. Постарались на совесть — убрали камни, мусор, выкорчевали кустарники, срыли кочки. И травостой в долине Хулэрэгтуя небывалый за многие годы. Пасти скот здесь Шойдок Цынгуевич запретил. Всю траву решили скосить на сено.

Цынгуев — хороший хозяин, ничего не скажешь. Работать умеет. Не зря бригада его всегда на первом месте. Но чаще, чем надо, ищет во всяком деле Шойдок выгоду для себя. Не какую-нибудь прямую выгоду — больше заработать, например. Как раз за этим Цынгуев не гонится, об этом не думает. А вот к славе, даже самой-самой маленькой славе ревнует он всех и каждого и постоянно боится, как бы ему меньше других полагающихся почестей не досталось, как бы его не обошли... Не будь у него этой слабости, цены бы не было Шойдоку Цынгуевичу. Сколько сил и ума приходится тратить ему, на какие хитрости пускается он, как ловчит иной раз, только бы всех обойти, только бы сохранить тщательно оберегаемую репутацию первого, лучшего. И не может никак понять Шойдок, что давным-давно всеми разгаданы его уловки и ухищрения, что только вредит он этим себе, что куда больше пользы было бы, если б все, на что он способен, шло на дело.

Вот и с сенокосом в долине Хулэрэгтуя едва он не опростоволосился. И решил все правильно, и работу по-доброму наладил, и мысли у него были самые хорошие. А напоследок едва все не испортил.

Еще с весны наседал на Шойдока Цырен Догдомович, чтобы бригадир использовал по прямому назначению механизатора Беликтуева. Дугаржаба Беликтуева. Не будь Догдомэ так настойчив, Цынгуев давно посадил бы Дугаржаба на любую машину. Но в неоднократных указаниях председателя Шойдок усматривал посягательство на свой бригадирский авторитет, на свою самостоятельность, на свои права и артачился. Отговорка была у него постоянно одна и та же: трудно будет Беликтуеву работать на машине без ноги... И не подкопаешься! Разве не заботой о человеке проникнута принципиальная позиция бригадира? Разве не о деле прежде печется он? И согла-

сился в конце концов Цынгуев не потому, что сдался натиску самого Дугаржаба или настояниям председателя. Были у него свои расчеты. Ладно, решил он, пусть будет по-вашему! Шойдок Цынгуевич рассчитывал извлечь и кое-какую выгоду для себя. Пусть Дугаржаб работает, рассуждал бригадир, пусть. Пойдет у него дело хорошо — все скажут, что это его, Цынгуева, заслуга: не побоялся доверить технику инвалиду. Не получится — опять Шойдок прав: он же сколько раз предупреждал — нельзя доверять технику парню с протезом, без ноги.

Короче, начал Дугаржаб Беликтуев убирать на самоходной сенокосилке травы в долине Хулэрэгтуя. И не его вина была в том, что, сделав неполных два круга по лугу, косилка отказалась работать. Новенькая, с еще не облупившейся заводской краской, самоходка ни с того ни с сего отказалась подчиняться механизатору. Как ни бился Дугаржаб, ему не удавалось отрегулировать режущий аппарат. Ножи косилки только гладили верхушки травы. С грехом пополам Дугаржаб сделал еще один проход. Сзади — глаза бы не глядели! — вместо ровной низкой щетки стерни дыбилась клочьями нетронутой травы, торчала рядками нескошенных стеблей, зияла будто пробритыми проплешинами, виляла зелеными рытвинами обезображенная луговина.

Час-другой промаявшись с заупрямившейся машиной, наладив как будто ее, Дугаржаб трогался с места, но через десяток метров оглядывался, чертыхался и снова начинал возиться с косилкой. Так продолжалось до тех пор, пока стало совершенно ясно, что самому ему косилку в порядок не привести. Парень все-таки не сдался. Он выключил двигатель, достал паспорт-инструкцию самоходки, тщательно разобрался еще раз в устройстве режущего аппарата и опять полез под машину.

Должно быть, с полдня уже простоял агрегат, когда на лугу появился Шойдок Цынгуевич. Все шло, как он и предвидел. И бригадир мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Он и не подумал бранить Дугаржаба. Его вполне устраивало, что эксперимент проходит точно по намеченному им плану. Однако, поразмыслив, бригадир встревожился. Забота настоящего хозяина взяла верх над честолюбием. Простой самоходки грозил куда большими неприятностями, чем конфликт из-за Беликтуева с председателем. Не скандалом, не личной обидой — потерей драгоценного сена.

Вот тут-то Цынгуев и кинулся на розыски «летучки». Вот тут-то и вспомнил он про шефов, сменил гнев на милость. И как же вовремя подвернулись они!

А Булат и Роза, только услышав, что Дугаржаб попал в беду, поспешили к нему. Уж кому-кому, а Дугаржабу они были обязаны прийти на помощь вне всякой очереди.

Отыскать косилку в открытой на все четыре стороны взору степи труда не составляло.

— Посмотри-ка, Булат,— удивилась Роза,— кажется, хозяин куда-то исчез... Куда он мог деваться?

Действительно, возле машины никого не было. Дугаржаб, утомленный бесплодными попытками наладить агрегат, разморенный жарою, просто-напросто спал под косилкой. Наклонившись над ним, Роза стала щекотать ему щеки и шею стебельком ковыля. Дугаржаб отмахнулся от травинки, как от мухи, и глаз не раскрыл. Девушка тихонько загудела по-комариному, снова поводила стебельком по лицу — хоть бы что! Еще пощекотала — парень поднял воротник куртки, перевернулся на живот, уткнулся лицом в траву. Роза загудела погромче и кольнула травинкой в ухо.

— Ой-е-ей! — завопил Дугаржаб, выкатился из-под косилки, замахал руками.

Роза расхохоталась.

— Ну и пограничник! Испугался, как заяц...

Только теперь окончательно проснувшись и сообразив, в чем дело, Дугаржаб рассмеялся, а когда Роза попыталась встать, он потянул ее за руку и усадил рядом с собой.

— Это еще что такое?!

— А вот что! — и крепко обнял ее.

Стараясь изо всех сил выбраться, девушка толкнула его.

— Вот тебе! Получил? Будешь знать!

Щеки у Розы пылают, глаза блестят.

— Эй, еще и вправду поссоритесь! — окликает их Булат, забравшийся на косилку.

— А чего он дурака валяет...

Дугаржаб как ни в чем не бывало поднялся, пригладил ладонью растрепанные волосы.

— Заснул, оказывается!.. У вас ничего нет покурить? Хотя... технической интеллигенции, кажется, не положено?

— Мы такую гадость не держим! — презрительно отвечает Булат.

— Пока с чертовой машиной возился, все папиросы выкурил,— вздыхает Дугаржаб и мнет в руке привядшую траву.— Может, сено за табак сойдет?

Роза укоризненно смотрит на него:

— Давно бросить пора.

— Пробовал я. Никак не могу...

— Эх ты! Нет у тебя силы воли.

Дугаржаб разводит руками, швыряет траву, обращается к механику:

— Ну, что? Понимаешь, сколько ни возился, ничего не могу понять... Совсем новая машина...

Булат уже облазил косилку со всех сторон.

— Позавчера в тулмусановской бригаде такую же самоходку починили. И эту наладим.

— Может, заводской брак?

— Ишь ты! — язвит Роза.— Сам поломал, а на завод валишь. Ну-ка, давай сюда паспорт.

Дугаржаб улыбается во весь рот:

— Вон, на колесе паспорт. Ты, конечно, сейчас во всем разберешься.

— Не хуже тебя!

— Ну, давай, давай...— И к Булату: — Все-таки что же могло случиться?

— Пока сам не пойму. Ну, ничего. Втроем-то найдем выход.

— Идите сюда, горе-механики,— зовет парней Роза.— Смотрите схему. И не стыдно? Сами не могли.

Дугаржаб и Булат с преувеличенным вниманием снисходительно склоняются над схемой, подозрительно долго разглядывают ее, переглядываются и, не сговариваясь, враз раскланиваются перед Розой.

— Ваша взяла! Сдаюсь! — дурашливо поднимает вверх руки Дугаржаб.

— Моя школа...— скромно замечает Булат.

Все трое принимаются за ремонт. Слышно только звяканье железа, стук ключей, редкие возгласы: «Еще маленько!», «Тяни!», «Поберегись!»...

— Вот проклятая! — восклицает Дугаржаб и протягивает друзьям шестеренку с выкрошенными зубцами.— Что? Не заводской?

— Что же мы поставим вместо нее? — катает шестеренку на ладони Роза.— Есть у тебя запасная?

Дугаржаб роется в инструментальном ящике, но ничего подходящего не находит.

— Как же быть?

Булат тоже ничего не находит в своих запасах.

— Из-за такой мелочи сколько времени даром пропадает!

— Мастера! — ехидничает Дугаржаб.— Для чего же ваша «летучка», если пустяка сделать не можете?

— Вот как раз такие пустяки хуже всего! — защищается Булат.

— Крупную поломку мы бы в два счета исправили,— поддерживает его Роза.

— Ха! Посмотрел бы я... В общем, помогли...

— Честное слово, такое с нами в первый раз. Ты уж извини...

Роза возмущена.

— А чего ты оправдываешься перед ним, Булат? Сам-то он что-нибудь может?

— Попрекать могу. На одном с тобой уровне.

— Перестаньте. Опять поссоритесь,— останавливает их Булат.

Некоторое время все трое помалкивают.

— Подождите-ка. Я сбегаю. Кажется, что-то придумала.

Роза вскакивает и убегает.

— Чудесная девушка,— глядя ей вслед, говорит Дугаржаб.

Подхватывая его интонацию, Булат отвечает:

— Но ты ее напрасно разыгрываешь.

— А мы всегда так. Еще маленькими были, нас женихом и невестой дразнили. Роза сердилась. Мама, бывало, как увидит ее, обязательно скажет: «Вон моя рыженькая невестка идет...»

— Смотри: вдруг да сбудется?

— Хорошо бы...

— Все от тебя зависит.

Дугаржаб старательно вытирает тряпкой косилку. Разговор явно приятен ему, но все-таки он предпочитает переменить тему.

— Знаешь, я кое-как справлялся с машиной. Сначала думал — не получится. А теперь!..

Он вспрыгивает на сиденье, жмет протезом на педаль. Протез трещит.

— Тише! Сломаешь — мне ремонтировать,— шутит Булат.

— А-а! Теперь, дружище, я с машинами не расстанусь. Любую буду водить. Вы мне поможете?

— Ты еще сам нам будешь помогать...

Булат произносит это подчеркнуто, с каким-то особым смыслом, и Дугаржаб настораживается.

— А чем я помогу?

— Есть одно дело...

Ему не терпится поделиться.

Булат всегда полон техническими идеями. В мечтах он сконструировал уже десятки различных машин. К сожалению, пока что ни одной идеи осуществить не удалось. Но это вовсе ничего не значит. То, что он недавно придумал,— замечательно! Никто еще до этого не дошел — убирать хлеб в любую погоду: в дождь, в слякоть, в грозу, когда угодно. И ведь очень просто: надо только сделать в комбайне печь, сушилку. Булат уже разобрал старый комбайн в колхозной машинно-тракторной мастерской и начал делать одно устройство...

Дугаржаб внимательно слушает. Это здорово, если получится.

— Хорошо придумал!

— Не знаю еще, что будет,— нерешительно говорит Булат.— Только пока об этом никому. Кроме меня, об этом только один человек знает, отец Розы... Роза, конечно, тоже. И тебе вот рассказал. Будешь помогать? Назначим тебя машинистом-испытателем.

— Держи,— протянул Дугаржаб черную от масла и грязи руку.

— Итак, договор заключен.

Роза что-то не возвращалась. Взмокшие от жары парни сбросили одежду, стали мыться из бочки с водой, теплой, мутной, покрытой радужной пленкой от масла, но все-таки водой. Они плескались, пока не ополовинили бочку.

— Ай-я-я! Вы что делаете!

Откуда она появилась, Роза? Как они ее не заметили? Кинулись было к одежде, и самим смешно стало — чего всполошились?

— Иди с нами купаться! Мы тебе немного водички оставили.

— В такой грязной воде? Не-ет, я не поросенок. Смотрите! — Роза показала парням шестеренку.

— Где достала?
— Кто ищет, тот всегда найдет.
— Неужели успела в МТМ? — удивился Булат.
— Что ты! Бригада Кункура недалеко. У них выпросила.
— А подойдет? — опасливо спросил Дугаржаб.
Девушка притворилась обиженной.
— Плохо же ты обо мне думаешь... Конечно, подойдет.— И лукаво посмотрела на него.— А я еще что-то достала...
— Папиросы? Ура-а! Качать Розу!
Болтая ногами, Роза колотила кулачком с зажатыми в нем папиросами по мокрым плечам Дугаржаба, но парень держал ее крепко и не выпускал.
— Була-ат! — звала она на помощь.
— Ты молодчина, Роза, и тебе придется потерпеть. Мы только слегка подбросим тебя.
— Какие вы некультурные! Разве можно швырять живого человека? И потом, все-таки...
Ей удалось выскользнуть из объятий Дугаржаба, отпихнуть Булата. Она отбежала на несколько шагов, подразнила парней и спрятала папиросы в карман.
— Теперь не получишь!
Солнце, едва перевалившее через зенит, чуть не докрасна раскалило косилку — не притронуться. В степи тишина. Изредка слышится какой-то неясный, зыбкий шум, не поймешь от чего, словно сама степь вздыхает, разомлев от жары.
Поставить шестерню — минутное дело, но пока Булат убедился, что косилка полностью исправна, пока проверил все узлы, пока скомандовал Дугаржабу: «Пошел!» — утекло немало времени.
Дремотное безмолвие взорвал треск двигателя.
Дугаржаб взгромоздился на сиденье, выжал муфту сцепления, включил скорость.
— Ну, попробуем.
— Я с тобой кружок сделаю,— примостился рядом Булат.
— И я с вами! — запрыгнула на косилку Роза.
Ровный гул мотора, грохот рычагов, лязг колес, треск ножей — словно музыка. Машина постепенно убыстряет ход, тянет вперед сильно, мощно, оставляя за собой ровную низкую щеточку стерни, не под самый корень сбривая степное разнотравье.

Дугаржаб слегка подался вперед, будто слился с косилкой. Он еще увеличивает скорость, счастливый и гордый от того, что машина послушна ему. Когда на пути возникают кочки, пни, муравьиные кучи, рука его привычно трогает рычаг и ножи повисают в воздухе.

— Поря-адок! — кричит он в восторге, останавливает двигатель и с наслаждением закуривает.

— Не забывай делать техуход, смазку,— наставляет Булат.

— Сломаешь — сам будешь чинить! — грозит пальцем Роза.

— Все будет в порядке! — обнадеживает Дугаржаб.

— Ну, мы поехали,— хлопает его по плечу Булат.— До скорого!

— До свидания, Дугаржаб,— прощается Роза.

— Спасибо, друзья. Баяртай!..

Не успели отъехать, у развилки дорог повстречались с парторгом. Лидия Васильевна стояла у обочины, подняв руку и держа за руль мопед.

— Мэндэ!

— Здравствуйте, Лидия Васильевна!

— Мэндэ, Лидия-багши!

— «Повезло» мне! Конь мой занедужил. Километра три, однако, под уздцы веду...

Авария серьезная — порвалась цепь. Так-то, конечно, пустяк, но на дороге не починишь.

— Что будем делать?

— Доедем до бригады, там отремонтируем.

— А меня с собой возьмете?

— Конечно!

— В кабине места хватит. А коня вашего погрузим.

Лидия Васильевна передает Розе увесистые связки, которые были приторочены к багажнику мопеда.

— За две недели почта скопилась. Газеты, журналы, книги с собой прихватила. Вот и не выдержала моя лошадка. Сама-то я тоже кое-что вешу... Думала, шагать мне да шагать.

— Мы тоже задержались.

— Косилку Дугаржабу отремонтировали. Слышите? Это он косит!

— Молодцы! — улыбается парторг экипажу «летучки».

Булат и Роза многозначительно переглядываются.

— Какой настойчивый парень, Дугаржаб,— продол-

жает Лидия Васильевна.— Добился своего! Я помню, когда он в школе учился,— учительница по математике мне рассказывала,— каждую задачу несколькими способами решал.

— Он и в армии такой был,— говорит Роза.— И теперь...

— Лучше Дугаржаба ищи — не найдешь! — сдерживая улыбку, произносит Булат и тут же морщится: Роза острым локотком чувствительно ткнула его в бок.

От Лидии Васильевны это не укрылось, но она и виду не подала.

— Сено сейчас — самое главное. По вчерашней сводке бригада Шойдока Цынгуевича сильно отстает. Так что работа Дугаржаба будет у всех на глазах. А вы,— как бы это получше сказать,— тоже на главном направлении. Вам теперь в южной степи колесить да колесить. Оюну не забывайте...

Локоток Розы снова находит бок Булата.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Скотный двор на усадьбе Булата никак не назовешь образцовым. И не потому, что весь он будто сделан из кизяка. Это как раз в порядке вещей: свежий навоз ни у кого не пропадает — самый дешевый и практичный строительный материал. Он и здесь в дело пошел. Стайка, пристройка к ней, хлевушок снаружи и изнутри густо обмазаны навозом пополам с глиной, чтобы ни одной щели не оставалось. И на крышу положены пласты, сквозь которые буйно проросла полынь. Но все тут давным-давно порядком обветшало. Тронет корова рогами — повалит запросто.

Вокруг стайки березовый частокол, а дворик с многолетними залежами перегноя огорожен невысокой оградкой с покосившимися кольями и прогнившими прутьями лозняка. В углу, под заборчиком, свалены метлы, лопата, лапа для мусора, сплетенная из прутьев вербы. На колу висит старое пустое ведро. Беленький козленок лижет большую выщербленную эмалированную миску. Вокруг него скачут ягнята. Куры копошатся, выискивают что-то в грязи и мусоре. В старой жестяной коробке разложен дымокур, и горький кизячный дымок стелется над двором.

По всему, на что ни глянь, видно, что нет здесь настоящего хозяина. Прежде обычно Бальжима целыми днями пропадала в стайке и дворике, возилась с молодняком, выделывала кожи, убирала навоз. Последнее время стала она сдавать — то и дело под ложечкой колет, голова постоянно болит. Много ли она одна наработает? Только возьмется за что-нибудь — уже устала. Обопрется на изгородь, долго дух переводит, а то в тени присядет, положит руки на колени, и нет уже сил подняться...

И сегодня с утра хотела хоть немного прибраться в скотном дворе. Чувствовала себя вроде бы неплохо. День выдался нежаркий. Потихоньку, не спеша, чистила стайку. И надо же — сломалась тележка, на которой возила навоз. Расстроилась Бальжима, сразу усталость почувствовала, села поближе к дымокуру. Повязанная зеленым платком, в коричневом поношенном тэрлике и черных кожаных унтах, худенькая, сгорбатившаяся, с разбежавшимися по всему лицу мелкими морщинками, совсем старенькой выглядела Бальжима-абгай. Кажется, отдохнула, а делать все равно ничего не хочется.

Так бы и просидела, наверно, пока коровы домой не вернутся, да Булат неожиданно рано пришел. И повеселела сразу тетушка Бальжима. Ласково поглядывала, как, раздевшись по пояс, умывался сын холодной колодезной водой, как, отыскав на навесе, схватил полную пригоршню сушеного творога и с аппетитом жевал его, как тут же принялся чинить тележку, и все у него выходило ловко, ладно. Оглянуться не успела, Булат уже сменил ось на тележке, залатал поломанный короб и, словно маленький, покатил вприпрыжку по дворику.

А Булат, пока занимался ремонтом нехитрой домашней техники, размышлял, что на этой тележке и за год не вывезешь скопившийся навоз. Трактор бы сюда — вот это дело. Или машину. Только нельзя: люди на смех поднимут. А еще лучше пригнать бульдозер и вместе с навозом смахнуть и стайку, и хлевушок, и покосившуюся оградку. Кому все это нужно, если разобраться? Вполне можно теперь обойтись без своего скота. Во многих местах — он сам читал в газете — отказываются от личного скота. Молока вдоволь имеется на колхозных складах. Бери, сколько требуется. И никакой мороки со скотиной.

Он совсем было собрался поделиться с матерью своими соображениями, так кстати пришедшими в голову, но тут примчался Ким. Вместе с соседскими мальчишка-

ми он только что совершил набег на колхозный огород. Сторож Цыренжаб захватил их на месте преступления, и ребятишки остались целыми и невредимыми только благодаря резвости своих верных скакунов-прутиков. Спасла их, конечно, еще и доброта Цыренжаба, но об этом они и не догадывались. Неудача не слишком огорчила их — повезет в следующий раз! Еще полные воинственного пыла, попутно разыграли небольшое сражение, обстреляв друг друга залпами кизячных снарядов. Укрывшись в засаде, Ким обнаружил под крышей стайки птичье гнездо и тут же забыл о войне. Интересно же было посмотреть и пощупать маленькие крапчатые яички: а вдруг прямо сейчас из них вылупятся птенцы? Тут он спохватился, что давно пора бежать за телятами, взобрался на изгородь и обрадовался — телята сами шли домой. Теперь можно было с легким сердцем показаться матери на глаза. Ким ворвался во двор, запыхавшийся, потный, чумазый, с облупившимся носом, исцарапанными ногами.

Небывалый случай — средь бела дня вся семья оказалась в сборе!

Тетушка Бальжима поспешила поделиться с сыновьями последними новостями. Просто поразительно — нигде не была, никого не видела, просидела во дворе возле дымокура, но все и обо всех знала! И о том, сколько у кого цыплят высидели куры, и про то, что у Ивана свинья принесла десять поросят, а Линхоба собрался резать бычка и продать мясо на базаре. Каким-то образом стало ей известно, что за их коровой — той, что с белой полоской на лбу,— ходил бык-пороз. Попутно она рассказала, как соседи готовят сено на зиму. Одни, которые половчее, за Шабартуем косят конной косилкой и поставили уже порядочно копен, некоторые валят траву в перелесках Хусатая — тоже прилично запасли. Кое-кто косит на проценты — надеются получить третью часть. Но это еще трудно сказать — получат ли, хотя Догдомэ никогда не обманывал. Ему, конечно, верить можно. А вдруг колхозу мало будет сена? И останутся те, кто на эти самые проценты надеялся, ни при чем. Ближние соседи все уже свои участки обкосили, стожки сметали. Неужели Булат не видел? А у них на участке, вздохнула Бальжима, одна полынь да крапива, и те скоро на корню засохнут. Чем тогда свой скот кормить? Время-то проходит. Надо хотя бы копешек с десяток поставить...

— Ты же машину имеешь,— выговаривала она Булату.— Неужели трудно тебе свое стадо кормом обеспечить?

Тут тетушка Бальжима не совсем к месту припомнила пословицу насчет того, что яловый скот бодается, а никчемные люди ругаются. По-русски так совсем невпопад — «бодливой корове бог рог не дает». Это с Бальжимой случалось: разойдется, распалится и скажет что-нибудь не так...

Нотации матери Булат привык пропускать мимо ушей. Не то, чтобы они вовсе безразличны были ему. Он даже корил себя порой, что не помогает матери по хозяйству. И упреки ее вызывали у него угрызения совести. Ему было стыдно, что об одном и том же мать напоминает чуть не каждый день. Но как раз потому, что день за днем разговор шел об одном и том же, воркотня матери становилась все привычнее, а укоры все меньше и меньше достигали цели. Булат и теперь бы молча послушал и тут же забыл обо всем, но мать, словно угадав его мысли, напомнила о том, что он сам собирался ей сказать. Больше того, она окончательно убедила его в собственной правоте!

— Это неправильно,— заявил он,— заботиться только о личном скоте. Разве это хорошо, когда зимой у некоторых хозяев полные дворы сена, а колхозный скот нечем кормить? Так не должно быть. Нынче из-за засухи на лугах почти ничего не выросло — уж он-то знает, все колхозные угодья изъездил-исколесил. Значит, тем более каждую травинку надо убрать. Все, кто только может держать косу в руках, работают на заготовке сена. И машины стараются использовать без простоев. Как же может быть иначе? Ведь обязательства такие высокие взяли...

Киму в этом разговоре участвовать не полагалось, но он тоже решил высказать свое мнение. Разве не может он пойти в бригаду и вместе с другими мальчишками сгребать траву, подвозить копны. Это же здорово — целый день на коне ездить! И еще ему за это трудодни начислят и сено дадут. Он хоть завтра готов пойти.

Старшие не оценили его благородный порыв. Они будто и не слышали.

Не добившись толку от Булата, тетушка Бальжима, сама того не подозревая, перевела беседу на совсем

опасную для себя тему — о контрактации скота. Начала она издалека:

— Твой отец, Сыден, когда в колхоз вступил, весь скот отдал. У нас и было-то его — гнедая кобыла, две коровы, пять-шесть овечек... Совсем пусто во дворе стало. После, конечно, мы снова кое-какую живность развели. Ухаживали, выращивали... А потом война началась. Отец на фронт уехал. Остались такие, как я, с детьми, старики да старухи. Своими руками колхоз держали. Все на нас навалилось. И еще хозяйство вели. Ничего не жалели. Фронту помогали. Шкуры, кожи сдавали. Рукавицы, шапки шили, подарки солдатам посылали. Сами голодные ходили... Одной весной обрезки кожи варили... А теперь почему сборы делают? Каждый год одно и то же, одно и то же... Мы уже с десяток голов молодняка в эту, как ее, кон-трастацию отдали — все мало!

Стайка воробьев с громким чириканьем ворвалась во дворик и затеяла шумную возню на куче навоза. Они словно ссорились, гоняясь друг за другом.

Бальжима неодобрительно посмотрела на суматошливых птах.

— Эта констрация совсем наш двор опустошит. Рано или поздно останемся мы без скота...

Булат с грохотом катанул тележку.

— Колхоз план не выполняет, поэтому и обращается к нам. А толку не получается. Рассуждают-то многие, как ты. Или совсем скот не дают, или от самых худых избавляются. По-твоему, и мы так должны, да?

— А что нам, больше, чем всем, надо? Мы такие богатые стали? — начала сердиться Бальжима.

— Вообще незачем разводить много скота у себя.

— Доо, о чем ты говоришь? Может, это я отменила налог? Или я разрешила держать личный скот?

— Вот здорово! Значит, обрадовались, что налогов нет, и будут теперь сверх всякого устава скот разводить. Скоро, гляди, в колхозе кулаки появятся!

— Ха! Дурная твоя голова. Значит, Дансаран — кулак, строительный бригадир Намжил — кулак, наш сосед — тоже кулак? Так что ли? — хихикнула тетушка Бальжима.

— Что ты говоришь? — оторопел Булат.

— То, что слышишь. Откуда тебе знать, сколько чего у людей, если ты не знаешь, что у тебя на дворе? У Гурдармаева твоего больше тридцати голов.

— Не может быть. Больше тридцати?

— Вот так. Я все знаю...

Не скрывая торжества, тетушка Бальжима забрала у сына тележку, которую он катал перед собою взад-вперед. Теперь она могла и поработать немного.

— Я уже подумала, куда наш лишний скот пристроить. Козу продам доктору Дусе. Ягнят-двойняшек от пестрой овцы раздам — одну дяде Доржи, а другую — председателю Дансарану подарю. Коричневого бурунчана[1] обменяем в колхозе на усэн[2].

Булат, сидя на заборе, сколупывал палочкой налипший на сапоги навоз.

— Все равно еще останется больше чем надо.— Вот когда наступил подходящий момент, чтобы отыграться! — Вообще, зачем нам скот держать? Взять и отдать весь на колхозную ферму.

— Вы всегда моих ягнят чужим отдаете! — вмешался Ким.— Я своего Морхондоя никому не дам. Иди ко мне, Морхондой,— поманил он ягненка.

— Замолчи! — прикрикнула на него Бальжима.— При чем тут Морхондой? Кажется, безо всего останемся...

— А чего за эти хвосты держаться?

— Телят можно всех трех отдать. Надоело каждый день бегать искать их,— опять влез Ким.

Бальжима всплеснула руками:

— Что вы оба понимаете? Даже скотина знает, какие вы дрянные хозяева, к себе во двор возвращаться не хочет. То туда, то сюда уйдет. И сейчас неизвестно, где коровы...

— Правильно, неизвестно,— согласился Булат.— Каждый день шляются где попало. Уже несколько раз потраву делали. Штраф за них платили.

Ким с восторгом поглядывал на старшего брата.

— Надоели твои коровы! Ходи за ними, смотри за ними. А они даже во двор сами не хотят идти.

Легкий подзатыльник заставил его прикусить язык.

— Вам что,— заворчала привычно мать.— А когда молока не будет чай забелить? А где сливки возьмем? А придет если кто, чем угощать? По соседям ходить по-

---

[1] Бурунчан — двухгодовалая телка.
[2] Усэн — мясо на зиму.

прошайничать, что ли? Или твой автомобиль доить станем?

— Мама! Со склада все, что хочешь, выписать можно.

Ким не вытерпел:

— А если на складе кончится, можно в магазине купить. Густое молоко в консервах вку-усное, сла-адкое...

— Сейчас же замолчи! Иди, отвези тележку с навозом. Я вот тебе!

— Будешь бить — убегу!

— Отвезешь навоз и пригонишь коров. Понял?

— Да-аа!

— Ступай, ступай,— поддержал мать Булат.

— Опять их искать. А сам...

Бальжима хлопнула его по заду веревкой и погрозила добавить еще. Ким нехотя толкнул нагруженную тележку и, разогнав ее, тут же помчался вприпрыжку:

— Нно-оо!..

— Ты же старший,— с укором сказала Бальжима,— хозяин в доме.

Булат откинул волосы со лба:

— Во многих местах, мама, колхозники отказались от личного скота. Почему нам с них не взять пример?

— Вот человек. Уперся на своем. Что же в этом будет хорошего? — тетушка Бальжима заковыляла по двору.

— Как это что хорошего? Сколько они труда требуют? Сено коси, навоз убирай, стайку чини...

— Вам-то какое дело? Вы, что ли, за скотом ходите?

— Ты же здоровье губишь. Мы о тебе беспокоимся. Тебе трудно справляться.

— Вот как... Значит, о моем здоровье беспокоишься?

— Мама, ну почему ты не понимаешь!

Бальжима громко вздохнула.

— Доо... Буряты никогда не жили без скота. Всегда скот пяти видов держали. И наши матери-отцы, и их отцы-матери, хоть и никогда богатыми не были, а за скотом ходили... Мы тоже семьей, домом считаемся. Несколько голов нажили. А теперь все по ветру пустить? И так почти что хуже всех... Совсем безо всего останемся. Хорошо ты доброе имя отца бережешь, Булат. Что о тебе люди скажут?.. Ты старший. Сам решай. Хочешь весь скот сдать — сдавай. Делай, что хочешь. Не буду я больше с тобой спорить.— Она присела на корточки пе-

ред почти потухшим дымокуром и, наклоняясь над едва тлеющим кизяком, словно отбивая поклоны, стала дуть на него. Над головой у нее закружился пепел. По двору потянуло горьким дымком.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

...Наступил рассвет, и туман окутал землю молочно-белой пеленой. Сквозь эту зыбкую завесу с невидимого берега небольшого степного озерка поднималось на чернеющий бугор с несколькими приземистыми летниками молочнотоварной фермы стадо коров.

Оно уже все было на виду, когда из тумана вслед за ним вынырнул пастух в кожаной куртке, шапке-кубанке, остроносых штиблетах. В это утро обязанности пастуха исполнял Санджи, прикативший в Хангил на каникулы. Никто не поручал ему гнать коров на утреннюю дойку. Просто он проснулся раньше всех и сбегал в степь, где ночевало стадо.

Санджи любит бывать на ферме. Он, можно сказать, зоотехник по призванию, а к коровам у него особенное отношение, должно быть, потому, что его мать много лет была дояркой. Недавно Санджи привез на ферму оборудование для электродойки и больше недели монтирует его.

— Эй, пеструха! — прикрикивает парень на свернувшую в сторону корову.— Куда тебя понесло? Ну-ка, шагай, куда надо!

Он оборачивается и, удивленный, застывает на месте. Стелющийся по низине туман — словно выпавший на землю молочный дождь. И так же, как сам он только что возник из этой непроницаемой сырой белизны, прямо перед ним неведомо откуда появляется Балмацу, погоняющая трех коров.

— Есть тут хозяева или нет? — кричит она.— Что вы за люди, распустили скотину. Со вчерашнего дня в нашей пшенице пасутся. Обожраться могут, подохнуть. Кто отвечать будет?

— Здравствуйте, Балмацу,— снимает шапку Санджи.— Какая вы молодец! Мы их вчера искали, искали... Это знаете чьи коровы? Булата Сыденова подарок.

— Значит, это правда? Я слышала, Булат весь свой скот колхозу сдал, да не поверила.

— Правда. Он хорошее дело начал, верно?

— Не знаю...

— Дикие они какие-то. Убегают все время. Смотри-ка, бодаются! Эй, вы! — он ударил палкой по земле.

— У меня коров никогда не было,— говорит Балмацу.— Ну вот, принимайте их и опять не упустите.

Она хочет идти обратно, но Санджи задерживает ее.

— Подождите, Балмацу-абгай. Куда вы торопитесь? Расскажите, какие новости в вашей бригаде. Как ваши овцы?

— Ничего овцы...

— А как с Оюной работаете?

— Оюна замечательная чабанка, хотя молодая совсем. Без нее я бы ничего не сделала.

— Конечно, она вам помогла. А ваш муж... вернулся?

Балмацу блеснула глазами.

— Какое вам дело, вернулся или не вернулся?

— Ну... если не вернулся... Я вас с собой увезу,— пытается отшутиться Санджи.

Шутка его успеха не имеет.

— Все вы, мужики, одинаковые... Вы мне всякое не предлагайте! Лучше к другим обращайтесь,— свертывая тугую самокрутку, резко отвечает Балмацу.

— Вы всех на одну мерку не мерьте! — продолжает она и, заметив, что из крайнего летника кто-то торопливо вышел и шмыгнул за забор, показывает туда парню: — Видел? Вон один такой, Цынгуев по фамилии. Молочной водкой у доярок угощался. Переночевал, повеселился...

— Не может быть!

— Тебе, конечно, откуда знать. Да кроме меня, глупой, никто дальнему человеку о таких делах и говорить не будет. Ни для кого не секрет, зачем сюда бригадир похаживает. Вот они какие, мужики. Цынгуев этот... Всякий стыд потерял. А-а, ну его к чертям!

Как ни в чем не бывало к ним подходит Шойдок Цынгуевич в накинутом на плечи плаще, довольный, улыбающийся.

— Ты, студент, где это нашу чабанку подцепил? Или со свидания возвращаетесь? Смотри, еще увезешь ее от нас! Ха-ха-ха!..

Санджи покраснел.

— Я думаю...

Пуская густую струю махорочного дыма, Балмацу в упор отвечает бригадиру:

— Можете не бояться. Никто ваших чабанок никуда не увезет.

— А то — пожалуйста. Мы девушками богаты. Иди, студент, в нашу бригаду. Мы тебе добрую невесту подберем.

— Не каждый за всеми юбками гоняется,— подкалывает его Балмацу.

— Я пошутил,— Цынгуев тут же перешел на деловой тон.— Санджи, друг, мне ведь тебя надо. Ты нам не подсобишь купать овец?

— Можно. Почему же...

— Ну, я пошла,— круто повернулась Балмацу.

— Постой! Что-то я хотел с тобой передать. Совсем из головы вылетело,— стучит согнутым пальцем по лбу бригадир.

— Когда вернетесь, вспомните.

Чабанка широко зашагала с бугра и почти сразу скрылась в клубах тумана.

...Коровы сгрудились в ожидании дойки. Отощавшие за зиму на скудном силосном пайке, они снова раздобрели. Вымя у каждой чуть не лопается от молока.

Стадо довольно пестрое. Каких только пород в нем нет! И местные буренки, завезенные еще в тридцатых годах, и казахские, и бог весть еще какие. Жуют жвачку, чешутся о забор, отгоняют хвостами назойливых мух, протяжно мычат, словно зовут доярок.

Вот и доярки появились. Гремят подойниками, разбирают своих животных, окликают их:

— Пеструха!

— Таня, Таня...

— Безрогая!..

Доярки на ферме, как на подбор, матери-одиночки, крепкие, румяные. На всех одинаковые платки — недавно в магазине продавали, черные залатанные халаты, легкие обутки на босу ногу. Им здорово достается. Полный световой день на ногах. Коров много, и женщины устают возиться с ними, но работают привычно, споро. Управились с дойкой в два счета, но трех новых коров ни одна брать не пожелала. Расшумелись, заспорили:

— Почему на нашу ферму передали?

— А я хуже всех, да?
— Давайте по очереди.
— Еще чего! У меня и так сверх нормы.
По-своему они, конечно, правы. Но коровы же не виноваты. И Санджи пытается уговорить женщин:
— Мы должны поддерживать... Булат для колхоза старался...
Не тут-то было!
— Ты нас не агитируй. Если хочешь, сам дои.
— А что? — ничуть не смущается парень.— Думаете, не смогу? Нас кое-чему учили.
— Держи ведро! — ловит его на слове старшая доярка Дулма.
— Давайте.
То к одной, то к другой корове пробует подступиться Санджи, ничего у него не выходит.
— Саа! Стой! — кричит он.
Хоть бы что.
Попытался поймать буренку с обломанным рогом. Та, подпрыгнув на месте, припустила во весь опор. Санджи с прутом за нею. Не догнал. А корова еще, как нарочно, хвост задрала, на землю лепешек накидала, дразнится. Доярки хохочут.
Решил практикант хитрость применить, замаскироваться. У одной женщины халат взял, у другой платок. Надел — ну, девушка и девушка! Щеки, которых еще не касалась бритва, раскраснелись, пока за коровами бегал, глаза блестят.
— Смотри, кто-нибудь влюбится! — смеется Дулма. Она уже готова выручить парня, подоить этих строптивых коровенок, но Санджи и не собирается сдаваться. Взял в руки маленькую кормушку с концентратом, медленно пошел к буренке. И обманул! Потянулась она к пойлу-бурдуку.
Буренка изо всех сыденовских коров самая шалая. На нее раз поглядеть, и то видно, какую науку в жизни прошла скотина. Обломанный рог — это еще что! И прихрамывает она на одну ногу, и хвост у нее куцый, и всяких шрамов-ссадин не перечесть. Ни одна изгородь ее не держала. Сквозь любую чащу продиралась. С причудами коровка. Мимо развешенного белья, например, никогда не пройдет, непременно жевать станет. Очень нравится ей лизать замазку на окнах. В общем, животина на удивление.

Санджи удалось, приманивая кормушкой, загнать буренку в угол, привязать за рога к столбу, спутать задние ноги. Перевел дух, подставил подойник... Не тут-то было! Своенравная корова чуть с ума не сошла, когда парень прикоснулся к ее вымени.

Мучения Санджи только начинались.

Зажав подойник между коленями, он половчей уселся на скамеечке, стал осторожно и терпеливо массировать сухие соски. Буренка еще пуще разъярилась, взбрыкнула связанными ногами, выбила ведро, чуть не опрокинула Санджи.

Доярки, окружив практиканта, смотрели, как он укрощает корову, перешептывались. Они уже не шутили над парнем, не злословили. Его упорство внушало уважение.

Переупрямил Санджи буренку. Звонко брызнули о жесть тугие струи молока, теплые, пенистые. С непривычки у него быстро устали, занемели пальцы, но он старался не подать виду. Женщины наперебой предлагали сменить его — не поддавался на уговоры. Он уже кончал доить третью корову, когда вновь появился Цынгуев.

— Сам с коровами Булата возишься? — презрительно фыркнул бригадир.— Такие же вредные, как хозяин. Брось ты их к чертям! Не мужское это дело. Баб, что ли, пожалел?

Санджи слил молоко в бидон, снял платок, отвязал корову.

— Зоотехник должен все уметь.

— Ты, конечно, абсолютно прав. А я в самом деле за тобой приехал. Узнал, что ты на ферме, и — сюда. Ты уже спал. Я не стал будить...

— Я не спал. Я читал,— усмехнулся Санджи.

Что-то в его усмешке было такое, что Цынгуев поспешил сменить разговор.

— Ты еще долго собираешься оставаться на ферме?

— Пока электродойку не пущу. Может, сегодня и кончу. «Летучка» должна подъехать. Вдвоем с Булатом быстрее доделаем.

Бригадир задумывается.

— Ладно, вместе дождемся. А потом я всех вас в бригаду увезу. Пойдем пока, посидим на берегу,— и зашагал к озеру.

— Можно,— Санджи пошел за ним.

— Устаешь, понимаешь,— вытянул ноги, усевшись на траву, Шойдок Цынгуевич.— День-деньской о деле стараешься... Можно себе разрешить и отдохнуть немного. Хорошо здесь. Одного только не хватает.

— Чего?

— Что такое котловая водка, знаешь?

Санджи помотал головой.

— Ну как же? Молочная водка. Самогон из молока. Не знаешь? Сначала архи получается — от первого отгона. Второй раз пропустить — уже арза называется. На огонь капнешь — горит. Почти как спирт. А если еще перегонять, тогда будет хорзо. Настоящий яд, говорят. Мне ни разу пробовать не приходилось. Конечно, у нас запрещено молоко на водку перегонять, но кое-кто исподтишка «котлы замазывает». Неужели в вашей Калмыкии нету такой водки? — Цынгуев даже слюну сглотнул, представив вкус и аромат крепчайшего напитка.

— Вроде бы делали и у нас. Я от матери слышал. Давно это. Я еще маленький был.

— Ну, а теперь ты взрослый. Так что можешь попробовать.— Цынгуев вытащил из кармана брюк бутылку, заткнутую бумагой, и плоский кружок.

— Это что?

— Это, что ли? — бригадир поднес к глазам кружок.— Это походная посуда. Стакан. Может растягиваться.

— Интересно,— протянул Санджи.

— А вот айрсан — сушеный творог,— извлек откуда-то Цынгуев небольшой узелок.— Отличная закуска.

Хоть и не любил Санджи спиртного, но желание попробовать, что это за штука такая — молочная водка, пересилило. Он не стал отказываться от угощения, только попросил:

— Мне немного.

Бригадир протянул стакан.

— Ты дальний гость. Я с тобой еще ни разу не чокался. Держи мое скромное угощение.

Санджи нерешительно пригубил.

— О-оо! Очень крепкая!

Так и не допив, вернул стакан Цынгуеву. Бригадир долил и одним махом опростал его.

— Я вчера, честно тебе сказать, немного промочил горло. Сейчас самое время поправиться...

Не предлагая больше практиканту, Шойдок Цынгуевич еще раз наполнил стакан и одним глотком управился и с этой дозой, тут же, на глазах, хмелея.

— Ты очень хороший парень. Ты мне нравишься. А у нас тут всякие молодцы есть. Возьмем Сыденова Булата. Знаешь Булата? О нем в газету надо писать. О его проделках. Вот, посмотри,— бригадир протянул мелко исписанный листок.

Санджи отвел его руку, резко поднялся.

— Мне это ни к чему.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

На дороге, что ведет из южной степи к Хара-Нурской культбазе, заклубилась пыль. Издали не разобрать: то ли вихрь, то ли движется что-то. Приближающийся длинный серо-желтый пыльный хвост не оставляет сомнений — машина. А вот уже и видно шустро бегущий колесный трактор с прицепом-тележкой, полным людей. Еще чуть погодя доносится песня, старинная бурятская песня «Наян нава». А теперь можно даже разглядеть лица сидящих в прицепе.

Тракторист гонит по тряской дороге на самой высокой скорости. Ему кричат, жалобно так:

— Тише ты! Совсем растрясло.

— Ничего-о! — весело отзывается тракторист и даже не думает притормозить.— Вам полезно протрястись. Небось, разжирели на молоке.

— Сил больше никаких нет...

— Что вы, беременные, что ли? — зубоскалит тракторист.— Дак вам рожать не впервые.

— Не распускай язык,— раздается строгий женский голос.— А вы потерпите немного. Скоро доедем.

Трясет меньше.

Доярки едут на культбазу, где сегодня отмечается День животновода. Их и не узнаешь — принарядились. Совсем не такие, как на дойке были. Впереди сидит Дулма Анчикова, старшая доярка, полная, солидная. Рядом с нею Бутид Цыбенова, со дня создания колхоза работающая на ферме. За ними — пухленькая, быстроглазая Цырегма Тудупова с двумя ребятишками на коленях. Остальные — помоложе. Тут же и Лидия Васильевна Демидова, парторг. Это она одернула тракториста-зубоскала.

В углу, у заднего борта, совершенно черный от пыли Дондок Бабуев. Отыграться на аршане ему, видимо, так и не удалось, потому что одет он кое-как. Костюма его не разглядишь. Дондок плотно запахнулся плащом, явно женским. Вместе с плащом приобрел он и новую кличку — Дондок-баба, да разве его этим смутишь? Он рад, что хоть срам прикрыл, рад возвращению в родной Хангил. Незадолго до того, как посчастливилось ему забраться в прицеп, прикончил он бутылочку, и это тоже повысило его настроение.

...Вот и Хара-Нурская культбаза. Лет, однако, десять прошло, как ее построили. Территория базы обнесена оградой из штакетника. За широкими воротами во дворе длинные коновязи. Двумя шеренгами выстроились тополя, высоко поднявшиеся за эти годы. Прямо напротив ворот монументальная доска Почета. Когда-то были на ней портреты передовиков. Теперь почему-то нет. Должно быть, не успели сфотографировать.

Здесь всего четыре или пять домов — смотря как считать. В одном, например, магазин, который обслуживает проезжающих днем и ночью, в будни и праздники. Главная статья дохода — водка. И Догдомэ, и Лидия Васильевна не раз уже ссорились по этому поводу с Гурдармаевым, но пока что безуспешно.

— План! — разводит руками Дансаран Ванганович.— Бюджет!

Работает магазин и сегодня. Но Демидова настояла, чтобы ни единой бутылки продано не было. Ни единой!

Вот, значит, это здание — оно порою как бельмо на глазу — и есть пятое. А остальные — дома как дома. Медпункт, в который приезжают чабаны на осмотры, за лекарствами или когда всем прививки делают. Баня еще. Хорошая баня. Топят, правда, ее редко, потому что народу здесь — раз, два и обчелся. Одна жилая изба. Ну и клуб — самое просторное сооружение культбазы. В нем проводятся всякие собрания, лекции, концерты, кино крутят. Клуб тоже не часто бывает открыт. Всякий раз народ надо собирать отовсюду, привозить со стоянок и ферм. Так что и собрания, и лекции, и концерты, и даже кино подгадывают к какой-нибудь дате, к празднику, к случаю, одним словом. Такой случай и выпал сегодня.

В клубе все четыре стены, от пола до потолка, увешаны плакатами, диаграммами, лозунгами, рисунками. Сплошь все заклеено! Среди пестроты наглядного оформ-

ления выделяется самодельная копия «Трех богатырей». Все трое — от Ильи Муромца до Алеши Поповича — узкоглазы, широкоскулы, одеты в островерхие шапки — чисто буряты! — и восседают на лохматых коньках.

На шкафу, задвинутом в угол и заполненном патефонными пластинками, пылится радиоприемник, для которого никак не соберутся приобрести батареи. У правой от входа стены на длинном столе — шахматы, шашки, домино, журналы, подшивки газет. Это культпросветимущество зря не лежит. Кто бы ни появился на базе, здесь-то обязательно задержится, а если партнера сыщет, за шахматами обо всем забудет. Хангильцы, стоило бы им захотеть, смогут выставить целую команду гроссмейстеров! А что? Разве нет в якутской Чурапче чемпионов мира по борьбе!

Сейчас в клубе полно народу — раздают деньги. И даже в этой толчее и шуме несколько человек склонились над досками, ведут атаки на королей.

Тут же, конечно, вертится и Дондок.

Из очереди к кассиру слышатся ехидные реплики:

— Откуда, Дондок?

— Однако, нора, в которой прятался, узкой стала?

Проймешь его, как же!

— Посмотрел, как люди в других местах живут, не понравилось. Решил в родной Хангил насовсем возвращаться,— не без достоинства отвечает Дондок.

— Почему женская одежда на тебе? В доярки, что ли, собрался?

— Угадал. Думаю на ферму пойти.— Он проталкивается к кассиру и протягивает руку.— Только аванс вперед!

— Кому что, а тебе — аванс! Получишь и опять улизнешь.

— Ну, там видно будет. Да мне не так уж много и надо. Червонца вполне хватит. На первый случай...— подмигивает Дондок.

— Ты раньше с долгами расплатись, а потом проси.

— Чего вспомнил! Я у тебя еще до денежной реформы брал.

Народ все прибывает — с ферм, чабанских стоянок, из ближних и дальних бригад, даже с центральной усадьбы. Теснее становится в клубе. Дондок бросился в эту шумную толпу, как в воду, и вынырнул возле участников самодеятельности, на клубной сцене. Хангильские арти-

сты цену себе знают — не случайно за ними всегда первое место на аймачных смотрах. К предстоящему концерту они готовятся серьезно и сосредоточенно — пробуют голоса певцы, разминаются танцоры, проверяют, хорошо ли звучат хур и лимба, музыканты.

— Слава талантливым артистам! — приветствует их Дондок.— Может, зажжем отвагу... грамм по сто, чтобы концерт прошел на уровне?

— Нам ни к чему. Да и магазин водку не отпускает. А если у тебя такая жажда, могу дать совет. Пока не поздно, беги в «лотерею». Повезет — бутылочку «Московской» срежешь,— шепчет доверительно один из артистов.

— Что ты говоришь! — у Дондока загораются глаза, и он поспешно выбирается из клуба.

Парень не соврал: на улице целая очередь желающих попытать счастье. Заплатят гривенник и, взяв в руки ножницы, с завязанными глазами стараются обрезать приз. На проволоке, натянутой между двумя столбами, подвешены призы. За ними и идет охота. Везет далеко не каждому. Большинство режет ножницами воздух на потеху всем собравшимся вокруг. Зато счастливчик получает, кроме приза, нравоучительное пожелание. Кому-то досталась книга, и он удостоен совета: «Повышайте свой культурный уровень!» Кто-то отхватил куклу, и все хором кричат: «Да родится на высокоудойной ферме еще один мальчик!»

Призов много. Тут и катушки ниток, и пластмассовые тарелки, и карандаши, и резиновые соски, и бритвы, и чернильницы... Большинство мужчин привлекает, однако, привязанная ниткой к проволоке бутылка «московской» — магазин-то выпивкой не торгует! Любители сорокаградусной соблазняются, кроме того, возможностью заполучить поллитровку всего за десять копеек и незаметно просаживают гривенник за гривенником в тщетных попытках.

Дондок пошел уже на третий заход. Его оттаскивают.

— Ты не один. Очередь же.

— Я деньги заплатил? Заплатил. Сколько хочу, столько и буду резать,— куражится Дондок.

— Пусть идет. Поверните его несколько раз вокруг себя. Да осторожнее — он и без того повернутый...

— Я сам!..

Из толпы подсказывают:

— Левее!
— Еще маленько...
— Вы меня не сбивайте.
— Правильно, Дондок, никого не слушай, вали прямо!
— Мимо, мимо!
— А-аа, болтайте, сколько хотите. Вот проткну ножницами и отвечать не буду.
— Ведь срежет! Черт побери — срежет!
— Ого! — ржет Дондок, поднимает упавшую бутылку, срывает повязку с глаз, целует этикетку и вышибает ладонью пробку.— Сейчас мы с ней поговорим!
Он взболтал содержимое бутылки, опрокинул в рот и стал жадно глотать. Лишь сделав несколько глотков, Дондок сообразил, что его провели: в бутылке — вода...
Вот когда дали волю языкам доярки.
— Правду говорили, что Дондок с водки на аршан перешел.
— С больших выигрышей в Хильгинде!
— Он же там голый ходил, где было деньги на водку брать.
— Бр-росьте! Я вам задам! — Дондок швыряет бутылку через головы доярок.
— Глядите, девки, приоделся-то как! Где такой плащ брал? Дай померить, может, как раз на меня будет,— мнет пальцами рукав плаща Цырегма.
— Не зря тебя Дондок-баба прозвали,— язвит хохотушка Фатима.— Волосы отросли, хоть косы заплетай. Только губы накрасить осталось...
— Давайте проверим: мужик он или баба!
— Бр-росьте!.. Уходите по-хорошему,— начинает злиться Дондок.
— Ну, ты потише! Думаешь, не осилим тебя? Вот как повалим сейчас.
— Так не пойдет,— скалит стальные зубы Дондок.— Это мне полагается вас валить. Ну, которая смелая? Подходи!
— Аа-а, что мы с ним толкуем. Давай, девки, взялись!— командует Дулма.— Приведем его снова в голый вид!
— Подружки-ровесницы! Боевые доярки с высокоудойной фермы! Не совершите роковую ошибку! Что вы делаете? — Дондок пытается отшутиться, но поздно — доярки дружно набрасываются на него. Он разражается

бранью, отталкивает двух женщин, но серьезного сопротивления оказать им не решается — как ни говори, слабый пол, не драться же с ними. А доярки раззадорились, гнут ему к земле голову, заламывают руки. Одна изловчилась, дала подножку, и вот уже Дондок барахтается в пыли под грудой хохочущих женщин.

— Будешь еще?

— Перестанешь ругаться?

— А это тебе за Балмацу!..

Растерзанный, помятый, злой, едва выкарабкался Дондок, кляня себя за то, что приехал сюда,— по всему видно, деньгами тут не разживешься,— что сам на свою голову связался с доярками. Он подумывал, куда бы теперь податься, когда его окликнула Демидова.

— Ты откуда взялся, Дондок? Чем занимаешься?

— Я, как вам известно, не член партии и даже не комсомолец,— огрызнулся Дондок.— И в школе у вас не учусь. Никто я. У меня перед вашей общественностью нет никаких обязанностей. Я по своей воле хожу.

— По своей-то по своей, но ты советский гражданин. Значит, обязан порядок соблюдать, законы.

— Мне председатель Гурдармаев уже читал нотации, пока самому не надоело. Наверно, и ваши поучения ни к чему. Я приехал на культбазу повеселиться, как все остальные прочие. Имею на это право согласно конституции. Одного мне, конечно, не хватает, но вы, я думаю, сумеете мне помочь.

Видя, что Дондок валяет дурака, Демидова и внимания не обратила на его болтовню.

— Понятно. Значит, работу бросил, жену оставил, только о себе заботишься. Погулять тебе захотелось?

— Вы правильно угадали.

— Боюсь, что твои надежды не оправдаются.

— Это почему же?

— Я тебя предупреждаю...

— Интересно, о чем?

Демидова повернулась, чтобы идти в клуб, где уже пора было начинать собрание.

— Вот что, товарищ Бабуев,— сказала она на прощание.— У нас сегодня большой праздник. Доярки хорошо поработали. Мы их награждать будем. И портить праздник мы никому не позволим. Так что не надейся, что тебе удастся тут попьянствовать или кого-нибудь в карты обыграть. Ясно? Только попробуй!

— Это агитация или угроза? — прикинулся непонимающим Дондок.

— Понимай, как хочешь,— отрезала Лидия Васильевна.

«Ну, понятно, за Балмацу, за водку она меня правильно ругает,— размышлял Дондок.— Но про карты откуда узнала?» Он успел, когда животноводы получали деньги, сговориться с несколькими пастухами погонять пестрых лошадок по кругу. Похоже, план срывался окончательно. «Кажется, в Будалане сегодня тоже должны деньги давать,— соображал он.— Надо ловить попутную машину».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

...Первая чабанская механизированная бригада. Так сказать, основная производственная база Оюны.

Приметнее всего здесь, конечно, кошары с пристройками и обширными загонами для овец, ограда которых с обеих сторон сверкает белизной недавней побелки. Перед кошарами, на той же невысокой сопочке, три небольшие избы с каменными завалинками. Избы добротные, из бруса, покрыты шифером. Над крайней, той, что ближе к дороге, висит выцветшее знамя. Изба пока пустует, ее хозяева-чабаны еще не перекочевали с летника. В ней же есть комнатка бригадира. В среднем домике, возле которого установлен фанерный щит с лозунгом «Слава передовикам социалистического соревнования», поселились Оюна с Балмацу, а в дальнем — перед ним развешено постиранное белье — живет Дугаржаб Беликтуев с отцом и матерью.

Днем тут полное безлюдье — все в степи, с отарами. Возвращаются поздно. Управляются со всякими домашними делами. Уже затемно собираются вместе то у Оюны, то у Дугаржаба поговорить о том о сем, завтрашний день спланировать, а если приехал бригадир — выслушать от него очередную накачку. Посторонние люди редки. Случается, конечно, по пути кому-нибудь завернуть, чайку попить. Высокое начальство чабанов своим вниманием не балует. Это событие — когда кто-нибудь из области приедет. Аймачные, правда, появляются. Как правило, расспрашивают об овцах. Людьми, которые с этими овцами работают, почти не интересуются. Ну, Догдомэ в счет не идет, он свой человек. Чаще, чем раз в месяц, ему на-

ведываться не удается. Территория колхоза такая, что по графику как раз месяц нужен, чтобы всюду успеть побывать. Цырен Догдомович, если уж приедет, обстоятельно все выспросит, узнает, какие нехватки, что нужно, посоветует. Не то что другой председатель — Гурдармаев. Тот не успеет еще из машины вылезти или с мотоцикла слезть, как уже собрание назначает. Хоть два человека на месте, все равно собрание. Долго, нудно рассказывает о принятых сомонным Советом постановлениях, об указаниях вышестоящих органов и делает непременно строгие предупреждения по любому поводу или без всякого повода.

С нетерпением и радостью ждут здесь всегда Лидию Васильевну, парторга, бывшую свою учительницу. С ней, как с матерью. О чем только не расспрашивают ее чабаны! Показывает ли барометр на осадки, много ли накосила сена вторая чабанская бригада, правда ли, что в колхозах Дульдургинского района ящур, будет ли в этом году аймачная сельхозвыставка, чему может быть посвящен предстоящий Пленум ЦК... Лидия-багши обязательно заставит всех высказаться.

А самые дорогие и почетные гости, понятно же,— шефы из передвижной технической мастерской, Булат и Роза. По вполне понятным причинам экипаж летучки и сам любит приезжать сюда, находя для этого самые различные причины. Сегодня они прикатили, чтобы провести очередное занятие с чабанами по механизации. Это Булат по совету Сергея Петровича Кузнецова решил повышать техническую грамотность чабанов — какие же они механизаторы, если не разбираются в машинах!

В печке, сложенной возле домика, жарко горят березовые дрова. На плите в чугунном котле варится суп, дразня аппетитным запахом дикого лука. Над котлом колдует вспотевшая от огня и суеты Оюна в фартуке и с поварешкой на длинной ручке. Она хочет попробовать варево, но обжигается и, смешно помахав ладошкой перед широко раскрытым ртом, зовет друзей:

— Мальчики! Девочки! Ужин готов.

Второй раз звать не приходится — все проголодались. Оюна разлила суп по тарелкам, сняла фартук, вытерла лоб, уселась сама за стол.

— Пробуйте. Не знаю, что получилось...

Дружно звякнули ложки, и тут же произошла не-

большая заминка. Ребята переглянулись, а Дугаржаб покачал головой:

— Да-а, соли, однако, не пожалела!

Оюна хлебнула и поморщилась.

— Я...

— Влюбилась! — под общий хохот добавил Булат.

Роза отломила кусочек хлеба и подмигнула:

— Поздравляю, Оюна.

Им только попадись на язык. Друзьями называются. Бедной поварихе хоть сквозь землю провалиться. Балмацу поспешила ей на выручку:

— Ты разве солила? А я не знала и тоже добавила.

— Значит, вы тоже влюбились? — всплеснул руками Булат.

— Любви все возрасты покорны...— процитировала Роза.

— Вы надо мной не смейтесь,— Балмацу не приняла шутки.— Я уже старуха.

Дугаржаб встал и виновато сложил руки на груди:

— Я тоже солил...

— Ну и дела! — схватился за голову Булат.

— Дугаржаб говорит неправду! — запротестовала, смеясь, Роза.— Просто ему тоже хочется казаться влюбленным.

Отсмеялись. Разбавили суп кипятком. Поужинали. Девушки взялись мыть посуду.

Балмацу, хитрюга Балмацу! Только что чуть не обиделась на Булата за шутку и тут же разыграла его:

— А ты знаешь, Булат, какое мясо ел?

— Нет. А что?

— Да это же вашей комолой коровы.

— Правда? — верит и не верит Булат.

— Неужели не можешь отличить по вкусу, своя или чужая корова? — удивляется Балмацу.

— Откуда я знаю! — чистосердечно признается Булат.

Балмацу хохочет:

— Поверил! Не беспокойся, я нарочно.

— Один — один,— подводит итог Дугаржаб.

— А ты все-таки скажи, Булат. Всем нам скажи, почему ты отдал своих коров в колхоз? — спрашивает Роза.

Этот вопрос задают ему то и дело. Булат отвечает

почти заученно, приводя, по его мнению, неотразимые аргументы, но друзей это не устраивает, они хотят докопаться до самых-самых главных причин. Уж лучше бы они шутили да разыгрывали! От них ничего не скроешь. В общем, они, конечно, согласны с ним, одобряют его, даже сами готовы последовать его примеру, особенно Дугаржаб. Но от них не укрылось и то, в чем, пожалуй, побоялся бы признаться Булат самому себе. Безусловно, наступает такая пора, когда личный скот становится обузой. Да, спору нет, колхоз теперь в состоянии удовлетворить потребности каждого в молоке и молочных продуктах. Никто не возражает против того, что куда полезнее направить все силы членов артели на общественные дела, освободить их от ненужных и обременительных забот о своем хозяйстве. Все это так, но пусть Булат признается — вот уж не ожидал такого от Оюны! — что он немножко ленивый, что он не помогал матери, что для него проще было отвязаться от скотины, чем заниматься ею. Нет, Оюна даже и не думала упрекать его, обвинять в чем-нибудь. Просто считала своим долгом сказать ему то, что думает. По-дружески. Разве она не права? И Булат не нашел, что возразить, вынужден был согласиться с нею, как это не было досадно. Возможно, друзья продолжали бы допытываться, и возникший острый разговор вполне мог кончиться ссорой, но вмешалась Балмацу.

— Хватит шуметь,— пыхнула она толстой самокруткой.— Я вот о чем хочу просить. Освободите вы меня от своих курсов. Ничего я в машинах не понимаю.

— Что ты, Балмацу! Как можно? — Дугаржаб из мужской солидарности охотно воспользовался случаем отвести от Булата нависшую опасность. Подражая манере друга, он говорит, будто передовую статью читает:

— В настоящее время труженики села получили широкую возможность не только всесторонне механизировать труд, но даже использовать достижения техники в личных интересах. Представь, что завтра у тебя будет собственная «Волга»! Ну, не премия, по лотерее выиграешь. Я вполне допускаю такую возможность. И вот ты, сидя за рулем своей машины, с шиком мчишься мимо Дондока...

— Не дури! — нахмурилась Балмацу.

— Но ведь вся наша бригада учится. Мы же не простая бригада, а ме-ха-ни-зи-ро-ван-ная!

— Не бабье дело возиться с машинами,— стоит на своем Балмацу.— Мое дело пасти овец...

Тут не выдерживает Роза.

— А я шофером работаю — что плохого? Скажи. Чем я хуже мужчин?

Булат воспользовался тем, что друзья навалились на Балмацу. Он прикрепил к кузову «летучки» чертежи и схемы — наглядные пособия к предстоящему занятию — и тоже вступил в разговор:

— Только в старое время знали одну работу — ходить за скотом. А мы обязаны изучать технику. Вы, Балмацу, будете передовым чабаном-механизатором. Вот увидите. Только, пожалуйста, не пропускайте занятий. Учитесь!

Балмацу даже не удостоила его ответом.

...Верхом, на телегах и мотоциклах съезжаются чабаны на занятие технического кружка. Раз в десять дней проводит Булат такие занятия. Преподаватель он строгий, заставляет всех вести конспекты, по нескольку раз проверяет то, что уже считается пройденным. Ученики у него старательные. Каждому хочется сесть за рычаги трактора, научиться управлять комбайном, но больше всего — получить водительские права. Чуть не у каждого есть мотоцикл или мотороллер, а то и легковая машина. Остальные мечтают в скором времени приобрести какое-нибудь средство передвижения. Так что интерес к техническому кружку повышенный. Булат, разумеется, против такого, как он выражается, одностороннего и даже частнособственнического интереса. Перед каждым занятием он подчеркивает, что основная цель их кружка — вооружить чабанов знанием механизмов и машин, применяемых в животноводстве. Тем не менее всякий раз перед началом занятий кто-нибудь да спросит:

— Когда мы, наконец, будем изучать автомобиль?

— У нас не курсы шоферов! — возмущенно отвечает Булат.

— А если попутно?

— Попутно, попутно!..— передразнивает преподаватель.— Наша первая задача — овладеть сельскохозяйственными машинами.

— Правильно! А вторая задача? Мотоцикл?

— Автомобиль — тоже сельскохозяйственная машина.

— Тише, товарищи! — Булат вооружается указкой.— Наш курс построен с учетом важнейших сельскохозяйственных кампаний. Перед началом весеннего сева мы с вами изучили различные прицепные машины и орудия. Затем освоили электростригальные агрегаты. Накануне сенокоса в основном разобрались с самоходной сенокосилкой, тракторными граблями и стогометом. Теперь, товарищи, мы приступаем к изучению комбайна.

Всякие посторонние разговоры, шуточки, смешки прекращаются.

Булат рассказывает, что это за слово такое — комбайн, когда и где стали впервые производить эти машины, какие существуют комбайны. Потом, переходя от чертежа к чертежу, объясняет устройство основных узлов и их взаимодействие. Время от времени он начинает говорить медленнее, чтобы успели записать.

Конечно, после его занятий ни одного чабана не посадят на комбайн. Но общее представление о сложной машине все получат. А кое-кто, может быть, и по-настоящему изучит комбайн. Дугаржаб пристроился поближе к подвешенной над чертежами переносной лампочке, положил перед собой раскрытый учебник и проверяет по нему все, что говорит Булат. Оюна сидит рядом с ним, изредка делает пометки в блокноте, но чаще отгоняет блокнотом мошкару. Лекцию она слушает с большим удовольствием, не особенно вникая в ее содержание. Ей нравится, что Булат рассказывает, не заглядывая ни в какие бумажки. И как только он может все запомнить! Балмацу выбрала себе местечко потемнее, где ее не очень видно. Сначала слушала, ничего не понимая, потом зевнула несколько раз и задремала...

— У кого есть вопросы?

— Булат, можно такой вопрос или предложение? Почему ты не покажешь нам все на настоящем комбайне? Когда своими руками потрогаешь, лучше запомнишь.

— Пошли! — Булата не надо уговаривать.— Хорошее предложение. Так сказать, теория и практика... Балмацу, пойдемте?

— А? Что? Куда? — под общий смех вскакивает Балмацу.

Еще почти час толкутся чабаны возле старого комбайна, спрашивают, щупают, крутят.

Пора, однако, кончать.

— Всем ясно?

— Ясно! Теперь можно «Москвич» изучать. Хоть сегодня.

— Сразу много нельзя, забудешь.

— Про комбайн забуду, про «Москвич» запомню.

— Булат, а зачем вы разбираете этот комбайн? Что вы около барабана такое делаете?

Об этом Булат действительно ничего не говорил. Это его и Дугаржаба тайна. Они пригнали в бригаду списанную машину и уже начали реконструировать, чтобы она одновременно убирала и сушила хлеб, чтобы работала в любую погоду... Механик мнется, переглядывается с другом. Чабаны не отстают.

— Для чего это?

— Вы сами придумали?

Приходится раскрыть секрет. О-оо, какой это вызывает всеобщий восторг! Очень нужное дело, соглашаются чабаны. Неужели парни своим умом дошли? Стоит попробовать. Ведь если получится — всей стране польза! Находятся и осторожные, недоверчивые: раз на заводах никто не додумался, чего уж тут... Есть и совсем боязливые: «Еще сломаете!»

Постепенно все расходятся и разъезжаются. Уже поздно. Но Булат с Дугаржабом не собираются ложиться спать. При свете фар они долго еще копаются в комбайне. Работают молча. Лишь изредка слышится, словно в операционной:

— Ключ на двенадцать!

— Держи.

— Разводной!

— На.

— Кусачки!

— Справа лежат.

— Молоток!

— Бери.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Магазин на центральной усадьбе, в Хангиле, работает не по какому-нибудь расписанию, а по настроению продавца. Когда захочет, тогда и откроет. Мало ли у него своих дел, не все же время торговать!

Таких, как в Хангиле, магазинов много. Не очень просторный, не очень светлый. От пола до потолка по трем стенам полки-стеллажи, загруженные всевозмож-

ным товаром. На прилавках под стеклом тоже разложена и расставлена всякая всячина. Практически здесь можно приобрести все, что угодно, хотя большая часть товаров и продуктов попадает сюда, не найдя сбыта в аймачном центре. Справедливости ради надо заметить, что и в Хангиле такие вещи не пользуются повышенным спросом. В самом ходу разное полотно, шелк, сукно, штапель. Из культтоваров всегда в дефиците радиоприемники «Рекорд» (транзисторы в Хангиле пока почему-то не вошли в моду), а из напитков, как нетрудно догадаться, горячительные...

Хозяин магазина — Сельпо Даши — вполне освоился на новом месте, торгует бойко. Оборот у него растет из месяца в месяц, хотя запас лежалых товаров почти не уменьшается. Одетый в белый халат не первой свежести, Сельпо Даши учтивым поклоном встречает посетителя:

— Добро пожаловать, Цынгуевич! Какие новости?

Шойдок Цынгуев степенно подходит к прилавку и, поигрывая костяшками счетов, нехотя произносит:

— Есть... отдельные новости. Такие вот есть новости. В сомонный Совет поступают жалобы на работу магазина. Как бы тебе сказать... В общем, по указанию председателя я, как депутат, пришел проверить, как ты проводишь советскую торговую политику.

На лице у Сельпо Даши счастливейшая улыбка, будто ему сообщили об отгрузке партии дефицитного товара.

— Очень приятно,— говорит, кланяясь, Сельпо Даши.— Какую хотите ревизию делайте. Прямо хоть сейчас делайте. Может, закрыть магазин?

— Нет... Продолжай работать. Дай-ка мне жалобную книгу.

Сельпо Даши долго роется под прилавком, извлекает оттуда запыленную тетрадку и полой халата обтирает ее.

— Прошу, пожалуйста!

Шойдок Цынгуевич неторопливо перелистывает страницы. Записи давние и довольно схожие по содержанию: «Почему ценные вещи продаются только через задние двери?»; «Разве только тем, кто сдавал шерсть, нужны валенки?»; «Второй год жду мотоцикл»; «Во время уборочной надо запрещать продажу водки»; «Для животноводов нужна развозная торговля»... Кто-то нака-

тал по-старомонгольски: «Я пайщик. Тридцать лет плачу взносы. Верните мне деньги».

Эти самые записи Цынгуев, помнится, видел года полтора или два назад, когда Сельпо Даши еще в Хангиле не было. Он бросает тетрадку на прилавок.

— Еще какие бумаги есть?

— Больше нет. Можете посмотреть вчерашнюю фактуру. Получены дамские дошки. Вашей жене, парторгу, не понадобится?

— Нет, не понадобится,— сердито смотрит Цынгуев на продавца и протягивает руку за фактурой.— Давай, посмотрю.

— Будьте любезны!

В магазин входит Сокто-ахай. Попав после яркого солнечного света в полумрак, он долго оглядывается по сторонам. Сельпо Даши спешит к нему.

— Здравствуйте,— стягивает старик малахай.—Ну, как поживаете?

— Спасибо, ничего. Какие новости в ваших степях? Что будете покупать? Старейшего чабана готовы обслужить по высшему разряду!

Старик машет шапкой и медленно обходит прилавки, рассматривает полки, затем, откинув полу старого халата, выуживает кожаный мешочек с деньгами.

— Дай мне один зеленый чай...

— Пожалуйста! — Сельпо Даши кладет перед ним большой кирпич чаю и щелкает на счетах.

— Конфетки, завернутые в бумагу, свешай.

— Килограмм?

— Клади два... Еще одну бутылку возьму, может, какой гость зайдет.

— Какую вам подать? У нас много всякой выпивки.

— Все равно. Дай такую,— показывает он на портвейн и тычет скрюченным пальцем в стекло, под которым разложены часы.— Достань самые дорогие.

— Мужские? Женские? Ручные? Карманные? Простые или золотые? — Сельпо Даши сама услужливость.

«Золотые надо купить,— размышляет Сокто-ахай.— Сын вернется, ему будут. А не вернется, внучка есть, подарю зятю на свадьбу».

— Давай золотые.

— Самые лучшие и ценные,— не говорит — поет

Сельпо Даши.— У нас в Хангиле ни у кого таких нет. Сами будете носить или кому подарите?

Дед Сокто ничего не отвечает ему, рассчитывается и, заметив Цынгуева, направляется к нему.

— Это ты, Шойдок? Здравствуй!

— Здравствуйте, Сокто-ахай! Вы сделали покупку не меньше, чем Сандан-нойон в старину. Надо бы обмыть...

— Что значит «обмыть»?

— Ну-у... немножко сэржэм капать...

— А-аа. Можно. Я теперь человек свободный.

Бригадир придвигает к нему поставленный на бок ящик из-под вина.

— Садитесь, Сокто-ахай. Сперва покурим. Угощайтесь.

Старик берет у него папиросу, разламывает ее, высыпает табак на ладонь и отправляет его за щеку.

— Ну, как моя Оюна?

Бригадир неопределенно пожимает плечами.

— Ее отара нынешнюю зиму первый приплод даст,— как бы самому себе говорит Сокто-ахай.

— Обязательство взяла от дондоковых тулгушек по сто ягнят получить... Как бы в лужу не села.

— Зимовка трудная будет,— старик даже табак перестал жевать.

— Я вам, помните, советовал с председателем поговорить?

Сокто виновато опускает голову:

— Все не получается... Редко в деревне бываю... Сегодня вот опять Цырена в конторе нет...

Цынгуев щелчком отправляет окурок в бочку с песком.

— Да-а... Давно бы надо. Ну, я завтра к вам заеду. Поговорим еще. Покупки ваши обмоем.

— Можно,— не очень охотно соглашается старик и встает.

А в магазине появляется новый покупатель — Бальжима-абгай с алюминиевой кастрюлей в руках.

— Сайн байна! — здоровается она сразу со всеми.

— Сайн! — отвечает Сельпо Даши не очень ласково.

— Что нового? Мой заказ привез?

— А что вы заказывали?

— Опять забыл? Сколько раз тебе говорить! Масло! — сердится Бальжима.

На лице у продавца смесь огорчения и изумления.

— У нас имеется всевозможное масло! Есть растительное. Есть машинное. Какое вам нужно?

— Сливочное масло мне нужно. Понимаешь? Сливоч-ное!

Сельпо Даши поднимает руки вверх.

— Не надо шуметь в магазине, Бальжима-абгай! Не надо. По поводу сливочного масла был специальный разговор в аймачном потребсоюзе,— говорит он, адресуясь почему-то к Шойдоку Цынгуевичу.— Дано такое указание: в сельской местности сливочное масло не продавать.

Цынгуев недоверчиво смотрит на него.

— Почему говорят, Сельпо Даши — хороший продавец? — сердится Бальжима.— Не хочет привезти, что заказываю! Нарочно так делаешь, да? — гремя кастрюлей, она идет вдоль прилавка.

— А в колхозном амбаре нет, что ли, масла? — спрашивает Сокто-ахай.

— Потому и хожу сюда, что нет,— отвечает старуха, сердясь заодно и на Сокто.

— Вы напрасно сердитесь,— громко заявляет Цынгуев.— Сами же виноваты. Зачем свой скот извели?

Бальжима-абгай навалилась на прилавок и даже головы не повернула в сторону бригадира.

— Доо, кому какое дело, есть у нас скот или нет.

— Конечно, каждый по-своему хозяйничает,— замечает Сокто, направляясь к выходу.— Без скота людям нельзя, Бальжима... Ну, ладно, я пошел.

— А я что говорю? — подхватывает Цынгуев.— Я же о вас беспокоюсь. Только у вас и нет своего скота. Кроме Булата, никто не сдал...

— Булат — хозяин дома,— вступается Бальжима за сына.— Сам знает, что делает.

— Ваш Булат ничего путем не знает. Зеленый еще,— выходит из себя бригадир.

— Я никому жаловаться не собираюсь, что доить некого. Как-нибудь проживем,— обиженно поджимает губы Бальжима.— А Булат по работе ни от кого не отстает. И твоей бригаде машины чинит. Чабанам твоим помогает.

Шойдок Цынгуевич ехидно смеется.

— Помогает? Таких помощников гнать надо! Вы, Бальжима-абгай, и не знаете, что ваш Булат делает. Он только пустой болтовней занимается. Да еще с разными людьми дерется...

«Наверно, это правда,— припоминает старушка.— Как-то Булат пришел домой в синяках и сказал, что с машины упал. Она и не стала допытываться. А бригадир ведь врать не станет. Но все равно она не может согласиться с тем, что говорит Шойдок. Булат старается. Нелегкое дело — возиться с железом».

— Станет взрослым, поймет, что к чему.

— Ухай! — соглашается Цынгуев.— Только пусть сам отвечает за то, что делает.

— Чего ты все время наговариваешь на моего сына? Я ему скажу, чтобы он больше не ездил в твою бригаду,— чуть не плачет Бальжима.

— Скажите лучше ему, чтобы готовился к отчету на Совете.

— Ничего я ему не буду говорить! — срывается с места старуха.

— Бальжима-абгай! — кричит ей вслед Сельпо Даши.— Кастрюлю забыли.

— Как-нибудь и без вашего масла проживем! — Бальжима хватает кастрюлю и хлопает дверью.

Продавец наклоняется к Цынгуеву, снова оставшемуся единственным посетителем магазина:

— Зачем такой громкий разговор?

— А-а! Пусть своему сыну волю не дает. А по-другому с ней говорить нельзя — не поймет. Словом, я ей сделал опи-сальное заявление,— ввертывает для пущей важности Цынгуев излюбленное русское слово и шарит по карманам.— Папиросы есть?

— Пожалуйста! — Сельпо Даши кладет перед бригадиром пачку папирос «Люкс» и коробок спичек.

— Сколько с меня?

— Что вы!..

Шойдок Цынгуевич закуривает и сокрушенно произносит:

— Вот так и приходится... Ругаешься, ругаешься... Что тебе! Продавцом быть куда лучше.

Сельпо Даши не согласен.

— Что вы! Такая тяжелая работа... То жалобы пишут, то ревизия... Вы тоже сейчас какой-нибудь акт составите.

— Здесь у тебя все в порядке,— возвращает Цынгуев продавцу фактуру.

— Значит, закончилась ревизия? Можно подвести итог? — ухмыляется Сельпо Даши.

— Что-нибудь сообрази...

— Сию минуту!

Сельпо Даши запирает магазин изнутри.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

...Вода в роднике черная, как деготь. Из-за облачка выползла луна, желтая-желтая, отыскала родник и позолотила в нем воду. Блестит вода, будто зеркало. Снова набежала тучка, и только голубые огоньки смотрят-сверкают из губины родника. Это далекие звезды посылают свои лучики-приветы. Ближе к берегу вода в источнике вскипает тысячами маленьких пузырьков, словно здесь, по самому краю, сеет мелкий дождь. Лопаются, лопаются, лопаются пузырьки, а на их месте тут же возникают новые, мгновенно исчезая.

Булат и на этот раз пришел первым. Он мог бы часами стоять у родника и глядеть в него. Источник никогда не бывает одинаковым. Каждую минуту видишь в нем что-то новое. Да, мог бы вот так стоять часами и смотреть... Если бы не ждал Оюну, если бы не тревожился: а вдруг не придет?

Снова засияла луна. Улыбается, подмигивает, успокаивает. Заглянул Булат в раззолоченное луною зеркало-родник, сдвинул кепку набекрень, подтянул голенища начищенных до сверкающего блеска сапог.

Сдержала Оюна слово. Идет! Как всегда, немного стесняясь.

Радостный, бросается Булат ей навстречу, берет за руку.

— Амар сайн, Оюна!

— Сайн...— не отнимая руки, отвечает она.

На большом камне, лежащем у родника, достаточно места, но они робко примащиваются на самом краю. Обычное чувство неловкости — стоит им остаться вдвоем — опять охватывает их.

— Ну, как дедушка? Не хочет возвращаться?

— Нет...

— Сильно он рассердился.

— Я сама виновата... А как тетя Бальжима?
— Да как тебе сказать...
— Зря ты это... со скотом.
— Как зря?
— Ну... не надо было весь отдавать. Хоть бы теленочка оставил. Старым людям трудно отвыкать.
— Что значит — трудно? Странно ты рассуждаешь. С ними разве сговоришься? Они нас просто не понимают. И Сокто-ахай тоже.
— Ничего подобного! Дедушка у меня все-все понимает. Он же хочет как лучше... А вот мы с тобой, наверно, совсем скоро перестанем друг друга понимать.
— Почему?
— Не догадываешься? Зачем опять все к нам да к нам ездишь? Я тебе говорила? Прикатил вчера. Здравствуйте! Зачем гнал «летучку»? Какие у тебя дела были? Только сказать, чтобы я к роднику пришла, да? Я Розе в глаза глядеть не могу. Противный!
— Ою-уна!.. Но ведь я тебя хотел увидеть. Соскучился. И ты пришла. Значит, не сердишься, правда?
— Да, пришла, потому что обещала. Я же знаю: сказала бы, что не приду, так тебя никакими силами из бригады не прогонишь. Будешь торчать все время. Как только не стыдно!
Булат пытается обнять девушку, она отталкивает его.
— Вот явишься еще, при всех скажу, что это безобразие — разъезжать в мастерской по личным делам. В твоей технической помощи мы пока не нуждаемся, сам знаешь.
— И не правда! А занятия кто проводить будет?
— На занятия — пожалуйста. Только, по-моему, часто что-то занятия ты стал проводить...
— Надо, чтобы лучше усваивали. Повторять надо.
— Повторять мы и без тебя можем. Дугаржаб справится.
Спорить с Оюной бесполезно. Ее не переговоришь, упрямую. А вечер такой хороший. И так ласково журчит родник, искрясь россыпью звезд...
— С меня Гурдармаев собирается стружку снимать,— говорит Булат.
— За что?
— Сам не знаю. Наверно, Цынгуев нажаловался.
— Я с тобой пойду.

— Зачем?
— Защищать буду.
— Что ты... я сам... Знаешь, в субботу из аймака артисты приезжают. Концерт будет.
— Вот здорово! Давно никто у нас не был. А какая программа?
Булат хитро взглядывает на девушку:
— Обычная — про любовь...
— Опять?!
— Ты же сама говорила, что любовь существует только в книгах да пьесах.
— Я в шутку.
Робок Булат, нерешителен, недогадлив.
— Что-то я замерзла...— ежится Оюна.— Холодно стало.
Булат поспешно набрасывает ей на плечи пиджак.
— Теперь теплее?
— Нисколько!
— Почему? — растерянно спрашивает он и, наконец-то сообразив, обнимает Оюну, крепко прижимает ее к себе.
«Замерзла! А у самой такая теплая, такая мягкая рука, такое горячее дыхание...»
Ладошка Оюны скользнула по его щеке, пальцы чуть дрогнули.
— Думаешь, так лучше согреешь? — слышится ее насмешливый голос.
Булат нехотя разжимает руки. Девушка сбрасывает с плеч его пиджак, поднимается, что-то ищет, нагнувшись, под ногами.
— Давай, кто больше «блинчиков» сделает,— и швыряет камешек.
— Попробуем...
Булат нехотя бросает камень. Слышится глухой всплеск.
— Эх ты! Смотри.
— Раз, два, три, четыре...
— Не четыре, а шесть!
— Ну, согрелась? — мрачно шутит Булат.
— А ты как думал?
— Посидим еще?
— Немножко...
И снова сидят да помалкивают. Но ближе плечо к плечу. Как бы нечаянно, случайно касаются руки. Оюна

не противится, когда Булат обнимает ее. Журчит родник...

Беда с этими влюбленными! Влечет их друг к другу. Так хорошо им вдвоем. Но чего-то боятся они. А вдруг одно неловкое движение, одно неосторожное слово все нарушит, все изменит?.. Как волнуют их робкие прикосновения, как замирают сердца. Надо сказать что-то очень-очень важное, но где взять слова?

Набежали тучи, сразу скрыв и луну, и звезды. Сильно подул ветер. Булат посмотрел на небо.

— Наверно, дождь пойдет.

— Пусть немного побрызгает. Пыль прибьет.

Упало несколько крупных капель.

— Промокнем?

Оюна тряхнула головой:

— Ну и пусть!

И сразу хлынул ливень.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Хангильский сомонный Совет вот уже сорок лет располагается в доме бывшего богача Сандан-нойона, который после революции сбежал за границу. По правде сказать, от старого здания почти ничего не осталось. Несколько лет назад его перестроили заново, расширили, покрыли шиферной крышей, так что Совет выглядит вполне современно, однако по привычке многие называют его домом Сандана.

Вот внутри кое-что сохранилось от прежнего хозяина. Например, огромные, тяжелые черные шкафы, набитые толстыми папками с архивами. Каких только бумаг там нет! И на старомонгольском, и на бурятском, и на русском языках. Сколько раз уже поднимали вопрос о том, что надо привести дела в порядок и сдать их на хранение куда положено. Из аймака строго предупреждали. Все равно пылятся бумаги в шкафах. Никто в них не заглядывает годами. Редко когда понадобится какая-нибудь справка за давние времена, но не было еще случая, чтобы нужную бумагу отыскали.

И широкие лавки вдоль стен в приемной и кабинете председателя Совета, и три старинных кресла с высо-

кими резными спинками — наследство бывшего нойона. Часть стульев тоже прежде принадлежала ему.

Хангильцы не слишком часто заглядывают сюда. По этой ли причине, потому ли, что Дансаран Ванганович Гурдармаев сам не очень-то засиживается в кабинете, помещение Совета имеет, если можно так сказать, нежилой вид. Всюду — и на скамьях, и на стульях, и на подшивках газет и журналов, выгоревших от солнца,— толстый слой пыли. Пол тоже давненько не мыт.

Сегодня Дансаран Ванганович вызвал много народу, и в приемной у него не протолкаться. Сам Гурдармаев, одетый строго официально — в белой рубашке и при галстуке, завязанном большим узлом, в темно-синем костюме,— склонив над столом лысеющую голову, что-то пишет. Время звать приглашенных в кабинет еще не приспело.

А за дверьми кабинета — галдеж. Дождь как зарядил с вечера, так до сих пор и не унялся, поэтому все, кто пришел, мокрехоньки. Не всем, оказывается, велели явиться в Совет. Есть здесь и такие, у кого свои дела к Дансарану Вангановичу. Выяснить это не составляет труда — по разговору.

— Что за спешка? В самый дождь. Пожар, что ли?

— Как нынче с кормами будет? Может, колхоз что выделит?

— Хотел страховку получить — телка у меня пала. Сегодня, видать, к Вангановичу не пробьешься...

— Говорят, насчет личного скота вызвали.

— А что? Потребуют, чтобы весь скот сдали, как сын Сыдена...

— Закона такого нет!

— На потраве сколько коров поймали? Сколько? А-аа. За что тогда с меня одного штраф?

Галдеж мгновенно прекращается, как только Гурдармаев приглашает войти к нему в кабинет. Набиваются все — и званые и незваные.

Председатель долго выбирает в портсигаре папиросу, тщательно разминает ее, продувает мундштук, со вкусом раскуривает и лишь затем поднимается из-за стола. Он берет в руки какую-то бумагу и, тряся ею над головой, сообщает, что вызвал колхозников по очень важному делу.

В этой бумаге, говорит он, фамилии тех, у кого много скота, больше чем положено.

Кое-кто из затесавшихся по любопытству незаметно выскальзывает из кабинета, но иные из незваных все же остаются.

Люди, внесенные в список, продолжает Гурдармаев, не только развели скот сверх разрешенного по Уставу, но, кроме того, косят на колхозных землях сено. Скот именно этих людей делает потраву, объедает зароды, кормится из буртов с зеленкой. И это еще не все. Те же самые колхозники (Дансаран Ванганович опять потрясает списком) предполагают перегнать свой скот на зимовку к родственникам — чабанам, пастухам и скотникам,— чтобы прокормить его за общественный счет. Если будет вскрыт хоть один подобный случай,— голос председателя грозно гремит,— чей бы скот ни был, кому бы он ни принадлежал, согласно закону он будет немедленно сдан государству.

Закончив свою обличительную речь на самой высокой ноте, Дансаран Ванганович как бы между прочим, вполголоса, намекнул, что есть в колхозе люди, которые не только излишний, а весь-весь! — свой скот передали в общественное хозяйство и думают обойтись без него...

Что тут поднялось! Разве в приемной галдели? Вот когда загалдели. Перебивая один другого, кричали кто во что горазд, но об одном и том же. Что за дела пошли в колхозе,— куда ни пойди, всюду в глаза паршивыми коровами Булата Сыденова тычут. Если этот чокнутый парень решил опустошить свой двор, почему все должны поступать так, как он? Неужели с него надо пример брать? Неужели опять собираются коммуну создавать? Куда Догдомэ смотрит? Почему Гурдармаев ничего толком не скажет — он-то хозяин, он-то понимает, что такое скот для бурята!

— В общем, вот так,— Дансаран Ванганович сел и углубился в изучение содержимого портсигара.— Все, что я вам хотел сказать, я сказал. Не говорите после, что я вас не предупреждал. Все! — прихлопнул он ладонью по столу.

— Ясно,— ответил кто-то за всех.

— Значит, мы поняли друг друга,— добавил Гурдармаев.— Вы о нашем разговоре передайте другим. Чтобы знали.

Кабинет опустел.

Дансаран Ванганович остался доволен своим разго-

вором с хангильцами. Если разобраться, рассуждал он, что это, на самом деле,— работаешь, работаешь, не жалеешь ни сил, ни здоровья... Кто делает больше чем он? У кого такая ответственность? Вот то-то и оно! Значит, он вправе жить в достатке. Во всяком случае не хуже других, а может, и лучше. Ходят же слухи, будто у него, у Гурдармаева, скота больше, чем у других. Допустим, что больше. Но зачем об этом громко? Неужели по его, Дансарана Ванганович‌а, примеру люди нарушают Устав сельхозартели? Не-ет, такие слухи должны быть пресечены в корне. И сегодня народ понял, что он, председатель сомонного Совета, решительно осуждает всех, кто пытался обойти закон и под разными предлогами завести излишки скота.

Теперь осталось только вправить мозги Булату Сыденову. Он тоже вызван.

— Я пришел, Дансаран Ванганович! — сообщил Булат с порога.

Мог бы этого и не говорить. Без того видно, что не Дондок пришел. Председатель и внимания не обратил на него. Лишь выдержав для порядка изрядную паузу, Гурдармаев, не поднимая головы, сурово произнес:

— А-аа, пришел!

«Чего это он сердитый такой»? — Булат присел на стул прямо у входа. Дансаран Ванганович занимался своими делами.

— По какому вопросу вызывали?

Председатель начал издалека, с воспоминаний:

— Я тебе, друг, не раз говорил, как мы с твоим отцом вместе росли. Оба — сыновья бедных родителей. Оба боролись с классовыми врагами, создавали коллективное хозяйство. Вместе с ним в то далекое время мы организовали в Хангиле коммуну, весь скот обобществили, все добро в одну кучу собрали... Но скоро мы поняли, что это неправильно, и все возвратили обратно.

Дансаран Ванганович вытер тугую, багровую шею белым шелковым платком.

«Мой отец,— подумал Булат,— все свои мысли направлял на общее дело, не мог и не хотел позаботиться о себе, о своем добре, о своем хозяйстве. Всегда так говорили о нем».

— Я об этом слышал,— сказал он.

«Значит, слышал,— исподлобья взглянул на него

Гурдармаев.— Значит, хочешь сделать то, что не удалось твоему отцу? С тобой, однако, так легко не столкуешься. Придется покрепче, покруче за тебя взяться».

— Ну, депутат,— щелкнул он пальцами,— отчитайся, какую ты ведешь работу?

— Вроде, работаю, как все...

— Как? — нахмурился Дансаран Ванганович.

Булат посмотрел ему прямо в глаза.

— Неплохо работаю.

— Сам себя хвалишь? А я с тобой не согласен. Сейчас объясню: производительность труда снизилась, жалобы приходят на тебя, что ты к своим прямым обязанностям относишься безразлично, попусту ездишь по бригадам.

— Что вы говорите? — искренне изумился Булат.

Председатель будто и не слышал.

— Только красивыми словами о шефстве прикрываешься. А кому полезный пример показываешь? Людской глаз острый, все замечает. Если все твои ошибки-промашки перечислять, на двух руках пальцев не хватит! Драку с приезжими устроил. Что это такое? Хулиганство. Ты не только депутат, ты еще комсорг. А ты знаешь только бегать и кричать, что сдал весь свой скот...

Стыдно стало Булату. Не за себя — за Гурдармаева. Ему даже оправдываться перед ним не захотелось. Все же он тихо, но внушительно, веско произнес:

— Не так все это...

А Дансарана Вангановича уже понесло.

— Распространяешь всякие ложные слухи. Утопистом становишься. Топишь порядочных людей. За что на меня клевещешь, на друга твоего отца? За что баином меня называешь, кулаком? Я все свои силы для общего дела отдал. До своего хозяйства у меня руки не доходят. Личным хозяйством у меня жена занимается. Может, она какую ошибку допустила. Может, с приплодом этого года, в самом деле, какой сверхуставной скот завелся...

— Дансаран Ванганович,— перебил его Булат.— Я про вас ничего плохого не говорил. Просто сказал, что у нас в колхозе некоторые люди имеют много скота. Разве это неправда? Я и сейчас то же скажу.

Понял Гурдармаев: криком ничего не добьешься, ругай, не ругай, толку не будет. Сбавил тон:

— Ты еще молод. Из-за твоего недопонимания могут

произойти серьезные политические ошибки. Вот я и пожурил тебя немного. Но если будет еще что-нибудь подобное, я поступлю по всей строгости!

Булат весь кипел от возмущения. Слушать такую напраслину, да еще оправдываться! Он встал и направился из кабинета, бросив на ходу:

— Понятно!

Председатель выхватил из портсигара первую попавшуюся папиросу, жадно закурил, сделал несколько тяжелых шагов, остановился у окна, заложив руки за спину.

Скрипнула дверь. Высоко поднимая протез, через порог перешагнул Дугаржаб Беликтуев.

— Мэндэ амар, Дансаран Ванганович!

— Мэндэ амар. Откуда ты взялся? Какие новости?

— Булат к вам не заходил?

— Заходил, заходил... Недавно ушел.

— Я его ищу. Говорили, он у вас. Сегодня из-за дождя время свободное, мы бы могли с ним заняться.

— Чем заняться?

— Да...— замялся Дугаржаб.— Мы с ним одно усовершенствование делаем. Хотим на комбайне установить электропечь. Тогда можно будет хоть в какую погоду хлеб убирать. Хоть сейчас...

Глаза председателя прищурились в улыбке.

— Ха! Изобретатели! Что вы такое придумали?

«Зачем я ему рассказываю?» — всполошился Дугаржаб.

— Пока еще мало сделали... А где же Булат? — и повернулся, чтобы уйти.

— Выходит, вы делаете все, что Булат приказывает?

— Он нам не приказывает.

— Постой! — Дансаран Ванганович показал рукой на стул.— Если Булат тебя ругать не будет, присядь на минуту. Мне надо с тобой поговорить.

Дугаржаб сел.

— Поговорить можно.

На этот раз Гурдармаев был осторожнее. Он не стал кричать. Он говорил как бы с сожалением, с сочувствием, с самым добрым намерением помочь молодежи. Он говорил, что работа первой чабанской бригады оставляет желать лучшего, что упитанность отар низкая, что на молодых чабанов поступают жалобы,

будто бы они совсем перестали слушаться своего бригадира, а пляшут под дудку Булата Сыденова...

— Мне об этом ничего не известно,— сказал Дугаржаб.

— Ты ничего не должен скрывать,— мягко произнес Дансаран Ванганович.— Расскажи все, что знаешь, что думаешь. Ты, кажется, куришь? Угощайся,— он протянул портсигар.

— Спасибо. У меня свои.

— Ты, наверно, думаешь, чего это я к тебе привязался, почему про Булата расспрашиваю? Так, да? Хорошо, я скажу. Ты же знаешь, что ваш шеф весь свой личный скот сдал. Ну, ладно. Пусть сдал. Но зачем он на чужое зарится? Я только что с ним говорил. Он, понимаешь, считает, что все, у кого личное хозяйство,— моя семья, твоя семья — носители всяческих пережитков.

Председатель едва сдерживал себя. Бушевавшее в нем раздражение он сорвал на окурке, с силой растерев его в пепельнице.

— А ведь Булат прав,— не задумываясь сказал Дугаржаб.— И у вас, и у моих стариков, действительно, есть кое-какие излишки. Я со своими никак не могу столковаться. А делать что-то надо...

— Что значит что-то надо?! Разве сельские жители, степняки могут без скота? Ты еще молодой человек. Скоро будешь жить своим домом, своим хозяйством. Будем всем народом на твоей свадьбе гулять. По нашим бурятским обычаям, какие подарки на свадьбе будут? Скот, в первую очередь. И я тоже подарю тебе какое-нибудь четвероногое. И вот ты, молодожен, сразу окажешься нарушителем Устава.

— Я не собираюсь устраивать такую свадьбу!

Лицо у Гурдармаева сморщилось, будто живот схватило.

«Все они, что ли, такие?»

— Ладно. Довольно попусту языком болтать.

— Конечно,— согласился Дугаржаб.

Гурдармаев поднялся, как бы подчеркивая этим, что разговор окончен, и добавил:

— Еще хочу сказать. Вашу бригаду возглавляет заслуженный, опытный человек. Вы слушайтесь вашего Шойдок-ахая!

Дугаржаб, стоя уже на пороге, пожал плечами.

— Вы бы лучше поинтересовались, справляется ли со своим обязанностями Шойдок Цынгуевич.

— Вы что, уже руководящих товарищей не признаете?! — вскипел Гурдармаев.

— Баяртай! — сказал Дугаржаб и вышел.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Снова оказался Догдомэ-председатель в южной степи, и снова одолевают его те же невеселые думы, что и весной, когда был он в этих местах. Ниже и ниже год от года урожаи. В нынешнее лето многое можно было бы с легким сердцем списать на засуху. Засуха, если разобраться, тут даже и ни при чем. Устала земля, истощилась почва. Какую-то ничтожную часть угодий удалось не то чтобы возродить — поддержать восстановлением части старого канала. Но что это? Капля в море!

Меряет широкими шагами поля Цырен Догдомович, посасывает потухшую серебряную трубочку, думает, думает... Низко надвинул фуражку, расстегнул воротник серого кителя. Невесело председателю.

Куда ни глянь, кругом коричневая, словно выжженная, степь. Лишь там, где прорытые канавы принесли на пастбище воду, высятся стога доброго сена. Ничего не скажешь, не упустил Шойдок Цынгуев этот шанс, хорошо постарался, ни одной травинки не потерял. И на большом участке, орошенном вешними водами, будет центнеров по десять-двенадцать пшеницы. А вокруг — хоть глаза закрывай...

Месяц, однако, назад распорядился Догдомэ, чтобы сюда, в выгоревшую степь, начали возить навоз. Не поздно было тогда распахать этот участок да засеять овсом на зеленку. Не выполнил распоряжения Цынгуев. Точнее, выполнил наполовину. Привезли сюда навоз, и немало привезли, свалили кучами да так и оставили. Проверить Цырен Догдомович не удосужился, напомнить — тоже. Вот и морщится сейчас, как от зубной боли. Не Шойдока — себя ругает.

Прихрамывая, поскрипывая протезом, нагнал председателя Дугаржаб. Подошел к навозной куче, пнул сапогом, спросил:

— Какая польза от него, Цырен Догдомович?

— Большая,— не ему, себе ответил Догдомэ.

Недоверчиво посмотрел на него Дугаржаб, снял зеленую фуражку пограничника, вытер вспотевший лоб.

— Всегда же землю удобряли.

— Это верно, что всегда. Только чаще халтурили, вид делали, будто удобряли. Расшвыряют два-три короба навоза — и делу конец.

— Сюда вон сколько привезли. Какой толк?

— От того, что он тут лежит, толку мало. Это ты правильно говоришь.

Догдомэ садится на одну из куч.

— Раньше, Дугаржаб, скотоводы очень хорошо удобряли степь. Навоз как самую большую ценность берегли, потому что лучше нет удобрения. Он и влагу долго держит, и землю обогревает. От него брожение в почве. Всяких полезных вещей для плодородия в нем много...

— Этого добра у нас хватает. Хоть тыщу тонн можно вывезти.

— Вывезти недолго.

Любит Дугаржаб слушать председателя. Он, когда увлечется, так здорово рассказывает. И сейчас загорелся, размечтался. Придет, говорит, время, будем мы все-все знать о своих землях. Составим почвенные карты на все участки, и каждый получит то, что для него полезно. Сюда — минеральная подкормка, сюда — навозу побольше, здесь микроэлементы требуются... Удобрять поля станут с самолетов. А то еще новый метод появился — не слышал, Дугаржаб? — гидропоника называется...

— Заболтался я,— спустился с облаков на землю Догдомэ.— Сейчас надо думать, как это пастбище спасти. Хоть и потеряно время, но кое-что можно еще успеть. Ваша бригада, Дугаржаб, может отлично все это сделать. Как ты думаешь?

— Можем, конечно. Вы только подскажите.

— Для начала весь навоз надо ровным слоем раскидать по всему участку, а потом перепахать.

— Это мы сделаем. И разровняем, и распашем. А если бригадир на другую работу поставит?

Догдомэ насупил брови.

— Не поставит. Правление обяжет... Ну, мне, однако, пора,— он попытался подняться и скорчился, застонал, схватился за спину.

— Что с вами?

Осторожно распрямившись, Цырен Догдомович рассмеялся.

— В старики записываюсь. Перед непогодой кости ломит. Как раны заноют,— точно, дождь будет. И сейчас, должно быть, надолго погода испортится.

— Правда?

— Представь себе... А у тебя нога не болит? — всматривается в небо Догдомэ.

— Чего ей болеть — она деревянная,— усмехается Дугаржаб.

— Постарше станешь — и деревянная заноет. Ты что, остаешься?

— Начну ваше задание выполнять — навоз покидаю. Время у меня есть. Инструмент тоже,— он показал на брошенные кем-то лопаты и грабли, усмехнулся: — Малая механизация.

Оставшись один, Дугаржаб, не мешкая, принимается за дело. Покидывает, пошвыривает комья навоза. Одну кучу прикончил, к другой перешел. Шибко не торопится, чтоб не устать. Работы тут — начать да кончить, если одному да лопатой...

По ближней дороге проскакал кто-то на коне. Остановился у края поля, легко спрыгнул с седла. Издалека можно узнать по шапке-кубанке — Санджи Бумбеев.

— Сайн, Дугаржаб Беликтуевич!

— Привет, зоотехник!

— Какие новости? — спрашивает Санджи.

— Особенных новостей нет.— Дугаржаб достает папиросы, протягивает практиканту.— Закуривай.

— Спасибо, я не курю.

— А я вот бросить никак не могу... С фильтром покупать стал. Норму установил — три штуки в день. Эта — последняя сегодня. Куда едешь?

— Председателя ищу.

— Цырен Догдомович только что тут был. Перед тобой уехал.

— Какая-то машина направо проехала. Он, однако?

— Должно быть.

Санджи оглядел поле.

— Удобряете, да?

— Верно. А ты, зоотехник, здорово научился говорить по-бурятски!

— Спасибо.

— Видишь, какая передовая техника? — поднял за черенок лопату.— Мы же чабаны-механизаторы!

Санджи носком сапога раздавил комочек навоза.

— Да-а, техника. А почему вы один работаете? У вас же большая бригада. Почему никто не помогает?

— Другим делом заняты. А я вот послушал сейчас Цырена Догдомовича и откладывать не стал. Очень нужно, говорит председатель.

— В вашей бригаде есть такой Дондок. Вот его бы сюда и поставить.

Дугаржаб машет рукой.

— Такого типа разве заставишь! Его вообще лучше ни к какой работе не подпускать, как чесоточную овцу в отару.

— Хорошенько воспитывать его надо,— серьезно произносит Санджи.

— Поздно его воспитывать.

Санджи непонимающе пожимает плечами.

— Почему все ему с рук сходит? Убежал из бригады — ничего. Семью свою разрушил — тоже ничего...

— Балмацу рада, что избавилась наконец-то от него.

— Правда? — неизвестно чему радуется практикант.— Балмацу, конечно, пока еще не умеет работать. Но она старается. Если вы ей поможете, бригадир...

Дугаржаб презрительно сплевывает.

— Бригадир поможет! От него чуть больше пользы, чем от Дондока.

— Правильно, он очень плохой...— вспоминает Санджи встречу с Цынгуевым на ферме. Не удержавшись, рассказывает, как Шойдок Цынгуевич напоить его хотел, как подбивал жалобу на Булата подписать.

— Вот видишь!

Говорить о бригадире им, однако, не хочется.

— Как тебе живется у нас, Санджи? — спрашивает Дугаржаб.

— Хорошо! Второй раз сам приехал. О доме немножко скучаю...

Дугаржаб соглашается:

— Свой край...

— Извините,— спохватывается Санджи.— Я вам мешаю.

— Ничего-ничего.

— Хотите, я вам помогу? Немножко.

Санджи хватает лопату. Видно, соскучился по настоящей мужской работе. С силой бросает навоз, чувствуя, как упруго заходили мышцы. Дугаржаб сразу отстал от него, да он и не спешил особенно — тщательно разгребал

комья, чтобы они ровнее покрывали поле. Медленно — еще не плохо, Дугаржаб старается. Он не замечает времени и чувствует, что прошло уже немало, по боли в ноге. Оказывается, устал. А может, Цырен Догдомович прав — к ненастью это? Нет, не только нога, все тело ноет. Конечно, устал. Он наваливается на перевернутые и упертые черенком в землю грабли, отдыхает.

Припустил дождик. Одежда намокла, но это даже лучше, прохладнее и дышать легче.

— Чем занимаемся, Дугаржаб? — слышится сзади.

Он оборачивается. Держась за руль мопеда, возле него стоит Лидия Васильевна Демидова. Лицо ее в бисеринках дождевых капель.

— Да вот... удобряем.

Лидия Васильевна с сомнением оглядывает навозные кучи.

— А почему машины не используете? Так вы долго провозитесь. Где бригадир?

Дугаржаб ничего не отвечает.

«Вы — его жена — не знаете,— думает он.— Откуда мне знать?»

Демидова словно не заметила замешательства парня, а может, просто отвлеклась, завидев работающего поодаль практиканта.

— Это Санджи? Какой хороший парень! Всем помогает. Санджи-и! — кричит она.

Рослый калмык, оставив лопату, распрямляется.

— Лидия Васильевна, мэндэ!

— Здравствуй, здравствуй, товарищ зоотехник. Скажи, это тоже входит в твою программу?

— Почему нет? Тоже нужная работа.

Он подходит ближе.

— На тебя доярки не нахвалятся. И электродойку на ферме установил, и за пастуха у них, и даже, говорят, сам коров доил?

— Было такое...

— Как тебе у нас живется? Как наши люди? Нравятся?

— Замечательные люди. У меня уже много друзей.— Санджи задумывается, вспомнив что-то, и добавляет: — Не все замечательные. С одним человеком никак у меня... не получается.

— С кем же?

— С бригадиром. С Цынгуевым.

— Он что, плохо работает?

— Да,— отвечает Санджи и простодушно, не подозревая, что перед ним жена Шойдока, снова рассказывает, как встретился с бригадиром на ферме, о чем у него с ним был разговор, как нехорошо, легкомысленно ведет себя бригадир с доярками. Он не замечает, что Дугаржаб из-за спины парторга подает ему какие-то знаки.

Лидия Васильевна в замешательстве хватается за грабли.

— Ну-ка, я вам немножко помогу...

Но какая уж тут работа!

— Спасибо тебе, Санджи, за то, что сказал. Я к вашему бригадиру имею некоторое отношение. Я ему женой довожусь...

Санджи так и застыл на месте.

— Вы его жена?

— А ты не знал?

Практикант мотает головой.

— А если бы знал, сказал бы?

Санджи всаживает лопату в землю.

— Все равно бы сказал!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Раны фронтовиков — верный барометр. На смену испепеляющему зною засухи пришли нудные, холодные дожди. Небо словно сплошь затянули серым холстом, прогнувшимся от тяжелой сырости. Под этим унылым мокрым пологом густо лепятся черные рваные тучи. Гонит их ветром с востока на юг, с треском раздирает на части, и в разрывы ослепительно пробиваются длинные языки молний. Кажется, не в силах больше тучи нести на себе непомерный груз влаги, вот-вот свалятся они вниз, уже метут мохнатыми хвостами землю, волочатся по ней. Что случилось там, в небесах? Прохудилось что-то и льет, льет без конца...

Тысячи ручьев зазмеились по степи. На малейших уклонах набирают они силу, бегут, обгоняя друг друга, сливаются в мутные потоки, выходят из берегов, снова разбегаются широкими рукавами. Залило норы сусликов и тарбаганов. В ложбинах и впадинах — большие озера. Того еще хуже, совсем небывалое: всюду из-под земли забили ключи. Сверху, снизу — всюду вода!..

Лужи, ручьи, родники, озерца соединились в целое море, по которому плавают муравьиные кучи, клочья сена, щепки, мусор, кустики перекати-поля...

Овец в такую погоду не удержишь в кошарах, полных жидкой грязи и навоза. Опять надо менять стоянки. И бредут по мокрой степи отары. Овец можно не погонять, они сами стремятся как можно быстрее уйти от этой промозглой сырости. Бредут, низко опустив головы, изредка, будто проверяя дорогу, осматриваются по сторонам, оглядываются назад — далеко ли ушли. Шерсть их под дождем намокла, отяжелела, и потому идти им трудно, но все равно не остановишь отару.

Вскоре, однако, животные выдыхаются. Это лишь с виду, по тугим будто бы животам, может показаться, что они сыты. А по тому, как жадно они хватают на ходу и торопливо жуют верхушки травы, как общипывают былинки, приставшие к шерсти соседних овец, этого не скажешь. Проголодались, конечно, проголодались... Все неохотнее идут они теперь вперед. Сделают несколько шажков и останавливаются, сворачивают в сторону, сбиваются в кучи, начинают метаться. А тут еще гром загремит, и совсем всполошатся овечки, тычутся мордами в землю, стоят, съежившись. Но вот как будто беда миновала, и отара снова приходит в движение. Овцы отряхиваются, разбрызгивая воду, льнут друг к другу, жмутся, толкаются, стараясь обсушиться. Вид у них жалкий. Слабенькие отстают, хромают...

Измучилась от холода, сырости, тревоги за овец Оюна. На девушке непромокаемый капюшон, плащ, кирзовые сапоги, но они нисколько не помогают — все набухло водой, липнет к телу, вызывая противную дрожь. Когда утром стало ясно, что надо немедленно перегонять отару, Оюна ни минуты не раздумывала.

Вот уже несколько часов шагает она по воде и грязи, под проливным дождем, за измученными овцами. Промерзла до костей и, чтобы хоть немного согреться, потрясает длинной березовой ургой, словно исполняя какой-то немыслимый танец — смесь бурятского ёхора с кавказской лезгинкой. Идти, однако, становится все труднее. Тяжело переставлять ноги в намокших сапогах. К тому же еще пятку стерла. И есть хочется. А остановиться, чтобы хоть несколько стебельков дикого лука-мангира сорвать, пригоршню кислицы прихватить или корней сараны выкопать,— нельзя. Утром пришлось на-





скоро собираться, и Оюна не успела глотка чая проглотить. Теперь голод донимает ее, тошнотой подступая к горлу.

Стыдно признаться, но Оюна боится грозы. Она вздрагивает при каждом раскате грома, зажмуривает глаза, зажимает уши. Как назло, грохочет все чаще, все громче, все страшней. Тарарахнет гром и трещит, раскатываясь над землей, долго-долго... И молнии, молнии, точно огненные стрелы, вырываются из мрака туч, из сплошной завесы дождя. Вот-вот одна из них вонзится совсем рядом...

Небо вспыхнуло, загрохотало, и Оюна, ни о чем больше не думая, повалилась в воду, в грязь, вниз лицом. Только было собралась подняться, опять раскололось напополам небо, и из образовавшейся в нем трещины выглянул дракон, оскалил морду и высунул огненный язык. Девушка вспомнила, как Сокто-ахай рассказывал ей про полный бедствий год огненной змеи. И, странное дело, стоило ей вспомнить эту сказку — конечно же сказку! — как все страхи пропали. Она встала и включила, запустив на полную громкость, «Спидолу». Музыка, конечно, не могла заглушить грохочущие раскаты, но теперь Оюна шагала за отарой спокойнее, и сил у нее вроде бы прибавилось.

Вдали, на бугре, показалась чья-то фигура. Человек шел ей навстречу. Роза? Точно — Роза Кузнецова! В заляпанной грязью куртке, с мокрым не то от дождя, не то от слез лицом.

— Мэндэ, Роза! Ты почему пешком? Что с тобой?

— Да-а,— плаксиво протянула Роза, и теперь уже не оставалось никаких сомнений, что она плачет.— Машина забуксовала. Застряли в грязи. Булат пошел в бригаду за трактором. А я...— и всхлипнула.

Рада Оюна встрече с подругой, но ничего не может понять: почему она плачет?

— Что с тобой? — снова спрашивает она.

— Ка-акой я шофе-ер...— рыдает Роза.— Не могла про-оехать...

— Глупости говоришь! Ты очень хорошо водишь машину,— успокаивает ее Оюна. Забыв, что еще минуту назад ей самой, как воздух, нужна была чья-то поддержка, она чувствует себя сильной и смелой.— Да в такую погоду хоть какая машина застрянет. Хоть кто не сможет проехать.

— Стыдно,— шепчет Роза, но успокаивается.— Уйду я с этой работы.

Оюна обнимает подругу.

— Почему ты Булата не посадила за руль?

— Он мне и так помогает. Другой бы на его месте давно уже прогнал... Булат такой хороший. Ты даже не знаешь, какой он хороший...

— Знаю,— прячет глаза Оюна.

— Он же тебя любит! — восклицает Роза.— Понимаешь? Очень любит. Очень, очень! Я тебе завидую.

«Откуда она знает самую мою большую тайну?» — испуганно думает Оюна.

— Что ты говоришь!

— Булат, конечно, мне об этом ни слова. Ты тоже, лучшая подруга, скрываешь. Но у меня глаза-то есть,— обидчиво поджав губы, произносит Роза.

— Мы только несколько раз у родника встречались,— оправдывается Оюна.— Мы о любви не говорили...

— О чем же вы тогда говорили? — всплескивает руками Роза.— К ним любовь пришла, а они не решаются сказать. Что вам, трудно сказать, что ли?

Бледно-синее от холода лицо Оюны заливается румянцем.

— Перестань, Роза. Этим не шутят...— и тут же бросает лукавый взгляд на подругу: — А мне кажется, что у тебя с Дугаржабом тоже не все просто...

— Ну, мы-то дурачимся. Правда, он последнее время как-то по-другому стал ко мне относиться. Но я еще погляжу, что он скажет.

В голосе ее полное безразличие, однако выдержать притворство Роза не может и прижимается щекой к щеке подруги.

— Давай опять умоемся овечьим молоком,— предложила Роза.— Будем с тобой красивыми-прекрасивыми и приворожим всех парней!

— Смешная ты! Сейчас мы красивыми не станем. Наша овечка Борбондой уже не дает молока.

— Жа-алко...

В сапоги Оюны набралась вода, она хлюпает на каждом шагу. Девушка сбрасывает их.

— Лучше без них, да боюсь босиком — болячки будут.

Несмотря на протесты подруги, Роза начинает разуваться.

— Возьми мои. Они резиновые, воду не пропустят. А я твои надену. Я же в кабине. Давай свои. Ну, кому говорю!.. В самый раз. Ну, я побежала, а то Булат ждет...

— Спасибо, Роза!

— Не за что. От новой стоянки к нам близко будет. Заходи.

— Обязательно.

— Привет передавать?

Оюна грозит пальцем.

...Стих дождь. Спокойнее бредут овцы, щиплют траву. Легче шагать за ними Оюне.

Вот и холм с камнем-памятником на вершине, как остров в море. Камень омыт дождем до блеска. Но так же безмолвен и задумчив каменный истукан. Стоит, закрыв глаза, погруженный в свои вековечные думы. Никакого нет ему дела до происходящего на земле, ни жара, ни холод ему нипочем. Вот он как будто приоткрыл насупленные серые каменные глаза-щелочки, сердито смотрит на Оюну, храбро шагающую, не разбирая грязи, по лужам, через крапиву.

«Не слушалась меня,— говорит его взгляд.— Так тебе и надо. Намучилась? То-то же... Зачем пришла?»

Овцы окружили холм. Здесь им есть что пожевать, долго не сойдут с места. Оюна взбегает на вершину, опускается возле самого камня. Он укрывает от ветра. К нему можно прислониться спиной, отдохнуть. Так хорошо, спокойно сидеть здесь. Даже тепло... Незаметно подступает дремота, и снова продолжается тот же сон...

Шулуун-абгай. Вот мы и опять встретились, девушка. Я знала, что ты придешь. Теперь ты поняла, что напрасно мучаешься?

Оюна. Глупая ты. Чего мне понимать? Я просто перегоняю отару.

Шулуун-абгай. Овцы у тебя совсем ослабли. Далеко ты их не уведешь.

Оюна. Это тебе только кажется. Сейчас они отдохнут, подкормятся и дальше пойдут. Можешь не беспокоиться, дойдут куда надо!

Шулуун-абгай. Как побледнело твое лицо. И зубы у тебя стучат, когда ты говоришь. Ты замерзнешь.

Оюна. У меня всегда белое лицо. Я его овечьим молоком мою. И вообще мне смешно тебя слушать. Замерзла, говоришь? Да мне, если хочешь знать, жарко.

Шулуун-абгай. Оставайся здесь, со мной. Я тебя спасу от всех бед.

Оюна. Глупости! Меня не надо спасать. Отсюда сверху хорошо всю степь видно. Вот погляжу, куда лучше овец гнать, и пойду. А ты стой тут, как стояла.

Шулуун-абгай. Нигде сухого места нет. Всюду — грязь. Пойдешь и увязнешь. И овцы твои пропадут.

Оюна. Можешь не беспокоиться.

Шулуун-абгай. Когда раскалывалось небо, ты видела дракона?

Оюна. Сказки! Обыкновенная молния. Я ее нисколечко не испугалась.

Шулуун-абгай. Будет еще страшнее. Особенно зимой. Год огненной змеи — страшный год!

Оюна. Зима будет как зима. И холода я не боюсь.

Шулуун-абгай. За красивыми словами свой страх прячешь, девушка. Все равно сбежишь ты из этой степи. Сбежи-и-и-ишь.

Ничуть не боязно разговаривать Оюне с каменной бабой. Но почему-то, услышав, как истукан ни с того ни с сего заблеял по-овечьи, девушка приходит в ужас. Она пытается оттолкнуться от камня — не может. Еще. Сильнее!..

О ее колени трется мокрой башкой овечка Балмацу — карнаухая Борбондой, дрожит и тихо блеет, словно зовет: «Пойдем отсюда скорее туда, где сухо...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

...Много повидала на своем веку эта войлочная юрта под солнцем и луной. Секли ее дожди, заваливало снегом, засыпало песком и пылью. Скот оставлял на ней свои отметины. Стрелы ее пронзали. На стенах, каркасе, войлоке — всюду следы времени. Когда-то белоснежная, почернела она, обветшала, пестреет семьюдесятью семью заплатами из старого брезента и толя. Иные дыры заткнуты газетами. Там толстой тесьмой прихвачено, тут кожаными жгутами подтянуто, здесь веревочкой из конского волоса подвязано... А что поделаешь? Где новый войлок возьмешь?

И внутри не лучше. Не служит больше старая юрта защитой от дождя-непогоды. Вода сквозь нее льет, как через решето. Не сыскать сухого места в юрте. До краев налились-напились дождевой водой медные чашечки-сугсэ на гунгарбе-божнице. Туго свернутые по обе стороны стола постели тоже насквозь пропитались влагой. Покоробились от сырости так, что облезла, облупилась краска, всякие подставки, полочки, столики, шкафчики. С перевернутых вверх дном на полке-ухэге кастрюль, мисок, чашек звонко падают капли.

По ужасающему беспорядку в юрте можно судить, сколько стараний приложил хозяин, передвигая утварь с места на место, спасая нехитрые свои пожитки от льющей, как из ведра, днем и ночью воды. Тщетны, однако, были все его усилия.

Самое лучшее в его положении было бы откочевать куда-нибудь, да в такую погоду не стронешься с места. Жди теперь, когда небеса просохнут... А они как будто и не торопятся: тяжелым тучам нет конца и края. Дни ползут туго, нехотя, лениво. Никто не зайдет, не заедет. А как бы скрасил сейчас одиночество нечаянный гость: ищет же поди кто-нибудь в степи пропавший скот? И внучки давно не видать, тоже, наверно, в эту непогоду мается...

Так оно, видно, и бывает — когда человек одиноко стареет, он становится никому не нужным. Грустные мысли одолевают Сокто-ахая, он гонит их прочь, сознавая, что брюзжит понапрасну. Все у него из рук валится, ничего не хочется делать, и он, словно выполняя какой-то непонятный долг, сидит сиднем на одном месте, нагнетая на себя тоску и всеми силами стараясь избавиться от нее. Все, что только можно было, натянул на себя Сокто-ахай, чтобы не так била дрожь,— не спасает. Лицо у него посинело, руки трясутся. Даже табак не жует, так ему холодно и неуютно.

Об одном беспокоится сейчас старик: дымоход заливает вода, труба шипит, очаг того и гляди может потухнуть, тогда будет совсем худо. Чтоб не случилось такой беды, Сокто настороженно следит за огнем. Опять достал кусок сухой бересты, бережно упрятанной в постель, несколько лучинок, тоже каким-то чудом не отсыревших, пытается взбодрить огонь в печурке, но никак это ему не удается. Много проходит времени — вонючий сизый дымок совсем глаза разъел,— пока пламя в очаге начи-

нает ровно гудеть, раскаляя докрасна чугунные бока печки. А вот и совсем хорошо — затрещал, застрелял огонь: верная примета ждать гостя! Что из того, если это поднявшийся ветер усилил тягу, а палят в печи, не переставая, красные шарики овечьего помета. Примета есть примета. И хорошо, что она есть. Хорошо, что можно надеяться на чей-то приход. К печке не подойти — так она пышет жаром. Теперь всю ночь будет тепло.

Пригрелись у очага ягнята-близнецы, те самые, которых весной подобрал в степи Сокто-ахай. Они заметно подросли, и хотя выкормлены человеком и не закалились суровой жизнью отары, достаточно сильны и крепки. Последние дни нелегко досталось им тоже — замучились, прозябли, оголодали ягнята, понос их прохватил. Отошли — отогрелись у огня, таращат янтарно-желтые глаза, крутят короткими хвостиками, смотрят по сторонам, тоненькими голосами жалуются, есть просят.

— Эх, бедняги, и чего вы со мной мучаетесь! — в хлопотах у очага старик совсем забыл о них.— Нате-ка, пожуйте. Я вам травки нарвал...

Ревнуя к ягнятам, зарычал Хоройшо. Пес последние дни совсем не вылезает из юрты, прижился тут, лежит себе, положив на лапы мохнатую морду.

— Ну, чего ты? — добродушно ворчит на него старик.— С тобой-то мы всякое видали...

— Гав! — отзывается Хоройшо.

— Что в нашем доме творится... Доброму человеку в таком доме жить нельзя, а другого у нас с тобой нет... Лишь бы огонь не потух,— это уже Сокто сам с собой разговаривает.

— Гав! Гав! — уши у собаки становятся торчком, что-то она заслышала.

Точно: дверь юрты открывается, и входит Булат. Тоже, конечно, до нитки промокший.

— Мэндэ, Сокто-ахай!

Вот и не верь после этого приметам. Старик рад долгожданному гостю — сколько дней уже никто не переступал порога юрты, но сослепу никак не разберет: кто же к нему пожаловал.

— Мэндэ-э-э! — тянет он.— Не думал, что в такую непогоду кто-нибудь сюда забредет. Ты кто будешь?

— Булат я, сын Сыдена.

Гость, оказывается, не очень желанный, но Сокто не показывает виду.

— День и ночь все льет и льет... Ты садись поближе к огню.

— Спасибо,— придвигается к печурке Булат.

Дед гремит чашками, долго возится с какой-то посудиной, наливает из нее кислый айрак.

— Отведай белой пищи,— протягивает Булату чашку с квашеным молоком.

Парень со смаком потягивает напиток.

— О, крепкий какой!

Теперь старик усаживается напротив него, кидает в рот щепоть табаку и, жуя почти беззубыми деснами, начинает расспрашивать о дальних и ближних новостях. Сначала о погоде, конечно. Попутно сам и объяснил, отчего ненастье: какие созвездия в противостоянии с луной оказались. Это ему известно, а вот какие бедствия непогода причинила, какие меры правление принимает, поступил ли в магазин, к Сельпо Даши, войлок для юрты, кого собираются в Москву посылать на выставку — все это узнать интересно.

Булат охотно рассказывает. Старается подробно отвечать на все вопросы деда Сокто.

Спросил старик и о том, о чем спрашивает у всех и каждого:

— Ты человек грамотный, Булат. Может, где читал... Не нашлись те люди, которые без вести пропали на войне? Что в газетах об этом пишут?

— В газетах про это ничего нет...

— В прошлом году писали — один нашелся. Все считали мертвым, а он нашелся... Я Дансарану сколько раз говорил: напиши. Все равно никаких вестей. Что случилось?

Старик задумывается, и разговор теперь долго не возобновляется.

— Какая у тебя работа? — нарушает молчание Сокто.

— Ездим по бригадам со своей мастерской...

— Ну и как? Что нового у чабанов? — оживляется Сокто.

Зная о конфликте старика с Оюной, обрадованный, что может сказать добрую весть и — кто знает! — помирить деда с внучкой, Булат прежде всего рассказывает об ее отаре.

— Тулгушки у Оюны поправились. С каждой овцы в ее отаре по два восемьсот настригли.

Старик самолично видел стрижку и приятно удив-

лен. Вот уж не подумал бы, что при такой работе более или менее приличный настриг получили!

— Каково им сейчас в дождь...— вздыхает Сокто.— Молодняк не мерзнет, не простужается?

— Недавно у них был. Все в порядке.

— Это хорошо. Не дай бог, заморозит овец. Самое худое поголовье к себе забрала... Мучает себя Оюна. Наслушалась всяких людей...— Сокто-ахай смотрит на парня, намекая, что он, Булат, и есть тот самый «всякий».

Будто не заметив, Булат отнес чашку на полочку, вернулся, сел, продолжает как ни в чем не бывало:

— Есть одна знаменитая женщина — Гаганова. Ткачиха она. Самая передовая была. А взяла отстающую бригаду — хуже не было. Снова передовой стала. Оюна так же хочет.

— Во-от что. Понятно. Но люди и овцы — это разное. Чабана-то им еще дали?

— Нет, они сами никого не хотят...

Старик морщится.

— Да. Никого им не надо...

Булат поспешно поправляется:

— Оюна очень ждет вас, Сокто-ахай.

— Что мне там делать? Я не Гаганова. Я старый чабан... Ты ездишь туда, присматривай, помогай.

— Вы можете лучше, больше помочь. Поезжайте в бригаду, поучите их. У вас опыт какой! Вы секреты всякие знаете...

Сокто-ахай не хочет продолжать этот разговор.

— Ты, Булат,— говорит он,— своих коров в колхоз отдал? Правду говорят?

Как ни надоело Булату отвечать на этот вопрос — каждый встречный-поперечный спрашивает,— он даже виду не подает.

— А если мы без них можем прожить, зачем держать?

— Не может бурят без пяти видов скота,— недовольно качает головой Сокто-ахай.— Сколько об этом народ песен сложил...

— Когда весь скот будет в колхозе, еще больше песен сложат,— шутит парень.

Шутка его успеха не имеет.

— Я недавно твою мать в магазине встретил. Ругалась она — не могла масла привозного купить.

Тут Булату, как говорится, крыть нечем. Он поспеш-

но прощается со стариком и покидает юрту. Хоройшо идет за ним, рыча и скаля желтые клыки. Зная нрав чабанских собак, Булат старается идти спокойно, не прибавляя шагу, но Хоройшо обгоняет его, становится на пути, трется о ногу, виляет хвостом. Вдруг, прислушавшись, разражается громким лаем, срывается с места и мчится, задрав хвост.

Вскоре он возвращается. За ним, верхом на лошади, Оюна.

— Ты как тут оказался, Булат? Здравствуй!

— Здравствуй, Оюна! Был у полеводов, сюда зашел. Хотел, как мы договорились, агитировать Сокто-ахая...

— Ну и как? Перевоспитал?

— Я ему говорю, вас очень ждут в бригаде, возвращайтесь, а он: «Зачем я им?». Я по-всякому уговаривал... Знаешь, что он мне сказал? Зачем, спрашивает, я коров колхозу отдал! Вот так,— разводит Булат руками.

— Если дедушка задумал что, его не переубедишь. И на меня все время ворчит. Сейчас, наверно, тоже ругать будет.

— Он поймет. Если не сейчас, то потом.

— Я тоже так думаю.

Булат осторожно касается ее руки.

— Придешь завтра к роднику?

— Мы завтра на культбазу собирались, в кино,— колеблется Оюна, хочет еще что-то сказать, но в это время из юрты выходит Сокто-ахай.

— Значит, у родника? — переспрашивает Булат.

— Уходи скорее! Дедушка идет!

— Буду ждать.

— До свиданья.

— Ты зачем пришла? — слышится сердитый голос старика.

— Вас хотела проведать,— робко произносит Оюна и теребит кончики намокших кос.

— Молодец, что старика не забываешь... Сама-то как мокрая мышь. Почему накидку не надела?

Оюна рада уже тому, что дед привычно ворчит.

— Ничего, дедушка...

— Где твои овцы?

— За тем бугром. Сегодня здесь буду пасти.

— В такую погоду надо за ними хорошенько присматривать,— поучает старик.

— Я думала, здесь пастбище получше, пригнала отару.

— Нет поблизости хороших пастбищ.

— Повяла вся трава.

Сокто-ахай сделал несколько шагов, сорвал пучок травы, сунул былинку в рот, пожевал.

— Вкуса, что ли, я уже не ощущаю... Совсем трава без запаха. Чем зимой скот будет кормиться?

«Трава, действительно, водянистая, и овцы не наедаются. Прав дедушка»,— подумала Оюна.

— Мы сена накосили, зеленка есть,— говорит она.

— Запомни: наши овцы не могут в кошарах, под крышей зимовать. Обязательно пасти всю зиму надо.

Похоже, не очень-то разговоришься сегодня с дедом.

— Конечно,— соглашается Оюна.— Ну, я пойду к овцам...

Сокто-ахай не удерживает ее. Он поворачивает к юрте не простившись.

Понурив голову, Оюна садится на коня.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Темно в поле, но все же видно, как тихо раскачиваются отяжелевшие от дождя колосья.

Лет тридцать, однако, как сеют пшеницу на полях Хангила. Каких только методов не применяли: и травополкой занимались, и пропашной системой, и по Мальцеву, а урожаи все равно низкие. В иные года на трудодни ни грамма не выдавали. Каждое лето недород, и всегда какая-нибудь объективная причина — то холодная, поздняя весна, то затяжные дожди в самую уборку, то засуха, как нынче. Чего только выдумывать не приходилось, чтобы убрать хоть то, что выросло. Этой осенью впервые на раздельную уборку перешли...

На краю поля вспыхнули фары комбайна.

— Дугаржаб иллюминацию устроил. Чего он там колдует? Постой, Булат, я его немножно разыграю.

Роза скрылась в темноте.

...Возле комбайна топчется, прихрамывая, Дугаржаб. Он старается завести машину, наконец-то, кажется, реконструированную вместе с друзьями. Последние двое суток он возился один со всякими мелкими недоделками. Все, как будто, проверил, а комбайн ни с места! Ду-

гаржаб злится. Ему хочется к появлению Булата и Розы удивить их, обрадовать. Судя по всему, удивит... И уж, конечно, не обрадует.

Он в который раз вытаскивает потрепанный справочник по электрооборудованию комбайнов, листает его при свете фары. Знает Дугаржаб все наизусть и без справочника, но посмотреть все-таки не мешает: а вдруг что-то не упомнил. Свет тусклый, неровный, того гляди совсем погаснет. Ничего в справочнике обнаружить не удается. Главный агрегат, из-за которого они все это и затеяли,— электропечь,— не греет. Только наладит все Дугаржаб, только включит — непременно где-то пропадает контакт.

Еще раз облазил он комбайн снизу доверху, все осмотрел. Прикручивая динамо, выронил ключ, нагнулся за ним и вдруг почувствовал, что занемела рука. Током ударило? Он спрыгнул на землю и только тогда сообразил, что просто-напросто стукнулся локтем.

Фары вспыхнули ярче. Тысячи ночных бабочек и мошек льнули к огню, и от их мельтешения плясали, кружились тени. Раздосадованный, Дугаржаб стукнул по одной из фар, и вдруг все они разом погасли. И двигатель заглох, сделав два или три выхлопа. Стало тихо до боли в ушах.

— Дугаржа-рааб! — послышался чей-то сдавленный голос.

— Кто это?

— Призра-ак! — донеслось слева.

— Какой еще призрак? — рассердился парень.

— Уходи... отсюда... с моей земли,— прохрипело совсем рядом.

Дугаржаб бесшумно шагнул на голос. Не успел! По учащенному дыханию он угадал, куда метнулся незримый призрак, обежал вокруг машины, схватил кого-то в охапку и не устоял на ногах.

— Ой, ты совсем с ума сошел! Отпусти,— взмолился призрак голосом Розы.

— Не отпущу! Я тебя сразу узнал.

— Ну да-а, так уж сразу!.. А скажи, испугался, когда комбайн заглох? Испугался?

— Меня так просто не напугаешь. Как ни говори, я все-таки пограничник.

— Роза, ты что, в плен сдалась? — раздался рядом с ними голос Булата.

Дугаржаб выпустил девушку из объятий. Тут же таинственным шепотом спросил:

— Друзья! Только честно: ничего у вас подымить не найдется? Мои запасы кончились. Последнюю сигарету часа два назад выкурил.

— Откуда у нас табак?

Роза настроена воинственно:

— Опять клянчишь? Я тебе сколько раз говорила, чтобы бросал курить?

— Стараюсь, но пока ничего не получается,— оправдывается Дугаржаб.— Скоро сдержу слово. А пока хоть бы несколько раз затянуться.

Булат с карманным фонарем обходит вокруг комбайна.

— Что? Не греет?

Дугаржаб молчит.

— Я так и знала! Предупреждала вас, что дело сложное...

— Подожди,— останавливает ее Дугаржаб.— Где-то контакта нет.

— Роза! — командует Булат.— Подержи-ка фонарик. Сюда свети. Та-ак. Попробуем сюда переключить...

— Пусть Дугаржаб делает,— просит Роза.— Пусть учится.

— Ладно,— соглашается механик.

Дугаржаб лезет на место Булата, протягивает черную от смазки руку за ключом. Роза ближе подносит фонарик.

— Ну, поглядим, что ты умеешь. Э-эх, не стал ты еще настоящим механизатором!..

— А ты лучше помолчи,— огрызается Дугаржаб.

— Опять ссоритесь? Ну что вы за люди!

— Кажется, получилось.

— Дай я проверю. Молодец! Ну, пробуем.

Подрагивает, словно от нетерпения, комбайн. Печь нагревается. Парни подтаскивают несколько охапок сырых колосьев, бросают на полотно транспортера. Барабан тут же забивает тяжелая мокрая солома. Приходится выдирать ее руками.

— Что будем делать? — с досадой спрашивает Булат.

Роза в отчаянии:

— Ничего не получится!

Дугаржаб молча косится на строптивую, неуступчивую машину.

— Снова разбирать?

Если б не Булат, они бы уже спасовали. А механик упрям.

— Еще десять раз разберем. Надо до конца довести.

— А если такая машина в принципе неверна? — спрашивает Роза.— Теоретически все можно сделать, а на практике...

Тут уверенность возвращается к Дугаржабу:

— Может, такую точно схему уже разрабатывают в каком-нибудь конструкторском бюро, на заводе.

— Значит, мы должны торопиться, чтобы никто нас не опередил,— заключает Булат.— Ставлю на голосование. Кто за продолжение испытаний? Я — за.

— Я тоже,— присоединяется Дугаржаб.— А Роза в оппозиции.

— Красиво говоришь! — вспыхивает девушка.— Ну и пожалуйста! — Она резко поворачивается и скрывается в темноте.

— Зачем ты так? Опять обидел...

— Виноват...

— Пойди, приведи ее.

— Подождем немного.

— Ты же знаешь ее характер.

— Мы старые друзья.

— Кажется, ваша дружба становится все крепче?

— Почему ты так думаешь?

— Со стороны виднее...

— Брось!

— А я сейчас у Розы спрошу.

— Ты с Розой об этом не говори,— переходит на шепот Дугаржаб.

— Понятно.

Словно вспомнив что-то важное, Булат многозначительно спрашивает:

— Ты не проболтаешься?

— За кого ты меня принимаешь? — обижается друг.

— О комбайне-то Дансарану сказал? Вот так. Ну, ладно, слушай. Я еще одно дело придумал. На одной из кошар сделать котельную. Как ты думаешь? Могу я на тебя рассчитывать?

— Как на себя!

— Фантазеры! — Роза подходит к ним. Она слышала

их разговор от слова до слова.— Один проект еще не получается, а вы уже за другое беретесь. Давайте хоть комбайн сначала наладим.

Парни, пристыженные, помалкивают.

Она берет с полотна комбайна колос пшеницы, шелушит его и бросает зерна в рот.

Тщательно, с особой придирчивостью все трое снова перебирают устройство для обогрева и сушки зерна. Заводят комбайн. Включают печь. Работает! На всех режимах греет!

— Поехали! — орет Дугаржаб. Он включает полный свет.

Лязгая, грохоча, скрежеща, тарахтя, комбайн, напоминающий в ночной мгле немыслимую марсианскую машину, устремляется к валкам. Тяжелые сырые колосья ползут по транспортеру. Булат переключает регулятор нагрева печи на отметку «сильно». Роза смотрит, как в бункер сыплются спелые зерна. Неужели удача? Она подставляет ладонь под золотистый дождь. Зерна сырые...

Так ничего и не добившись, решили отложить испытание до следующего раза: сил больше не было.

Над степью занимался хмурый рассвет. Тучи где-то отсырели за ночь, и теперь из них, неотжатых, сочилась морось, вмиг пропитавшая все вокруг.

За дальними пригорками замелькал неяркий огонек. Он то исчезал, то появлялся вновь, заметно приближаясь. Вот уже стало слышно треск мотоцикла, буксовавшего на кромке поля. Там он и остановился, а человек, что приехал на нем, устало направился к комбайну.

— Батя! — закричала Роза.

— Доброе утро, друзья! — поздоровался Сергей Петрович.— Чего такие невеселые? Случилось что-нибудь?

— Как раз ничего и не случилось,— ответил Булат.

— Эксперимент не удался,— развел руками Дугаржаб.

Кузнецов обошел комбайн, взобрался на мостик, принялся разглядывать неказистое приспособление, прилаженное к бункеру.

— Так, так... Любопытно...

Изобретатели перешептывались в нетерпении. Они походили в эту минуту на учеников, ожидающих от преподавателя оценки за контрольную работу.

Сергей Петрович, однако, не спешил. Он внимательно

но прощупывал каждый узелок агрегата, хмыкал, бросал улыбчивые взгляды на замерзших ребят, снова копался в переплетении проводов.

— Молодцы,— спустился он к молодым механикам.— В принципе это интересно. Не зря голову поломали. Но... к сожалению, работать ваша установка не будет. Вы не огорчайтесь. Можно было, конечно, сразу вас отговорить. Я не стал вам мешать. И не жалею. Котелок у вас варит.

— На ошибках учатся...— изрек Дугаржаб.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Поздней осенью чабанские стоянки опять «меняют прописку». Теперь для них выбирают тихие, заветренные места. По старинке сооружают навесы-хотоны и круглую ограду из жердей, обкладывают толстым слоем соломы. В таких строениях овцы всегда дышат свежим воздухом и, сбившись в кучу, переносят любой мороз, закаляются.

Возле одного из хотонов, хлюпая, работает пожарный насос, гонит по шлангу в большую яму-ванну желто-зеленую жидкость. Идет купка — дезинфекция отар.

Вообще эту процедуру надо было проводить, конечно, раньше, когда было потеплее, да не успели, а теперь уже сроки подпирают, и к тому же у некоторых овец обнаружены признаки чесотки. Значит, хочешь — не хочешь, а надо купать всех подряд.

Загон набит битком. Предчувствуя, что чабаны готовят им какую-то неприятность, от резкого запаха дезинфицирующего раствора овцы рвутся из загона, чихают, ревут.

Нелегкое дело — перемыть всю отару! Без устали швыряют чабаны одну за другой овец в ванну. Работа шла бы куда быстрее, будь животные послушны, а то каждую приходится тащить силком. А наиболее слабым, кроме того, приходится вливать в рот лекарство. Хотя на чабанах клеенчатые фартуки, одежда давно пропиталась раствором, руки и ноги тоже мокрехоньки.

На душе у Оюны неспокойно. Только-только поднялась на ноги отара. Думала, кончились ее волнения, дотянула до зимовки. И надо — чесотка... Теперь вот купай не вовремя. Подождать бы, может, еще выдадутся теплые дни. Нельзя ждать. Что-то еще будет...

— Тадь, тадь,— гонит она овечек к ванне.— Идите, глупенькие! Это лечебная вода!

Балмацу рядом с нею действует решительнее. Силы ей не занимать. Она стала заправской чабанкой, надежной помощницей в бригаде. Не обращая внимания на холод и сырость, Балмацу засучила рукава по локоть, покрикивает на овец:

— Та-адь! Что вас, убивать, резать собираются? Не понимаете, что ли? Та-адь!..

Редко можно увидеть в эти дни в Хангиле председателя Догдомэ, все время проводит он на дальних стоянках и фермах, на полях и токах. Заглянет с утра ненадолго в контору, отдаст распоряжения бухгалтеру Цыремпилону и — только его и видели... Сюда, на купку овец, попал он по чистой случайности, но раз уж угадал, не мог не задержаться, тем более что бетонированную ванну-бассейн, недавно сделанную «дикой» бригадой шабашников, хотелось посмотреть.

Неймется Цырену Догдомовичу. Поглядел, какая морока с подачей воды — хлюпает пожарный насосишко, подумал: не пора ли на чабанских стоянках начать артезианские колодцы бурить? А почему бы и в самом Хангиле не сделать скважину? Поставить водонапорную башню, проложить от нее трубы до котельной, мастерских и к электростанции, к теплицам, а там и до каждой избы. Будет у всех вдоволь холодной и горячей воды. Хочешь — вари, стирай, душ принимай, как в городе!

Смотрит Догдомэ, как купают овец, а перед глазами другое, свое. И про старика Сокто забыл, которого с собой привез. А у того, видно, чуяло сердце, что не все ладно у внучки. Сам напросился в попутчики к председателю.

Лицо у Сокто-ахая усталое, удрученное. И весь он какой-то сегодня неухоженный, обросший. Заткнул за пояс полы шубы, подвязал голенища унтов, щурит глаза, неодобрительно покачивает головой, но пока не ворчит, не ругается.

С самой стрижки не был Сокто в отаре внучки. Не раз порывался приехать — не сидится в одиночестве. Вот и выбрался... Обычно стоило ему только подумать о встрече с Оюной, сердце у старого в груди загоралось. А сегодня пасмурно на душе. Прежде к хотонам никого чужого близко не подпускали, а тут кто только не шля-

ется. Чего удивительного, если овцы заболеют? И купать придумали в такой холод...

Недавний разговор в машине с председателем оставил горьковатый осадок.

— Я, Цырен,— сказал старик,— больше пятидесяти лет ходил за овцами. Работал в общем не лучше, не хуже людей — средне держался. А теперь вот постарел, пора на выбраковку. На шее у людей сидеть не буду. Пенсии мне не надо. Я тебе давно хотел об этом доложить...

А насчет того, на что его Шойдок подбивал,— так ни слова и не вымолвил.

Догдомэ не торопился с ответом, подождал, может, старик еще чего надумает.

Ехали так, ехали километров, однако, пять. Председатель и говорит:

— Правление колхоза, Сокто-ахай, вынесло решение предоставить вам отпуск...

Умный мужик Цырен! За это его и любят старики. Знает, кому что сказать. Ведь не упрекнул даже, что Сокто работу бросил. «Отпуск решили дать... Пусть будет отпуск...»

Стоят они сейчас рядом с ванной, в которую бросают овец. Старика дрожь берет, а председателю хоть бы что! Даже не глядит. Сокто это не нравится. Всем хорош Догдомэ, а в скотоводстве все-таки не шибко разбирается. Ну зачем разрешил купать? Оставив председателя, погруженного в свои раздумья, Сокто направляется к Оюне.

Оюна как раз собирается напоить лекарством овцу. Достала из кармана четушку со снадобьем, которое прописал практикант-зоотехник Санджи, пытается удержать овцу и сунуть ей в рот бутылочку. Откуда овце знать, что для ее же пользы старается чабанка. Она брыкается, рвется из рук, горькое лекарство течет мимо, овца фыркает. Оюна успокаивает ее:

— Ну, еще маленько... Выпей, пожалуйста!..

Сокто-ахай подошел, наклонился, с интересом глядит.

— Что ты ей даешь?

— Лекарство от хатайра, дедушка.

— Смотри-ка! Ну-ка, скажи: и сможешь вылечить эту болезнь?

Старик присел на корточки.

— Хула-ай! — уговаривает овцу Оюна.— Пока не выпьешь, все равно не отпущу.

— Не умеешь лекарство овце давать. Ну-ка, дай сюда.

— Я сама.

— Дай, говорю! — Сокто-ахай забирает у нее четушку и пробует лекарство на язык.

— Дедушка, что вы делаете! — испуганно кричит Оюна.— Это же для овец!

— Тьфу, какая мерзость! Яд это, а не лекарство,— плюется старик.— Если человеку нельзя, то и овцам не надо давать. Правильно они делают, что не пьют такую пакость.

Так морщится старик, что девушка едва сдерживает смех.

— Это самое лучшее лекарство,— как можно убедительнее говорит она.

Сокто-ахай, чтобы отбить отвратительный вкус зелья, заправляется порцией табаку и ворчит:

— Я всю жизнь чабанил, ни одной овцы не отравил... Ты это оставь.

Оюна широко раскрывает глаза:

— Мы по всем зоотехническим правилам...

— Эх вы!

— Тадь! — в сердцах кричит Оюна и волокет овцу к ванне.

А там Балмацу набрала темп — одну за одной, одну за одной кидает в раствор овец. Они дрожат в холодной воде.

— Замерзнут! — не выдерживает Сокто-ахай.

— Ничего-оо! — откликается Балмацу, не сбавляя темпа.

«Какая безжалостная!» — думает старик, глядя, как швыряет чабанка крепкими сильными руками животных.

— Покалечишь!

— Пусть купаются...

— Перестань мучить скотину!

«Опять меня Сокто-ахай ругает. Неужели все еще плохо работаю?» — Балмацу срывает досаду на рослой овце, хватает ее за ноги и тут же выпускает... Что-то шевельнулось внутри чабанки. Показалось? Нет, еще... Лицо молодой женщины выражает удивление, испуг и — счастье! Меньше всего думает она в эту минуту о своей неудачной поездке на аршан, о нерадостной встрече с

Дондоком. Что ей теперь Дондок... Она прислушивается, кладет большие ладони на живот и стоит, отрешенная, не видя, не замечая ничего вокруг. А еще через минуту все кажется ей таким прекрасным — и мокрые овцы, и нахмуренный Сокто-ахай, и озабоченный Догдомэ. Всем им хочет она сказать что-нибудь доброе, хорошее. Балмацу прислоняется к столбу и, ни к кому не обращаясь, произносит:

— Буду жалеть... беречь... любить...

Старый Сокто недоумевающе смотрит на нее.

— Не пойму, о чем ты?

А овца, что вырвалась из рук чабанки, мечется по загону, отряхивается, блеет. Сокто-ахай ловит ее.

— Хулай! Что происходит? Наш скот всегда только дождем мыло. А вы в холодную воду швыряете!.. Бедная, до костей продрогла,— гладит старик овцу.— Еще лекарство-отраву нашли. Разве так лечат? Хулай! Она с перепугу селезенкой екает, хозяев своих боится. Прижмись, прижмись ко мне. Немножко согреешься.

Точно костоправ, он ощупывает ребра, ноги овцы, укрывает ее полой шубы.

Догдомэ смотрит на старого Сокто, спрашивает и его, и Оюну сразу:

— Может, в самом деле, не надо их купать, а? Схватят еще воспаление... Давайте прекратим?

— Вот если не выкупаем, они скорее заболеют,— отвечает Оюна.

«Ну и молодежь! — переживает Сокто-ахай.— Самого Цырена не слушаются. Самих бы их вместо овец в холодную воду...»

Тем временем Оюна с Балмацу успели макнуть в ванну с раствором остальных овец и погнали отару в степь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Дороги... Во что они превратились, степные дороги, за долгие дни непогоды! Сплошь ухабы, рытвины, ямы. Тропа, протоптанная скотом, извивается грязной, скользкой, гигантской черной змеей. Глубоко пропаханы проселки, и в каждой борозде — вода. А там, где ходят машины, колеи стали просто бездонными — яма на яме.

И все равно не опустели дороги. Вон рысцой поспешает на коне чабан с укрюком в руке. Вон воловья уп-

ряжка тянется лениво — везет школьников с занятий. Зеленый бензовоз ныряет из колдобины в колдобину, застревает то и дело, но тащится потихоньку. Медленно, окутываясь черным дымом выхлопов, гудя от натуги, ползут три лесовоза, груженные длинными бревнами. ДТ-54 буксирует безнадежно застрявшую полуторку. Довольно шустро прыгает по ухабам и разбрызгивает лужи юркий «газик». А вот и хангильская «летучка», с доверху заляпанным грязью фургоном-кузовом буксует, но одолевает топкие места.

Спешат наши механики в южную степь: срочно вызвали. А раз вызвали, хоть какая погода, хоть какие дороги,— торопись, скорая помощь, пробивайся туда, где тебя ждут.

Прибавляются записи в «бортовом журнале».

2 сентября в Мухор-Харганашинской чабанской бригаде отремонтировали конные грабли.

9 сентября в Убжиё починили силосорезку.

11 сентября установили лафетные жатки в полеводческой бригаде.

19 — сменили диски муфты сцепления на ДТ в строительной бригаде.

21 — установили весы на току в Хара-Нуре.

Сегодня — двадцать четвертое сентября.

Сегодня с утра они месят грязь.

Радужно поблескивают масляные пятна в залитых водою колеях. Там и сям торчат над ямами и выбоинами обломки досок, жерди, колья — все, что ни попало под руку незадачливым шоферам.

Роза устала, раздражена. С завистью думает о своем отце. Почему у него всегда все получалось? Приехал в колхоз — «обучил» все трактора, как уважительно подшучивали над ним в Хангиле. Танкистом на фронте дошел до Берлина. Вернулся после войны, опять все у него хорошо — заведует мастерскими, уважаемый человек... А что она, Роза? Ничего выдающегося в жизни не совершила и, похоже, не совершит. Даже машину как следует водить не может научиться!

Красный берет, телогрейка, высокие резиновые сапожки Розы перемазаны грязью, и на лице застыли, засохли серыми пятнами брызги грязи. Напрасно наговаривает на себя девушка. Маленькие руки ее крепко держат руль, и, несмотря на ужасную дорогу, «летучка» потихоньку-полегоньку ползет и ползет вперед. Не каждый

мужчина справился бы с машиной в такую погоду, на такой дороге.

Булат тоже утомлен. Его последние дни вызывают и днем, и ночью — все время какие-нибудь поломки, всюду нужна его помощь. Где бы что ни случилось, зовут Булата. Чаще всего оказывается, что вполне можно было обойтись без механика, справиться своими силами, да Булат сам приучил своей безотказностью: зовут, значит, надо. Никогда не обидится, ни с кем не поругается. Идет, едет, чинит.

С каким бы удовольствием он сейчас вздремнул, хоть с полчасика. Глаза сами слипаются. Да разве можно? А Роза? Ей легче, что ли? И Булат, напряженно вглядываясь вперед, подсказывает, где можно объехать, где надо притормозить.

Дорога пошла намного ровнее, чище. Экипаж примолк. Оба о чем-то задумались. На обоих навалилась тоска.

— Включи хоть радио! — просит Роза.

На всех волнах шум и треск. Сквозь разряды, помехи и писк морзянки прорываются далекие невнятные голоса.

...Два московских диктора читают последние известия.

...Ленинград рассказывает о зимовщиках Антарктиды.

...Из Алма-Аты сообщают об открытии сессии Верховного Совета Казахской ССР.

...Новосибирская радиостанция хвалит своих кибернетиков из Академгородка, раскрывших тайну древних письмен майя.

...Кызыл прославляет успехи саянских охотников.

Музыку из нового спектакля театра оперы и балета передает Улан-Удэ.

Роза слегка убавляет громкость и, подражая диктору, произносит:

— Говорит Хангил. Говорит Хангил. Слушайте сводку погоды. У нас вторую неделю идут дожди. Везде — грязь...

— Добавь: передвижная техническая мастерская, несмотря ни на что, рвется вперед,— смеется Булат.

— Точно!

— А мы урок не прохлопаем? — спохватывается механик, бросает взгляд на часы и, переключив диапазон, лихорадочно шарит по эфиру, пока в динамике не на-

чинает звучать английская речь. Слышимость отличная, будто совсем рядом. Прилежные ученики старательно повторяют фразу за фразой, спотыкаясь на труднопроизносимых словах, с грехом пополам переводят упражнения и радуются, когда диктор-педагог минутой позже произносит по-русски то же самое, что получилось и у них. Ошибки — а их больше, чем надо,— не очень-то огорчают. Даже смешно.

Урок окончен.

Отвлеклись, и вроде бы усталости меньше, и машина бежит порезвее и не так трясет.

Булат роется в сумке, достает журнал.

— У нас еще кроссворд не весь разгадан.

— Давай.

— Та-ак... Гейзер, Зорге, Дюбуа, Йог, Конфуций, Алмаст, Уланова, Гамбит, Гавана... Счет пять четыре в твою пользу. Поехали дальше. По вертикали. Три буквы. Новый технический метод. Знаешь?

— Конечно.

— Что?

— ПТМ.

— Какой ПТМ?

— Передвижная техническая мастерская! — хохочет Роза.

— Хоть тут и другое слово, за находчивость — еще очко. Восемь букв. Первая — О, третья — Н...

— Оюна! — выпаливает Роза.

— Подожди ты! — притворно сердится Булат.— Я же сказал: восемь букв! Художественное украшение, узор. Не знаешь? То-то. Все бы тебе смеяться. Ор-намент. Поняла? Шесть — пять.

Приходит к концу и кроссворд. Три слова остались неразгаданными. Вперед на два очка вырвался Булат. Он высовывается по пояс из кабины, смотрит вдаль.

— Заждались нашу мастерскую в бригаде...

— Не знаю как мастерскую, а уж тебя точно заждались,— с подковыркой говорит Роза.

— Как и тебя,— не остается в долгу Булат.

Пошутили, поехидничали, понасмешничали, да и всерьез разговорились, не утерпели, поделились сердечными своими тайнами. Да и какие тайны? Все друг о друге, оказалось, знают...

Обоих охватило нетерпение — скорей бы доехать. И, как назло, справа от дороги — прочно увязший в грязи

грузовик с покрытым брезентом кузовом. С зерном. Машина засела так, что и колес не видать. Вокруг накиданы камни, палки, жерди.

Хлюпая в вязкой жиже, едва не черпая голенищами грязь, Булат подошел к грузовику.

— Эй! Кто есть живой? Куда подевались, хозяева?

Роза показала рукой на чернеющий вдали домик.

— Наверно, у дяди Долсорона. До него не проехать — овраг.

— Ладно. Придут так придут. Давай-ка попробуем вытащить машину.— Он лезет в кабину грузовика, заводит двигатель.

Задние колеса выбрасывают два веера брызг и, конечно, крутятся вхолостую.

— Давай ее на буксир! — кричит Роза.

— Подожди.— Булат переключает скорости, прибавляет газ.— Черти! Совсем не тянет мотор. Как только ездят... Сейчас дернем.

Он цепляет трос к застрявшей машине. «Летучка» натужно ревет, гудит, фыркает. Роза приоткрыла дверцу кабины, наклонилась поглядеть — буксует! Вырулила на траву, снова попыталась тянуть — ни с места! Сама чуть не завязла.

Девушка вылезла из кабины, расправила затекшую спину.

— Засядем...

Булат помотал головой:

— Еще разок. Говорят, надо всю силу коня испытать.

И снова заныла, застонала от перегрузки «летучка». То влево, то вправо бросала Роза машину, и все без толку. Удалось ей лишь вылезти на относительно сухое и ровное место. Потянула оттуда.

— Ничего не получается! — отчаялась девушка.

Вдвоем набросали под колеса грузовика все, что смогли подобрать. Опять дернули. Неудача. Как в басне: нос вытащишь — хвост увязнет...

Роза крепко сжала губы, нахмурилась, чуть не плачет. «Не выйдет из меня настоящего шофера!» — в отчаянии шепчет она про себя.

И в тот самый момент, когда она уже окончательно решила сдаться, почувствовала: засевшая машина стронулась с места. Стронулась! Не поверила, выглянула: ползет!.. Вот тут-то от радости она едва не загнала в грязь «летучку» по самые крылья, не успела вывернуть.

Сдавала назад, рывком бросала машину в сторону, сжимала руль так крепко, будто от этого зависело что-нибудь, будто сама тянула трос.

Обе машины были на ходу, когда прибежали хозяева грузовика — заведующий током, весовщик и шофер. С одежды их стекала вода, лица у них раскраснелись — кажется, успели хватануть... Весело загалдели:

— Здорово. Легки на помине, добрые люди.

— Понимаешь, что-то забарахлило, не смог сам вытащить...

Как ни сердит был Булат на них за то, что бросили машину, а виду не подал. Спросил только:

— Что случилось?

Вот всегда он такой, Булат. Роза не вытерпела:

— Три здоровых мужика сами не могли справиться! Привыкли на дядю надеяться. Поехали, Булат!

— Да вы что? — всполошился завтоком.

— Подожди,— утихомирил девушку механик.— Не шуми.

— Нам что,— беспечно бросил шофер, вихрастый парень с руками, словно шарнирами прикрепленными к плечам.— Мы и отдохнуть можем. Нам еще лучше...

А весовщик пригрозил:

— Доложим бригадиру.

Булат открыл капот, стал копаться в моторе. Внимательно вслушивался в неровную, с перебоями работу двигателя. Всего несколько дней назад, когда делал профилактический осмотр этой машины, наказывал водителю, чтобы тот не забывал о технических уходах, регулировках, смазках. Похоже, что этот парень на шарнирах все слова его пропустил мимо ушей, что для него безразлично, как служит ему машина, не заботится он о ней, не бережет. Грузовичок мог бы еще ходить да ходить, а с таким горе-хозяином вот-вот перейдет на полную инвалидность. Булат с силой захлопнул капот.

— Своим ходом не пойдет.

Заведующий током и весовщик стали уговаривать его. Шофер помалкивал.

— Вся работа станет,— доказывал завтоком.

— Ничего не знаю,— Булат говорил жестко, непривычно жестко.— Машину надо немедленно ставить на капитальный ремонт.

— Что ты говоришь! — раскипятился завтоком.— Разве можно в такую горячую пору останавливать ма-

шину? Даже на один час мы без нее остаться не можем.

— На току почти четыреста центнеров зерна,— подхватил весовщик.— Оно греется. Кто будет отвечать, если попортится?

— За зерно вы будете отвечать. А за машину,— Булат кивнул на шофера,— с него спросят. Угробил ведь. Ее еще можно заставить поработать. После ремонта. А в таком состоянии и на пару рейсов не хватит, зато уж тогда только списать останется...

Заступничество спутников приободрило шофера. Он, словно на нем и вины не было, напустился на механика:

— А «летучка» у нас для чего? Вот и чини. Еще в мастерскую! Сейчас как на фронте: некогда красоту наводить, зерно возить надо.

— Эх ты! Еще шофером называешься,— задохнулся Булат.— Я все сказал.

Он вынул ключ зажигания, сунул в карман, пошел к «летучке».

— Поехали.

— Ты работу зернотока срываешь.

— Много на себя берешь!

— Мы этого так не оставим,— наперебой заговорили все трое, но, чувствовалось, уверенности у них не было.

Роза включила скорость. «Летучка» тронулась.

— Будете знать, как машину беречь! — крикнула она.

И опять ухабы. Бросает «летучку» из стороны в сторону, кренит на выбитой, разъезженной дороге, залитой грязью.

Вот и Улзытуйская ферма. Несколько собак выскочили навстречу, погнались за машиной, но, изойдя лаем, отстали. Из крайнего дома кто-то вышел и зашагал навстречу, размахивая руками. Подъехали — Дондок! Все в том же женском плаще, с опухшим лицом.

— Дондок, мэндэ! — притормозила Роза.— Ты откуда?

Шлепает по лужам, не разбирая дороги, Дондок, скалит металлические свои зубы, весело орет:

— В Борзе в карты играл, в Ононе в очко гонял, в Дульдурге дурака валял...

— Серьезным делом занимался,— смеется Булат.

— О, не говори! Много мест, где еще надо побывать. Не успеваю. Повезло с вами встретиться. Теперь успею. Берите меня в компанию,— вскакивает Дондок на подножку.

— Еще неизвестно, по пути ли нам с тобой. Ты куда направляешься? — спрашивает Роза.

— В одно место заскочить надо, а потом в Агинский дацан. Вы не думайте, что на молебен. По торговым делам...

— Не выйдет. Вот если бы к Балмацу,— взяли бы с собой.

— Мне сейчас не до жены.

— Она тебя ждет. Балмацу теперь очень хорошо работает.

— Ну и пусть работает,— огрызается Дондок.— Мне-то какое дело.

— Ты бы все-таки вернулся,— советует Булат.

Дондок ухмыляется:

— Мне не к спеху. Я запаха навоза не переношу. Палец о палец теперь не ударю на черной работе. Я для себя дело нашел. По способностям... А когда у вас коммуна будет, шлите телеграмму. Подумаю.

Булат рассердился.

— С тобой бесполезно разговаривать. Ну, мы поехали. Не можем тебя, Дондок, с собой взять.

— Хоть до фермы довезите.

Роза тронула с места.

— Наша мастерская — не такси. Слазь с подножки. Еще под колеса свалишься.

— Друзья, подвезите,— просит Дондок.— Я за что-нибудь ухвачусь. Хоть немножко подбросьте...

— Слазь! — Роза прибавила скорость. Дондок спрыгнул и некоторое время бежал за машиной, но, конечно, отстал.

— Неисправимый он человек,— вздохнула Роза.

— Жизнь исправит,— изрек Булат.

— Посмотрим...

Дорога все хуже и хуже. Глубже колея, больше воды в ней. Едва ползет «летучка». То и дело приходится останавливаться, ногами проверять путь, осторожно отвоевывать у грязи еще десяток метров. У Розы затекли руки, но она не хочет признаться, что смертельно устала. И все-таки не выдерживает:

— Может, объедем,— нерешительно произносит она.

Булату жаль ее, но кто знает, может, объезд нисколько не лучше. А руля она все равно не отдаст...

— Давай, давай потихоньку... Вправо! Теперь чуть левей! Прямо... Эту лужу с ходу проскочим. Жми!..

Машина едет под уклон. Раскачиваясь, словно лодка, плывет «летучка» по большущей луже, гонит впереди себя волны, выбрасывает из-под колес фонтаны воды...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

В старину здешний люд предпочитал на любой вопрос отвечать — «не знаю». Даже пословица существовала: «Нет ничего мудрее слова «не знаю». А знать всем хотелось, да еще как хотелось. Почти каждый старался, чтобы его сыновья были грамотны, отдавали мальчишек на учение к ламам в монастыри-дацаны. Только чему могли научить монахи? Молитвам...

А первые школы появились только при Советской власти. И те, кому уже поздно было садиться за парту, наказывали детям — и мальчишкам, и девчонкам: «Старайтесь, учитесь и за нас!» Девчонкам, правда, не сразу, не скоро стали так говорить.

Сначала в хошунных школах зубрили старомонгольскую азбуку: «а, ба, ха...». После появились книги с латинским шрифтом. Наконец перешли на русский алфавит.

Хангильская школа — одна из старых. Длинный дом в центре села сверкает вымытыми стеклами двух десятков окон. После войны стараниями депутата Дагбаина появился при школе интернат, открылась столовая. С переходом к политехнизации построили мастерские. Нынче заложили фундамент под новую типовую десятилетку с просторными классами, помещениями для лабораторий и кружков, спортивным залом. При школе будут метеоплощадка, стадион, сад.

Много учителей было в Хангиле. Помнят их всех, начиная с Дугара Галсанова, который чуть не полсела научил расписываться. У Цыбен-Доржи Батомункина еще больше было учеников. При нем приехала в Хангил молоденькая учительница начальных классов Лида Демидова.

Давно уже преподает Лидия Васильевна русский язык и литературу в средней школе, давно стала отличником просвещения, давно зовут ее уважительно Лидия-багши, а у нее и теперь перед глазами самый первый урок. За низенькими желтыми партами двадцать семь черноголовых ребятишек. У всех тряпочные сумки для

книжек и тетрадок. Таращат на нее узкие глазенки, слушают ее рассказ о дальних странах, хором считают, старательно выводят буквы... Взрослыми стали те ребятишки. Их дети сидят за партами Хангильской школы. Начнет перебирать Лидия Васильевна в памяти, кто же у нее учился,— со счета собьется. Кого ни возьми, чуть не каждый ее ученик. И чабаны, и полеводы, и доярки, и механизаторы. Кое-кто на разных должностях в аймаке. Один композитором стал, другой — инженером, третий — кандидатом филологических наук... Нынче за парты в Хангиле садятся больше трехсот учеников. Кем они станут?

Рано вышла сегодня из дома Лидия Васильевна. День такой — первое сентября. Разве усидишь? Надела на себя все лучшее. Лицо сияет.

Вот и еще кто-то чуть свет спешит в школу. В ученической форме. Ранец за плечами. Батюшки! Ким Сыденов уже учиться пошел!

— Мэндэ, тетя Лида!

— Здравствуй, Ким. Как ты вырос! В школу идешь?

— Ага... А ваш Бабжа пойдет в школу?

— Он еще маленький.

— А мне уже семь.

— И ты, наверно, все буквы знаешь?

— Некоторые знаю,— уклончиво отвечает мальчонка и гордо растопыривает маленькие пятерни.— Я до десяти считать умею!

Пальцы у Кима в чернилах.

— Где это ты успел измазаться? — удивляется Лидия Васильевна.— Тебе еще рано писать чернилами. Сначала научись карандашом.

— У меня много карандашей! — Ким тянет с плеча ранец.

— Верю, верю. Ты сумку не открывай. Беги-ка сейчас в интернат к ребятам и вымой там руки. С мылом!

— Хорошо.

И помчался вприпрыжку. А Лидию Васильевну окружила куча ребятишек постарше. Перебивают друг друга, торопятся все свои новости выложить.

— Лида!

Шойдок догнал. Лицо помятое, голос хриплый.

— Лида, я тебя ищу. Куда ты уходишь, когда человек спит...

Лидия Васильевна подождала, пока не отойдут подальше ученики.

— Разве я могла догадаться, когда ты изволишь встать.

— Я совсем забыл, что ты не только парторг, а еще и учительница,— пытается неловко пошутить Шойдок.— Может, и меня учить будешь?

— Тебя учить — бесполезное дело.

— И то верно. Таких, как я, поздно уж мудрыми делать. Ты лучше молодежь учи — Булата Сыденова, Розу Кузнецову, Дугаржаба. С нами не мучайся.

— Опять тебе ребята не угодили? — колко взглянула на мужа Лидия Васильевна.

— Ты всегда их защищаешь. Чем только они твое сердце покорили?

— Не болтай глупости, Шойдок! — Лидия Васильевна направилась к школе.

Цынгуев снова нагнал ее, изобразил на лице улыбку.

— Ну, Лида, я немножко не так сказал... Что же ты, шутки не понимаешь? Я совсем не о них хотел с тобой поговорить. У меня совсем другое дело. Ты куда деньги дела? Я все перерыл...

— Зачем тебе деньги понадобились?

— Как зачем? Надо начало учебного года обмыть...

— Еще что придумаешь?

Шойдок, шагая рядом, не унимается:

— К школьным делам моя жена причастна, почему бы мне не радоваться в такой день?

— Перестань! — прибавила шаг Демидова.

— Дай хоть три рубля! — протянул руку Шойдок, да так и остался стоять, потому что Лидия Васильевна, не оборачиваясь, миновала забор, вдоль которого они шли, и остановилась у самого входа в школу, где было много народу. Продолжать рядиться с нею на людях Шойдок не рискнул. Досадливо плюнув, он поплелся назад.

Возле школы вдоль забора наставлены телеги, автомашины — отовсюду привезли детей, из всех бригад, со всех стоянок. На одной подводе доставила школьников из южной степи Балмацу. Лидия Васильевна увидела ее, приветливо помахала рукой.

— Здравствуй! — подошла к ней.

— Здравствуйте, Лида-багши! — Балмацу покраснела и поспешно стала застегивать пуговицы тэрлика, заметно обтянувшего ее живот.

— Что нового в ваших южных степях? — будто и не заметила ее стыдливого жеста Лидия Васильевна.

— Вроде ничего нет. Бригадир, однако, рассказывает о наших делах...

— Мне от вас интересно услышать.

— Ну, овец кончили купать. Отара поправилась.

— Это хорошо. Как люди поживают?

Балмацу уселась на телегу — так, ей казалось, меньше будет бросаться в глаза располневшая фигура.

— Что с людьми случится? Сегодня загоны к зиме готовят. Все заняты. Мне велели детей в школу отвезти. Почему, Лида-багши, не всех в интернат берут? Бабушка Бадмы жаловалась, третий год внука не взяли. Разве в интернат по «блату» устраивают? Я как раз вам про это хотела сказать. Чуть не забыла.

— Я поговорю с директором.

Немного помедлив и глядя в упор на Балмацу, Лидия Васильевна спросила:

— Ну, а сама-то как?

— Да вроде ничего...

— Для нас, для женщин, самое большое счастье — дети. Вот и у тебя радость будет.

Балмацу стыдливо опустила глаза.

— Я уже в годах... И вдруг...

— Это хорошо! Нечего тебе стесняться. Надо гордиться материнством.

— Гордиться-то вроде нечем. Живу не то замужем, не то... Сплетничают, шепчутся...

— Меньше думай об этом. И на сплетни не обращай внимания. Тебе сейчас вредно волноваться.

Лидия Васильевна глянула на часы, убедилась, что время еще позволяет, села на телегу рядом с Балмацу, обняла ее.

Балмацу выпустила густую струю дыма, прокашлялась, будто что-то мешало ей говорить, робко спросила:

— Лида-багши, вам что есть хотелось, когда вы ребенка ждали?

— На кислое тянуло. На кислое! Только и пила арсу. Мать варить не успевала. А вообще-то у каждой по-своему...

— Мне тоже... кислое,— хотела еще что-то сказать, да замялась.

— Ты врачу показывалась? Обязательно сходи к Дусе.

— Спасибо вам, Лида-багши. Да будут ваши слова юролом. Поговорила с вами, на душе легче стало. Спа-

сибо. У меня еще кое-какие дела есть.— Она спрыгнула с телеги.— До свидания.

— Захаживай к нам.

Откуда-то вывернулся Ким. Подбежал к Лидии Васильевне, протянул ладошки.

— Вымыл!

— Молодец,— похвалила учительница.— Ваши дома?

— Нет. Брат на работе. А мама утром в Агинский дацан уехала. Обещала мне тоже потом дацан показать.

— В дацан? — удивилась Лидия Васильевна.

В этот миг заливисто зазвенел школьный звонок.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Клубится в воздухе, не оседая, пыль над дорогой, ведущей к западу от аймачного центра, стелется серой тучей. Снуют в этой пыльной завесе машины — с цементом и молоком, сеном и лесом. Спешат рейсовые автобусы. Едут по своим делам разные люди.

Затесались в хлопотливый поток и машины-бездельницы. Движутся они, так же торопливо, по необычному маршруту — в дацан, в буддийский храм. Везут верующих, везут страждущих замолить истинные и мнимые грехи, везут тех, кто надеется на вечную жизнь...

Мчится на полной скорости широкозадый «додж», каким-то чудом сохранивший резвость, но утративший давным-давно свой первоначальный вид — весь латаный-перелатаный, жестко прыгает на ухабах. Слышатся из его крытого драным брезентом кузова кряхтенье и стоны пассажиров, судя по голосам, людей далеко не первой молодости, испуганные восклицания:

— Зачем очертя голову мчать? Остановите! Я лучше пешком пойду.

— Куда торопиться, давайте помедленнее. Еще несчастье какое случится.

Наигранно бодро водитель успокаивает взволнованных:

— Потерпите еще немножко. Не беспокойтесь, доедем безо всяких происшествий.

— Если и не в дацан, так в царство бурхана обязательно попадем, а повезет — прямо в рай. Давай газуй! — подбадривает шофера знакомый голос.

За рулем «доджа» служащий аймачного потребсоюза Абармитов. Он частенько промышляет левыми рейсами в дацан — верный приработок!

Пассажиры-паломники подобрались один к одному. Старик в парчовой шапке, в бурятской шубе-дэгэле с тремя рядами полос на отворотах, в новеньких унтах. Он еще крепок, старик, хоть и стонет да причитает громче всех от тряски и лихих разворотов машины. И верующим его можно считать условно, потому что ездит он в дацан не чаще раза в год, на всякий случай — а вдруг пригодится на том свете...

По соседству с ним бабка Содномиха, давно уже посвященная в сан шабгансы, с желтой иконкой-талисманом на груди, с узловатым посохом. Эта не пропускает ни одного молебна и убеждена, что все ее благополучие — здоровье многочисленных детей и внуков, крепкое хозяйство, относительно неплохое самочувствие при довольно преклонном возрасте,— только результат ее усердных молитв. А вот сидящая за ней тетушка Ханда со старинным тяжелым украшением — туйбой — на голове, с массивными серебряными серьгами в ушах, в тэрликехалате со множеством оборок направляется в храм совсем по иной причине: любит она бывать там, где собирается много народу, где можно увидеть старых знакомых.

И Бальжима-абгай тут же. Маленькая, сухонькая, незаметная, хоть и одетая не хуже других — в шубе с меховой подкладкой до пояса, кожаных унтах, повязанная пестро-красным платком. Плохо Бальжима переносит машину, угорает в ней, вот и сжалась вся в комочек, сидит, чуть дыша. Когда ей было лет двадцать, боевая комсомолка Бальжима стороной обходила дацан, на смех поднимала всех верующих. Много горького было в ее судьбе — убили отца бандиты, не вернулся с фронта муж, никудышным стало здоровье. Ничто не наводило ее на мысль о боге. А вот отдал Булат весь скот в колхоз, и что-то затосковала Бальжима-абгай, стала подумывать, не наказание ли ей это за прошлые прегрешения. Надумала съездить на молебен, задобрить судьбу.

Именно в эту машину угораздило попасть и Дондока, чей лихой голос взбадривал Абармитова — «давай газуй!». Прищурив и без того узкие глаза, он держит в пухлых губах толстую в палец сигару. Счастье все-таки улыбнулось ему: крупно выиграл и совершенно преоб-

разился. Все на нем сверкает — и кожаная черная шапка, и новенькое кожаное пальто, и хромовые сапоги.

Дондок — не случайный попутчик. Он держит путь в дацан, хотя отродясь ни одного слова молитвы не слышал и не произносил, ни в бога, ни в черта не верит, никаких грехов за собой не признает и каяться в них не собирается. У него в храме особое дело. Партнеры-картежники, ловкие люди взяли его в долю в выгоднейшем предприятии. Раскопали в какой-то старой книге любопытный снимок и сделали целую кипу фотокопий. На снимке изображен моложавый Далай-лама в полном парадном облачении. Дондок надеется с немалой выгодой распродать эти карточки верующим и уже заранее подсчитывает барыш. Воспользовавшись тем, что дорога стала ровнее и не так трясет, он извлекает из-за пазухи одну фотокопию и показывает спутникам. Карточка пошла по рукам. Богомольцы, никогда не видевшие божественного Далай-ламу, изумлены и восхищены...

Тем временем «додж» достиг заветной цели. Абармитов заложил последний крутой вираж, отчего старички в кузове попадали друг на друга, причитая и охая.

— Приехали!

Дацан имеет непонятное для простых смертных название — «Даша лхумбулинг». Честно признаться, тайного смысла в этих словах не знаем и мы. Полтора столетия назад золотом заблистал купол-ганжар над храмом. В ту пору только дацаны и были украшением степей. Построенные добротно, прочно, на века. Возвышались они над приземистыми юртами, единственные сооружения из дерева, кирпича и камня, возведенные искусными мастерами, обильно украшенные бронзой, серебром и золотом во славу Будды, вызывая почтительный трепет и восхищение у всех смертных.

Поубавилось с годами храмов в степях, да и те, что остались, пришли в упадок. Многие деревянные строения сменили адрес — перекочевали на колхозные и совхозные усадьбы. Обветшали и каменные дома, облетела с них позолота, поблекли краски на фигурных карнизах.

Усилиями прихожан дацан, возле которого остановился «додж» аймачного потребсоюза, ремонтируется, подновляется. Заново покрыта железом крыша, стены побелены известью, ставни покрашены.

Перед храмом из разверстой пасти чугунного дракона-курильницы струится аромат благовонной травы

санзай. Рядами стоят молитвенные колеса-хурдэ всех размеров и калибров. Повернешь один раз колесо — тысячу молитв Будде вознес, часть грехов с себя снял, а если безгрешен — авансом благодеяние сделал. Тут же громоздкие ступы-субурганы, испещренные надписями.

Каменное крыльцо дацана истерто и отполировано за долгие годы тысячами ног молящихся. Внутри храм украшен цветными шелковыми лентами, картинами с изображением царства божия и родины Будды, портретами настоятелей дацана, многочисленными ликами богов-бурханов. Драгоценными камнями, золотом и кораллами отделаны массивные белые раковины — ритуальные духовые инструменты лам. За ними возвышаются серебряные кубки-сугсэ. Наверху тускло светят электрические лампочки, а на подставках — масляные светильники в бронзовых чашечках, мерцает вечный огонь, освещающий прошлое, настоящее и будущее. В зыбком, колеблющемся пламени сотни святых и бурханов кажутся живыми. Все они на первый взгляд выглядят одинаково, а присмотришься — каких только нет! И улыбающиеся, и свирепые, и лукавые, и насмешливые, и печальные, и злорадные, и мечтательно-сосредоточенные, и непроницаемо-мудрые. Многоглавые, многорукие... И каждый может указать путь в неведомое.

В ожидании начала молебна-хурала богомольцы столпились у входа в храм возле Дондока, бойко торгующего своим святым товаром.

— О-о! Кто же это? Какое знакомое лицо! Уж не божественный ли это Далай-лама?

— Совершенно верно! Это Далай-лама Жэбзэн-Дамба-Лубсан-Доржи... Черт побери, запутался в его семидесяти именах! Недавно я гостил у него,— причмокивает от удовольствия Дондок, скаля стальные зубы,— и получил в подарок эту карточку.

— Ты не болтай, что на язык подвернется,— осаживает его старый бурят.— Это не такая вещь, чтобы ее где и как попало таскать. Такой снимок надо хранить в подобающем месте. Давай!

— Нет уж! Как я могу расстаться с такой драгоценностью. Пусть мне лучше голову оторвут,— вырывает карточку Дондок.

— Мне твоей головы даром не надо. На вот, держи рубль.

— Кто больше даст? Это же не просто человек — живой бог! Меньше, чем на пол-литра, не возьму.

— На... сколько тут? Я в деньгах не разбираюсь. Сдачи не надо,— протягивает новенький червонец шабганса Содномиха.

— Вот это другое дело! Вообще грех, конечно, торговаться из-за Далай-ламы. Берите, пока у меня еще есть.

— Давай сюда. Пятерки хватит? На.

— Кому еще? Берите себе, родным, соседям...— развернув веером, словно игральные карты, фотографии, Дондок прохаживается среди богомольцев.

Затрубили дацанские трубы, и народ повалил в храм.

Здешние ламы — их больше десятка — верные ученики и последователи бурхана. Большинство из них в старину имело низшие духовные звания хувраков, габжа и гэбшэ. В вихре времен и событий, доселе невиданных, в силу различных превратностей судьбы вынуждены они были оставить свои священные книги, а под старость лет снова собрались под крышею храма — дряхлые, доживающие свой век служители Будды.

За двумя рядами низких столов, расставленных на некотором расстоянии друг против друга, сидят они, поджав под себя ноги, одетые в ярко-красные орхимжо-накидки, держат в руках молитвенные книги, колокольчики, барабанчики-дамари, литавры, колотушки от больших барабанов-хэнгэрэг. Одни, словно внезапно помолодев, громкими голосами, нараспев читают молитвы, другие однотонно и невнятно бубнят их про себя, третьи просто кивают в такт головами. Никто все равно не понимает ни слова их песнопений на древнем тангутском языке. Кажется даже, что они тысячекратно повторяют одно и то же, одно и то же...

Застыли в почтительном внимании прихожане — бритоголовые старики, старухи, больные, калеки. Все без головных уборов. Держат иконки, перебирают четки. Иногда, вздевая к небесам иссохшие, словно кривые сучья, руки, шевелят беззубыми ртами, что-то шепчут. А то вдруг, будто желая помочь ламам, вторя им, начинают громко бормотать молитву. Неожиданно, точно под сильным порывом ветра, низко склоняются, распластываются на полу в «ползучей» молитве. Трудно им. Немощны тела их, хрупки кости. Но откуда-то берутся силы бить поклоны, стоять недвижимо...

Не все вместились в храм, многие остались на улице, ждут своей очереди. Впрочем, и они не теряют времени даром — движутся гуськом по солнцу вокруг дацана, крутят хурдэ — колеса с начертанными на их ребрах словами молитв, запасаются на всякий случай впрок отпущениями грехов.

Дондок тут как тут. Он уже неплохо поторговал, надеется еще подзаработать и потому в прекрасном настроении.

— Мэндэ, верующие! — кричит он.— Ом-ма-ни-пад-ми-хум!

— Мэндэ! — здороваются с ним, недоверчиво оглядывая его с головы до ног.— Это ты ли, Дондок?

— Что вы на меня так уставились? Я — собственной персоной,— небрежно отвечает Дондок.

— Да про тебя говорили, что ты летом нагишом ходил. Потом вроде в женской одежде тебя видели...

— Значит, наконец-то обрел я свое истинное лицо,— сияет он.— Нет больше Голого Дондока! Зовите меня теперь Шевровый Дондок!

— Это можно. Значит, образумился? Совсем другой вид у тебя. Молодец. И одет хорошо, и в дацан приехал.

— Такую одежду я получил из рук самого Высокорожденного,— скалится в железнозубой ухмылке Дондок.— Далай-лама благословил меня и сказал: «Пусть все отныне зовут тебя Шевровый Дондок!»

— Ничего не скажешь, ловок ты! И оделся шикарно. Ни у кого такой одежды нет,— ехидно замечает известный всем приземистый толстяк по прозвищу Гундосый Намсарай, дацанский шофер.

Появление Намсарая, похоже, не очень по душе Дондоку. Он не остается в долгу:

— Вы тоже, кажется, неплохо выглядите. Конечно... Имея некоторое касательство к дарам-подношениям верующих граждан... Слышал я, вы и от настоятеля получаете подарки.

— Ну, какое там! Я свой хлеб зарабатываю в поте лица. Я же в карты не играю,— гундосит Намсарай.

На лице Дондока разлито благочестие.

— Я решил навсегда бросить неправедные дела. Хочу замолить все черные земные грехи...

— Подумать только! — закатывает глаза Намсарай.— Скажи лучше, профессию переменил. Торговлей, значит, занялся? Денежки у людей выманиваешь?

— Бр-р-ось! — взбычился Дондок.— Ты не клевещи, не оскорбляй чувства верующих!

Шофер придвинулся поближе, гундосит в самое ухо:

— Ты же делаешь спекуляцию. Знаешь, что за это полагается?

Дондок с великим удовольствием влепил бы Намсараю добрую затрещину, но, сознавая, что ему не осилить крепкого толстяка, спешит избавиться от него и отойти подальше.

— Не нам с тобой говорить о законе,— смиренно произносит он.

— Постой, постой! — тянет его за рукав Намсарай.— Ты куда торопишься? Мы же с тобой старые друзья. Неужели мы не поймем друг друга по-хорошему? — и подмигивает.

— Конечно! Ну, я слушаю. Чего тебе надо?

— Совсем немного. То, что у тебя в кармане,— пополам. А если нет...

— Тогда что?

— Если нет, то по-другому поговорим...

— Я тебя все равно не боюсь!

— Побоишься. Сейчас найду управу. Здесь полно дружинников.

Шофер вцепился в Дондока, но тот выпутывался и не из таких положений. Быстро выхватив из-за пазухи пачку фотографий, Дондок швырнул их перед собой. Богомольцы, увидев, как сыплются на землю драгоценные изображения Далай-ламы, ринулись подбирать их. В этой суматохе Дондок и улизнул. Он прошел мимо приземистых домиков дацанского подворья, мимо высоких сараев, обогнул забор и вынырнул прямо возле зеленого навеса автобусной остановки, столкнувшись носом к носу с Бальжимой-абгай.

— Доо,— обрадовалась землячка возможности поделиться впечатлениями.— Очень интересно в дацане! Действительно, может притянуть сердца и души людей. Любой человек может стать верующим.

— Верно. Я тоже буду теперь молиться богу-бурхану. Ни одного молебна не пропущу.

— Я все свои дела исполнила. Можно было бы еще остаться, да домой надо...

— И я свой план на сто с лишним процентов перекрыл. За один час заработал столько, сколько за месяц черным потом не добудешь. Ничего, а?

Старуха не без зависти вздыхает.

— Ты, Дондок, благое дело сделал, нужное людям, доброе... Самого Далай-ламу в дацан принес!

— Еще принесу! Говорят, еще Панчен-эртни есть... Надо будет узнать всех высокорожденных. Много можно такого добра сделать.

Бальжима-абгай не слышит насмешки. Она вся под впечатлением увиденного на молебне.

— Доо... Я молилась, чтобы нынешний год змеи не принес никаких бедствий...

Дондоку неинтересно слушать старуху. Он перебивает ее:

— Да-да, вы сделали очень нужное и полезное для общества дело. Но вам надо было бы и о себе позаботиться. Я слышал, ваша семья от скота избавилась?

— Я и об этом молилась,— простодушно признается Бальжима.

— И правильно сделали. Теперь мы с вами совсем одинаковые — ни у вас, ни у меня нет скота.

— Ты что, смеешься надо мной?

— Да нет. Зачем же мне смеяться? Мы же с вами люди, которые совершают только угодное богам...

Первый в жизни молебен наполнил старушку каким-то благостным чувством. Ей хочется сделать что-нибудь хорошее, доброе. Например, наставить на путь истины стоящего рядом Дондока.

— Ты почему бродяжничаешь, Дондок? Почему о своем доме не думаешь? Твоя Балмацу скоро принесет тебе ребенка...

— Что? Балмацу рожать будет? С чего это моя жена беременная? — вспыхивает Дондок.

— Кому, как не тебе, знать,— мрачнеет Бальжима.— Что ты за человек!

— Каждый человек живет, как хочет.

— Доо... Не будь таким злым, Дондок.

Ну зачем только связалась тетушка Бальжима с этим проходимцем? Чтобы отвязаться от нее, он возьми да ляпни:

— Вот вы, Бальжима-абгай, в дацан приехали, помолились. А вы подумали, что за это вашему сыну будет? Ведь Булат — комсорг, депутат...

У Бальжимы даже голову заломило от этих слов.

— Ты, Дондок, только худое говорить можешь,— за-

дохнулась она.— Не зря говорят: от дерева — сажа, от зла — только зло.

— Вот и хорошо, что вы это поняли.

— Гражданин Бабуев Дондок! — раздался из-за навеса автобусной остановки голос милиционера Шоёнова, и тут же милиционер предстал во всем своем официальном величии.— Подойдите-ка сюда.

— Здравствуйте, товарищ старшина! — залебезил Дондок.— Зачем это я вам понадобился!

— Давайте без лишних слов! Пройдемте со мной!

— Не могу... Никак не могу, товарищ старшина. Я вот привез из Хангила на молебен эту больную старушку и обязан доставить ее обратно. Сыну обещал. Правда ведь, Бальжима-абгай?

Бальжима и не подумала заступаться за него — слишком уж обидные слова он сказал.

— Ты правдами-неправдами в недобрые дела меня не втягивай!

Шоёнов переступил с ноги на ногу.

— Ну, гражданин Бабуев, долго я буду ждать?

— Может, столкуемся? — выразительно щелкает пальцами Дондок, преданно глядя в глаза блюстителю порядка.

Старшина суров и непреклонен.

— Пройдемте!

— Шея что-то раззуделась, чует жердь листвяную...— беззаботно запевает Дондок и лениво направляется следом за милиционером.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

— Суровая нынче погода... Какие дожди были — всю землю залило, живого места не оставалось. Куда вода девалась? Черно от пыли кругом! — будто с самим собой говорит-рассуждает Цырен Догдомович, держа баранку руля и посасывая пустую серебряную трубочку.

Небо пасмурно. Но сияй на нем солнце, его бы не разглядеть. Все вокруг заволокло сизо-черной непроницаемой и не имеющей ни конца, ни края степной пылью. Лезет пыль в глаза и уши, набивается в нос, противно хрустит на зубах. Еле-еле можно разглядеть в двух-трех шагах зажженные среди бела дня фары машин. В поднятой над землей неистовым ветром пыли — сотни и тысячи

тонн самого плодородного слоя почвы. Кажется, будто идет фантастический сухой и черный дождь...

Догдомэ со злостью сплевывает черную от пыли слюну, чертыхается.

— Что вы сказали, Цырен Догдомович? — спрашивает, не разобрав, Дугаржаб, сидящий рядом с председателем.

— Я говорю, чтоб они пропали, эти чертовы пыльные бури! Но мы их все равно уничтожим!

Дугаржаб недоверчиво косится на него.

— Разве можно уничтожить ветер?

— Не до сказок! — Догдомэ сунул трубку в карман.— Ты понимаешь, что происходит? Черные бури могут погубить все наши земли...

Он свернул на распаханное паровое поле, остановил машину, вышел из нее, сильно хлопнул дверцей кабины, присел на корточки.

— Какая почва была! И все сдуло... Смотри.

Прихрамывая, подошел Дугаржаб, взял в горсть сухую, рассыпающуюся в прах землю.

— Знаешь, как это называется? — поднял на него глаза Догдомэ.

— Нет...

— Эрозия. Тяжелая болезнь... Ранит, разрушает она поля оврагами. Ветер уносит верхний слой. Остаются только песок, глина, галька... Ты же был в Средней Азии? Видел?

Дугаржаб молча кивает.

— Мы не должны допустить, чтобы и у нас была пустыня.

Председатель поднимается, отряхивает ладони, достает кисет, протягивает Дугаржабу.

— Угощайся.

— Спасибо. Не буду. Я бросил курить.

И опять не с Дугаржабом, словно с самим собой разговаривает, делится горькими мыслями Цырен Догдомович: о том, как бедны почвы их степного края, как тонок плодородный поверхностный слой, как мало в земле питательных веществ... Лет тридцать назад были брошены первые зерна пшеницы на вспаханное у подножия Бухатуя поле. Не верили тогда, что будет здесь расти хлеб. А ведь растет! И может расти. Только поступали не всегда разумно. Год от года об одном думали — как бы побольше распахать, как бы вдвое-втрое увеличить посев-

ную площадь. Под видом целины чуть не все покосы и пастбища под плуг пустили. Ни людей, ни коней, ни машин не стало хватать, чтобы управиться с пашнями. А результат? Урожаи все меньше и меньше. Земля гибнет... Давно проверено: из десяти лет от силы один-два бывают урожайными, два-три — так себе, а в остальные и ждать нечего. И в довершение к этому новая напасть — эрозия, черные бури...

«О чем он говорит?» — удивляется Дугаржаб.

— По-вашему выходит, что у нас вообще нельзя полеводством заниматься? Ликвидировать его совсем надо, что ли? — спрашивает он.

— Почему же. Вовсе не надо ликвидировать. А вот посевные площади надо сократить. Лучшие земли обрабатывать как следует, не жалеть на них ни сил, ни удобрений, ни лучших сортовых семян. Тогда и урожаи будут каждый год высокие.

Дугаржаб никогда не задумывался над этим. Ну, растет и растет хлеб. Вырастет — хорошо, не вырастет — плохо. А почему так получается, ему и в голову не приходило.

— А что с землей, которая от хлеба свободная будет? Так и останется?

— Зачем же ей пропадать? Часть под пропашные культуры пойдет. А главное — больше пустить на сенокосы, луга, выпасы. Мы как-нибудь об этом подробнее поговорим. У меня план есть... Я с тобой о другом хотел. Важный один вопрос есть.

— О чем?

— Цынгуев плохо работать стал. Не может он больше оставаться бригадиром. Есть мнение заменить его. Как ты смотришь, если тебя на его место поставим?

Дугаржаб удивленно воззрился на председателя: не шутит ли? Поняв, что это серьезно, он наотрез отказался.

— Не-ет. Я для такой ответственной работы не гожусь.

Догдомэ улыбнулся.

— Работа бригадира такая же, как любая другая. Люди в бригадирах ходят. Обыкновенные люди.

— Нет-нет!

— А ты все-таки подумай!

Дугаржабу захотелось остаться одному.

— Цырен Догдомович, я напрямую, пешком пойду.

— Как хочешь. Тогда до свиданья.

«Газик» умчался, мгновенно скрывшись в черной завесе. Дугаржаб, взбудораженный неожиданным предложением, зашагал к бригаде. Он уже твердо решил ни за что не соглашаться, но тут же подумал: критиковать Цынгуева мог, умел, а когда ему самому доверяют его должность — струсил.

Так и шагал, словно меряя степь, терзаясь сомнениями, не зная, как поступить, что делать. Он не заметил, сколько пролетело времени, как далеко он ушел. Не чувствовал все такого же сильного встречного ветра. Только плотнее нахлобучил выцветшую уже зеленую фуражку пограничника, чтобы прикрыть козырьком глаза от песка и пыли. Не слышал, как нагнала его автолавка. Заметил, когда машина поравнялась с ним, а из кабины высунулось мясистое лицо Сельпо Даши.

— Сайн, Дугаржаб!

— Сайн, Даши-ахай. Вы из Хангила? Что там нового?

— Новости есть, конечно. Но мне сейчас не до новостей. Очень важное дело у меня. Нойон сомсовета сказал, что такое важное дело можно доверить только Сельпо Даши...

— Значит, вы теперь стали совсем близким человеком к местным властям? — не без ехидства спрашивает Дугаржаб, но ирония его до продавца не доходит.

— А как же!.. Надо уметь жить! А что ты делаешь в степи?

— С Цыреном Догдомовичем поле смотрели.

Сельпо Даши ухмыльнулся:

— Аграрную политику проводите? Ну, ну... Как бы вам, товарищи, в неприятную историю не попасть...

— А что случилось?

— Мне вообще-то бригадира Шойдока Цынгуевича надо бы,— напускает на себя озабоченность Сельпо Даши.

— По-моему, он в контору уехал.

— Я слышал, вы своему бригадиру перестали подчиняться. Авторитет его подрываете. Самим на руководящие посты захотелось?

Не своими словами говорит продавец, это ясно. И все же Дугаржаб, вспомнив о недавнем разговоре с Догдомэ, почему-то смущается.

— Я в бригадиры не рвусь.

— Вам еще об этом рано думать,— назидательно

произносит Сельпо Даши.— Вы, молодежь, должны сначала научиться себя вести. Некоторые из вас уже показали, на что они способны...

— Да что случилось? — не вытерпел Дугаржаб.— Кто что натворил?

Сельпо Даши хихикнул.

— Можно и сказать. Тот самый механик Сыденов, который шефствует над вашей бригадой, ваш комсорг и, между прочим, депутат сомонного Совета, совершил позорный проступок. Что ты на это скажешь?

— Булат — проступок? Ну, бросьте. Ни за что не поверю!

— Дело, конечно, твое. А мать Булата Сыденова к ламам в дацан молиться ездила. Нойон-председатель говорит, черт бы с ним, мало ли что вытворяют старики и старухи, выжив из ума, пусть себе верят в бога. Но тут, парень, дело похуже. Булат Сыденов сам, на своей машине, возил ее в дацан. Вот что страшно. У начальства и бумага есть, которая все это подтверждает.

— Какая бумага?

— Какая, какая!.. Некогда мне объяснять, какая бумага. Увидишь Булата, срочно направь его к Дансарану Вангановичу.

— Я передам... Но...

Сельпо Даши тронул свою автолавку.

То, что сообщил продавец, ошарашило Дугаржаба не меньше, чем разговор с Догдомэ о бригадирстве. Друг явно попал в беду. Конечно, это клевета. Не мог Булат везти мать в дацан. Он наверняка даже и не знает об этом. Неужели с помощью такой подлой выдумки попытаются свести с ним счеты? Надо увидеть его как можно скорей, предупредить... Но где его встретишь? Дугаржаб сделал крюк, вышел с проселка на основную дорогу, где было больше вероятности случайно встретить «летучку». Он спешил, хотя вероятность столкнуться с автомастерской была слишком ничтожна. Даже если вдруг именно в это время направляется она в цынгуевскую бригаду, то попробуй разгляди ее в этой пылище... Чем больше торопился Дугаржаб, тем больнее было идти, тем тяжелее становился протез, тем сильнее хромал. Он уже едва переставлял ноги — здоровая нога тоже ни с того ни с сего разболелась.

И все же чудеса на свете бывают! Дугаржаб совсем

выбился из сил, когда прямо на него выкатила «летучка» и Роза радостно закричала из кабины:

— Здравствуй!

Она остановила машину, выскочила к нему, и радость на ее лице сменилась выражением озабоченности и тревоги. Должно быть, вид у Дугаржаба был хуже некуда.

— Здравствуй, Роза! — тяжело выдохнул Дугаржаб и, обессиленный, опустился на подножку машины.

— Что с тобой? Куда ты бежал? Разве можно так? — забросала она его вопросами.

— До свадьбы заживет! — улыбнулся запекшимися, черными от пыли губами Дугаржаб.

Роза всплеснула руками:

— Еле сидит, а еще о свадьбе толкует! Ну, говори же!

— Эх, закурить бы... Я тебя послушался, совсем бросил. А сейчас...

— Не городи чепуху. Я очень спешу. Куда тебе надо — доброшу.

— Где Булат?

— В Кункурской бригаде. «Беларусь» чинит. А я в МТМ поехала за запчастями.

— Ясно.

— Тебе ясно, а мне ничего не ясно. Ты можешь по-человечески разговаривать? — обиделась Роза, но виду не подала, потому что Дугаржаб был явно не в своем уме. Вот опять вместо того, чтобы толком объяснить, спрашивает:

— Ты автолавку не встретила?

— Нет.

— Сельпо Даши вас ищет.

— Зачем?

— Говорит, Булат возил Бальжиму-абгай в дацан... Его Гурдармаев вызывает. На этой машине, говорит, на «летучке» возил...

— На «летучке»?.. Надо же! Постой, постой... Мы недавно тетю Бальжиму подвозили до Агинской фермы. Она к доктору ездила. Еще про какие-то лекарства вспоминала...

— Может, бабушка оттуда в дацан махнула?

— Не знаю. Нам она ничего не говорила. Да если бы сказала, разве Булат разрешит?

Дугаржаб опустил голову.

— Я тоже так думаю. Видно, она все-таки была в да-

цане. Вот к этому теперь и придерутся. И вкатят Булату...

— Что они все на него нападают? Я с ним вместе работаю, не дам Булата в обиду! — с жаром произносит девушка.

Дугаржаб ласково — никогда так не смотрел — взглянул на нее.

— Конечно, не дадим. Ты поезжай, Роза. Мы должны предупредить его.

Он встает с подножки, берет в обе широкие, крепкие ладони маленькую руку Розы и очень неохотно отпускает ее.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Колхозными техническими мастерскими горожанина не удивишь, а для бурятских степей еще и сегодня КТМ — что твой завод. Ранними утрами несется над степью звонкий гудок, и гулкое эхо, многократно повторяя, далеко-далеко провожает его.

В солнечный день за добрый десяток километров можно увидеть, как ослепительно сверкают застекленные пролеты цехов мастерских. А в самих цехах, как на настоящих заводах, позванивают мостовые краны, цепко держа на своих крюках автомобильные шасси, тракторные двигатели, ослепительно вспыхивают голубые огни электросварки, пулеметными очередями стреляют пневматические молотки, грохочут станки... Здесь трудятся люди, каких никогда прежде не знали степи,— рабочий класс.

Заведующего мастерскими Сергея Петровича Кузнецова не отличишь от любого станочника. В такой же, как на всех, спецовке. Только из верхнего карманчика замасленной куртки торчат штангенциркуль да толстый красный карандаш. Человек крепкой кости, он выглядит моложе своих лет, должно быть, еще и оттого, что его ясные голубые глаза словно излучают доброту.

— Мэндэ амар! — весело приветствует он входящего в мастерские бригадира Цынгуева.— Какой приятный человек пришел! Давно мы с тобой не видались.

— Мэндэ, тала [1] Сергей!

Лицо у Шойдока Цынгуевича озабоченное. А может,

[1] Тала́ — друг.

это только кажется, может, он всего лишь боится запачкать свое новое пальто с каракулевым воротником.

— Нас на соревнование вызывать не собираешься? — так же весело спрашивает его Сергей Петрович.

— Нет...— хмуро отвечает бригадир, подтверждая тем самым, что дело вовсе не в его новом пальто.— Мы своим соревнованием по горло сыты. Пришел вот посмотреть, чем вы тут занимаетесь.

Кузнецов широко улыбается.

— Я тебя не узнаю, Шойдок! С каких это пор ты стал нашими делами интересоваться?

— Жизнь заставляет,— нехотя отвечает Цынгуев.

Заведующий мастерскими осторожно, чтобы не испачкать пальто Цынгуеву, берет его под локоть, ведет за собой.

— Ну, рассказывай новости южных степей.

Они неторопливо идут по грохочущему станками цеху, и Шойдок Цынгуевич, морщаясь от непривычного шума, почти кричит:

— Так вот и живем. Должно быть, все новости нашей бригады тебе известны. Ведь ваша «летучка» взяла шефство над нами.

— Ты наших шефов встречаешь чаще, чем я,— смеется Кузнецов.— Я Розу только вечерами вижу, да и то не каждый день. А Булата разве когда в цехе перехвачу, поздороваюсь...

— С ними надо бы покрепче поговорить.

— Что-нибудь случилось? — встревожился Сергей Петрович.

— Ты, конечно, будешь их защищать. Все-таки дочь... Но я Розу и не обвиняю. Она девушка. Как ее натравят, так и делает. А вот твой хваленый Булат Сыденов, как говорится, из всех рамок вышел. Взять с любой стороны — ничего хорошего. Пришла пора подвинтить все гайки.

Кузнецов остановил его.

— Погоди. Зачем ругать человека за глаза? Булат должен быть где-то здесь. Давай поищем.

И действительно, механик оказался неподалеку, под навесом подле мастерской, у старого, когда-то выкрашенного в красный цвет, но облупившегося и основательно проржавленного локомобиля. Он с увлечением разглядывал что-то в старой машине и удивленно посмотрел на подошедшее начальство.

— Здравствуйте!

— Что делаешь? — спросил Кузнецов.

— Да вот... Хочу приспособить. Его уже списали. Чем на утиль сдавать, может, нам отдадите?

— Зачем?

— Его можно починить. Сколько в нем лошадиных сил?

— Семьдесят, кажется. А где ты его хочешь приспособить?

— Почему бы его не установить на одной из ферм? И отопление для домов, и горячая вода, и корма готовить...

Цынгуев сердито ввязался в разговор:

— Опять никому не нужное дело! И думать брось, чтобы тащить его в мою бригаду. Сколько уже поломали всего? Портите машины, и больше ничего. Возились, возились с комбайном, хвастались: новое приспособление придумали! Где оно, ваше приспособление?

Булат ничуть не удивился — не раз такое слышал, сдержанно ответил:

— Во-первых, мы ни перед кем не хвастались. Хотели сделать как лучше. Во-вторых, делаем все мы на старых машинах. А в-третьих, занимаемся в свободное время.

— Во-первых, во-вторых, в-третьих! Ишь, как красиво говоришь! Привык кормить людей пустыми словами. И Беликтуеву голову замутил. Был парень как парень, а теперь под твою дудку пляшет.

— Дугаржаб становится очень хорошим механизатором.

— Мне лучше знать, какой из него механизатор! Он совсем перестал по-настоящему работать. И нечего тебе его защищать. Лучше подумай, как самому защититься.

Бригадир недобро усмехнулся.

— Това-арищи! — пожал плечами Сергей Петрович.— Что-то я ничего не понимаю из вашего разговора.

Булат прислонился к локомобилю, глухо произнес:

— Хотите обвинить меня, что мама в дацан ездила, да?

— Что значит — ездила? Ты ее сам туда возил!

— Возил!..— горько усмехнулся Булат и махнул рукой.

— Вы в самом деле возили Бальжиму-абгай? — нахмурился Кузнецов.

— До фермы довезли. Я никак не думал, что она в дацан поедет. Я бы ни за что не пустил.

Цынгуев ехидно прищурился.

— Заливай, сколько хочешь. Все равно придется ответ держать. Почему в Совет не идешь? Боишься?

— Я был там.

— Значит, Гурдармаев неправду говорит. Он тебя ждет как депутата. Я только от него.

— Хорошо. Я сейчас же снова пойду к нему.

Сергей Петрович с сожалением посмотрел вслед Булату, почти бегом поспешившему с территории мастерских.

— Может, тетя Бальжима и ездила в дацан... Но Булат тут ни при чем. Роза мне бы рассказала.

— Ха!.. Он мог скрыть от Розы.

— Как это скрыть? Они все время вместе ездят.

Цынгуев не собирался сдаваться.

— Тогда уговорил, чтобы тебе не сказала.

— Не верю. У нас с Розой секретов нет. А я вот что еще думаю. Допустим, что ты прав. Ездили. Утаили от меня. Может, Булат больную мать пожалел, хотел успокоить ее. В таком случае, конечно, он виноват. Не следовало так поступать. Но слишком ругать его за это ни к чему.

— Шутишь?

— Нисколько.

Им не удалось закончить спор. К ним подошла Балмацу, гордо выпятив сильно округлившийся живот. Одежда на ней уже не по фигуре — в боках расставлена, пуговицы перешиты. На лице Балмацу коричневые пятна, но они сделали его даже красивее, а глаза так и светятся, и голос стал мягче, звонче.

— Сайн байна! — здоровается она.— Как хорошо, что я вас застала. У меня дело к вам.

Цынгуев, недовольный, что прервали, сердито спрашивает:

— Куда опять собралась? Снова своего жэбжэна искать. Поздно теперь.

Пытаясь сгладить неловкость от издевательских слов бригадира, Сергей Петрович тоже задает вопрос:

— Дондок не вернулся?

— Нашу судьбу с Дондоком ничем не склеишь, не залатаешь, не припаяешь,— отвечает ему Балмацу, ос-

тавив без внимания слова Цынгуева.— А машин, чтоб такие поломки чинить, еще нету.

— Давно я тебя не видел, Балмацу. Смотри-ка какая ты стала! Скоро, значит, в нашей бригаде одним чабаненком больше будет,— добродушно посмеивается Кузнецов.

— Не знаю, чабаненок или кто получится,— тоже смеется Балмацу.

— У тебя получится...— Шойдок недоволен.— С мужем разошлась, а у самой в подоле ветер. С чего растолстела-то?

— Шойдо-ок! — тянет его Сергей Петрович.

— Мне бы к доктору съездить,— обращается к Кузнецову Балмацу.

— Вот-вот, к доктору понадобилось! — Цынгуев даже плюнул от возмущения.— Только бы не работать.

Чабанка прижимает руки к большому животу.

— Не знаю, что и случилось...

— А ты показывалась врачу? — обеспокоенно спрашивает Кузнецов.

— У нашей Дуси была.

— А если была, то нечего выдумывать. Возвращайся в бригаду,— не унимается Шойдок.

— Дуся велела в аймак съездить.

— Значит, на несколько дней хочешь улизнуть?

Балмацу очень сердита на бригадира, но старается сдержаться.

— Лида-багши тоже сказала, чтобы я к доктору поехала.

— А ей какого черта надо? Она что — акушерка? Пока что я ваш бригадир! — выходит из себя Цынгуев.

— Пока что — бригадир,— соглашается Балмацу.— Только у вас я спрашивать не буду, когда мне рожать.

Кузнецов глазами делает знак Цынгуеву, чтобы тот помолчал, кладет руку на плечо чабанки:

— Ты не волнуйся, Балмацу. Тебе вредно.

— Ха-ха-ха! — закатывается Шойдок.— Еще разродишься прямо тут.

— Перестань! — одергивает его Сергей Петрович.

— Ладно,— сдается бригадир.— Поезжай. Только не задерживайся. И еще я тебя должен официально предупредить: не вздумай в дацан ехать.

Кузнецов показал на легковую машину, стоящую возле гаража.

— На ней сейчас в аймак главный инженер поедет. Он тебя довезет. Счастливо доехать, Балмацу.

— Спасибо,— осторожно ступая, чабанка направилась к машине.

Кузнецов и Цынгуев, не сговариваясь, задымили папиросами. Обоим нужна была пауза, чтоб сгладить неловкость. Сергей Петрович заговорил первым:

— Ты помнишь, Шойдок, когда нам с тобой было по двадцать, мы лихо расправлялись со всеми верующими, с дацанами. Выбрасывали бурханов из юрт наших стариков. Я сам пожег тогда иконы у своей бабушки. Сейчас мне кажется, что мы тогда делали не очень умно. Слишком мы были резкими...

Цынгуев качает головой:

— Не согласен. Я бы и сейчас так же делал. Что это такое? Кандидат в члены партии, депутат, комсорг везет свою мать на молебен. Куда годится? Так это дело оставлять нельзя. Твоя Роза тоже комсомолка.

— Если они виноваты, с них надо спросить. А шум поднимать ни к чему.

— Ты так считаешь?

— Убежден.

— Может, ты и прав. Надо подумать,— мнется Цынгуев.

Он чувствует, что перехватил, что Кузнецов ему не союзник. К тому же надо заручиться поддержкой Сергея Петровича совсем в другом деле, а подходящий момент, кажется, как раз наступил, и Шойдок Цынгуевич пытается незаметно сдать позиции.

— Мы с тобой старые кадры,— начинает он.— Не будет ошибкой сказать, что все, чего мы добились, сделано нашими руками. Но сейчас, я думаю, кое-кому это не нравится. Кое-кто не хочет признавать наших заслуг. Я тебе вот что скажу. От одного человека я узнал, что меня собираются снимать с должности бригадира. Я, конечно, не цепляюсь за должность. Но обидно, понимаешь...

— Ты столько лет в бригадирах проходил,— усмехнулся Кузнецов.— Неужели не надоело?

— Не шути, Сергей. Я к тебе за советом пришел.

— Ох, Шойдок, Шойдок... Ровесник ты мой! Ты скажи-ка, за что тебя последнее время критикуют?

— Откуда я знаю? Я изо всех сил работаю. Конечно, случаются кое-какие недостатки... У кого их не бывает?

Но про меня всякие слухи распускают. Ты как думаешь, Сергей? Скажи.

— Честно?

— Честно.

— Люди тебя бригадиром поставили. Люди и снимут. А твой авторитет, ты уж прости меня, никаким домкратом не поднимешь.

— Ха-ха-ха! — деланно рассмеялся Шойдок Цынгуевич.— Ох и умеешь же ты зацепить! Скажешь так скажешь...

— Я без смеха. Говорю, что думаю.

— Значит, так. А я-то думал, мы, как старые друзья, поймем друг друга. Ты, оказывается, не заступишься, даже если меня из собственного дома выкинут... Так вот, знай. Завтра на мое место Дугаржаба Беликтуева поставят, а послезавтра твое место Булат Сыденов займет.

— Что ж, если буду плохо работать, пусть меня заменят,— спокойно произнес Кузнецов.

— Понятно.— Цынгуев бросил недокуренную папиросу.— Значит, заступаешься за них? А мы твоего Булата жалеть не будем.

— Эх, Шойдок, пропадешь ты...

Разошлись не простясь.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Три старинных кресла Сандан-нойона переместились за большой письменный стол со множеством ящиков, покрытый стеклом. Здесь — президиум. На двух длинных лавках, на всех стульях, что были в кабинете и приемной, сидят депутаты и актив — приглашенные и любопытные.

Сессии сомонного Совета собираются не часто, а полный состав депутатов бывает еще реже. Вот и сегодня едва дотянули до кворума. Догдомэ выехал в областной центр. У Демидовой заболел Бабжа, кузнец Ахметов отсутствует по неизвестной причине... Этим и объясняется демократизм Гурдармаева — на сессии могут присутствовать все желающие. Получается многолюдно, солидно. К тому же Дансаран Ванганович заинтересован, чтобы именно сегодня было побольше народу.

Гурдармаев обычно сам определяет повестку дня сес-

сий, сам делает доклады, сам заранее готовит соответствующие решения. И на этот раз не отступил от правил. Предложил вниманию депутатов несколько дежурных вопросов, нудно и долго освещал их в скучнейшем докладе и утомил всех настолько, что, как и хотелось ему, желающих выступать в прениях почти не было, а «проекты решений» были приняты единогласно:

Вопрос «О депутате Булате Сыденове» он припас к самому концу.

Гурдармаев — на этот раз очень коротко! — изложил обстоятельства, которые потребовали отчета молодого депутата на сессии, и предложил задавать вопросы. Опытный руководитель Гурдармаев, ничего не скажешь. Умеет он хорошо, по-деловому подготовить обсуждение, когда это необходимо. Пусти он дело на самотек, и кто знает, чем бы все кончилось. А Дансаран Ванганович действовал предусмотрительно. Он заранее предупредил, кто какой вопрос должен задать, и присутствующие — депутаты и активисты — проявили поразительную активность и заинтересованность. Не забывали они, допрашивая с пристрастием Булата, в то же самое время превозносить заслуги председателя сомонного Совета.

— Очень своевременно поставлен на сессии отчет Сыденова,— заявляет первый из тех, кому надлежит задавать вопросы.— Странно только, почему товарищ Гурдармаев проявил либерализм, не потребовал гораздо раньше обсудить поведение депутата.

— Как работает передвижная техническая мастерская? — интересуется второй.— Не мешает ли ее нормальной работе так называемое шефство над первой чабанской бригадой?

— Не поспешил ли товарищ Сыденов со сдачей своего личного скота в колхоз? — осторожно и деликатно осведомляется третий.

— По какой такой причине направилась мать молодого коммуниста, комсомольского руководителя колхоза, депутата молиться в дацан? — искренне негодует, задавая вопрос, четвертый.

— Очевидно, сам Булат Сыденов не разделяет религиозных заблуждений своей матушки? — выражает надежду пятый.

Отвечает на вопросы сам Дансаран Ванганович, обводя присутствующих холодным и бесстрастным взором.

Он же, когда вопросы прекращаются, берет слово для

выступления. Выразив неудовлетворенность депутатской работой Булата, Дансаран Ванганович говорит далее, что шефство механика над первой бригадой не принесло нужных результатов, а скорее создало даже помехи. Бригадир Цынгуев может это, если депутаты интересуются, подтвердить. Был случай, когда Сыденов, не проявив нужной выдержки, подрался с проезжающими. Намерения у него были самые хорошие — не дать раскомплектовать колхозную сеялку, но кулаки пускать в ход депутату не годится...

В этом месте Дансаран Ванганович отечески укоризненно поглядел на Булата.

Но самая большая, самая серьезная ошибка Сыденова — здесь голос Гурдармаева зазвучал громко и гневно — состоит в том, что он, как это следует из поступившего заявления, повез свою престарелую мать в дацан на молебен и за знахарскими снадобьями. Такой поступок, как говорится, ни в какие ворота не лезет!

Дансаран Ванганович выдержал паузу и устало, расслабленно произнес:

— Если я что-то упустил, присутствующие, думаю, дополнят.

Желающих выступать долго не находилось. Кто-то у дальней стены — не разобрать — поднялся, предложил сделать перерыв.

— Незачем! — не согласился председатель.— Давайте обсуждать. Последний вопрос...

— Пусть Булат сам расскажет!

— Правильно,— подхватил Гурдармаев и строго взглянул на Булата.— Придется тебе всю правду сказать. Встань перед народом.

Очень доволен ходом обсуждения Дансаран Ванганович. Все складывается именно так, как ему хотелось. Он напустил на себя еще больше суровости. Весь вид его красноречиво говорит о непреклонном намерении председателя сомонного Совета решить скандальный вопрос твердо и круто.

Булат вышел к столу президиума. В сером костюме, полосатой рубашке и галстуке, сильно сдавившем горло, он чувствовал себя неловко. Даже покрутил головой, чтобы легче было дышать. Откинул назад волосы. Постоял несколько мгновений молча, собираясь с мыслями. Не мигая смотрел на людей и не мог понять, что же они хотят от него. Краем глаза увидел, как на оконном стек-

ле бьется, жужжа, большая синяя муха. Ему захотелось подойти к окну и выпустить муху на волю. Он даже усмехнулся, так нелепо было это желание.

— Товарищи! — негромко сказал он.— Я не знаю, как вам все объяснить... Мы стараемся изо всех сил, чтобы как можно лучше организовать нашу работу и шефство. Все, что мы сделали за последние месяцы...

— Ты не мне рассказывай,— перебил его Гурдармаев.— Всем присутствующим рассказывай. Депутатам. Сессии.

— Мы помогаем первой чабанской бригаде. На технических курсах знакомим чабанов с сельхозмашинами. Стараемся следить за исправным состоянием техники.

Дансаран Ванганович постучал карандашом по настольному стеклу.

— Давай не будем зря тратить время. От твоих перечислений все равно толку мало. Ты ответь на главный вопрос. О поездке в дацан расскажи.

Как хотелось Булату повернуться и уйти, но он сдержался. Только сильнее покраснели лицо и шея.

— Моя мать — старый человек. Раньше никогда в бога не верила. Что с ней случилось — не знаю. И в дацанах она ни разу за всю свою жизнь не бывала. А тут вот взяла и поехала... Если б я знал, ни за что бы не пустил. И не возил я ее.

— Не возил, и все?

— Нет, не возил.

— Интересное дело! — не отставал Гурдармаев.— У нас целая папка фактов, а ты ото всего отпираешься, не хочешь признавать свою вину. Ты образованный человек, а не смог вырвать мать из цепких сетей суеверия, не показал ей роль и значение современности, не перевоспитал ее.

— Да,— голос у Булата сорвался,— не обратил я внимания...

На оконном стекле все еще билась и жужжала муха.

— Садись,— сказал Дансаран Ванганович.

Вырвав у Булата косвенное признание вины, он решил перейти в наступление. Надо было закрепить наметившийся успех. Гурдармаев многозначительно процитировал Ленина и вскрыл значение его слов «Религия — опиум для народа», припомнил, как он в молодости с лучшим другом, отцом Булата, Сыденом, не боясь пуль, боролся с ламами. После этого Дансаран Ванганович

охарактеризовал недостойное поведение сына своего лучшего друга — молодого коммуниста, депутата Булата Сыденова и заключил свою обличительную речь полной негодования фразой о том, что проступок Булата вдвойне и даже втройне нетерпим в наши дни, когда просторы вселенной бороздят космические корабли.

Упоминание об отце сразило Булата.

— Больше я таких случаев не повторю...— опустив голову, пробормотал он.

У самых дверей поднялась рука.

— Можно мне?

Держа шапку-кубанку под мышкой, встал Санджи Бумбеев, практикант.

— Я извиняюсь... Я не депутат и даже не местный человек.

Гурдармаев с подозрением посмотрел на него: «Что этот молодец ляпнет?», однако возражать не стал.

— У нас демократия. Говорить можно любому.

— Еще, наверно, есть немало верующих людей, особенно стариков... Церкви есть, мечети есть, дацаны... Если старые люди верят, чем виноваты их дети?

— Конечно, никто не запрещает и у нас старым людям ездить в дацан. Но вот когда их возят молиться сыновья, это уже плохо,— назидательно произносит Дансаран Ванганович.

— А я тоже ездил в дацан,— неожиданно признается Санджи.

— У нас же одинаковая вера,— говорит кто-то, и все дружно смеются.

«К чему он все это рассказывает?» — думает Булат.

— Я до этого не видел дацана,— продолжает как ни в чем не бывало Санджи.— Мне было очень интересно посмотреть, как идет богослужение. Мы, атеисты, должны хорошо знать своих идейных противников.

Гурдармаев, громко откашлявшись, перебил его:

— Товарищ Бумбеев, вы уводите нашу сессию в сторону от обсуждаемого вопроса. Какое нам дело, зачем вы ездили в дацан. Может, вы там тоже практику проходите.

Раздалось несколько смешков, но большинство, похоже, неодобрительно отнеслось к реплике Гурдармаева, а Санджи не смутился:

— Обо мне говорите, пожалуйста, что угодно. Я о себе не беспокоюсь. А Булат ни в чем не виноват. Он не

возил свою мать. Тетушка Бальжима ездила совсем на другой машине. Я видел...

Дансаран Ванганович побагровел и хватил кулаком по столу.

— Хватит! Вы, товарищ студент, понимаете, о чем говорите? Агитацию за верующих тут, понимаете, развели! Мы вот в ваш институт напишем.

Поднялся шум.

— Сейчас речь идет не о Бумбееве,— почти выкрикнул Булат.— Вы меня обсуждаете. Я, товарищи, признаю свою вину.

— Какую вину, Булат? — у Санджи даже лицо вытянулось от огорчения.

Задуманное мероприятие грозило провалиться. Гурдармаев поспешил вмешаться.

— Садитесь, товарищ Бумбеев! Ваш регламент кончился. Ты все правильно понял, Булат, наконец-то признал свою вину,— улыбнулся Дансаран Ванганович.— Но если ты даже собственной матери не можешь помочь, не сумел перевоспитать ее, то, я считаю, рано тебе серьезные дела поручать. Мое мнение: отстранить тебя от шефства над первой бригадой.

— Отстраняйте,— с безразличием сказал Булат.

С видом человека, одержавшего трудную победу, Гурдармаев обвел взглядом каждого из присутствующих.

— Желающих выступить больше нет? Тогда приступим к голосованию. Есть одно предложение. Кто за него?

Булат поднял руку первым.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В летнюю пору юрты ставят на высоком месте, чтобы в зной со всех сторон обдувало свежим ветерком, чтобы поменьше было возле нее мух и слепней. К осени обычно перемещается юрта вслед за отарами в степную глубь, а к зиме ищут для нее какое-нибудь укрытие, за которым можно спрятаться от пронизывающих ветров и буранов.

Хорошее местечко приглядел Сокто-ахай за бугром с каменной бабой. И от дороги недалеко, и ручей рядом, и надежно защищено от непогоды. Сам, в одиночку, перебрался со всем скарбом. Сам, без чьей-либо помощи,

стал в какой уж раз привычно ладить жилье. Торопиться некуда. Руки сами знают, что делать.

Установил раздвигающиеся решетчатые стены, протянул от них кверху тонкие и прямые стропила. На самой макушке каркаса укрепил дымник, похожий на колесо от телеги. Осторожно, чтобы не повредить и без того обветшавший войлок, покрыл им остов. Вот и готов дом!

Неспешно принялся возиться под крышей. Натянул на стенки новые ситцевые занавески с яркими пестрыми цветами, и сразу стало в юрте весело и нарядно. Заняла свое почетное место на хойморе божница, раззолотившись скопищем бурханов-божков. Выстроились рядком чашки для святой воды и сугсэ-светильника. Украсилась божница-гунгарба павлиньими перьями.

Впереди долгая зима, и всю эту холодную пору с нескончаемыми ночами теплая, уютная юрта будет покоить тоскливое одиночество старого Сокто. Вот и старается он устроить все получше — основательнее, домовитее. Поставил на раз и навсегда определенное место старинную кровать, застелил ее помягче. Внес и установил, куда положено, сундуки, подставки, шкафчики, совсем недавно собственноручно заново покрытые лаком, отчего ярче проступили поблекшие узоры на них. И кажется, будто сделаны они не из ели, березы или сосны, а из самого настоящего сандалового дерева, растущего, как говорят, в жарких странах. И очаг у Сокто-ахая обновился, сменил он старую печурку. Спасибо Сергею Петровичу Кузнецову — смастерил деду чудо-печку. Не знает Сокто, что это Булат с Розой поделился, а та отцу рассказала.

А добра за нынешнюю осень в юрте Сокто-ахая заметно прибавилось. Много появилось магазинных вещей. Делать-то старику нечего было, он и заглядывал при случае к Сельпо Даши, деньги тратил. Термос у него теперь большой, с синими цветками. Двуствольное ружье. Приемник-радиола «Рекорд». Женский велосипед, нераспакованный, в деревянной обрешетке и заводской смазке — внучке подарок.

Дряхлым себя Сокто еще не считает, а уж жадным или скупым — тем более. Каждая покупка была радостью для него. Покупал — думал: а вдруг сын вернется, а может, Оюне понравится, а что, если будущему зятю пригодится...

Ах, Оюна, Оюна! Что-то забывать стала своего деда,

давно не показывается. А ему трудновато становится коротать в одиночестве день за днем, день за днем. Вот, кажется, и приготовился зимовать — сделал все, что надо. И сиди теперь, старый Сокто, жди случайного гостя.

Редкую козлиную бородку старика прочно прихватила изморозь седины. Обветренное лицо еще гуще покрыла сетка морщин. Дряблые руки стали сохнуть от безделья. В синем суконном треухе, в почерневшей меховой короткой безрукавке пристроился Сокто у очага, поджав под себя ноги, обутые в унты на толстой войлочной подошве, толчет в ступе зеленый чай.

А чугунок на очаге старый, закопченный, послуживший много лет. В нем и чай-то получается особенно вкусный. А бурят без чая — какой же бурят! Дня не прожить. Сокто даже представить не может, как бы он вдруг остался без чая? Помнится, во время войны совсем чай исчез. Чем только тогда кипяток не заваривали. И шиповником, и листьями кровохлебки, даже какой-то ефрем-травой. С одной такой заварки старик чуть было к праотцам не отправился. В те годы Сокто только и знал к ближним и дальним соседям ходить — авось хоть где-нибудь удастся чашку-другую настоящего чая выпить. И уже если удавалось, то не чашкой-другой, а добрым десятком душу отводил. Теперь что — у Сельпо Даши всегда какой хочешь чай есть. И прессованный, и байховый, и кирпичный — комбинированный. Но разве это чай? Настоящий чай — зеленый. В больших плитках, на килограмм с лишним весом, с молодыми листочками и весенними побегами чайного куста. Нет его лучше. Он и жажду утолит, и желудок насытит. Уж больно хорош этот чай. А какой ароматный!

Между тем вода в чугунке вскипела, а там и густо заваренный чай с молоком поспел, обдал наконец хозяина душистым паром. Зачерпнул Сокто поварешкой немного самого что ни есть чайного смака и вышел, кряхтя, из юрты — окропить новое местожительство. Хоть и не слывет дед Сокто особенно набожным, а давние обычаи соблюдает. У него и на божнице все по-старинному, как у верующего из верующих, но и это тоже по традиции, по привычке. Такой же он верующий, как Бальжима-абгай...

Когда Сокто вернулся в юрту, следом за ним вбежали два ягненка. Они уже сильно подросли — впору на

стрижку! Вы когда-нибудь видели маленьких ягнят? Не на картинке, а так вот, рядом с собой? Милее, забавнее их ничего на свете нет. Как они взбрыкивают, как резвятся! Что выделывают, стараясь точь-в-точь повторить уморительные прыжки друг друга, становятся на дыбки, вытягивая короткие шейки, норовят бодаться безрогими головенками. А то засуетятся вдруг ни с того ни с сего, пустятся гоняться по юрте, забавно отскакивая вбок или подпрыгивая — кто выше! И только добрая примета есть: когда так ягнята резвятся-балуются,— это к достатку, к богатству.

— Эх, бедняжки вы мои! — вздохнул, налюбовавшись их забавами, Сокто-ахай.— Скоро совсем большими станете. А ведь с тех пор, как мы с вами вместе живем, все у нас удачно складывается. Неспроста вы дурачитесь. К хорошему, конечно. Ладно, ладно, скоро я вас в отару отпущу...

Вот и еще один член семьи в юрту пожаловал — пес Хоройшо. Отрастил к зиме неплохую шубу. Хвост калачом, выгнул медленно спину, потянулся на передних лапах, улегся у очага, сладко зевнул.

— Ну, как, Хоройшо? Нравится наше жилье? — спрашивает старик.

— Гав! — будто и в самом деле отвечает собака.

А в это время дверца юрты тихонько открывается, и кто-то, осторожно войдя, молча останавливается за печкой. Должно быть, гость совсем маленький, если его из-за печки не видно. Так и есть — Ким Сыденов, оказывается.

— Здравствуйте, дедушка Оюны!

Старик сослепу и не разглядел, кто это к нему пожаловал, но приветливо улыбнулся в усы:

— Здравствуй, здравствуй. Ну, подходи поближе. Чей же ты будешь?

— Ким я. Ким Сыденов.

Сокто сделал вид, что не узнал малыша.

— Чей, говоришь, ты сын?

— Сыдена.

— А Сыден кому сыном доводится?

— Очиру.

— А Очир чей будет?

— Алага...

— Ну, продолжай дальше.

— Алаг — сын Туйбона, Туйбон — сын Басаты, Ба-

сата — Галши, Галши — Хурса Хутагата Шарайда...— без передышки затараторил мальчишка, словно стихи читал наизусть.

— Молодец! Не ошибся, всех назвал. Знаешь свою родословную,— похвалил Сокто-ахай.

— А я и дальше знаю.

— Что ты говоришь!

— Знаю! Шарайда — сын Хоридоев, Хоридой — сын Бурята, Бурят — сын Монгола, Монгол — сын человечества, человечество — сын обезьян.

— Обезьян?

— Ну да. Человек же произошел от обезьяны.

— Совсем молодчина! Присаживайся на хойморе. Гостем будешь.

— Ладно.— Ким взобрался на табурет.

Взяв с очага чугунок, Сокто налил в чашку чай.

— Попей-ка чайку горячего. Помни: что поспело — пробовать надо, все, что седой говорит,— слушать надо.

Он ласково смотрел, как малыш, обхватив обеими ручонками чашку, отдуваясь и с шумом втягивая воздух, с аппетитом пил чай. Хоть гость был совсем маленький, ему захотелось поговорить с ним о серьезном.

— У меня был сын Зорикто... На войне пропал. Сколько лет прошло, а я все жду. Не погиб — пропал... Может, еще вернется...

— Может быть,— тихо и так же серьезно отозвался Ким.

Сокто налил и себе чаю.

— Ну, друг мой, скажи теперь, с каким делом ко мне пожаловал?

Ким начал издалека:

— Я на автомобиле моего брата катаюсь иногда...

— Ага, так. Выходит, твой брат все еще ездит на своей машине?

— Да. А из бригады я на лошади приехал.

— Значит, ты в бригаде моей внучки был? Что они там делают? Ремонт кошары кончили?

— Кончили. Вот я приехал, дедушка, к вам.

Старик озадаченно уставился на него.

— Ко мне? Что-нибудь случилось? С чего это ты решил с дряхлым стариком повидаться?

— Я хотел... Я хотел попросить вас рассказать какую-нибудь сказку-улигер. Мне тетя Оюна говорила, вы много сказок знаете.

— Тетя Оюна?.. Сказки-улигеры — удел сирот,— грустно промолвил Сокто.

— Но мы же не сироты!

— И то верно. Ну, будь по-твоему. Какую же сказку ты хочешь послушать?

— Любую.

Сокто-ахай погладил мальчика по голове.

— Улигеры — это море без берегов. Сколько народ сложил сказаний! Гэсэр, Бабжа Барас-батор, Убгэн Жэбжэнэй мэргэн, Трое мудрецов, Телятник Борбондой...

У Кима от одних названий дух захватило. Старик между тем достал из сундука завернутый в синий шелк хур, настроил его, тронул струны смычком.

— Сотни лет назад в нашем Хангиле жил такой человек Аригуун Буубэй — мудрый, смелый, находчивый. Его пра-пра-правнук и сейчас живой. Аригунович его зовут. Ты вот его попроси как-нибудь про Буубэя рассказать.

Ким сидел, боясь шелохнуться.

Дед Сокто закрыл глаза.

— ...В раннюю рань это было. В привольное время было. Высокая Бархан-гора всего только кочкой была. Глубокое море — Байкал всего только лужицей было...

Потрескивал аргал в печке. Звенели струны хура. Увлекшись, пел-рассказывал старинную сказку Сокто-ахай маленькому своему гостю. И оба забыли о времени. Лишь закончив повествование, спохватился старик:

— Пора, однако, тебе. Торопись.

С неохотой уходил из юрты Ким. На него набросился было Хоройшо, но, гавкнув разок-другой, тут же стал ластиться. Мальчик отвязал гнедую кобылу, на которой приехал из бригады, не без труда взобрался на седло, попрощался со стариком и потрусил по дороге.

Старик провожал его взглядом, пока маленький всадник не скрылся из виду. С час, если не больше, возился он около юрты — заделье всегда найдется. И вдруг тревожно стало у него на душе. Сокто поднял голову. По быстро темневшему небу с тревожным писком и щебетом стремительно проносились мелкие пичуги, спасаясь от какой-то надвигающейся опасности. Сильный порывистый ветер поднял над прогалиной пыль и труху. Потянуло гарью...

«Что такое стряслось?»

Старик поднес ладонь к глазам, вгляделся. У самого

горизонта, по всей долине, куда только хватал взгляд, текла, полыхая, огненная лава.

Нет страшнее беды, чем пожар в степи.

Много напастей перенес за долгую жизнь Сокто-ахай. Судьба послала ему еще одно испытание.

Огонь заметно приближался.

Что делать? Как спастись от пожара? Чем сможет он, старик, остановить пламя?

Впопыхах, перерыв весь свой скарб, Сокто обнаружил под телегой видавший виды старый котел, оттащил его за юрту, опрокинул дном кверху — подойдет огонь, наткнется на котел, раздвоится, обойдет жилище. Посмотрел — усмехнулся: разве котлом спасешься?

Видно уже, как ветер раздувает языки пламени, развевает черный пепел сгоревшей травы, гонит, разметая искры, шары перекати-поля, и за ними вспыхивают огненные дорожки.

Среди кольев, вил, граблей кое-как отыскал дед Сокто деревянную лопату, схватил ее, как самое надежное оружие защиты, устремился навстречу пожару. Только бы успеть прокопать канавку вокруг юрты. Только бы успеть... Лопата скользила по траве, не желая входить в землю. Слабых сил старика не хватало, чтобы срезать хоть один пласт дерна. Какая уж тут канава!..

Пахнуло нестерпимым жаром. Огонь подошел вплотную.

Не разгибая спины, Сокто-ахай яростно лупил лопатой по охваченной огнем траве, сбивал языки пламени. Тут потушит — там займется. Кинется в одну сторону — в другой полыхает еще сильнее, а там верхушки кустарника вспыхнули, как свечи.

Старик начал выбиваться из сил. Позади юрты, где трава была особенно высокой и густой, огонь, найдя для себя обильную пищу, неистовствовал особенно люто. Вот он вцепился алыми зубами в лопату, затрещал, побежал по ней к черенку. Сокто отбросил лопату, сдернул с себя халат-тэрлик, начал им сбивать пламя. Вспыхнул и тэрлик. На счастье рядом оказался таз с водой. Мокрым халатом стало легче орудовать.

Искры сыпались роем на его голые плечи, спину, грудь, горький дым застилал глаза, лез в рот и в нос. Сокто припалило бородку, у него почернело не то от копоти, не то от страшной усталости лицо, а сердце, казалось, вот-вот разорвется от натуги. Он едва передвигал,

пошатываясь, отяжелевшие ноги, когда до слуха его донесся крик:

— Де-едушка-ааа!

Это примчалась запыхавшаяся, с покрасневшими, полными слез глазами, в полуобгоревшей одежде Оюна.

— Как я торопилась...

«Вдвоем спасем добро»,— подумал старик и тут же вспомнил про недавнего своего маленького гостя.

— Где Ким?

— Не беспокойся. С ним все в порядке.

И тут ни с того ни с сего Сокто набросился на внучку:

— Ты чего вопишь? Чего носишься, как угорелая? Помогай скорее юрту спасать.

— Что вы, дедушка! — чуть не плача закричала Оюна.— Оставьте все это.

Ей, видно, тоже досталось, и она едва стояла на ногах, но старый Сокто не замечал. Последние слова внучки будто стегнули его, как самое обидное ругательство.

— Я для себя, что ли, собирал все это? Твоему отцу достанется, если когда-нибудь вернется. А не вернется, так ты для чего существуешь, непутевая?

Девушка в отчаянии металась между дедом и юртой, к которой уже вплотную подошел огонь.

— Дедушка! Бежим. Там кошары сгореть могут, овцы...

— Там народу много.

Сокто и сам сознавал, что ничего он тут поделать не сможет, что напрасно шумит на Оюну и говорит совсем не то, что думает, но поделать с собой ничего не мог, словно разума лишился.

— Беги! — махнул он внучке.— Беги к отаре.

Оглядываясь на деда, всхлипывая, Оюна медленно побрела от юрты, потом зашагала быстрее, побежала.

— Пронеси господь! — скорее по привычке, чем в надежде на божью помощь, произнес старик и стал искать ягнят, куда-то запропастившихся.— Наверно, изжарились уже,— подумал он, но тут же разглядел их, мечущихся в дыму, и бросился перегонять через ручей.

— Тадь! Тадь отсюда, дурные!

Ему жгло ноги, сухим каленым жаром обдавало спину. Он бежал за ягнятами и бормотал:

— Дурная голова ногам покоя не дает... До самой смерти, выходит, ума не набрался... Так тебе и надо...

Гарь и дым.

По всей степи — дым. Все небо заволокло дымом. Черный, коричневый, желтый, белый, синий... Стелется облаком, вздымается смерчами. Там и сям торчат обгоревшие стволы и ветки кустарников. По взлобкам холмов пышут огненной лавой муравейники. По оврагам тлеют кости погибших животных. Пылает единственная на всю степь сосна, у которой, по преданию, есть дух-хозяин...

Ничего не осталось от юрты Сокто-ахая. Пепел да угли. Угли да пепел. Все, что могло сгореть,— сгорело. Уцелели перевернутый казан, новая печка да закопченный котелок на ней, в котором исходил паром, выкипая, чай.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

...Потянула поземка, которую еще называют пешим ветерком, сгребла в кучу щепки и мусор, припорошила их, затихла, словно дух переводила, и снова зазмеилась, сея мелкий снежок, нанося откуда-то сладковато-душистый запах кукурузного силоса.

Булат и Роза поравнялись со старым сарайчиком, в котором поставили выпрошенный у Сергея Петровича в мастерских списанный локомобиль. Намучились они с ним, пока приволокли эту махину в бригаду! Привезти-то привезли, а заняться его реконструкцией уже не смогли... Одному Дугаржабу досталось возиться с локомобилем, и он уж, конечно, старался не подвести друзей — днем и ночью, чуть только минута свободная выпадет, торчал у громоздкой машины, пытаясь вдохнуть в нее жизнь. Хватил он с ней горюшка! Пока отчистил, отдраил, пока разобрался, где чего недостает, пока чинил да латал... Вот когда ему пригодилась наука мытарств с комбайном. Настоящим механиком стал Дугаржаб! Если бы еще не мешал, не брюзжал постоянно бригадир, он бы успел к приезду друзей выдать им локомобиль на ходу.

Заканчивая наладку и регулировку машины, увлекшись работой, он и не слышал, как подъехала «летучка».

— Дугаржаб! — окликнула его Роза.

Только он высунулся из-за локомобиля, как тут же все лицо ему залепило снегом. Разве могла Роза удержаться? И к тому же первым снежком не грех побаловаться...

— А-а! — рванулся Дугаржаб.— Опять за свои штучки? Ну, погоди...

— Еще хочешь? — Роза швырнула еще один снежок, но промахнулась и бросилась наутек.

— Все равно поймаю!

Ему удалось почти сразу догнать девушку. Он легко подхватил ее и высоко поднял. Роза болтала ногами, била его кулачками по спине, то смеялась, то пищала, уговаривая отпустить ее. В конце концов Дугаржаб сжалился над ней.

— Скучный ты человек! — надула губы Роза.

— Ах скучный? — и он подался вперед, как бы намереваясь снова схватить ее.— Зато вы, конечно, пожаловали с самыми удивительными новостями.

— Да хватит вам! — вмешался Булат.— Что вас мир не берет.

— Ладно,— Дугаржаб уселся на большой железный бак.— Прощаю. По случаю вашего приезда можно сделать перекур.

— Что ты сказал? — насторожилась Роза.— Какой перекур?

— Да нет. Это, по-солдатски, просто короткий отдых. А насчет табаку — не беспокойся, совсем бросил.

Девушка чуть не кинулась обнимать его.

— Дугаржаб, ты молодец!

— Ради этого только и старался. Теперь скромно жду награды...

— Что, что? Какая еще награда?

— Друзья! — взмолился Булат.— Вы после разберетесь в наградах. Давайте лучше посмотрим, что с нашей станцией.

Тут, пожалуй, у Дугаржаба было больше оснований рассчитывать на награду. Наши механики только диву дались, увидев, как много сделал Дугаржаб. Остались совсем мелкие недоделки, сущие пустяки.

— Сейчас втроем мы мигом прикончим! — ликовал Булат.

Дугаржаб, подмигнув Розе, небрежно произнес:

— По-моему, не хуже заводского ремонта...

— Еще поглядим! После твоих предыдущих выдающихся достижений что-то я не верю,— подзадорила парня Роза.

— Ну и поглядим!

И опять не дал Булат им поспорить.

— Делом давайте заниматься!

Не так-то просто было, однако, унять Дугаржаба. Он сразу же почувствовал, как приятно удивлены, как обрадованы друзья, и болтал без умолку.

— Я вас уверяю: наш локомобиль не уступает любой заграничной модели. После моей реконструкции, конечно... Вот увидите, эта марка будет пользоваться повышенным спросом.

— Ну, братцы, пробный пуск! — торжественно объявил Булат.

Чем же раскочегарить эту громадину? Попробовали набросать в топку кизяк — не горит. Сунули солому — она и есть солома: вспыхнула и нет ее. Дрова не пожелали разгораться. Решили испытать все виды топлива вместе, сдобрив их хорошей порцией солярки.

— Я сейчас принесу! — подхватила Роза ведро.

— Только быстро! — крикнул ей вслед Дугаржаб.

Булат покрутил головой.

— Слушай, не пора ли кончать вам вышучивать друг друга? Сыграйте свадьбу — и делу конец!

Дугаржаб растерялся.

— Не знаю... Я об этом не думал... Может, ничего и не выйдет...

— Выйдет! Уж слишком охотно Роза ездит сюда. И о тебе она знаешь как хорошо говорит.

— Мало ли что говорит... И вообще женщины, они...

— Что ты, Роза не «вообще».

— Если она согласится... моя мама ее очень любит. Отец, правда, не того... Дескать, русская, то-се... Но мы с ним, отсталым человеком, договоримся! — наконец-то разоткровенничался Дугаржаб.

— Мы вам такую свадьбу закатим!

— Еще неизвестно, чья свадьба будет вперед...

— Брось. Мне не до свадьбы. После этой сессии...

Дугаржаб понимающе кивнул головой.

— Знаю. А вобще я с этим решением не согласен. Ты почему с Догдомэ, с Демидовой не поговорил?

— Зачем...

— Конечно, наш Шойдок кашу заварил.

— А я никого не обвиняю. Сам во всем виноват.

— Чего ты болтаешь?

— Матери об этом не скажешь. И другому никому тоже. Только с тобой и могу начистоту...— Булат помол-

чал.— Вот... Я с собой прихватил,— он достал из кармана бутылку.

— Что это?

— Это? Спирт

— Спирт?

— Ну да.

— А зачем ты его привез?

— Люди же пьют...

— Значит, горе заливать?

Булат зубами вытащил пробку.

— Почему горе... На, глотни первым.

— Если уж тебе так хочется, подожди до конца работы.

— Зачем ждать? Все равно я уже открыл. Что ты, с одного глотка пьяным будешь?

Дугаржаб скрипнул протезом, взял бутылку.

— У каждого бывают трудные минуты в жизни. Со мной так было, когда я без ноги остался. Ну, думаю, все — полчеловека во мне. Зачем жить? Тоже пробовал пить начать. Пробовал. Не помогло — бросил... Ладно, раз уж просишь, давай глотнем.

Слова друга больно ударили Булата. Собственные переживания показались ему мелкими, ничтожными, даже смешными. Он протянул руку за бутылкой и сделал несколько торопливых глотков. Ни разу в жизни не выпив и капли спиртного, он поперхнулся, у него перехватило дыхание, глаза полезли на лоб.

— Ну, сыт? — рассмеялся Дугаржаб.— Алкоголик-то ты, оказывается, аховый.

Слегка захмелевший Булат вытер рукавом губы.

— Ты думаешь, я с горя, да? Думаешь, из-за того, что меня ругали, да? Я просто хотел отметить твой успех...

— Вот и хорошо. Значит, в честь машины? Тогда отдадим ей должное. По обычаю, надо на огонь побрызгать...

Булат и рта не успел раскрыть, как содержимое бутылки было выплеснуто в топку. Дугаржаб бросил туда же горящую спичку, и сразу рвануло, загудело пламя.

— Что ты делаешь! — запоздало рванулся Булат, но тут появилась Роза с ведром солярки в руке.

— Вы уже разожгли?

— Ага... Мы вдвоем нашли новый способ... Доброе горючее! Смотри, как пластает.

Булат, насупившись, смотрел на огонь. Дугаржаб протянул ему кочергу.

— Ну-ка, пошуруй!

— Можно,— сухо отозвался Булат и наклонился к топке. На душе у него было погано. «Пусть что угодно говорит Дугаржаб,— думал он,— пусть как хочет ругает, только бы не презирал». И еще ниже склонялся к огню, еще ожесточеннее орудовал кочергой, стараясь не попасться на глаза Розе, не выдать себя — хмель основательно кружил голову.

Кизяк и дрова разгорелись вовсю. Пламя бушевало в топке. Стрелка манометра, вздрагивая, ползла к красной черточке. Локомобиль, словно пробуждаясь от долгого сна, начал потихоньку подрагивать всеми своими суставчиками, вздыхать, набирая силу. Колеса, шкивы, маховики, словно бегун перед стартом, изготовились сорваться с места и мчать, мчать, мчать... Сарайчик наполнился дымом и копотью. Булат стравил немного пара, и он тоже окутал ветхое помещение. В белом облаке ярче засверкали отблески огня. Ничего нельзя было разглядеть в двух шагах.

Трое друзей, взявшись за руки, стояли перед огнедышащей машиной, ошеломленные, оглушенные, воодушевленные успехом.

— Булат,— окликнула Роза механика,— помнишь, батя нас с тобой воспитывал? «Чиним-паяем, ножи точим, бритвы правим!..» Помнишь, он боялся, как бы мы с тобой шабашниками-механизаторами не стали? Теперь-то он так не скажет. Это не комбайн. Это такое дело!.. Правда ведь? Ну, скажи ты ему, Дугаржаб.

— А? Что? Конечно же. Я считаю, что все это настоящая помощь чабанам. Факт!

— Что тут происходит? — раздался с порога грубый окрик Цынгуева. Бригадир, однако, тут же задохнулся дымом и раскашлялся.— Вы что, пожар хотите устроить? Сколько в степи травы сгорело — вам мало? Юрта Сокто-ахая сгорела — вам мало, да? Опять черт те чем занимаетесь? Это, что ли, у вас шефской работой называется? Тебе, Сыденов, опи-сально запретили всякое шефство. Почему решение не выполняешь? Хочешь, чтобы совсем с «летучки» сняли, да? Простым чабаном захотелось поработать, да? Я на вас управу найду! Под суд вас всех отдам!..

Он долго что-то кричал, грозился. Его не слушали.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Через Хангильский перевал, взвихривая снег, мчится «Волга». На ней возвращаются из аймачного центра Догдомэ и Лидия Васильевна. Председатель ловко ведет машину, не сбавляя скорости даже на крутом подъеме и не выпуская изо рта свою серебряную трубочку. Печка гонит в кабину горячий воздух. Демидовой жарко, она раскраснелась, расстегнула коричневую дошку, отмахивается от надоевшего табачного дыма.

Начался спуск. Цырен Догдомович мчит по-прежнему, лишь слегка притормаживая. Лидия Васильевна приоткрыла боковое стекло и жадно дышит свежим, прохладным, чуть пахнущим хвоей воздухом.

На совещании в аймаке их покритиковали. Хотя всем известно, что во многих недостатках руководство артели ни при чем,— и засуха бед наделала, и затяжные осенние дожди добавили неприятностей, но факт остается фактом: «Улан-Малчин» здорово откатился назад. Догдомэ и Демидова не оправдывались, не ссылались на объективные причины, хотя со многим при всем желании согласиться не могли. Зато теперь дали волю языкам и, пожалуй, критикуют себя куда сильнее, чем доставалось им от аймачного руководства, но зато справедливее, потому что прекрасно знают все свои промахи и недоделки. Они не впервые схватываются вот так — горячо, страстно, но без злости, без взаимных обид. Лидия Васильевна даже любит такие перепалки с председателем. Каждый такой разговор не проходит напрасно. Непременно что-нибудь да придумают они вместе.

И в этот раз вроде бы Цырен Догдомович никому не давал спуску, припоминая большие и малые прегрешения бригадиров и механизаторов, ремонтников и доярок. Не пожалел Гурдармаева, досталось от него и Кузнецову, и себя не пощадил. И все-таки, казалось Лидии Васильевне, что-то он недоговаривал, о чем-то умалчивал. Так оно и было. Главное он приберег, так сказать, на закуску. Похоже, колебался Догдомэ, долго думал: говорить или нет. Однако не в его правилах было таить что-нибудь в себе. Прямой человек, он не мог не сказать в глаза Демидовой все, что думал о ее муже, о бригадире Цынгуеве.

— Всю жизнь в руководителях проходил... Кем не был! Все бригады до одной под его началом были — и

полеводческая, и строительная, и молочнотоварная ферма,— перечислял Цырен Догдомович, не спуская глаз с дороги.— Что с ним случилось?

Трудно, ох как трудно ответить ему. Не о чужом человеке речь идет. Муж ведь Шойдок. Какой ни есть, а муж... Сколько думала-терзалась Лидия Васильевна, надеялась: исправится, переменится. Ничего подобного! Чем дальше, тем хуже.

— Раньше он не таким был. Не пойму, чего он хочет, чего ему надо. Всем недоволен, на всех обижается, а разобраться — сам же во всем и виноват. Иногда вижу: понимает, что неправ, а еще пуще упорствует. Тяжело мне с ним...

Внимательно слушает ее председатель, пыхтит трубкой, будто камни, роняет слова:

— Решать с ним надо. Дальше так оставлять нельзя. Я уже сколько раз ему говорил, чтобы подумал, что делает.

— А я, думаете, не говорила? И на собраниях, и в бригаде, и дома дня не проходит... А с него как с гуся вода.

— Действительно, разговоров больше чем достаточно. Но сколько же можно языком молоть?

— Я с вами согласна, Цырен Догдомович: решать надо. Но как?

Председатель внимательно посмотрел на нее.

— Ты не просто член правления, не только парторг. Ты — его жена. За тобой первое слово.

— Я понимаю...

— Сама посуди. Нельзя на одной ругани жить. А сколько жалоб на него от молодежи. Я бы многое ему простил, если бы он обманывать не стал. Чуть что — врет и не покраснеет. Очковтирательством занимается. И потом... эта водка...

Прав, кругом прав Догдомэ. Лидия Васильевна чувствовала, что председатель щадит ее, боится сказать что-нибудь лишнее, чего, по его мнению, она не знает и не должна знать. И все же ей хотелось возразить ему, спорить с ним, доказывать недоказуемое. «Хоть бы перестал тянуть этот вонючий табак!» — в раздражении подумала она и чуть не рассмеялась над собой: ни за что на человека рассердилась.

— Что же мне делать? — вздохнула Демидова.

Наверно, раньше председателя узнала она о махина-

циях Шойдока с трудоднями, о частых попойках, о конфликтах с колхозниками. А про его похождения на ферме, про шашни с доярками, может быть, постеснялись добрые люди рассказывать Догдомэ. Лидия Васильевна скандалов Шойдоку не устраивала, потому что знала — ничего этим не добьется. Когда доходившие до нее слухи нечаянно подтвердил калмык-практикант Санджи, она все же крепко поговорила с мужем. Шойдок каялся, уверял, что такое никогда больше не повторится, но кто знает — так ли это. Видимо, обманывает по-прежнему...

— Тяжело мне...

А председатель говорил уже вроде бы о другом:

— В первой бригаде еще не все кошары утеплены. К стоянкам не подвезли сено...

— Конечно, Шойдок виноват.

Единственный выход — снять Цынгуева с бригады. Догдомэ пришел к такому выводу. Но подсказывать Демидовой он все же не хотел. Пусть сама убедится, что другого пути нет.

— Ты все-таки попытайся еще раз с ним поговорить,— посоветовал он.

Лидия Васильевна поперхнулась едким дымом, покачала головой.

— Бесполезно. Откровенно говоря, я надеялась, что Шойдок одумается. Теперь вижу — ничего не получится. Руководить он больше не может и рядовую работу тоже выполнять не может — отвык. Боюсь, как бы не спился. Чем ему помочь?..

— Рано темнеть стало,— заметил Догдомэ, включая фары.— Зима пришла...

— Да, да, зима,— отозвалась Лидия Васильевна, радуясь, что председатель сменил тему разговора.— Кажется, подъезжаем?

— Скоро Хангил.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

У края чистого неба быстроногий хулэг-скакун Красное Солнце развесил яркие лучи-гриву, раскидал по всей степи, раскалив до ослепительной белизны снег. Но старания его напрасны. Светит зимнее солнце, да не греет. Трескучий мороз пробирает до костей.

В этот солнечный морозный день бежала по степи

заиндевелая лошадка, запряженная в сани с четырьмя седоками. Правил лошадью раскрасневшийся от жгучего ветра, дующего в лицо, парень в шапке-кубанке, надвинутой на одно ухо. Другое ухо он прижал к поднятому воротнику короткого мехового пальто. Несмотря на то что на руках у него были теплые варежки, вожжи он держал под мышкой, то и дело похлопывая замерзшие ладони одна о другую. Изредка озябшим голосом парень подгонял коня:

— Хыло! Хыло!

Рядом с ним возлежал в санях крепко хмельной после многодневной пьянки Дондок, но уже не в знаменитых шевровых одеждах, а в довольно потрепанном пальто с такими короткими рукавами, что руки оставались преимущественно снаружи. Надо же было так случиться, что Дондок, в стельку пьяный, попался на дороге, был подобран и очутился именно в этих санях. Не жалея своих стальных зубов, он отчаянно скрипел ими и почти ежеминутно спрашивал, мешая бурятские и русские слова:

— Елки-палки! Ну, доедем или нет, а-аа?

Спиной к ветру, закутанная в козью доху мехом наружу, позади них сидела... Балмацу. Да, да, Балмацу. И если бы заглянуть под плотно запахнутый высокий воротник дохи, то можно было бы увидеть, какое необычайно счастливое у нее лицо. Перевалив за рубеж тридцати лет, Балмацу родила очень тяжело. Когда ранним утром ей принесли красненького, с черными волосиками и синими глазами четырехкилограммового парня, когда она неумело взяла его своими большими руками и поднесла к груди, только тогда она поняла, что это ее ребенок, ее сын! Балмацу провела в родильном доме больше двадцати дней и вот возвращается домой, в бригаду. Не одна — с сыном, туго запеленутым, закутанным в стеганое шелковое одеяльце и надежно укрытым козьей дохой мехом наружу. В тесных одежках и крепких объятиях матери младенцу, должно быть, что-то показалось не совсем удобным, и он заворочался, запищал. Балмацу тут же принялась его успокаивать:

— Бубэй, баю, бубэй! Эх, паршивец, какой у тебя звонкий голос! Тебе бы спать да спать, а ты дрыгаешься. Давай-ка, засыпай, хороший сон посмотри. Скоро домой приедем. Хозяином в дом войдешь, чабаном будешь... Я тебя, сынок, на свою фамилию записала. Балмаев ты,

понял? Это ничего, что у тебя женская фамилия. С такими фамилиями тоже хорошие люди есть. А имя я тебе Санджи дала. Слышишь, Санджи,— высунулась она из-под воротника,— я твое имя сыну дала. Что ты скажешь?

Калмык очень обрадовался, узнав, что у чабанки сын родился. Сам немало испытавший за свою короткую жизнь, он с самого знакомства с Балмацу проникся к ней особой симпатией и сочувствием. Сам вызвался съездить за нею в аймачную больницу. Услышав теперь, что маленькое существо, появившееся на свет, названо его именем, Санджи растрогался.

— Санджи, говоришь, назвала? От души рад. Желаю, чтобы он стал настоящим батыром! — и, взяв в обе руки вожжи, гаркнул что было силы: — Хыло-оо!

Услышав в дацане от тетушки Бальжимы, что Балмацу беременна, Дондок, когда ему удалось расстаться со старшиной Шоёновым и вырученными от продажи портретов Далай-ламы деньгами, прямиком направился к бывшей жене выяснять отношения. Его приставания и расспросы — от кого ребенок? — успеха не имели. Балмацу ясно дала ему понять, что это его, Дондока, совершенно не касается, и выставила. Всю осень и половину зимы Дондок где-то слонялся, пока не узнал, что Балмацу родила. Это ли был не повод, чтобы вдрызг попьянствовать? И судьбе еще было угодно, чтобы он очутился в одних санях с Балмацу и ее, а может, и его собственным сыном. Мороз частично выбил тяжелый хмель из его головы, и потому до его не вполне ясного сознания что-то дошло из короткого разговора бывшей жены с возницей. Еле ворочая заплетающимся языком, он грозно спросил:

— Какой такой Санджи? Почему моему сыну дали такое имя? Почему без моего разрешения? Я вам дам! Вот увидите...

Никто не ответил ему, и он, нахохлившись, безуспешно пытаясь поглубже засунуть руки в короткие рукава, опять затих. Балмацу и внимания не обратила на пьяную болтовню. Ее больше тревожило, не намокли бы, не дай бог, пеленки, не холодно ли сынишке. На секунду приоткрыв одеяло и увидев, как он, словно птенец клювом, забавно чмокает губами, Балмацу довольно улыбнулась.

— Никого мне, кроме тебя, не надо!

Санджи, привстав в санях, торопит, погоняет коня.

— Я тебе, Балмацу, хорошего скакуна приручу. Та-

бунщики меня давно приглашали. Я сегодня же на коneферму поеду.

Приподнялся и Дондок. Поглядел на спину Балмацу, пошарил у себя за пазухой, вытащил непослушной рукой до половины пустую бутылку «московской», задрал голову, несколько раз глотнул из горлышка, прохрипел:

— Когда я маленький был, мать меня из рожка молочной водкой поила, пить приучила... Ну-ка, хлебните в честь моего сына! Я вас угощаю. Берите!

Балмацу оттолкнула рукой бутылку и оглянулась — далеко ли еще ехать.

— Не будем мы пить. Вот чаю бы сейчас горячего... Может, у кого-нибудь возле озера Ножей остановимся погреться?

Калмык огрел коня кнутом.

— Если пить не хотите, может, закурите? — протянул Дондок пачку папирос.

Очень хотелось Балмацу хоть разок затянуться — пересилила себя.

— Нельзя рядом с ребенком. И ты не кури. Слышишь, Дондок?

— От табаку теплее не станет,— поддержал ее Санджи.

— А ты, парень, помалкивай, не встревай в семейный разговор. Балмацу, ты почему со мной говорить не хочешь?

— Хватит, наговорились. Я видеть тебя больше не хочу. У меня теперь сын есть,— спокойно отвечает Балмацу.

Сколько раз убеждал ее Санджи, чтобы не расходилась она с мужем, попыталась вернуть его, а теперь ему хочется, чтобы Дондок куда-нибудь исчез, совсем, навсегда, оставил в покое эту женщину.

«Черт возьми! Что с бабой случилось? — диву дается Дондок перемене в жене.— Раньше, когда хотел, приезжал, уезжал — слова не говорила, а тут даже близко не подпускает. Неужели не удастся зиму у нее провести, до тепла продержаться?..»

— Ты еще пока мне жена,— говорит он с досадой.— И ребенку отец нужен.

Спокойствие покинуло Балмацу. Она вот-вот готова взорваться. Сколько ей пришлось помучиться, вытерпеть с этим типом, сколько было скандалов, пока жили вме-

сте, сколько ходила она, разыскивая его во время загулов, даже на Хильгиндинский аршан ездила, дура, уговаривать... И муж он никудышный, а отец — тем более.

— Не нужен ты нам, Дондок. Ни мне, ни ребенку. И держись от нас подальше. Видеть тебя больше не хочу!

— Вы к тете Балмацу не приставайте! — сердито предупреждает Санджи.

— Что?.. Балмацу — тетя? Ух, какая у тебя хорошая тетя! Ха-ха-ха! — раскачиваясь взад-вперед, Дондок фальшиво смеется.

— Я Санджи за родного брата считаю,— сверкнула глазами Балмацу.

— Ха!.. Родня, значит? А может, вы еще ближе родня, чем тетя с племянником или брат с сестрой?

— Не валяй дурака, Дондок,— устало произносит Балмацу.— И не меряй людей по себе.

Санджи придержал коня, положил тяжелую руку на плечо Дондока.

— Ведите себя прилично. А то я вас высажу. Возьму и вышвырну.

— Чего болтает этот калмык? — распетушился было Дондок.— Я тебе...

На большее его не хватило — струсил. Представил, что этот сильный парень запросто ссадит и оставит одного посреди степи,— примолк, и Балмацу пожалела, заступилась.

— Ладно, оставь его, Санджи. Скоро доедем. Давай-ка у Эрдынеевых остановимся, отдохнем. Ты ведь к ним собирался?

Санджи свернул к показавшимся слева трем юртам табунщиков.

Нет ничего для степняка дороже коня.

Как величайшая драгоценность, воспет он в песнях народных. Легенды сложены о конях.

Табуны — украшение степей. Рождаются и вырастают в степных табунах скакуны для легендарных баторов-богатырей, резвые кони, первыми мчащиеся на больших скачках, и крепкие, выносливые рабочие лошади, без которых тоже не обойтись.

Как и столетия назад, пасутся в степях круглый год табуны. Едят самые сочные травы, пьют самую чистую воду кони. Нет умнее и красивее животных!

Диковатые нравом, с гордыми головами, пышными гривами и хвостами, бьют о землю копытами, подрагивают крупами гнедые красавцы, настороженные, готовые мгновенно умчаться в бешеной скачке в открытую степь — потревожь их только. Не вдруг подойдешь к таким коням, будь ты и смелый человек. Посмотри, полюбуйся на них: то сгрудятся тесно они и заливисто ржут, то не поладят между собой, грызутся, поднимаются на дыбы, ударяют друг друга копытами...

Хангильские кони — славные кони. Выращивают их опытные табунщики, уважаемые в колхозе люди. Все они настоящие буряты, из тех, кто трех лет от роду уже крепко сидит в седле, семи лет завоевывает призы на скачках, а в восемнадцать укрощает диких трехлеток.

Вот они, хозяева табунов,— Эрдэни Намсараев, Бато Боролдуев, Дугар Цыдыпов — в коротких легких полушубках, с уздечками в руках и укрюками-ургами у поясов стоят возле юрт, всматриваются, кто это к ним пожаловал. Крепкие, закаленные мужчины. Им и мороз нипочем.

Приветливо встретили Балмацу с ребенком, отвели в тепло. На Дондока-брехуна и не посмотрели. Парню-калмыку обрадовались.

— Амар сайн, Санджи!

— Мы тебя заждались. Думали — не приедешь.

— Ну, выбирай любого коня!

— Амар сайн, друзья! — здоровается Санджи.

С малых лет мечтал он о быстрых, как ветер, конях. Каждый мужчина — если он настоящий мужчина — должен за свою жизнь укротить хотя бы одного скакуна. А Санджи считал себя настоящим мужчиной.

— Давай, брат Санджи, покажи свою удаль! — похлопал его по плечу старший табунщик Эрдэни.

— А ну как свалюсь? — смеется Санджи.

— Ничего! — успокоил его Бато.— Если наездник падает, конь свою гриву подстилает. А молодому парню раз или два с коня упасть даже полезно.

— Ну что ж, попробую...

— Вот тебе сбруя. Ургу держи. Бери седло, уздечку. А вот мой скакун. Лови любого неука,— сказал Дугар.

Оседлал Санджи коня, вскочил в седло, направился к табуну. Хороший скакун у Дугара. Как в сказках говорится, мчит «чуть пониже синеющего неба, чуть повыше зеленеющей травою земли». Умный скакун, специально

обучен дикарей-неуков ловить. Наездник, правда, оказался совсем неопытный, пришлось скакуну с ним помучиться, пока заарканили серого в крупных пятнах-яблоках жеребчика.

Однако поймать коня-дикаря — невелика хитрость. С этого только все и начинается.

Санджи пригнал Серко к коновязи, привязал его. Оттянув за уши непокорную голову коня вниз, взнуздал его, спутал ему ноги. Табунщики стояли рядом с непроницаемыми лицами. Ни один слова не проронил, совета не подал, руки не протянул, чтобы помочь. Не упрекнули, не пошутили, не обидели ехидным словечком табунщики парня, хоть и был он неловок, нерасторопен, неуклюж. За то время, что Санджи треножил коня, любой из табунщиков управился бы с несколькими. В том ли дело? Сейчас на глазах у них рождался мужчина.

Еще больше пришлось повозиться Санджи с седлом. Серко, словно обезумев, тряс головой, выгибал шею, фыркал, раздувая снег, разбивал копытами мерзлую землю, не давался. Негромко уговаривая, успокаивая коня, Санджи пытался подойти к нему поближе, осторожно коснуться его трепещущего тела. Еще пуще взбеленился дикарь. Парень даже испугался — не повредил бы себя молодой конь. Набрался терпения. Снова и снова, закусив губу, пытается приблизиться к непокорному жеребцу. Удача! Седло наброшено. Но что вытворяет теперь Серко! Как только ни старается он сбросить с себя ярмо.

Улучив момент, Санджи крепко сжал повод, кинул ногу в стремя и вскочил в седло. Конь от неожиданности вздрогнул, замер на мгновение, но тут же, очнувшись от оцепенения, начал немыслимый бешеный танец, стремясь во что бы то ни стало сбросить со спины всадника.

Как бы не так! Санджи словно прикипел к седлу, крепко сжал ногами ребра коня, чуть пригнулся вперед, схватился одной рукой за луку: не сшибешь. Он тянет изо всех сил узду, чтобы Серко не согнул шею, направляет его в глубокий снег. Настолько увлекся, что не заметил, как жеребчик изловчился долбануть его копытом по локтю. Острая боль резанула так, что в глазах потемнело. А своего все же добился — загнал в сугроб дикаря чуть не по колено. Ну, обрадовался, теперь все. Однако молодой скакун оказался посильнее: подпрыгнул, сделал свечку, присел на задние ноги...

Локоть будто выламывает кто, так его дерет нестерпимо. На секунду бы расслабиться, может, отпустит боль, да нельзя. Конь злобится, рвется вперед, пятится, скачет, того гляди сбросит со спины. Земля под ногами вертится, крутится, раскачивается...

«Еще немного. Еще маленько. Еще...» — мысленно приказывает себе Санджи.

Боли он уже не чувствует. Такое ощущение, будто у него вообще нет руки. Совсем. Но поводья так же туго натянуты.

«Все!» — мелькнуло в голове.

К счастью, в тот самый миг и конь присмирел, сдался. Весь мокрый, словно только что реку переплыл, морда в мыле, из ноздрей пузырится розовая пена.

Санджи перехватывает поводья. Ушибленная рука падает плетью. Э-э, пустяки! Подумаешь — руку зашиб. Он обломал скакуна! Подчинил его своей воле. Теперь в хангильском табуне есть у Санджи свой конь. Народ так и будет звать этого коня — Санджиев Серко. А ездить на нем будет, конечно, маленький тезка, сын Балмацу.

Из дальней юрты кто-то вышел и неторопливо направился к нему. Остановился поодаль, помахал рукой, позвал хриплым голосом:

— Эй! Давай сюда!

Дондок, оказывается.

Санджи половчее уселся в седле, завернул круто коня и чуть не сбил Дондока с ног.

— Вот черт дикий... Чего ты звал?

— Тише! — попятился Дондок.— На чьем это ты коне гарцуешь?

— Сам объездил,— небрежно бросил Санджи, хотя ему хотелось орать об этом во все горло.

Дондок уставился красными от хмеля глазами.

— Ты? Не болтай зря.

Серко перебирал тонкими дрожащими ногами, безропотно подчиняясь всаднику. Только глазами косил.

— В Хангиле родился один батор, а в табуне появился один скакун. Санджиев Серко будут звать коня...— И пустил усмиренного неука к юртам.

— Подожди,— кричал ему вслед Дондок.— Я в бедственном положении. По пьянке, понимаешь, к Балмацу приставал, скандалил, болтал что-то... Балмацу, пони-

маешь, взяла ребенка и уехала в Хулэрэгту. Бросила меня тут. Отдай мне коня. Я ее догоню.

— Чего захотел! Специально для этого я Серко приручал, да? Этого коня, если хочешь знать, я Балмацу подарю.

— Хватит! — аж посерел от злости Дондок.— Ты кто такой, чтобы моей жене подарки делать? Я — ее муж. Понял. Слышал ты когда-нибудь про Бабуева Дондока?

— Не приходилось. Про Голого Дондока слышал. Про Бабу-Дондока тоже слышал. Еще про Шеврового Дондока люди говорили. А Бабуева не знаю...

— Бр-ррось!

— Ты сам перестань быть паразитом. Не позорь своих земляков.

— Я на тебя найду управу. Когда-нибудь со мной встретишься.

— Вряд ли... Я, конечно, очень сожалею, но мы с тобой не увидимся. Я скоро домой уезжаю. Совсем. Если хочешь, давай сейчас поговорим.

Серко, повинуясь всаднику, кружил вокруг Дондока, не давая ему и шагу ступить.

— Я пошутил,— сдался Дондок.— Мы же мужчины. Как-нибудь поймем друг друга. Ты из каких краев, говоришь?

— Сам знаешь: из Калмыкии.

— Далекий край... А для меня хватит места на вашей земле, как думаешь?

— Нет.

— Ну и черт с ним! Никто к тебе и не собирается. Ты не считай, что мне и деваться некуда...

— Санджи-иии! — в один голос громко позвали табунщики.

— Сейчас! — отозвался калмык и пустил Серко крупной рысью.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Чему быть, того не миновать.

Судили, рядили в правлении, пришли к одному выводу: нельзя больше оставлять Цынгуева бригадиром. Так и постановили. А сообщить о решении правления провести в первой чабанской бригаде собрание поручили Лидии Васильевне Демидовой, парторгу.

Что говорить,— без слов понятно, какое это было собрание. Лишнего о Шойдоке никто не сказал, но и того, что следовало, о чем никак нельзя было промолчать, что безусловно заслужил бригадир, хватило бы на троих. Еще немного стеснялись чабаны Лидии Васильевны, жалели ее. Не будь парторга на собрании, Шойдоку досталось бы куда крепче.

Всем все было ясно. Один «виновник торжества» ничего не понял. Обиделся, рассердился.

— Кто вам дал право вмешиваться в мои дела? — заявил.— Я ваши слова даже за собачий лай не считаю. Плевать я на вас хотел!

И хлопнул дверью.

Признаться, Лидия Васильевна в глубине души еще на что-то надеялась. Когда минувшей зимой Оюна отказалась от почетного звания, когда ребята с «летучки» жаловались на Шойдока, даже когда по дороге из аймачного центра Догдомэ высказался яснее ясного, Демидова все еще пыталась найти хоть какое-нибудь оправдание мужу. Собрание в бригаде и, особенно, дикая выходка Цынгуева не оставили у нее никаких сомнений.

И вот — все. Конец.

Когда чабаны разошлись, Лидия Васильевна попросила задержаться Дугаржаба.

— Знаешь, о чем я хочу говорить с тобой?

— Догадываюсь. Цырен Догдомович уже имел со мной разговор. Не пойду я на эту должность.

— Испугался?

— Да нет...— уклонился Дугаржаб от объяснений.

— И все-таки тебе придется согласиться. Ты хорошо знаешь условия работы, людей.

— Так-то оно так... Но я не смогу, не сумею...

— Я тебя давно знаю. В школе ты старостой был, в пионерлагере — вожатым. В армии служил. Ты просто скромничаешь! Смотри, какая у тебя биография! — пошутила Демидова.

— Понимаете: бригадиром...

Демидова перебила:

— Все понимаю. Должность эта нелегкая. Но ведь другие люди справляются. Чем ты хуже?

Дугаржаб задумался.

— А если подождать?

— Ты что, не был на собрании? Не слышал, как говорили? Ты обязан завтра же принять дела. Прямо с

утра,— не допускающим возражений тоном заявила Лидия Васильевна.

Дугаржаб сделал несколько тяжелых шагов, подошел к столу, за которым сидела Демидова, оперся о него.

— И все же я откажусь.

Демидова сдвинула брови, посмотрела на него внимательно усталыми глазами.

— Подумай. Утром снова поговорим. Ты обязан дать согласие. До свиданья.

...Она долго стояла у окна, вглядываясь в кромешную тьму. Из немногих освещенных окон падали на снег желтые пятна. Тускло светили фонари у кошары. Вспыхивали огоньки папирос, выхватывая из мглы на какой-то миг лица чабанов.

Лидия Васильевна скорее угадала, чем услышала, когда отворилась дверь. А уж грузные, гулкие шаги мужа она бы ни с чьими другими не спутала.

Шапка у Цынгуева сбилась на затылок, пальто в снегу. Где-то успел хватить уже, но пьяным не был.

— Ну, женушка-парторг, не ожидал от тебя...— неприятно резко прозвучал его голос.

— Как тебе не стыдно!

— А что? На радостях... Как-никак ты хорошее собрание провела. Наслушался досыта,— он провел ребром ладони по горлу.

Как был — в нерасстегнутом пальто, в шапке,— развалился на скамейке, зацепив за край стола.

— Ты, пожалуйста, веди себя поаккуратнее.— Лидия Васильевна подобрала разлетевшиеся по полу карандаши, подняла упавший стакан.

Не хватало еще, чтобы Шойдок расскандалился тут. Дома ссоры надоели, а уж на людях затеять — хуже некуда.

Вид у Цынгуева был весьма свирепый, и, казалось, вот-вот взорвется он и такое натворит... А он вдруг опустил голову, зажал ее ладонями и заговорил тихо-тихо, словно жалуясь:

— Лида, ты же меня знаешь... Разве я не умею работать? Разве плохо работал! Всю жизнь... А теперь?

— Знаю. Кому, как не мне, знать. А что сняли — сам виноват. Раньше думать надо было. Что, спрашиваешь, теперь будет? В рядовых походишь. Что же еще...

— Рядовым!.. Рано еще меня в рядовые списывать. Ты, наверное, этого хотела? Ну, радуйся!..

— Почему же я? Не я — правление решало. А на собрании сам был. Захотел бы — услышал. Все тебе в глаза сказали.

Шойдок сбросил на скамейку шапку, сжал кулаки.

— Ну за что?!

— Объяснить? Давай еще раз напомню. Последнее время ты одну работу исправно выполнял — пробки из бутылок вышибал. Ничего ты, видно, не понял...

— Было... Согласен — было. Но я же могу бросить. Честное слово, могу!

— А почему не бросил? Я тебя сколько раз просила?

— Нет, ты мне скажи! — в голосе его не было пьяного куража, он, будто только очнувшись от какого-то кошмара, хотел допытаться, понять, что с ним такое приключилось.— Неужели ты — жена! — не могла за меня заступиться?

— Что я твоя жена — верно. А кроме того, я еще член партии, как и ты, между прочим...

— Но ты — парторг. Тебя бы послушали.

— Шойдок, ты всерьез? Тебе мало на правлении, на партийных собраниях говорили? Мы с тобой мало ругались? Все по одной причине... Поздно ты спохватился. Сейчас, даже если бы очень хотела тебе помочь,— не могу...

— Значит, все? — Цынгуев снова подпер голову кулаками, скрыв лицо. Лидии Васильевне показалось, что он плачет. Ей стало жаль его.

— От тебя зависит. Сможешь исправиться, снова люди тебе поверят.

— Жди!..

— Знаешь что, пойдем-ка спать. Беликтуевы звали.

— У Беликтуевых ночевать не буду.

Тут с ним, пожалуй, можно было согласиться: неловко идти на ночлег в дом Дугаржаба, который не сегодня-завтра сменит его на бригадирском посту.

— Хорошо. Тогда поезжай домой. Побудешь с ребятами день-другой, а потом вернешься сдавать дела.

Шойдок так и сидел, раскачиваясь взад-вперед, не поднимая головы. Тяжело вздохнул. Встал.

— Ладно.

Он вышел, и Лидия Васильевна, поглядев ему вслед, села на скамейку, на то самое место, где только что сидел Шойдок, ее муж. У нее было такое чувство, будто она сейчас осталась без одного из своих учеников, на

которого потратила столько сил, стараний, сердца, а, он, неблагодарный, оставил школу... Правда, этому ее ученику — за пятьдесят. Будет ли он еще учиться? Научится ли чему доброму? Она казнила себя, пыталась припомнить, где, когда, что упустила, недоглядела, что будет теперь с ним и с семьей? На глаза навернулись слезы.

В дверь заглянула Роза. Она задержалась на пороге, не решаясь пройти, но, увидев плачущую Лидию Васильевну, подбежала к ней, обняла за плечи, спросила испуганно:

— Что с вами?

— Ничего, ничего...— Лидия Васильевна отвернулась, вытерла глаза.

— Может, чем помочь?

— В таких делах, девочка, помощников не бывает.

— Извините... Я хотела спросить, вы не поедете?

— Нет, я остаюсь. А Шойдока Цынгуевича возьми с собой. Ему лучше уехать.

— Хорошо.

— Вот еще что, Роза. У меня к тебе просьба. Вы с Дугаржабом друзья. Ты его сможешь уговорить. Давай вместе постараемся. Надо, чтобы он согласился быть бригадиром.

— Попробую,— смутилась девушка.

— И еще. Утром не забудь забежать к Булату. Узнай, как тетушка Бальжима. И о собрании ему расскажи.

— Обязательно.

— Ну, вам пора. Поезжай.

Негромко затарахтел мотор «летучки», но машина не трогалась с места. Вот двигатель заглох... Что там случилось? Уж не Шойдок ли?

Вошел Дугаржаб. Прямо с порога выпалил:

— Я согласен, Лидия Васильевна.

— Очень рада за тебя. Ты будешь хорошим бригадиром.

— Постараюсь. А вы мне поможете?

— Конечно.

— Идите ночевать к нам. Старики ждут. А я с Розой в Хангил поеду. Утром зайду в правление. К обеду вернусь.

Скрипнув протезом, он вышел. Сразу завелся мотор,

зажглись фары, распоров темноту за окном. «Летучка» тронулась.

Демидова набросила на плечи шубу, вышла на улицу и долго смотрела вслед убегающей машине. Подумала о Дугаржабе и Розе. Любят... Скоро у них семья будет. Лишь бы все хорошо сложилось. Прошептала:

— Счастливо вам жить...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Снежная выдалась зима. Сугробы намело вровень с заборами, под самые крыши домов.

Бальжима-абгай изо всех сил старалась держать в порядке двор. Каждое утро разметала снег, расчищала дорожку к дому — не привыкла сидеть без дела. А последние дни не может ни за что взяться. Слабость какая-то навалилась, ноги не держат. Выйдет Бальжима-абгай во двор, сядет возле дома и сидит часами. На чистом воздухе вроде легче дышится, просторнее становится в груди. В звонкой зимней тишине хорошо слышно, как где-то пилят дрова, кто-то задает корм свиньям, откуда-то кричат «стой!», «хэшэ!» — это доят коров...

Слушает тетушка Бальжима, вздыхает. Нет у нее больше коровы. И овечек тоже нет. Подумает, погорюет и успокоится: был бы сейчас у нее скот, что с ним делать? Ходить за ним совсем невмочь.

Вспомнит Бальжима, как в дацан ездила, богам-бурханам молилась, лекарства оттуда всякие привезла. Пьет она эти лекарства, а плохо что-то помогает, не возвращаются силы. Голова все время болит, знобит часто, руки-ноги будто деревянные. И одежда — та же старая меховая шуба, та же шаль, те же унты — словно вдвое тяжелее. Лицо бледно-серое, как пеплом присыпанное, а сама — хоть верь, хоть не верь — меньше ростом стала.

Проглядел Булат, когда мать занемогла. Слишком поздно понял он, что и к ламам-то старуха отправилась неспроста — совсем плохо ей стало, вот и отправилась, а сыновьям признаться не хотела. С каждым днем матери становилось все хуже и хуже. Теперь бы и поехать ей, да не в дацан, а в аймачную больницу. Булат по-всякому ее уговаривал. Бальжима ни в какую. Пройдет, говорит, полегчает — тогда уж... А пройдет ли?

Растерялись братья. Все дома не так, как прежде.

Никаких у них забот не было, ни о чем думать не приходилось — все мать сделает, все приготовит, приберет. А тут прибежит Ким из школы, Булат из мастерских заскочит — одно и то же: сидит Бальжима-абгай во дворе, охает потихонечку. Изба не топлена, обед не сварен.

Не раз в эти дни приходили Булату на память слова Оюны. А он еще обижался на нее. Оюна — настоящий друг. Она ему прямо в глаза сказала, что плохо он относится к матери: не о ней, о себе думал, когда скот отдавал. Как теперь исправить это, что сделать, только бы матери стало лучше?..

И Ким переменился. То, бывало, его в дом не загонишь, а тут и дров наготовит, и воду принесет, и печь растопит, и пол подметет. Сядет уроки делать, а сам поглядывает: как там мать, что с нею. Увидит, что прилегла она,— сядет рядышком, голову ей гладит.

...Они почти одновременно появились: Ким из школы, а Булат, встревоженный состоянием матери, отпросился с работы. Сели рядом с Бальжимой на крыльце, стали рассказывать ей, как день провели.

Бывало, вот так же вечерами соберутся вместе, и Бальжима, хотя день-деньской по двору, по хозяйству крутилась, все деревенские новости перескажет. Сегодня она молчит, лишь постанывает, покряхтывает иногда. Чем ей поделиться с сыновьями? Сказать, что плохо ей — хуже некуда,— только детей напугать. Матери — всегда матери, о себе ни за что не побеспокоятся.

— Пойдем в избу, мама,— предложил Булат.— Холодно.

Бальжима отказалась. Лучше ей, сказала, на улице. Легче. Ей и в самом деле легче стало рядом с мальчишками. Булат хоть и большой уже, а все равно для нее — мальчишка.

— Может, съездим в больницу? — снова попытался Булат уговорить мать.— Возьмем машину и съездим. Врачи тебя посмотрят, хорошие лекарства дадут. Не такие, как в дацане... Ты обязательно поправишься. Поедем?

Бальжима закрыла глаза, покачала головой. Нет, ни к чему.

— Тогда тетю Дусю позовем?

И снова отказалась старая Бальжима. Она-то знала, что никакие врачи ей уже не помогут...

— А я ни за что шофером не буду,— вдруг выпалил

Ким.— Я буду на доктора учиться. Всем буду уколы делать, и люди никогда и ничем не заболеют, и будут жить по сто, даже по тысяче лет! И тебя вылечу.

Бальжима прижала его к себе слабой, непослушной рукой.

— Доо,— заговорила, вздохнув.— Раньше дети бедняков — откуда у них хорошая одежда — босиком до поздней осени ходили. И зимой скот пасли. А зимой в степи холодно... Я тогда еще до костей промерзла. Еще только колхоз у нас делали — большая засуха была. Мы поехали сено косить на далекую реку Амур. Малярией там заболели человек десять. Я тоже. Сколько дней в лихорадке пролежала... Эту болезнь до конца не вылечили, я думаю, яд от нее все равно остался. И в войну работали, голодные, холодные, больные. А кому что скажешь? Несколько раз за свою жизнь я тяжело болела, а все на ногах... Некогда болеть было.

Она виновато взглянула на старшего сына.

— В дацан поехала... Молебен отслужила, лекарства взяла, думала, поможет... Ну, ладно. Дело своей жизни я выполнила...

— Зря в дацан-то,— не желая обидеть мать, осторожно промолвил Булат.— Лучше ведь не стало...

— Ты не бойся, больше не поеду. Уже сил нет. Так что никто тебя ругать не будет.

— Я о вас беспокоюсь. Мне-то что: поругают и перестанут.

— Меня уже никому не вылечить,— убежденно и твердо произнесла Бальжима. Булат даже вздрогнул, услышав, как она это сказала.— Ни боги, ни врачи больше не помогут. Чтоб ни вас, ни людей не мучить, скорей бы в одну сторону повернуть... Уснуть и не проснуться. Ничего не зная, сразу в северной пади оказаться... Вы похороните меня по-хорошему. Не забудьте на сорок девятый день свечку поставить...

— О чем вы, мама! — воскликнул Булат и тут же ясно, отчетливо понял, что это не просто слова, что мать действительно может умереть, и что-то больно стиснуло ему горло.

Бальжима-абгай мудро, всезнающе посмотрела на него.

— Ты не думай, что я просто так болтаю. Кому мне все это сказать, как не тебе? Ты старший сын.

— Я понимаю...

— Что-то жарко стало,— она расстегнула верхнюю пуговицу шубы.

— Мама, не надо! Давайте пойдем домой.

Тетушка Бальжима отвела руку Булата, пристально, словно что-то высматривая, обвела взглядом горизонт.

— Еще немного посидим. Хочу дождаться восхода луны. Сегодня какое число по лунному календарю? Пятнадцатое, кажется!

Булат, не отвечая, снова осторожно потянул ее за рукав, и снова отстранилась Бальжима-абгай.

— Пойдемте,— попросил он.— Зачем вам луна? Все равно не увидите — все небо в тучах.

Небо и вправду заволокло целыми табунами туч. Потянул пеший ветерок, притащил с собой колючий холод. А старушка и не почувствовала стужи. Она вытерла пот со лба, заговорила, тяжело дыша:

— Вы не обижайтесь на меня, что я вас сильно ругала. Зря я вас никогда не ругала. Материнская ругань — детям поучение...

— Мы все понимаем,— старался успокоить ее Булат.— Нас, непутевых, еще больше надо было ругать. Правда, Ким?

— Ага,— охотно согласился младший братишка.— Мы еще лучше станем. Всю работу дома делать будем.

— Постарайтесь хорошо вести себя,— продолжала наказывать мать.— Ты, Булат, никого только не уговаривай, чтобы скот сдавали. Ладно, сынок?

Булат отвел глаза.

— Киму лучше жить в интернате,— торопливо наставляла Бальжима.

— Ура! — обрадованно закричал Ким.

Булат больно ущипнул его.

Мороз набирал силу. Должно быть, почувствовала его и разгоряченная Бальжима. Она вздрогнула, прижала руками воротник. Булат прильнул к ней, обнял ее, позвал:

— Пойдемте. Дома тепло.

— Правда, пойдем. Я уже замерз,— отозвался Ким.

— Еще немного посидим. Скоро появится луна. Послушайте, что я еще скажу. Такие, как ты, Булат, уже заводят семью. Я все хотела дождаться, попить чайку из рук невестки... Ой! — качнулась Бальжима.— Что с моей головой? Ом-ма-ни-пад...

Булат подхватил ее, совсем легкую.

— Ким! Беги к тете Дусе.

Тучи будто ждали этой минуты — расступились, разошлись. Рваные клочья их торопливо покидали небо. Над юго-западным холмом вылезла луна. На ее щеке показался зыбкий силуэт женщины с ведрами...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Белым-бела южная степь. Даже тальники и ерники с верхом завалило снегом — повырастали курганы-сугробы по всей ровной степи. Скирды соломы, стога сена, бурты кукурузного силоса — все покрыто толстым снежным одеялом.

Под навесом за кошарами в ряд выстроились тракторы, плуги, бороны, сеялки, косилки — вся-вся техника первой бригады, приведенная в готовность номер один. Надо будет завтра выезжать в поле — можно и завтра. Пожалуйста! Молодой бригадир сам технику любит и жалует, да и шефы у него добрые друзья. Справедливости ради надо сказать, однако, что заслуг тут больше, конечно, у Сергея Петровича Кузнецова и Догдомэ. Одним ребятам справиться с ремонтом всех машин было бы не под силу. Как говорил Сергей Петрович, график у них этой зимой — железный. И не только для первой бригады старались в колхозных мастерских, обо всех позаботились, так что по этой части Оюна к Булату больше претензий не имеет.

Ну, а порядок образцовый у Дугаржаба. И кошары в Беликтуевской бригаде лучше, чем у других, и этим чабаны-механизаторы никому не обязаны, сами старались. Длинные строения с низкими стенами — такие же, как и всюду. А островерхие двускатные крыши — новые. И внутри в кошарах — полная реконструкция: загородки, перегородки всякие, не сосчитать их. С южной стороны прорубили узкие окна, навесили три двери. Над оградами на столбах фонари. Тихо раскачивает их ветром.

С кошарами управились, можно сказать, впритык, точно к началу массового окота овец. Кампания эта, вообще не из легких, для бригады труднее трудной: без малого тысяче тулгушек ягниться впервые. За ними глаз да глаз. Нрав у овечек сильно переменился, диковатые какие-то они стали. Хоть и раздались, отяжелели у них животы, а резвости, прыти даже прибавилось. Поджи-

мая короткие хвостики, они рвутся за ограду, а когда им это не удается, роют передними ногами землю, волнуются, нервничают. Некоторые из них, объягнившись, тут же бросают своих малышей, не желают признавать их, а то сами насмерть испугаются, не понимая, что такое с ними происходит, что за создания появляются рядом с ними...

В эту пору чабанов не только механизаторами, просто чабанами-то никто не зовет. Все становятся сакманщиками. Что за слово такое — «сакманщик», откуда оно взялось, на каком языке, никто не знает. Наверное, точнее всего это будет овечья повитуха, что ли. Ни о чем другом в эти дни и ночи не болит голова у чабанов-акушеров. Знай поспевай принимать ягнят. А они, как горох, сыплются. Прием приплода в отарах хлопотнее самой тяжкой жатвы на полях. В сущности, это и есть жатва, сбор урожая. Но вся сложность тут в другом: принять молодняк — только начало дела. Надо весь его выходить, на ноги поставить.

Пока — не сглазить бы! — окот идет успешно, получили около трехсот ягнят, и все здоровенькие. Слабые, конечно, попадаются, но падежа — ни единого случая. А хлопот еще — начать да кончить, хотя все уже с ног сбились, забыли, когда последний раз выспались как следует, когда поели спокойно. Их же не просто принять надо, ягнят. И учти каждого, и проследи, чтобы ни с ним, ни с маткой не случилось бы, не дай бог, чего. Вот и возись еще с номерками, веревочками, сосками, бутылочками...

Дугаржаб, понятно, тоже здесь. Где еще быть бригадиру, как не на сакмане! Мучается парень. Никогда ему таким делом заниматься не приходилось. Он бы, пожалуй, согласился лучше в одиночку простой лопатой заново все канавы оросительной системы прокопать, чем сакманить. Попробовал бы кто-нибудь впервые угадать в отару, когда вовсю идет окот... Поскрипывая протезом, Дугаржаб мечется из одного конца кошары в другой, поит овец, дает им лизать соль, подбрасывает корм. Поддев вилами чуть не копну сена, разносит по кормушкам. Овцы кидаются со всех сторон, едва с ног не сбивают.

— Что за бестолочь! — сердится Дугаржаб.— Неужели подождать не можете? Никак вас, дурных, к порядку не приучишь!

И Оюна хлопочет тут же. В овчинной шубе, в остро-

верхой, как у деда, шапке. Лицо побурело от мороза и ветра — таким ли было оно летом! Ресницы посеребрил иней, глаза усталые. У нее своя забота: вовремя отделять овец, которые вот-вот должны объягниться, обеспечить им особый уход.

И Балмацу не уходит из овчарни. Ей бы со своим первенцем быть — полное право на это имеет, а она, едва вернулась, никаких уговоров не послушала, тут же, как и все, направилась на сакман. С маленьким Санджи ей определенно повезло: настоящий чабаненок, спокойный, все будто понимает. Плачет редко, когда любому, по его природе, нельзя не плакать, спит много, ест с аппетитом — сосет, сосет, пока не отвалится. А молока у Балмацу хватает — не одного такого славного обжору, как Санджи, смогла бы выкормить.

Объягнилась карнаухая Борбондой, та, которую Балмацу из своих в отару отдала. Утром еще объягнилась, а признавать свое детище не желает, близко к себе не подпускает даже.

— Хулай! — шумит Балмацу.— Сердца у тебя нет, Борбондой!

Кто ни появись в эти дни — приятно внимание. Вот приехала Лидия Васильевна, и вроде веселее стало, хотя ничего от ее появления не переменилось. Просто хорошему человеку всегда рады, а Лидии-багши, парторгу,— вдвойне.

Она бы все равно наведалась в бригаду, но после того собрания, когда Шойдока сняли, после тяжелого разговора с ним (а разговор оказался не последним: дня не проходит, чтобы снова и снова не заводил муж одно и то же — за что его так наказали, почему Лидия Васильевна не заступилась, не отстояла) не хотелось ей дома оставаться. Отзанимается в школе и выбирает себе маршрут подлиннее, чтобы к ночи только в Хангил вернуться. Позавчера, правда, весь день на центральной усадьбе провела — Бальжиму-абгай хоронили. Жаль было и ее, и двух парней, оставшихся без матери. Булат сильно горевал, никак не мог простить себе, что не сберег мать, не успел отплатить ей добром, пока жива была. И Ким слезами заливался. Но ребенок и есть ребенок. Лидия Васильевна тут же определила его в интернат, и Ким ровно всегда там и был.

Ехала в южную степь, в бывшую бригаду мужа,— тревожилась. Как-то встретят ее там? Что ни говори, а

Шойдоку она самый близкий человек... Напрасно опасалась. И порадовалась тому, как спокойно, без обычного крика и шума, какой тут бывал прежде, заняты чабаны хлопотным делом. А еще радостнее было увидеть в бригаде старого Сокто. Может, конечно, и пожар был тому причиной — все же дотла сгорело, но старик был способен выдерживать характер. Значит, пересилила и обиду на внучку и все, что было ему не по сердцу, чабанская натура. Со стороны поглядеть, будто Сокто-ахай так только присутствует — ходит, смотрит. Сдал-то он крепко после пожара, похудел, морщин стало на лице больше. И одет поплоше — сгорело все добро,— в латаную суконную накидку; старенькая шапка-юдэн, разношенные унты на нем. К бороденке льдинки пристали, качаются, когда он табак жует. А дел у Сокто невпроворот. Молодежь хоть и справляется, неплохо справляется, но за всем разве доглядит? Вот старик пощупал, помял в пальцах катышки овечьего помета — не запоносили бы матки. С этим, кажется, ладно. Вот подстилочный навоз проверил. Это дело тонкое. На всякую погоду по-разному разбрасывать его по кошарам надо, особенно во время окота. К теплу — совсем немножко, в прохладную погоду — поплотнее, а уж на мороз — толстым слоем. И держать навоз надо всегда сухим, беречь его. Это и топливо, и удобрение, и лучшая подстилка в кошарах, а новорожденным ягнятам — колыбель.

Повстречались Сокто-ахай с Лидией Васильевной, присели потолковать. Старик свой первый вопрос о сыне, конечно. Что на это ответишь? Утешила, как могла, Лидия-багши чабана. Не лишать же его надежды. Оюну похвалила:

— Хорошей чабанкой становится ваша внучка.

— Лучше, чем ожидал,— добреет старик.

— Цырен Догдомович тоже доволен ее работой.

— Цырен, должно, знает...— И тут же приглашает парторга.— Время ягнят кормить. Надо бы поглядеть. Пойдем?

— Конечно, Сокто-ахай!

Дугаржаба-бригадира они обнаруживают в одном из загонов сидящим на корточках с ягненком в руках. Он безуспешно пытается подпустить его к шустрой карнаухой овце.

— Никак не хочет признавать! Балмацу пошла сы-

на кормить. Сама билась-билась, и у меня с этой Борбондой ничего не получается.

Под мышкой у Дугаржаба еще три или четыре ягненка да за пазухой один.

— Мэндэ, бригадир,— здоровается Сокто.

— Мэндэ, Сокто-ахай!

— Ты чего столько ягнят собрал? Чего с ними делать хочешь?

— Борбондой своего не берет, может, какого-нибудь другого признает. Я ей на выбор принес. Корми любого! Ни на кого смотреть не хочет!..

Старик между делом успел уже оглядеть, пощупать с десяток ягнят, поучает парня:

— Видишь; ей своего не надо, а много их увидит — еще хуже будет. Уноси обратно.

Дугаржаб, теряя терпение, выговаривает овце:

— Ну что мне с тобой делать? Что ты за скотина такая?!

— Не говори так,— останавливает его Сокто.— Нельзя овечек ругать. Наказывать тоже нельзя. Силой нельзя.

— А чего они? — сердится бригадир.— Эта ревет, и другие тоже. Кто им плохое делает?

— На волю просятся,— морщинится в улыбке дед. Побудут немного вместе и привыкнут.

— Как же, привыкнут! Эта голодом заморит ягненка.

Подошла Оюна.

— Дай-ка я попробую.

Взяла у Дугаржаба малыша, попыталась сама приласкать Борбондой, уговорить ее — никакого толку! Стыдно Оюне, что не может с овцой справиться. А тут еще дед рядом стоит. Совсем отчаялась.

— Что делать, дедушка?

— Почему молоком другой овцы не напоишь?

— У маток и так молока мало для своих. Не досыта кормят, я смотрела. А у кого лишнее, так я думаю, может, слабеньким надо будет, больным...

— Правильно.

— Коровье молоко я пока боюсь давать.

— Тоже верно.

— Как же быть?

— Надо, чтобы матка сама приняла.

Это Оюне и самой понятно. А как заставить?

Вернулась Балмацу. Увидела, что столько народу

возле Борбондой собралось, ни слова не говоря, схватила овцу, дала ей ягненка понюхать. Овца вырывается, брыкается. Балмацу связала ей ноги, стала тыкать мордочку ягненка в набухшее молоком вымя матки. Не получается. Взмолилась:

— Сокто-ахай, помогите!

Старик, едва появилась Балмацу, отошел в сторонку, не в силах скрыть неприязнь к чабанке, так перевернувшей за этот год всю его жизнь. А стоило ей окликнуть его, обо всем забыл.

— Что говоришь, дочка? А-а... Все та же карнаухая. Трудно с ней справиться. Она привыкла своих ягнят бросать.

Балмацу удивленно смотрит на Сокто: в своем ли дед уме?

— Да она ни разу не ягнилась!

Откуда ей было знать про выкормленных стариком близнецов. Сокто-ахай понял это и не стал припоминать.

— Дугаржабу говорил и тебе скажу: овцы своих хозяев знают. Они умные, все понимают. Ласку любят...

— Ха!.. Эту Борбондой я из своих рук кормила. Сколько ее ласкала-гладила, сколько сосок ей давала, когда маленькая была. Ни с одной овечкой — врать не стану — никогда столько не возилась. Сами знаете... У-у! — покосилась на строптивую овцу.— Что за мать? Родное дите ненавидит. С самого утра ягненочек голодный...

— Невезучий, значит,— только и сказал Сокто.

Балмацу держала в широких, крупных ладонях ягненка. Его глазенки начали тускнеть, тельце обмякло.

Борбондой воспользовалась тем, что чабанка отвлеклась от нее, выпуталась, попятилась к загородке, уперлась в нее и неожиданно припустила по загону. Хотела перепрыгнуть — не смогла, сунула голову в щель — застряла, забилась. Сокто вытащил ее.

— Стой, хулай! Стой, глупенькая... Тело от тела твоего, мясо от мяса твоего, кровь от крови твоей не признаешь. Зачем хочешь осиротить свое дитя? Кто будет сосать твое вымя — оно молоком сочится. Кто будет играть возле тебя? Кто твой род продолжит? — гладит Сокто овцу, разговаривает с ней серьезно так.— Прими, прими ягненочка. Песню когда-то таким, как ты, пели. «Тээгэ» — песня называется. Помню, помогало. Я уже эту песню не знаю, а молодым — откуда?

— Тээгэ, говорите, Сокто-ахай? Слышала я эту песню. Вон ее когда поют! Ну-ка, ну-ка... Сейчас...

Лидия Васильевна присела перед овцой. Неуверенно, тихо запела:

Зеленая трава народится,
На деревьях распустится листва...

Голос ее выровнялся, зазвучал чуть громче, словно пела она над колыбелью:

Зеленая трава народится,
На деревьях распустится листва,
Кукушка-птица запоет.
Вымя твое набухнет,
Кто же
его
будет сосать?
Тээгэ,
тээгэ,
тээгэ!

Борбондой — удивительное дело! — притихла, успокоилась, стала неподвижно, точно слушала песню. Вот она шагнула к ягненку, обнюхала его со всех сторон, заблеяла, облизала малыша и подпустила его к соскам.

— Тээгэ, тээгэ...— повторяла вслед за Лидией Васильевной Балмацу.

Старый Сокто, бросив жевать табак, стоял задумчивый у ограды. Старая чабанская песня всю душу ему перевернула. «Что ж ты, доживший до седых волос, как неразумная овца ведешь себя? — размышлял Сокто-ахай.— Внучку оставил, домашний очаг разрушаешь... Пора возвращаться к Оюне, к отаре, в бригаду».

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Погода в эту пору меняется несколько раз на дню. То ясно, солнечно — облачку взяться неоткуда, и вдруг тень набежит, как из-под земли. А уж тут жди поземки. Умеет она момент выбирать. Старается, разравнивает натоптанные по степи тропинки, заметает их, низко клонит редкую ветошь-траву, упрямо торчащую под снежным покровом. Подует, побалует пеший ветерок и скроется, будто его и не было. Опять светит с бледно-голубого неба нежаркое зимнее солнце.

Началось так же, с поземки. Только оказалась она на редкость злой. Бросалась в разные стороны, швыряла полными пригоршнями снег, визгливо, как пьяная старуха, подвывала, пыталась схватиться с ленивым, но сильным верховым ветром, но уступила ему, сдалась, чуть не содрав напоследок все снежное одеяло с земли, так крепко цеплялась за траву и кусты.

Невидные тучи — рвань одна — просыпали запасенный впрок снежок, легкий, сухой. Он летел над степью, не опускаясь, почти невесомый, пока не столкнулся лоб в лоб с примчавшимся откуда-то липким и мокрым, противным пуржливым снегом. И вмиг все заволокло, закружило, перемешало. Четыре стороны, восемь краев — не разберешь, где они? Куда ни глянь — темно, сурово, мрачно. Не поймешь — утро ли, вечер ли, ночь? Кажется, весь мир перевернулся. Тут уж гадать нечего: шурган налетел, пурга. И никто не скажет, сколько продлится, когда кончится. Шурган сразу, не успеет появиться, становится хозяином степи, своенравным, скандальным, безжалостным. Что хочет, то и делает!

Ох и лют шурган! Будто все самые холодные ветры, какие только существуют на свете, собрались вместе и дуют что есть мочи. Ему все по плечу, шургану. Смешал вместе снег, пыль, песок и перетрясает их себе на потеху. То взобьет, как пуховую перину, то жмет к земле, прессует в тугой, жесткий наст, то, вконец рассвирепев, разбрасывает, расшвыривает — нате, берите, не жалко! Гром стоит, грохот, свист. То чьи-то крики слышатся, то будто взрыв раздастся...

Ничто не остановит шурган на пути. Все сметет, разрушит, засыплет, завалит, неистовый. Нет для него ни межи, ни границы.

Страшно в степи, когда разойдется, разгуляется шурган-пурга.

...Всю зиму пасутся овцы в Агинских степях. Крепнут телом, обрастают густой шерстью, набираются силы. На хоженых-перехоженых, истоптанных пастбищах находят себе корм, ловко разрывая передними ногами крепкий наст. Утоляют жажду снегом, лижут заледенелый солонец. Ничего им не делается — выносливые!

Ни за что не узнать в этой отаре тех заморенных тулгушек, что взяла Оюна. Выходила она овечек. Вон

они какие ладные, рослые, в двух теплых шубах из жира и шерсти.

Далеко убрели они за день от кошар. Пора уже и назад возвращаться. Пора...

А ветер налетел внезапно. Овцы шли навстречу ему. Шли, склонив головы, шли по снегу, шли тем самым путем, что вел их к стоянке, к теплу. Сильнее становился ветер, глубже сугробы, в которых вязли овечьи ноги, гуще валил снег, забеливая овечьи спины, делая животных неуклюжими, тяжелыми, и все труднее было идти отаре, а путь почти не сокращался.

Когда баламут-шурган смешал небо и землю, отара стала рассыпаться. Куда подует ветер, туда и овцы бегут. А ветер — со всех сторон, во все стороны... Останавливаются овцы, пятятся, набегают друг на друга. Шурган — плохой поводырь. Разбредается отара куда попало, напуганная, сбитая с толку. Трудно теперь собрать овец. Мчат они напропалую, не сворачивая, быстро выбиваясь из сил. Вот уже и дышат тяжело, ослабли.

Оюна спешит за отарой. Пешком. Конь ее споткнулся о телеграфные провода, упавшие на землю вместе с вырванными ветром столбами. Замешкалась чабанка, упустила поводья, потеряла коня в снежной круговерти.

Девушка завязала островерхую бурятскую шапку, подоткнула полы длинной овчинной шубы. В другое время ее бы, такую толстую, неповоротливую, подружки на смех подняли. И сама бы посмеялась. Теперь ей не до смеха. Снег лепит глаза, лезет в рот, тает на щеках и лбу, течет холодными струйками, и Оюна только успевает прикладывать рукава к лицу.

Устала... Ноги — не оторвать, не поднять. Хоть бы полминутки отдохнуть, дух перевести... Нельзя. Чуть расслабься, и конец. На сон потянуло — совсем худо. Глаза слипаются, зевота одолевает, дышать трудно. Случалось Оюне на ходу спать. Так то летом. Сейчас во что бы то ни стало надо переломить обволакивающую дремоту, стряхнуть с себя одурь. А перед глазами мельтешит какая-то чертовщина.

Ни с того ни с сего припомнились слова, которые заставляла давным-давно выучить бабушка. Оюна машинально начала шептать их в такт шагам и вдруг сообразила: это же молитва! Даже рассердилась на себя. Так рассердилась, что и сон прогнала. Идти, однако, не стало легче.

Стиснув зубы, одолевая сугробы, ветер, усталость, Оюна шла за отарой. Опять что-то навернулось на губы. Это, пожалуй, больше подходит, чем бабушкина молитва: «лучше кости поломать, чем честь потерять».

Наверно, силы пришли к ней, когда она совсем перестала думать о себе. Так же тяжело давался каждый шаг, так же сбивал с ног ветер, и все-таки она опередила отару! Значит, не все еще было потеряно. Оюна бегала перед овцами, кричала, размахивала руками, падала, вставала, снова кидалась то влево, то вправо, пока не свалилась прямо под ноги овец.

Должно быть, совсем недолго лежала она, обхватив распростертыми руками холодную землю. Может, это был всего лишь миг. Оюне казалось, что прошла вечность. Избитая копытами овец, продрогшая, она поднялась. Отара остановилась!

Что из того, что порвалась на спине шуба и в дыру набился снег, обжигая противной леденящей сыростью. Варежка с левой руки потерялась, и пальцы, как чужие,— тоже не беда. Отара остановилась!

Оюна ощупала лицо — не то слезы, не то пот, не то кровь.

Нервы все-таки сдали. Снова упала она, громко, изо всех сил закричала:

— Оте-е-ец!

Заставила себя встать, сделала несколько шагов. Снова вырвался крик:

— Де-едушка! Балмацу-уу! Дугаржаб! Роза! Булат! Спаси-иите!

Это было отчаяние. Ну кто бы ее услышал в открытой степи? Можно ли перекричать шурган? А она все кричала, все звала, до хрипоты, пока не сорвала голос.

Отдышалась, одумалась, огляделась. Если и бывают чудеса, то одно из них случилось с нею. Знакомый курган! Тот самый. С каменным истуканом на вершине. Оюна рассмеялась и никак не могла заставить себя не смеяться. Ее трясло от смеха. Падая, скользя, ползком вскарабкалась она к окутанной серебряным инеем, словно одетой в кольчугу, Хозяйке Степи. Шулуун-абгай не было никакого дела до разгулявшейся стихии. Она невозмутимо таращила незрячие свои глаза, думая о чем-то далеком и давнем.

Ткнувшись в холодное тело Шулуун-абгай, Оюна попыталась подняться, но руки скользнули по гладкому

камню. Попробовала еще раз, не удержалась и больно ударилась головой.

«Пришла-аа все же! — послышался ей в реве пурги насмешливый голос.— Ну-нуууу... Я тебя ждала-аа...»

«Надо ответить ей! Обязательно надо ответить!» — соображает Оюна.

— И не думай, пожалуйста, что я тебя послушалась!..

Сказала и пожалела. Опять придется спорить с этим бесчувственным камнем, а сил — совсем-совсем нет.

Шулуун-абгай. Ну, как твоя отара? Не все еще кости по степи растрясла?

Оюна. Ничего с моей отарой не случилось. Посмотри — целая.

Шулуун-абгай. Целая, говоришь? Рано хвалиться. Шурган-то только начался.

Оюна. Ну и что? Если бы я коня не потеряла, давно бы овец домой пригнала.

Шулуун-абгай. Вот-вот. Если бы!.. И овец погубишь, и сама в живых не останешься. Говорила я тебе, не уходи от меня.

Оюна. И не подумаю с тобой оставаться.

Шулуун-абгай. А чего же ты плачешь? Твои слезы льдинками падают мне на грудь.

Оюна. Это не слезы. Это снег тает на лице. Мне жарко...

Шулуун-абгай. Жарко?.. Хоть ты и неправду сказала, я тебе верю... Ты про меня от своего дедушки слышала? Знаешь, за что меня Шулуун-абгай прозвали? О-ох, тяжело мне было скот спасать. Одна была. Все снесла. Все стерпела... А помирать как не хотелось, если бы ты знала!.. Все страшное уже позади было... Я за тобой давно слежу. По-всякому тебя испытывала. Пугала тебя, грозилась тебе... Любовалась тобой. Первый раз за все века вижу такого чабана, как ты. Ничего не боишься. Молодец! Ты все сможешь...

Оюна. Спасибо. Я всегда буду такой.

Что-то мягкое, живое зашевелилось рядом с девушкой. В который раз пришла к ней, разыскала ее вскормленная руками Балмацу карнаухая овечка Борбондой. Оюна прильнула лицом к морде овцы, обхватила ее за шею, зарылась пальцами в густой, теплый мех. Подняла глаза на каменную бабу, и показалось ей, что Шулуун-абгай кивнула ласково, что узкие мудрые глаза по-

доброму взглянули на нее, прежде чем снова стать непроницаемо бесстрастными.

Пора было думать об отаре. Шурган выл и свирепствовал по-прежнему. Оюна нашарила под просторной шубой «Спидолу», включила ее. Держась одной рукой за Борбондой, встала и, пошатываясь, пошла к овцам. Из транзистора то тише, то громче звучала музыка и, казалось, прокладывала ей дорогу сквозь пургу.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Степные дороги...

Совсем мало становится их в зимнюю стужу. Занесло снегом пути-дороги, перемело метелями, и не отличишь широкое шоссе от узенькой тропы, протоптанной овцами к водопою.

Но жизнь-то идет! А какая жизнь без дорог? И спешит куда-то по заснеженной степи в курганах-сугробах всадник на лохматом верблюде, тянут груженые сани большого обоза усталые кони, задыхается мотор легковой машины с красным крестом — не поспевает за скользящими на бешеной скорости вхолостую колесами. Накручивает на счетчик рубли и копейки грузовое такси, что держит путь до Кункура. Целым караваном прут на сугробы, пробивая дорогу, тракторы. Из-за невысокого снежного бугра вынырнул бронетранспортер с солдатами — этому везде открыт путь,— должно быть, в южную степь направляется, на помощь...

Печатая колесами узоры на снегу, катит по степи «летучка». Умело переключая скорости, ведет машину Роза и по сыпучему снегу, и по глубокой рыхлой колее, и по скользкому насту.

Между Булатом и Розой раскрытый «бортжурнал».

...1 февраля. Профилактический осмотр техники в Далай-Булаке.

3 февраля. Отремонтировали кормушки на свиноферме.

10 февраля. Вулканизировали камеры. Все — зиловские.

12 февраля. Починили в Хара-Нуре ветродвигатель.

17 февраля. Провозились с кинопередвижкой. Оказывается, тоже сельхозтехника.

Сегодня — восемнадцатое.

В кабине холодно. «Дворник» без устали сметает с ветрового стекла пушистый снежок. Дорогу можно узнать по торчащим из-под белого покрова верхушкам кустов ерника да сиротливо стоящим на обочине телеграфным столбам.

У Булата измученный вид, угрюмое лицо. Не от усталости, нет. На душе тяжело. Никак не оправится после смерти матери. Роза теряется в догадках: как вывести его из этого состояния, чем помочь, что сказать? Так и едут. Молча.

В приемнике свист, шорох, вой — ничего не разберешь. Сквозь оглушительный треск едва пробивается сдавленный голос диктора:

— ...районам снег. Ветер сильный, до тридцати... ти... секунду... степи... шторм...

Врывается чей-то уверенный бас:

— Я «Березка». Как меня слышите? Прием...

Торопливо, взволнованно:

— Ждем вертолет! Направляйте как можно быстрее!

Все забивает тревожная морзянка. Гремят далекие аплодисменты...

А здесь, поблизости, рядом — шурган. Он несется навстречу «летучке» и вот-вот повстречается с нею. Ветер уже закружил неистовую снежную карусель, и сразу пропала из виду дорога.

Машина замедляет ход.

— Что будем делать?

— А черт его знает! — безразлично отвечает Булат.— Явление природы...

Впереди прямо на глазах вырастают снежные холмы.

— Не заблудимся?

— Держись по этим гребням.

— Ты не путаешь?

— Давай, давай. Все правильно.

— Ой, засядем! — испуганно вскрикивает Роза, резко поворачивая руль вправо.— Какой сугробище!

— Пусти! — Булат впервые хочет сменить ее.

— Я сама.

Все трудней и трудней. Приходится отвоевывать каждый метр. Машина буксует. Ну, вот как будто и все... Застряли.

Выскочили на ветер, взялись за лопаты. Копали, копали, швыряли, швыряли снег — добрались до грунта.

Бросили под колеса свои телогрейки. Роза уселась за руль. Взад-вперед... Взад-вперед... Виляет «летучка» из стороны в сторону, съезжает с расчищенного места. Все-таки переупрямили, выскочили.

Роза взглянула на спидометр.

— С ума сойти!... Ты посмотри, сколько за три часа проехали. Ну и тащимся!..

— Хоть медленно, да едем. Нам с тобой в кабине — что. Вот кого сейчас шурган в степи захватил... Давай газуй. Успеть бы все кошары объехать.

— Через бугор перевалим, до первой уже доберемся. Ты, конечно, туда спешишь? — лукаво скосила глаза Роза.

Булат не отозвался на шутку.

...Стоянка была безлюдна, хотон — пуст. Возле засыпанных снегом избушек стоял трактор.

— Пятнадцатый? — удивился Булат.— Как он сюда попал? Я Далаеву позавчера велел гнать его в КТМ. Он же еле ползает.

Остановив «летучку» подле трактора, Роза высунулась из кабины.

— Тогоши-и! Где ты? Иди сюда!

Из-под «Беларуси» вылез перемазанный соляркой парень.

— Здесь, по-твоему, мастерские? — накинулся на него Булат.— Почему не выполнил распоряжение?

Далаев, не удостоив его ответа, снова полез под трактор.

— Во что превратил машину? — не унимался механик.

— Какой ты человек! — донеслось снизу.— Машины жалеешь, о людях не думаешь. Шурган — понимаешь? Отара пропала...

— Что? — всполошилась Роза.— Почему сразу не сказал?

— А вы не слышали? Вся бригада Оюну ищет. Я маленько трактор налажу, тоже поеду.

Булат стоял бледный, растерянный. И посторонний, наверно, заметил бы, как перевернуло парня, стоило ему услышать о несчастье с Оюной.

Совещались недолго. Осмотрев вместе с Тогоши трактор, Булат посоветовал не тратить попусту время.

— Займись лучше хотоном,— сказал он.— Разгребай снег. А мы поедем.

«Летучка» рванулась в степь. Мчались по бездорожью, выбирая бесснежные места. Роза беспрерывно сигналила. Булат стоял на подножке, держась за крышу кабины, напряженно вглядывался в пустынную даль.

Еще совсем недавно их машина то и дело капризничала, буксовала, застревала, а тут словно крылья у нее выросли. Булату же казалось, что они еле ползут, но он не решался торопить Розу.

— Смотри! Там... впереди...

Лицо Булата просветлело.

— Человек...

— Похоже, мужчина,— неуверенно сказала Роза и направила «летучку» к нему.— Сокто-ахай...

— А вдруг он не знает, что Оюна с отарой пропала?

— Смотри, не проговорись!

Громко лая, к «летучке» примчался Хоройшо.

Молодые люди вышли из машины.

— Амар сайн, дети мои,— поздоровался с ними старик, весь покрытый куржаком.— Какие новости?

«Не знает!» — сообразил Булат.

— Все машины из Хангила к вам направили — шурган...

Сокто понимающе покачал головой.

— Я всю ночь не спал. Утром затихло, решил — пойду. Хоть и старый, а чем-нибудь пригожусь внучке.

— Оюны сейчас нет...— ляпнула Роза и осеклась.

— Вы, дедушка, идите к кошаре. Оюна с отарой скоро там будет.

— Ладно, ладно,— согласился Сокто.— Вы поезжайте.

Булат и Роза старались не встречаться взглядом.

— Сворачивай-ка сюда,— скомандовал Булат.

Часа через полтора они выехали на отару. С овцами шла Балмацу. Оюны не было...

И опять кружили по степи. Отыскивали следы овец, старались держаться пути, которым шла отара.

— Стой! — Булат спрыгнул с подножки, побежал вперед, нагнулся, что-то поднял.

Он медленно вернулся к машине, держа в руках «Спидолу». Транзистор был включен.

— ...танцевальную музыку,— отчетливо послышалось среди полного безмолвия.

Булат резко вывернул регулятор громкости до щелчка. Приемник, словно поперхнувшись, замолк.

— Давай покричим,— предложила Роза.

Оба во весь голос позвали:

— Оюна-ааа!

— Отзови-иись!

— ...иииииссcь! — подхватило эхо.

— Таа, таа, та-та-таа! — сигналила Роза.

Снова кричали.

— Оюна-ааа!

Булат натянул поглубже шапку.

— Я пошел.

— Куда?

— Стой здесь. Я скоро.

Спорить с ним было бесполезно.

— Буду ждать,— вздохнула Роза.— И гудеть буду...

...Ничего не смогли поделать морозы с родником. Струится под снегом, курится па́ром, бурлит и клокочет в полыньях, словно подогревают его снизу. Лишь там, где осенью плескалось озерцо, промывая холодной чистой водой далекие звезды, блестит гладкий, прозрачный лед.

Кругом нетронутый снег. Ни дорожки, ни тропинки. Давно здесь не ходили, не ездили.

Он ни на что не надеялся. Шел, задумавшись, вспоминая встречи у родника. Здесь они хотели сложить песню. Здесь сидели на камне. Здесь сердца их сказали больше, чем самые красивые слова...

Здесь Булат и нашел ее. Оюна лежала, полузасыпанная снегом, в каком-нибудь десятке шагов от того самого камня..

Как он бросился к ней! Как тормошил, отогревал закоченевшие руки, прижимался губами к закрытым холодным глазам... Он осторожно поднял ее, донес до камня, сел и положил Оюну к себе на колени. Ему показалось, что она чуть-чуть шевельнулась. Только показалось... Булат гладил ее лицо. Неужели все? Не может этого быть! Стыдливо расстегнул шубу, нагнулся над Оюной, заслоняя ее от ветра, осторожно приложил ухо к груди и сразу же запахнул шубу.

— Живая! — хотелось орать ему.— Живая!

Дрогнули веки... Слабо затрепетало тело... Полуоткрылись глаза...

Теперь не оставалось никаких сомнений: жива!

Спохватившись, Булат нашарил за пазухой термос, зубами вытащил пробку.

— Оюна, слышишь?.. Выпей! Один глоток... Слышишь, Оюна? Это я... Ну скажи хоть слово...

Девушка застонала. Он разжал ей стиснутые губы и заставил глотнуть горячего чая.

Что еще? Молодой, здоровый, сильный парень, он чувствовал себя беспомощным. Как ей помочь? Как уверить себя, что она уже вне опасности?

Оюна открыла глаза, но, похоже, ничего не увидела. Не узнала и Булата. Что-то прошептала, и опять вернулась в то пугающее состояние, по которому ничего нельзя было определить.

Наконец-то до него дошло, что ему надо делать. Он схватил пригоршню снега, начал растирать ей щеки — посиневшие, без кровинки. Увидел ее руку без варежки — стал тереть и ее, пока не покраснела.

— ...Овцы... овцы...

Ему не послышалось: она сказала это.

— Оюна, милая... Нашли отару... Балмацу нашла...

Она не слышала, но губы ее шевелились. Булат воспользовался этим и поднес ко рту Оюны термос. Она сделала несколько жадных глотков, глубоко вздохнула, раскрыла глаза.

— Как хорошо...

— Что? — не понял Булат.

— Это ты? Правда — ты! Наконец-то пришел...

Булат наклонился к ее лицу. Совсем близко. Коснулся ее губ. Их дыхание смешалось.

— Була-ат...— счастливо выдохнула она, прижалась к нему.

Он поднялся, держа ее на руках.

— Уронишь.

— Что ты! Я тебя всю жизнь буду на руках носить.

— Не хочу всю жизнь... на руках.

— Тогда до машины,— рассмеялся Булат.

— Хорошо,— бормотала Оюна.— Я буду спать...

— Нельзя. Не спи! Посмотри на меня. Слышишь?

— Слы-шу...

«Та-таа-та-та-таа»! — доносилось с бугра.

Авторизованный перевод А. КИТАЙНИКА.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРИСЛУШИВАЯСЬ К ВРЕМЕНИ

Два романа бурятского писателя Цыден-Жапа Жимбиева — «Степные дороги» и «Год огненной змеи», представленные вниманию читателя, в определенной мере характеризуют общее движение современной бурятской литературы — ее социально-нравственные параметры, художественные обретения, пути постижения главного героя наших дней.

Роман «Степные дороги» (1962 г.) интересен уже потому, что он был одним из первых произведений, ознаменовавших поворот молодой литературы Бурятии от традиционной исторической проблематики к теме современности. Произведение «Год огненной змеи», увидевшее свет десятилетие спустя, отразило достижения сегодняшней бурятской прозы, отмеченной многообразием художественных поисков, богатством стилевых решений, углубленным вниманием к психологии, внутреннему миру героя нашего времени.

Впрочем, и сам путь Ц.-Ж. Жимбиева в литературу показателен для того поколения бурятских писателей, чье детство и юность совпали с Великой Отечественной войной. Он родился 8 октября 1928 года (дата неточная, записанная со слов матери, ибо никакие документы тех лет не сохранились) в семье крестьянина в селе Кусота Хилокского района Читинской области. Рано лишившись отца, мальчик до самой войны находился на попечении бабушки (не случайно образ бабушки, хранительницы народных традиций и обычаев, занял впоследствии большое место в творчестве художника).

Война заставила бросить учебу, и в 1945 году Ц.-Ж. Жимбиев уезжает в город Зею, где поступает в школу механизаторов. Получив права тракториста, он возвращается в родной колхоз, где работает прицепщиком.

После войны начинаются поиски своего места в жизни. Юноша учится на подготовительных курсах пединститута в Улан-Удэ, на оркестровом факультете Уральской консерватории в Свердловске, на актерском отделении театрально-музыкального училища. В эти годы он начинает печататься в периодических изданиях. Его стихи привлекают внимание читателей своей непосредственностью, метафоричностью, ощущением личной причастности ко всему, что происходит в мире. Вскоре Ц.-Ж. Жимбиев был принят в Литературный институт имени А. М. Горького, который он заканчивает в 1953 году. В этом же году выходит сборник его стихотворений «Первая борозда», в котором отчетливо проявились черты несомненной одаренности молодого поэта.

Он возвращается на родную землю, в Бурятию. Наступает время активной творческой деятельности. Одна за другой выходят поэти-

ческие книги «Стих — мой конь», «Весенняя степь», «Сурхарбан», «Песня широких степей», «Цветы на снегу» и другие. В 1958 году появляется первый сборник рассказов Ц.-Ж. Жимбиева «Новая сказка», затем — «Подснежники», путевые очерки «Москва — Прага — Гавана».

Постепенно молодого художника захватывает мысль о создании большого прозаического произведения, посвященного деревне. Слова о связи литературы с жизнью не были для него чем-то абстрактным. Ощущая огромную потребность в изначальном знании современного материала, в непосредственном изучении тех перемен, которые происходили в бурятской деревне под воздействием научно-технического прогресса, Ц.-Ж. Жимбиев отправляется в Агинский национальный округ, где три года работает секретарем партийной организации колхоза. Впечатления, вынесенные из этих лет, непосредственное участие в делах народных дали художнику богатейший материал для создания романа «Степные дороги».

В чем особая привлекательность этого произведения? Прежде всего, по-видимому, в том, что история здесь «говорит живым, простым человеческим языком — голосом современника, непосредственного участника значительных событий эпохи». Это строки из лирического дневника О. Берггольц «Дневные звезды», в котором звучит мысль о высоком долге писателя — сказать правду о своем поколении через призму собственной судьбы, неотделимой от судеб своей страны.

Автор романа распахивает перед читателем широкую панораму жизни бурятского колхоза на переломе двух десятилетий — конца 50 — начала 60-х годов. Эти годы вошли в историю нашей страны всплеском могучей инициативы трудовых масс — зарождением всенародного движения за коммунистический труд. Ц.-Ж. Жимбиев создает многоплановое произведение, в центре которого — помыслы и заботы, будни и праздники тружеников бурятского колхоза «Красный животновод», вступившего в пору социального обновления.

Завязка в повествовании в общем-то традиционна для литературы того периода: девятнадцатилетняя чабанка Оюна Соктоева отказывается от звания ударницы коммунистического труда, мотивируя свое решение тем, что ее успех единичен на фоне тех недостатков, которые мешают всей животноводческой бригаде добиться высоких результатов. Не задумываясь, Оюна берет на себя отару ослабленных овец, помогая своей подруге Балмацу. Далее сюжет усложняется, растет силовое поле конфликтов, появляются новые герои, дела и поступки которых помогают нам понять суть авторской интонации, ощутить и разделить отношение писателя к таким важным для него событиям и безмерно близким ему людям.

Конечно, есть в романе мотивы, принадлежащие только своему времени, являющиеся как бы данью ему. Но это обязательное свойство любого произведения. Если же взять такие важные коллизии романа, как столкновение честного, принципиального механизатора Булата Сыденова с опытным демагогом Дансараном Гурдармаевым, конфликт молодого практиканта-зоотехника Санджи Бумбеева с тщеславным, эгоистичным, разочаровавшимся в жизни бригадиром Шойдоком Цынгуевым, то вряд ли эти коллизии можно назвать проходными, а конфликты — сиюминутными. За ними подлинная правда бытия, обобщенный жизненный материал, дающий повод для серьезных раздумий о смысле человеческого существования, о долге каждого перед обществом.

Через весь роман проходит мотив, притягивающий прозу Ц.-Ж. Жимбиева к горячим проблемам наших дней. Болью отзывается в писательском сердце мысль о безоглядном обращении современного человека с кормилицей землей, о ничем не оправданном расточительстве природных богатств. Горестны раздумья писателя: «Не очень разумно распорядились поначалу своим богатством новые хозяева степи — травы косили раньше времени и не давали им обсемениться. Год за годом, год за годом, и все так. Казалось, чего тут о сроках думать, вон ее кругом сколько — знай коси. И вроде бы незаметно начала земля скудеть, а когда спохватились, поздно уже было. Пришлось хангильцам искать сенокосы на стороне, ездить в долину Хилка, а то и еще дальше».

И тут же автор выводит нас на глубокие размышления: вот здесь рядом с явными приметами бесхозяйственной деятельности современного человека видны следы старой оросительной системы. Почему же наш пращур был более бережлив по отношению к земле? Да, мы стали богаче, у нас появилась мощная техника. Но не утрачиваем ли мы что-то бесценное, связанное с многовековым, выверенным самой жизнью духовным опытом поколений? Это небрежение к земле — не первый ли признак девальвации извечных нравственных ценностей? Ту же мысль вкладывает автор и в уста председателя колхоза Догдомэ: «Травы плохо знаем... Старики говорят, в наших степях больше ста разных трав растет. А как они называются? Не по-латыни, не по-русски — по-нашему, по-бурятски. Хоть кого спроси — не скажет. А какие в какой траве витамины? Какие травы овцы любят, какие коням нужны, коровам полезны? Какие травы от каких болезней? Как их применять? Какие ядовитые? Знали же прежде! Знали, да забыли... Кто-то из стариков и сейчас помнит. А мы не спрашиваем у них. Так и уйдет с ними...» Автор как бы напоминает нам, что память о прошлом, так же как и забота о будущих поколениях,— непреходящий нравственный долг человека нашего времени. Невольно вспоминаются замечательные слова Л. Леонова: «Человечество вступает в такую фазу развития, когда мы не имеем права ни на одно благо смотреть, как на дармовой рубль. Есть большие благодеяния, которые оказаны нам природой, которые существовали еще до нас. По своему долгу жителей на земле мы обязаны сегодня думать о завтрашнем дне человечества».

Какой же главный нравственный урок вынесет читатель, познакомившийся с романом «Степные дороги»? Раскрыв перед нами духовную красоту и душевное богатство своих героев, таких, как молодая чабанка Оюна Соктоева, как комсомольский секретарь Булат Сыденов, передовой механизатор Дугаржаб Беликтуев, председатель колхоза, ветеран войны тридцатитысячник Цырен Догдомэ, писатель показал, что никакие трудности и сложности жизни не способны лишить этих людей гражданского мужества, оптимизма, веры в поступательное движение нашего общества. В этом, на наш взгляд, и состоит основной нравственный итог романа Ц.-Ж. Жимбиева «Степные дороги».

Советская многонациональная литература, которую всегда отличало пристальное внимание к духовному миру юного поколения, посвятила немало страниц теме жизни детей в годы Великой Отечественной войны. И вот настал черед прийти в литературу этим детям, пережившим годы военного лихолетья. Тема военного детства, военной юности отчетливо прозвучала в их произведениях, таких, как «Ранние журавли» Ч. Айтматова, «Уроки французского» В. Распути-

на, «К зиме, минуя осень» Г. Семенова, «Окликни меня в лесу» Т. Пулатова, «Синее море, белый пароход» Г. Машкина, «Климко» Г. Тютюнника, «Арина — мать солдатская» И. Евсеенко, «Нагрудный знак «OST» В. Семина, «Здравствуй и прощай» В. Козько... Это поколение привнесло в литературу опосредованный опыт войны, однако картины народного бедствия, преломленные в сознании подростка, потрясают не меньше, чем батальные сцены, ибо безмерна трагедия поколения, у которого война отняла счастливое детство.

Задумаемся: откуда у писателей, встретивших военное лихолетье в десять — двенадцать — четырнадцать лет, эта острая потребность возвратиться к страшному и героическому прошлому войны? Ответ очевиден: война, предъявившая особый счет нравственной стойкости людей, обнажившая смысл известных истин, обострившая контрастность понятий добра и зла, сосредоточила в себе огромный жизненный материал, позволяющий соотнести день нынешний с духовным опытом тех суровых лет, понять глубинные истоки народного характера, увидеть живую связь времен, преемственность наших идеалов.

Роман Ц.-Ж. Жимбиева «Год огненной змеи» переносит нас в небольшой бурятский улус, в суровый 1941 год, когда все, кто остался в улусе — старики, женщины, дети,— жили только одним: ожиданием вестей с фронта. В центре авторского внимания — психология, образ мыслей, тончайшие движения души пятнадцатилетнего Батожаба Гомбоева, который стал ночным табунщиком, заменив своего старшего товарища Эрдэни, ушедшего на фронт.

Образ Батожаба, постепенно осмысливающего существо тех перемен, что принесла с собою война, несомненно, связан с собственным житейским и нравственным опытом автора, встретившего войну тринадцатилетним подростком. Перед нами предстает сложный мир детской души, где оживают предания и легенды; мир сказочный, питавший мальчишеское воображение, и мир реальный, мир похоронок и голода, страданий и невосполнимых утрат, мир войны, принесший Батожабу раннюю взрослость, раннее понимание долга перед Родиной. Война вселила в людей особое чувство ответственности, дала им новую меру собственных дел. И вот мы становимся свидетелями того, как в подростке, еще вчера игравшем деревянными ружьями, пробуждается сознание, начинается работа духа. Трудности, выпавшие на долю Батожаба, обостряют его видение мира, восприимчивость к людям, ежедневно ставят его перед препятствиями, закаляющими характер подростка.

Внутренним чутьем он понимает: события надвигаются огромные; детское воображение рисует картины битв, победить в которых способны разве только сказочные герои; привычные картины жизни начинают приобретать в сознании мальчика оттенок фантастичности: «Темные большие деревья-одиночки похожи на сторожевые пики богатырской заставы Бабжа Баас-батора. По преданию, именно здесь, на горах Трех Кобылиц, стояла застава нашего батора. Отсюда пошел он на войну с маньчжурами. Семьдесят дней бился батор и вернулся победителем.

Сейчас опять враг лезет на нашу землю. Теперь уже не с востока, а с запада. И где-то далеко от нас поднимается богатырский заслон. Со всех концов большой земли спешат туда воины. Если бы ты был жив, Бабжа-батор! А может, бурятская земля родит другого батора и скоро все мы узнаем его громкое имя?»

Силою своего воображения Батожаб словно хочет вызвать, оживить чудодейственные силы, которые смогут прийти на помощь его

народу в жестокой схватке с врагом. Детская непосредственность, чистота восприятия и зрелость поступков, не свойственная столь юному возрасту,— вот тот контраст, который рождает драматическую напряженность образа Батожаба.

Стремясь к наибольшей художественной выразительности, к глубине проникновения в духовный мир героя, автор находит собственную, неповторимую интонацию, вырабатывает свой стиль — яркий, красочный, словно вобравший в себя многоцветье бескрайних просторов Бурятии, полынный аромат ее трав, свежее дыхание предгорий. Тонкие картины ночной степи, мелодичные повторы параллелей — человек и природа — помогают нам ощутить неразрывное единство личности юного героя со всем сущим. Поиски новых изобразительных средств привели автора к необычному композиционному построению романа. С приходом войны привычная жизнь, окружавшая героя, разделилась на две четко контрастирующие половины. Первая — это мир, открытый восторженными глазами подростка, познающего те радости, что обещаны каждому в пору юности. Это — светлое время надежд и первых порывов сердца, радостного ожидания перемен, постижения красоты родной земли. Вторая половина — это горечь похоронок, это слезы в глазах матери, это ощущение своего бессилия перед кругом неотвратимых бед, принесенных войной. Не случайно автор построил повествование на чередовании дня и ночи. И есть что-то глубоко символическое в том, что именно ночью, когда Батожаб выезжает в степь сторожить лошадей, он по-настоящему счастлив, а днем, при радостном свете солнца, его настигают несчастья: приходит известие о гибели отца, почтальонша Хурла, спекулирующая на религиозных предрассудках, оскорбляет бабушку Батожаба, в него стреляет дезертир, оказавшийся отцом любимой девушки. Автор тем самым как бы хочет подчеркнуть саму противоестественность войны, сделавшей белый свет черным, изменившей разумный ход жизни и привычное течение событий.

Если говорить об особенностях почерка Ц.-Ж. Жимбиева, то нельзя не заметить редкого дарования художника увидеть любое явление глазами подростка, выразить сложные нравственно-этические понятия языком мальчишек и девчонок, впервые задумывающихся над смыслом жизни.

Пристальный интерес писателя к характеру совсем неокрепшему, развивающемуся не случаен. Он дает возможность Ц.-Ж. Жимбиеву проследить, как складывается мировоззрение, мораль, как формируются нравственные принципы советской молодежи. И если смотреть шире, то образ Батожаба — главного героя повествования — позволяет писателю исследовать духовный мир молодого поколения предвоенной поры, ответить на вопрос: какие общественные условия, какие идеалы сформировали поколение, которое вынесло на своих плечах безмерные тяготы и лишения военного времени?

Сложная система художественных образов романа, сама логика движения характеров помогают уяснить главную авторскую мысль: только наш советский строй, исповедующий высокие идеалы гуманизма, коллективной взаимовыручки, беспредельной любви к социалистической Родине, способен воспитать людей цельных, мужественных, сильных, выдерживающих суровый экзамен войны.

Что касается эстетической оценки романа Ц.-Ж. Жимбиева «Год огненной змеи», то трудно не согласиться со словами известного критика З. Кедриной, которая писала в «Правде» в статье «Высота критериев»: «Казалось бы, Жимбиев пишет о том, о чем писали многие

и многие до него. Но это общее содержание воплощается в своеобразие красок бурятского жизненного уклада, могучей природы далекого края, исторической и бытовой традиции бурят, полновесного, дышащего свежестью народного поэтического слова — и перед нами оригинальная картина действительности».

В заключение хотелось бы поделиться еще одним важным, на наш взгляд, наблюдением, которое позволяет сделать проза Ц.-Ж. Жимбиева. Перенося в реальность деревни свои собственные представления о счастье людей, об идеалах нашего общества, автор всем строем неторопливого повествования, образом мыслей и характером поступков персонажей как бы стремится доказать, что маленьких, незаметных героев среди нас много и все они заслуживают нашего интереса и изучения. Вот почему Ц.-Ж. Жимбиев старается проникнуть во внутренний мир героев, показывает нам их светлые и теневые стороны, исследует извечный конфликт, постоянно существующую напряженность между старой моделью социальных ценностей и новым укладом жизни.

На этом мы завершим разговор о творчестве талантливого писателя Бурятии Цыден-Жапа Жимбиева. Думается, не пришла еще пора главных итогов, поскольку автор «Степных дорог» и «Года огненной змеи» находится в самом расцвете творческих сил. А это значит, что нам предстоит радость встреч с новыми произведениями, созданными талантом самобытного художника нашего времени.

Ю. ЛОПУСОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Цыден-Жап ЖИМБИЕВ

ГОД ОГНЕННОЙ ЗМЕИ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1980, 448 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **И. Юшкова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **С. Розенберг**

●

А02954. Сдано в набор 28/III 1980 г. Подписано в печать 9/VII 1980 г. Формат 84 × 108 1/32. Бумага печ. № 1. Печать высокая. Гарнитура «Литературная». Печ. л. 14,00. Усл. печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 24,80. Зак. 4888. Тираж 227 000 экз.

Цена 1 руб. 90 коп.

●

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5. Зак. 2307.

В 1980 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

В. Белов — Повести и рассказы.

Г. Гегешидзе — Расплата. Романы. Повести. Рассказы. Перевод с грузинского.

Г. Гулиа — Фараон Эхнатон. Роман. Рассказы.

С. Дангулов — Кузнецкий мост. Роман. Книга 3-я.

Ц. Жимбиев — Год огненной змеи. Романы. Перевод с бурятского.

Д. Икрами — Поверженный. Роман. Перевод с таджикского.

В. Канивец — Ульяновы. Роман. Перевод с украинского.

Т. Касымбеков — Сломанный меч. Роман. Перевод с киргизского.

В. Конецкий — Вчерашние заботы. Соленый лед.

Е. Носов — В чистом поле... Повести. Рассказы.

Е. Пермяк — Очарование темноты. Романы.

Литовские повести.

Ю. Рытхэу — Айвангу. Роман. Повесть.

Ю. Семенов — Семнадцать мгновений весны. Роман.

М. Траат — Сад Поммера. Романы. Перевод с эстонского.




Ц. ЖИМБИЕВ